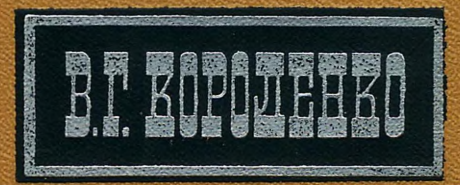

В. Г. КОРОЛЕНКО

БИБЛИОТЕКА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КЛАССИКИ

В. Г. КОРОЛЕНКО

Собрание сочинений
в шести томах



БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК». ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
МОСКВА. 1971,

Собрание сочинений выходит
под общей редакцией
К. И. Тюнькина.

ПУБЛИЦИСТИ-
ЧЕСКИЕ
СТАТЬИ



Мултанское жертвоприношение

МУЛТАНСКОЕ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ

I

1 октября 1895 года, в 4 часа 50 минут вечера, в зале суда в Елабуге раздался звонок из комнаты присяжных заседателей. Это значило, что совещание присяжных кончилось... Через минуту публика наполнила зал, вышел суд, и старшина присяжных подал лист председателю.

Председатель посмотрел приговор и вернул его. Старшина взял лист в руки и прочел семь вопросов, составленных в одних и тех же выражениях.

«Виновен ли такой-то в том, что в ночь на 5 мая 1892 года в селе Старом Мултане, в шалаше при доме крестьянина Моисея Дмитриева, с обдуманным заранее намерением и по предварительному соглашению с другими лицами лишил жизни крестьянина завода Ныртов, Мамадышского уезда, Казанской губ., Конона Дмитриева Матюнина, вырезав у него голову с шеей и грудными внутренностями?»

На скамье подсудимых было семь человек, вотяков Старого Мултана, и семь раз старшина присяжных на приведенный выше вопрос ответил с заметным волнением:

— Да, виновен, но без заранее обдуманного намерения.

Относительно троих к этой формуле было прибавлено:

— И заслуживает снисхождения.

Несколько секунд в зале царствовала гробовая тишина, точно сейчас сообщили собравшимся, что кто-то внезапно умер. Потом коронные судьи удалились для постановления своего приговора. Семь обвиненных вотяков остались за решеткой, как будто еще не понимая вполне того, что сейчас с ними случилось.

Я сидел рядом с подсудимыми. Мне было тяжело смотреть на них, и вместе я не мог смотреть в другую сторону. Прямо на меня глядел Василий Кузнецов, молодой еще человек с черными выразительными глазами, с тонкими и довольно интеллигентными чертами лица, церковный староста мултанской церкви. В его лице я прочитал выражение как будто вопроса и смертной тоски. Мне кажется, такое выражение должно быть у человека, попавшего под поезд, еще живого, но чувствующего себя уже мертвым. Вероятно, он заметил в моих глазах выражение сочувствия, и его побледневшие губы зашевелились...

— Кристос страдал...— прошептал он с усилием.

Казалось, эти два слова имели какую-то особенную силу для этих людей, придавленных внезапно обрушившейся тяжестью.

— Кристос страдал,—зашамкал восьмидесятилетний старик Акмар, с слезящимися глазами, с трясущейся жидкой бородой, седой, сгорбленный и дряхлый.

— Кристос страдал, нам страдать надо...— шепотом, почти автоматически повторяли остальные, как будто стараясь ухватиться за что-то, скрытое в этой фразе, как будто чувствуя, что без нее — одно отчаяние и гибель.

Но Кузнецов первый оторвался от нее и закрыл лицо руками.

— Дети, дети! — вскрикнул он, и глухое рыдание прорвалось внезапно из-за этих бледных рук, закрывавших еще более бледное лицо...

Я не мог более вынести этого зрелища и быстро вышел из зала. Проходя, я видел троих или четверых присяжных, которые, держась за ручки скамьи, смотрели на обвиненных. Потом мне передавали, что двое из них плакали.

Публика двигалась взад и вперед как-то странно; почти никто не уходил совсем, и никто не мог долго оставаться в зале; входили и уходили, как в доме, в кото-

ром по середине комнаты, окруженный желтыми огнями свечей, лежит мертвец, и кто-то бьется и рыдает о нем за дверью.

Я тоже не мог уйти и не мог оставаться, входил в зал и опять уходил. Обвиненные или тупо глядели вперед, или громко плакали, опустив головы на руки; дамы из публики смотрели на них широко открытыми глазами, внезапно отворачивались и быстро уходили. В настроении этой публики ясно чувствовалась весьма понятная жалость.

Но, кроме жалости, тут было еще тяжелое, гнетущее сомнение.

Когда я, ожидая судебного приговора, в третий раз вошел в зал,— публика столпилась в одном месте поближе к решетке. В углу этой решетки, рядом с караульным, вытянувшимся у своего ружья и, как будто нарочно, принявшим вид совершенно глухого, ничего не слышащего и не видящего человека, стоял дед Акмар. Его старческая рука опиралась на барьер, голова тряслась, и губы шамкали что-то. Он обращался к публике с какой-то речью.

— Православной! — говорил он.— Бога ради, ради Криста... Кодй кабак, кодй кабак, сделай милость.

— Тронулся старик,— сказал кто-то с сожалением.

— Кодй кабак, слушай! Может, кто калякать будет. Кто ее убивал, может, скажут. Криста ради... кабак кодй, слушай...

— Уведите их в коридор,— распорядился кто-то из судейских.

Обвиняемых вывели из зала...

II

Описанным выше приговором во второй уже раз вотяки села Мултана признаны виновными в принесении языческим богам человеческой жертвы.

Во второй уже раз судебным приговором устанавливается, что в Европейской России среди чисто-земледельческого вотского населения, живущего бок о бок с русскими одной и тою же жизнью, в одинаковых избах, на одинаковых началах владеющего землей и исповедующего ту же христианскую религию, существует до настоя-

щего времени живой, вполне сохранившийся, действующий культ каннибальских жертвоприношений! Если вы представите себе, на основании сказанного выше, что Мултан — глухая деревушка, окруженная лесными дебрями, затерянная и одинокая,— то вы сильно ошибетесь. Это большое село, окруженное давно распаханными старыми полями, отстоящее лишь в пятидесяти верстах от большой пристани Вятские поляны, на реке Вятке, и в полуторах десятках верст от большого пермско-казанского тракта. В Старом Мултане вот уже пятьдесят лет существует церковь, пятьдесят лет вотское село служит центром православного прихода; в нем живут постоянно два священника с причтом, и тридцать лет дети вотяков Старого Мултана учатся в церковно-приходской школе... Один из обвиненных в принесении человеческой жертвы, Василий Кузнецов,— местный торговец, староста мултанской церкви...

Если вы подумаете, далее, что один только Мултан обвиняется в сохранении, по какой-то несчастной случайности, ужасного переживания ужасного обычая, то вы опять ошибетесь. Обвинение мултанцев было бы невозможно, и странное убийство оставалось бы совершенно необъяснимым, если бы следствие не постаралось собрать множество слухов, по большей части неизвестно откуда исходящих,— слухов о том, что среди вотяков *вообще* сохранился обычай человеческих жертвоприношений. Эти слухи не касались непосредственно Мултана: они шли с дальних мест, со стороны «Учинской и Уваткулинской», из других местностей, из других уездов. Из отчета об этом деле, напечатанного в «Русских ведомостях», видно, что обвинение ставилось не против данных только семи лиц. Они, по мнению обвинителя, явились лишь исполнителями. На вотском кенеше (мирском сходе) ставится решение: принести человеческую жертву. Нищий убит в родовом шалаше, но не для данного рода. Его кровь нужна, будто бы, для жертвы за всю деревню. Может быть, даже не за одну деревню, а за многие деревни «Вавожского края»... Этого мало. Ученый эксперт, казанский профессор Смирнов, отстаивавший существование ужасного культа среди современного вотского населения, приводил общие «предания», не относившиеся специально к Мултану, слухи, исхо-

дившие из других уездов, даже сказки не вотские, а родственного вотякам черемисского народа. Вы видите, что ужасное обвинение ширится, растет, что данный судебный приговор есть приговор над целой народностью, состоящей из нескольких сотен тысяч людей, живущих в Вятском крае, бок о бок с русским народом и, повторяю, тою же земледельческою жизнию... Постарайтесь представить себя, по возможности ясно, в роли вотяка-крестьянина, соседа русской деревни, в роли вотяка-учителя, наконец в роли священника из Вятского края,— и вы сразу *почувствуете* все ужасное значение этого приговора.

Предполагаю, что у читателя является возражение: не следует, конечно, преувеличивать значение и силу нашей культуры в темной среде деревенской Руси. И в христианской деревне много тьмы и невежества: у нас есть лешие и ведьмы, в наши глухие деревушки залетают огненные змеи, у нас приколачивают мертвых колдунов осиновыми колами к земле, у нас убивают ведьм... В Сибири еще недавно убили мимо идущую холеру, в виде какого-то неизвестного странника. «Холера» умерла, как умирает обыкновенный человек, пришибленный ударом кола, а убийцы суждены и осуждены судом... «Что же мудреного,— спрашивает у меня один корреспондент,—что вотяки, полуязычники, которые, вдобавок, несомненно сохранили обычай кровной жертвы,— могли принести и человеческую жертву? И что нового открыло нам в этом отношении мултанское дело?»

Мне кажется, что здесь есть крупное смешение понятий. Да, суеверия очень сильны,— и убийство ведьмы произошло еще лет пятнадцать — двадцать назад даже в бельгийской деревне. Что же? Вы не удивитесь поэтому, если бы в бельгийской деревне было доказано существование каннибальского культа? В наши деревни летают огненные змеи... Слыхали ли вы, однако, чтобы целое общество, хотя бы подлиповцев, решило на общественном сходе принести огненному змею торжественную каннибальскую жертву? У нас приколачивают колдунов осиновыми колами! Значит ли это, что наша культура равна культуре антропофагов и каннибалов?

Нет, не значит. Оставим формальную принадлежность к той или другой религии, оставим также и цер-

ковно-приходскую или иную школу. Я полагаю, что даже между полным язычником, живущим общею жизнию с земледельческим христианским населением, и язычником-каннибалом — расстояние огромное. Язычник, ограничивающийся принесением в жертву гуся, и язычник-каннибал,— это представители двух совершенно различных антропологических или, по крайней мере, культурных напластований, отделенных целыми столетиями. Выражаясь символически,— между ними приблизительно такое же расстояние, как между жертвоприношением Авраама (отмечающим воспрещение человеческой жертвы в ветхом завете) и принесением двух голубей в иерусалимский храм иудеями первых годов христианской эры...

Далее,— я полагаю, что между язычником, сохранившим где-нибудь в глубине лесов или в пустынной тундре всю чистоту своего языческого культа, и язычником-земледельцем, вкрапленным в течение столетий в самую среду русского народа, опять должна быть значительная разница. Дело тут даже не в культурной миссии официальных миссионеров, а в простом вековом близком общении на почве общего труда и общих интересов с земледельческим и христианским народом. Я приведу ниже молитву, которая произносилась в начале настоящего столетия на огромном жертвоприношении черемис их *картами* (жрецами), и вы увидите, какому богу она приносилась и как сама она далека уже от каннибальских заклинаний. Наконец, между этим последним язычником и инородцем-христианином, более столетия уже обращенным,— является еще одна, еще новая градация...

Как ни плоха была его школа, как ни слаба обращенная к нему проповедь,— все-таки они не могли не отдалить инородца еще на одну ступень от его первобытных верований. Правда, он внес в новую веру значительную долю суеверий; правда, в его среде еще живут старые обряды,— но, принижая новую веру, он все-таки подымает до нее старую, и то новое, что из этой смеси возникло в его душе,— уже есть именно новое; это смесь, не равная ни одной из своих составных частей.

Это не настоящее христианство, но это и не язычество в том виде, в каком оно существовало до обра-

щения. Обряд еще держится. Обряд и прививается ранее, и уходит позже выражаемых им понятий. Но старые боги умирают в темной душе, и понемногу из-за новых формул проглядывает все больше и больше новое содержание. «Христос страдал, нам страдать надо» — одна эта формула в устах обвиненных в каннибализме способна потрясти слушателя глубоким сомнением: неужели люди, знающие это, прибегающие к *этому* в минуту страшного удара, разбивающего жизнь,— способны целым обществом, спокойно, сознательно убить человека во имя бога!

И, однако, кто-то убил нищего и взял у него голову и сердце! Значит, во всяком случае — это убийство суеверное?

Я не знаю. Но если и так, то в нем участвовали один или двое. Бывают вспышки паники, страсти, когда в толпе сразу просыпаются, оживают инстинкты пещерных предков, даже зверей. Тогда-то и убивают проходящую мимо холеру. Здесь не то. Здесь необходимо допустить существование культа, при котором молитвенное настроение души в целом сельском обществе, нет, в целом крае,— спокойно, сознательно, постоянно или, по крайней мере, периодически направляется в сторону человеческих жертвоприношений. Каннибализм здесь является постоянно действующим, живым культом, охватывающим еще в наше время огромную площадь, живущим в сотнях тысяч умов, исповедующих по наружности христианскую веру...

Нет, нельзя закрывать глаза на весь ужас этого явления, если оно существует, нельзя сравнивать его ни с какими суевериями! Суеверия вы найдете еще во всех слоях общества; каннибализм отодвинулся от нас на тысячелетия.

Так, по крайней мере, мы думали до сих пор. Теперь оказывается, что он жив, что это — не частная вспышка случайного переживания, а хроническое явление по всей площади, занимаемой вотским племенем.

Но если это так,— то нужно понять размеры и значение этого явления. Нет, это не равносильно обычным суевериям, к которым мы уже пригляделись и привыкли. Это шире всех вопросов о силе или слабости официальной миссии. Повторяю: перенеситесь мыслию в положе-

ние вотяка, сколько-нибудь сознательно относящегося к этому обвинению,—и вы почувствуете всю его тяжесть. Вы почувствуете также и то, что это обвинение против самого культурного типа не одних вотяков, но и их соседей, не способных вековым общением облагородить соседа инородца, хотя бы до степени невозможности каннибализма в культурной атмосфере, которой они дышат сообща!

Я полагаю, что мысль моя ясна: как существуют геологические напластования и формы, только этим напластованиям сродные, так же есть напластования культурные, отделенные друг от друга столетиями и разными наслоениями пережитого прошлого. Каннибализм есть форма, свойственная давно погребенным, самым низким слоям культуры, потонувшая на расстоянии столетий, и население, в котором она была жива, представляло собой низшую ступень в развитии человеческого типа... Существование языческих обрядов не может еще служить доказательством человеческого жертвоприношения. Нужны доказательства более прямые.

Вот почему я полагаю, что мултанское дело есть дело «особой важности», на которое следует обратить самое пристальное внимание. Не закрывать глаза, конечно, не отстранять неприятные выводы,— но присмотреться серьезно и строго, с чем в действительности мы имеем дело. Недостаточно приговорить несколько человек,— нужно узнать, что тут было, какому богу приносятся эти жертвы, как широк его культ... Но прежде всего: действительно ли этот культ существует... Нужно, чтобы рассеялся этот густой туман, эта туча недоумений, нависшая над мрачною драмой, нужно, чтобы настоящее зло, если оно есть, не скрывалось ни за какими сомнениями...

III

В настоящей статье я, разумеется, не рассчитываю исчерпать данный вопрос. Читателям «Русского богатства» отчасти уже известна обстановка и обстоятельства дела, о котором дважды уже говорилось в нашем журнале [1]. Они знают также, что первый приговор кассирован сенатом, который признал, что:

[1] Обществ. хроника. Ноябрь 1894 г. и июнь 1895 г.

во-первых, не доказано самое существование среди вотяков обычая человеческих жертвоприношений,

что, во-вторых, предварительным следствием сделано много упущений, не исправленных также и следствием судебным,

и что, наконец, в деле была существенно нарушена равноправность сторон. В настоящее время защитником мултанских вотяков опять подана кассационная жалоба, и юридическая сторона дела будет еще раз предметом компетентного обсуждения. Здесь поэтому я пока совершенно оставляю в стороне вопрос, насколько убедительны доказательства виновности семи обвиненных мултанцев. Я останавливаюсь только на общем вопросе: можно ли и теперь признать доказанным самое существование человеческого жертвоприношения среди вотского населения и, главным образом, какому богу могла быть принесена эта ужасная жертва.

Вот фактическая сторона этого дела.

В понедельник, после Фоминой недели, то есть 20 апреля 1892 года, нищий Конон Дмитриев Матюнин отправился из родного села (завода Ныртов, Мамадышского уезда, Казанской губ.) в малмыжскую сторону за сбором подаяния. Это был человек нестарый, очень крепкий, здоровый на вид, смирный и непьющий, но страдающий падучей болезнию и проявлявший, по некоторым указаниям, признаки ненормальности. От завода Ныртов до Старого Мултана, если не ошибаюсь, более ста верст. Нищий шел, побираясь Христовым именем, заходя по сторонам и ночуя, где доведется. 4 мая в середине дня он встретил мултанского псаломщика Богоспасаева в дер. Капках, по пути к Кузнерке или Аныку, или, может быть, к Мултану. Они обменялись жалобами на скупость народа. Псаломщик набрал очень мало овса на семена, а нищему не верили, что он болен. Между тем, несмотря на здоровый вид,— у него падучая, от которой он напрасно лечился в Ныртах. Доктор советовал ехать в Казань, «там ему сколют череп и выпустят воду»... Но нищий побоялся. Так поговорив, они расстались, и псаломщик более его не видал.

Накануне, в ночь с 3 на 4 мая, нищий из Ныртов, страдающий падучею болезнию, в азяме с синей заплатой, ночевал в деревне Кузнерке, у старика (русского)

Тимофея Санникова. На следующий вечер 4 мая к сыну этого Санникова, Николаю, опять приводят на ночлег нищего. Он тоже из Ныртов, тоже страдает падучей болезнию, тоже здоров на вид и вдобавок говорит, что ночевал у Тимофея Санникова прошлую ночь. Все эти признаки точно соответствуют приметам Матюнина, но впоследствии Николай Санников вспоминает, что на азяме этого нищего как будто не было заплаты, из чего обвинение решительно заключает, что это был другой нищий, хотя тоже из Ныртов, тоже страдающий падучей и... тоже ночевавший накануне у Тимофея Санникова?

В то же время, то есть 4 мая, псаломщик Богоспасаев, вернувшийся со своим скудным сбором овса,— видит в Мултане еще другого нищего с корзиной и пьяного. Этого же нищего видят и другие свидетели, в том числе урядник. Он отличается от Матюнина, во-первых, корзиной, во-вторых, у него нет посоха, в-третьих, он пьян (Матюнин, по уверению его вдовы, в рот не брал водки). Вотяки говорят, что этот нищий был родом с Ижевского завода и действительно ночевал в Мултане...

С приближением вечера рокового четвертого мая — признаки этих двух личностей как-то перемешиваются взаимно. Три свидетеля видят какого-то нищего идущим по улице в Мултане и сидящим на бревнах. Он красен и пьян, что-то бормочет, а по одному показанию — закуривает папиросу (Матюнин не курил). Все это черты ижевского нищего с корзиной. Но на нем надет будто бы азям с заплатой и рубаха с прорехой, принадлежащие нищему из Ныртов и найденные впоследствии на убитом. Его перед вечером (около 4 мая) ведут по переулку, к дому суточного, у которого должны ночевать все нищие, застигнутые приближением ночи в Мултане...

Как видите, в сумерках рокового вечера — личность нищего двоится: при одном из двойников, ночующем в Кузнерке, остается вечером 4 мая происхождение (из Ныртов), падучая болезнь и рыжая борода Матюнина; при другом, которого видели на бревнах в Мултане,— азям с заплатой и одежда того же Матюнина, с прибавлением, впрочем, пьянства...

Затем нищий с корзиной, родом из Ижевского завода и любящий выпить, продолжает еще шататься по Мул-

тану более недели,— а нищего из Ныртов те, кто его видел, видели в последний раз.

Пятого мая, часов в девять утра, крестьянская девочка Марфа Головизнина шла пешеходной тропой, пролегающей по лесу, между деревнями Чульей и Аныком. Я был на этой тропе после описанного выше приговора над вотяками. Трудно представить себе место, более угрюмое и мрачное. Кругом ржавая болотина, чахлый и унылый лесок. Узкая тропа, шириной менее человеческого роста, вьется по заросли и болоту. С половины ее настлан короткий бревенник вроде гати, между бревнами нога сразу уходит в топь по колено; кой-где между ними проступают лужи, черные, как деготь, местами ржавые, как кровь. Несколько досок, остатки валежника и козлы из жердей обозначают место, где нашли труп Матюнина и где его караулили соседние крестьяне...

Он лежал поперек, то есть занял всю тропу, по которой шла Головизнина. Я был на этой тропе, и мне очень трудно представить, чтобы кто бы то ни было, идущий по ней и видящий на своей дороге это ужасное препятствие, мог не заметить среди белого дня, что у лежащего в таком необычном месте человека нет головы. Но девочка этого «не заметила», как она говорит, потому что человек был прикрыт азямом. У нее развязался вдобавок лапоть. Она «подобулась, обошла труп по-за-ногам» и пошла дальше. Пройдя мимо толчеи, постукивающей шагах в двухстах на такой же унылой полянке, она пришла в починок и сказала там о лежащем на тропе человеке.

Назад она пошла опять одна той же тропой, на следующий день, 6 мая. Человек лежал там же, но азям, как говорится в обвинительном акте,— был *кем-то* снят. Кто это подходил к трупу в эти сутки и кто снял азям,— осталось неизвестным, но теперь девочка рассказала в деревне Чулье о том, что у лежащего на тропе человека нет головы. Пришли крестьяне двух деревень и совершенно затоптали следы, так что оказалось невозможным определить, откуда подтащен труп. 7 мая прибыл урядник, который нашел, что на убитом надета котомка, за лямки которой заделан сложенный азям. Итак, безвестная рука, то прикрывавшая, то снимавшая азям,—

продолжала над мертвым свою работу, даже по прибытии полиции...

Девятого прибыл пристав, который записывает новую перемену: уже после урядника кто-то вынул азям из-за котомки, надел его на труп в рукава и опять надел котомку за плечи. При этом и лапти оказались завязаны плохо, как будто их надевали уже на мертвого. Вотяков в это время еще не было. Азям, который девочка видела на трупе, а урядник — заделанным за лямки, опять надет в рукава, очевидно, уже на мертвого и притом не вотяками. К сожалению, цель этого многократного переодевания найденного на тропе безголового человека совершенно не интересует ни пристава, ни следственные власти, которые обращают исключительное внимание на лапти. На основании одних этих данных, да еще темных слухов о вотяках вообще,— составляется предположение, что убитый принесен в жертву вотским богам. Впоследствии, ровно через месяц, оказалось при вскрытии, что из грудной полости вынуты сердце и легкие, для чего у шеи и спины разрублены основания ребер. Но в то время пристав не заметил и не описал этих повреждений, хотя, впрочем, сам раздевал труп... В его протоколе есть даже следующее странное место: «есть ли сердце и легкие, *заметить невозможно* из-за большого количества запекшейся крови».

При трупе оказались: азям с заплатой и синепестрядинная рубаха с прорехой под мышкой, виденные некоторыми свидетелями будто бы на нищем в Мултане; затем рыжая борода и свидетельство о том, что убитый родом из Ныртов, а также, что он страдает падучей болезнию,— черты нищего, ночевавшего в Кузнерке. Таким образом двойственная личность убитого остается такою же и после смерти. Если это тот, что ночевал в Кузнерке, значит, выйдя утром после восхода солнца 5 мая, он пошел куда-нибудь к Аныку, свернул на лесную тропу и где-то здесь встретил свою горькую участь. Свидетельства о личности и болезни дают основание для этого предположения.

Но... признаки одежды (азям и прореха на рубахе) направляют розыски к Мултану, и с этих пор дело принимает свой окончательный характер: вотяки обвиняются в человеческом жертвоприношении.

Обвинение рисует дело в следующем виде.

В Мултане сохранились еще следы родового быта и языческого культа. Родовое деление сказалось расслоением Мултана на два рода: учурский и будлуцкий. К первому принадлежит четырнадцать семей, ко второму остальные (56). У каждого рода есть свой шалаш, род амбара, с полками вдоль стен без окон, в котором родовичи совершают «моление», хотя и перед иконой, но по старому языческому обряду. Они здесь «молят», то есть приносят в жертву гусей и уток. Раз был принесен даже бычок. Для этого у каждого рода при шалаше есть выборные, вроде жрецов: тыр-восяси, покчи-восяси и бодзимь-восяси, которые совершают обряды.

Порой оба рода соединяются на поляне для общедеревенской молитвы. Однажды молодой священник Ергин, назначенный в Мултан, проезжая по дороге, заметил дымок в стороне и, догадавшись, в чем дело, направился туда. Это было уже после начала дела, когда вотяки уже были привлечены к следствию. Тем не менее, вотяки, по-видимому, свободно продолжали обряд: они закололи бычка перед двумя огнищами, на которых в котлах варили его мясо. Тут были также хлебы с яичницей, сосуды с кумышкой или пивом. Один из стоявших впереди трех вотяков произносил какие-то слова и наклонял голову, а за ним наклоняли головы и остальные. В числе присутствующих была мать обвиняемого Кузнецова, которая молилась *стоя на коленях*. На вопрос, кому они молятся, вотяки ответили, что они молятся «тому же богу, а если в лесу, то потому, что так делали отцы и деды...»

Итак, существование кровной жертвы в православном Мултане нужно считать вполне доказанным. Оставляя пока вопрос о том, кому приносились эти жертвы,— я дорисую со слов обвинения предполагаемую картину убийства. Дом Василия Кондратьева, куда привели нищего вечером 4 мая, находится невдалеке от шалаша Моисея Дмитриева, в котором совершаются моления учурского племени. Здесь, если обвинение верно, Матюнин пьяный был подвешен, и из него добыты внутренности и кровь для общей жертвы в другом месте, может быть для общей жертвы всего Вавожского края и, может быть, «для принятия этой крови внутрь».

IV

Кому же могла быть принесена эта жертва, кому вообще приносились жертвы и в шалашах, и на полянах села Старого Мултана, невдалеке от его церкви и от церковно-приходской школы?

На это пытаются нам ответить, во-первых, обвинительный акт и, во-вторых, ученая экспертиза. Нужно сказать, однако, что обвинитель остался недоволен экспертизой, хотя профессор Смирнов и ранее, в печати, и на суде допускал возможность жертвоприношения у современных вотяков. «Экспертиза ничего не дала нам,— сказал товарищ прокурора в своей речи.— Наоборот, наука много почерпнет из настоящего дела».

Проф. Смирнов держится иного мнения, а другой представитель науки, господин Богаевский, написавший обстоятельный анализ в «Русских ведомостях», повторяет в этом отношении то же мнение. Считаю необходимым заметить,— пишет он,— что, «несмотря на вторичное осуждение обвиняемых, на страницы работ по этнографии России не может быть занесено утверждение факта существования в настоящее время у вотяков человеческих жертвоприношений» [1]. Проф. Смирнов также говорил мне после суда, что он не почерпнул из данного дела ни одной черты, которая бы утверждала его в заранее уже сложившемся общем мнении, противоположном мнению господина Богаевского.

Оба ученые утверждают единогласно, что в данном деле они натыкаются только на ряд противоречий. Если вотяки еще приносят даже человеческие жертвы — то это значит, конечно, что у них сильны древние языческие верования и понятия, которых они не решатся нарушить. Между тем, настоящее дело представляет именно ряд таких нарушений. Прежде всего обвиняемые принадлежат к разным родам. Между тем, по согласному показанию *всех экспертов* и проф. Богаевского, «в родовом шалаше может быть принесена жертва лишь божеству, в нем обитающему», и «чужеродцы не пользуются милостями божества, обитающего в родовом шалаше»; «даже самое присутствие в шалаше чужеродца оскорб-

---

[1] «Русск. вед.», 7 ноября, № 308.

ляет божество, обитающее в святилище данного рода». Между тем, оскорбление божества, обитающего в родовом шалаше, является наиболее страшным преступлением для вотяка, уничтожает все благие последствия жертвы и «даже лишает человека счастия».

Далее, один из подсудимых, Кузьма Самсонов, мясник, обвиняется в том, что он,— не жрец и не помощник жреца,— совершил самое убийство, будучи для этого *нанят за деньги*. Между тем, «приносить жертвы могут лишь специально на этот предмет избранные жрецы».

Наконец, добывание крови в одном месте для жертвы, приносимой в другом,— *все ученые* единогласно признают невозможным...

Все эти черты приобретают особенную важность ввиду того соображения, что приверженность к букве, к обряду — характеризует главным образом малокультурного человека. «Вспомним,— говорит проф. Богаевский,— что опущение лишь одного слова в молитве, например, в древнем Египте, уничтожало значение всего священнодействия; как часто присутствие чужеродца оскорбляло божество, которому молились древние римляне». Между тем, здесь «отступления от ритуала так велики, что противоречат всем основным требованиям религиозных представлений вотяков и сознанию их обязанности перед богами».

Итак, наука останавливается в полном недоумении перед обстоятельствами, которыми обвинение обставляет жертву в данном случае. Теперь посмотрим, что дает нам следствие и экспертиза по вопросу о том, каким же богам или какому богу приносились мултанцами жертвы.

Обвинение отвечает категорично. У всех вотяков существует «злой бог Курбон», который требует себе в жертву жеребенка, а по временам, лет через сорок — и человека. Никто, правда, не слыхал об этом Курбоне в Мултане, но о нем сообщил Михайло Савостьянов Кобылин. Он получил это сведение от *неизвестного ему* кучугурского вотяка, который притом, по его словам,— «умом был не совсем»: дурачок и блаженненький. Впрочем, председатель, на том основании, что Кобылин не мог указать точнее источника этих слухов о Курбоне,

воспретил ему (несколько, правда, поздно) дальнейшую характеристику этого сердитого бога. Нужно сказать, однако, что вслед за Кобылиным о том же боге рассказал присяжным урядник Соковиков. Он сообщил еще, что, кроме злого Курбона, есть Аптас и Купкан, боги веселые и добродушные. Эти довольствуются гусем или уткой и большей жертвы не просят.

— От кого вы это слышали? — спрашивает председатель.

Оказывается, что урядник может указать точно, откуда он это слышал. Ему рассказывал... тот же Кобылин!

Третий свидетель, знакомый с Курбоном,— земский начальник Кронид Васильевич Львовский. Правда, в отношении этого свидетельства мы встречаемся с некоторой странностию. В его показании следователю этот бог называется не Курбоном, а Киреметом и только, очевидно, по ошибке (?) это имя переносится в обвинительный акт в виде «Курбона». Впрочем, и Львовскому председатель воспрещает рассказ об этом или другом боге, так как он слышал о них от «одного» неизвестного старого вотяка, и сам называет все это лишь слухами, на которых, в свою очередь, «не счел бы возможным основаться».

Таковы все сведения о злом боге, которые до очевидности ясно истекают из одного лишь источника: этнографических познаний Кобылина. После судебного следствия и показаний Кобылина выясняется окончательно и бесповоротно, что бога Курбона *совсем не существует*, и самое слово означает только «моление» или жертву. Таким образом, грозный бог исчезает из дела, оставляя на своем месте лишь неразрешенный вопрос: кому же тогда могла быть принесена жертва?

V

Обращаемся к экспертизе.

Профессор Смирнов, написавший книгу о вотяках, дал нам в этой книге и в своей речи на суде изложение вотской мифологии. По его словам, вотская религия пережила фетишизм, затем перешла к антропоморфическому анимизму, который оставил на ней очень ясные

следы, и подверглась спиритуалистическому влиянию со стороны тюркских племен. Вотяк стремится оживить все явления природы: лес для него населен палес и нулес-муртами (наши лешие), в воде живет водяной (ву-мурт), в доме — домовой (бустурган), солнце, земля-мать, древесные ветви, все это одушевляется, все это наделяется человеческими свойствами...

Но... если вотяк приносит яйца и кумышку на могилу предка,— то ведь и мы сохранили радуницу и поминки с водкой даже на Волковом кладбище, в Петербурге. Если у вотяка есть сказочная кукри-баба,— то и у нас есть ее родная сестра, баба-яга, которая, по свидетельству господина Смирнова, с нею тожественна даже и по виду. Как бы то ни было, самое существование всей этой низшей лесной, домовой и болотной братии еще не доказательство возможности человеческой жертвы, ибо тогда мы должны признать ее возможной и у нас, в любой русской деревне.

Профессор Смирнов много раз отмечает в своей книге, что современный вотяк стал очень скуп на жертвы: отделываясь пустяками, гусем или уткой, он вдобавок сам же съедает ее почти всю. Да это, по отношению ко всякой мифологической мелкоте, пожалуй, и совершенно понятно. В приводимых г. Смирновым сказках один вотяк стреляет в воршуда, другой сжигает целый выводок нулес-муртенят, пришедших в лесу на его огонек. Два вотяка попали в избушку леших, из них двух нулес-муртов изжарили в печи, третьего убили. Застреливают из ружья также и ву-мурта (водяного). Впрочем, ву-мурты и вообще народ довольно добродушный, а один из них (в сказке) даже открыл в одном городе торговлю рыбой.

Господин Смирнов приводит сказки, из которых видно, что некоторые из этой братии «охочи до человеческой крови». Мало ли кто до чего охоч! Очевидно, однако, что не этой мелкой нечисти, которою кишат также и наши леса,— станут приносить человеческие жертвы!

Но тогда кому же?

У вотяков есть еще Ин-Мар, могущественный бог, олицетворяющий небо. Господин Смирнов производит его имя от Ин-Мурта, небесного человека, но сам признает, что понемногу это понятие очищалось, и шелуха

антропоморфизма от него отваливалась, а самое понятие все больше и больше проникалось спиритуалистическим содержанием. И вот теперь другой эксперт, г. Верещагин, перевел это название так: ин — небо, мар — что. «Что на небе», «Тот, кто на небе», «Господь». Господин Смирнов признает, что теперь действительно это слово выражает понятие духа, оживотворяющего природу... Иначе: Ин-Маром вотяк зовет того же, кого француз называет *Dieu*, немец *Gott*, а мы *богом*.

Каков этот Ин-Мар у вотяков-язычников? Он велик и духовен. Он могуществен и светел. Он, кроме того, враждебен богам анимизма; по крайней мере на странице 208 своей книги г. Смирнов утверждает, что — стоит помянуть Ин-Мара, и могущество воршудов и палесмуртов обращается сразу в ничто. Кроме того, это бог общий, власть которого распространяется на землю и небо, который простирает свое могущество над всем народом. Этому богу только и может быть приносима общенародная молитва.

Я позволю себе сделать здесь выписку из «Столетия Вятской губернии»,— статьи А. А. Андриевского, на которую ссылался господин товарищ прокурора в своей обвинительной речи. Но я вижу в ней несколько иные черты, чем те, которыми пользовался обвинитель. Господин Андриевский рассказывает следующий чрезвычайно колоритный и характерный эпизод.

В 1828 году среди инородцев-черемис Вятской и соседних губерний обнаружилось какое-то необычное и странное движение. В своем донесении об этом уржумский земский исправник и другие следователи объясняли это снами, которые видели черемисины Иван Токметев и Семен Васильев.

«В сентябре месяце, а которого числа не знаю,— показывал исправнику Токметев,— ночью видел я во сне, что будто я, шедши со множеством черемисского народа по ровному месту, вдруг все мы обрушились в преужасную пропасть и, от того испужавшись, обещались, по избавлении, принести богу моление, от каковой мысли вдруг стали подыматься в гору, где увидели необыкновенный свет, плодородие и в наилучшем виде разные деревья». Другой черемис видел, «что будто бы явился к нему некто, в виде знатного человека, и советовал все-

му черемисскому народу принести господу богу моление с обыкновенным, по обряду черемисскому, жертвоприношением».

Разумеется, одних снов едва ли достаточно для объяснения того широкого движения, которое охватило инородцев и встревожило властей. Как бы то ни было, мы видим здесь, как происходит и кому приносится важная жертва: третьего декабря сошлось в Сернурской волости до трех тысяч человек у ключа, появившегося недавно в сухом месте, что тоже сочтено было за особую милость божию. На другой день здесь найдено было сто тридцать четыре огнища после жертвоприношений, на которых варилось мясо животных. Было произведено исследование при депутате от духовенства, которое показало, что «все богомолье совершено было спокойно, после чего и разъехалось себе, не показав и виду к нарушению общего спокойствия или возмущения, чего и впоследствии не открылось...» И даже «молитвы их, какие произносили при сем случае жрецы,— прибавляет исправник,— доказывают простоту нравов и сообразную с верноподданностию... заботливость о платеже податей».

Самая молитва звучала (в переводе) так: «*Великий, древний бог!* Тебе народ поусердствовал ныне молением, привел скота, принес хлеба, свеч, пива и меду, собравшись пред сим деревом: возлюби это и милостиво прими!

Боже! дай помощь в жизни народу, дай скота, после сего дай хлеба, после хлеба дай пчел, после пчел просим денег на оплачивание подати (черта, так восхитившая исправника), после денег просим лесной ловли, после лесной ловли просим водяной ловли на выручку денег. Милостиво прими!

Боже! дай в веке сем хорошего житья белому царю и всем молящимся здесь людям, которые привели скота, принесли свечи, принесли хлеба, поставили пиво и кто дал денег. Милостиво прими, аминь!»

Этому «великому древнему богу» молились одинаково новокрещенные и язычники. Господин Смирнов приводит черемисскую сказку, в которой какой-то мелкий водяной хочет съесть девочку,— и делает из этого вывод, что родственные черемисским боги вотского эпоса тоже требуют человеческой жертвы. Но ведь и в наших

сказках есть баба-яга, которая «не прочь полакомиться человечиной», а водяной в сборнике Афанасьева хватает проезжего купца за бороду и требует в выкуп того, чего купец дома не знает (новорожденную дочь),— точь-в-точь, как в черемисской и вотской сказке.

И мне кажется, что я с большим правом могу перенести в вотский эпос «Великого древнего бога», называемого Ин-маром, Квазем, Кылдысином и еще несколькими именами. Господин Смирнов все эти имена производит от разных стадий религии — фетишизма, анимизма, антропоморфизма, спиритуализма. Пусть так. Но и бог ветхого завета носил шесть имен, и каждое имя означало также какую-нибудь стадию на пути от идолопоклонства к великой отвлеченной духовной идее. Вправе ли мы сказать, основываясь на этом, что ессей, взывавший к Адонаи и уже предчувствовавший христианство, является, например, «типическим» огнепоклонником. «Ветхому деньми» тоже приносились в древние времена кровные жертвы. Но мы знаем, что между жертвоприношением Исаака и принесением двух голубей в Иерусалимский храм лежит целая огромная история...

Одна из двух черемисских сказок, приводимых господином Смирновым в доказательство возможности человеческого жертвоприношения у вотяков, показалась нам особенно интересной, и я очень сожалею, что почтенный профессор не досказал ее на суде до конца, ограничившись лишь поверхностным изложением.

Это сказка о черемисской злой мачехе.

Злая мачеха прикидывается больной, злая мачеха зовет своего мужа. «Поди в лес, к колдунье, она скажет тебе, что нужно сделать, чтобы я стала здорова». Муж отправляется в лес. А злая мачеха в это время *переодевается колдуньей*, бежит сама в назначенное место и говорит от имени колдуньи, что для выздоровления жены нужно убить ее пасынка (вероятно, в жертву какому-нибудь злому божеству). Отец возвращается грустный и не решается исполнить это требование. Тогда злая мачеха захварывает еще сильнее, опять посылает мужа к колдунье, опять переодевается, опять бежит в лес и этим обманом, наконец, добивается своего!

Из этого,— опять заключает г. Смирнов,— мы видим, что божества черемисского эпоса не прочь пола-

комиться человечиной. Правда, в эпосе вотском даже и такой сказки нет, но в науке существует «сравнительный метод», который позволяет г. Смирнову пополнить черемисской сказкой недостающее ему доказательство. И это приводится в подтверждение того, что сидевшие перед судом мултанцы *могли совершить* человеческое жертвоприношение! Эксперт забыл, к сожалению, про «злую мачеху» из наших русских народных сказок, тетка которой тоже ест детей. Это во-первых. А во-вторых, он упустил из виду, что эта сказка представляет прямое *отрицание* того, что хотел доказать профессор. Правда, бедный черемис поверил и убил сына. Но народ, создавший эту сказку, уже явно не верит умилостивительной силе человеческой жертвы. Разве тот, кто додумался до этой сказки, не говорит так ясно глупому человеку: тебя обманули. Ты думаешь, что крови сына требует божество, а между тем тебе, глупому, говорила это злая и хитрая женщина!

Да, если эта сказка доказывает что-либо, то разве то, что даже в сказке умерла уже вера в необходимость человеческой жертвы! Умерла, как умерли те периоды, через которые последовательно проходила языческая вера черемис и вотяков. «Большая часть этих явлений (верований, обрядов и созданий творчества) говорит о прошлых, пережитых эпохах духовного развития; они держатся в силу традиции, не имея подчас корней в сознании народа. Исследователь должен ими пользоваться прежде всего как материалом для *истории* духовного развития народа».

Кто это говорит? Это тоже говорит профессор Смирнов,— и это не мешает ему, однако, делать скачок из периода черемисской сказки в «духовную жизнь» современного вотяка. На вопрос защиты,— много ли перенимают вотяки у соседей,— г. Смирнов ответил, что вотяки народ переимчивый. Это же подтверждается и в книге профессора: тюрки-магометане одним своим соседством и общением, даже без школ, даже без храмов, даже без книг, ввели в антропоморфическую религию вотяка духовное начало и дали ему, вместо небесного человека Ин-Мурта,— небесного духа Ин-Мара. Но дальше на вопрос защиты, можно ли думать, что современный вотяк остался тем же, каким был лет двести назад, ученый

эксперт ответил: «Мы считаем, что современный вотяк еще *типичнее*, чем во времена Палласа и Миллера».

Мне кажется, что это мнение почтенного исследователя очень напоминает отзыв о портрете, который более похож, чем сам оригинал. Более похож,— значит уже не похож, и я думаю, что «более типичный» вотяк г. Смирнова есть лишь вотяк его кафедры и его книги. Но его, может быть, и не было среди живых вотяков из Мултана, судьба которых решалась в той самой зале, где ученый профессор рассказывал черемисские сказки...

Да, современные этнографы узнали более, чем знали Паллас и Миллер. Поэтому этнографический образ теперь полнее. Но г. Смирнов забыл, что речь идет не об этнографическом образе, собранном по кусочкам из Сосновского края, с Вавожской и Уваткулинской стороны, из Бирского, Глазовского, Елабужского и Малмыжского уездов,— и дополненного историческими исследованиями седой старины. Этот вотяк верит в Ин-Мурта-человека, и в фетишей, и в мудоров, и в воршудов, как и русский объект историко-этнографических исследований. Но возьмите любого живого вотяка в отдельности, и он уже не знает многого, что знает г. Смирнов. В нем уже многое умерло и многое народилось вновь. Что такое мудор-воршуд? — спрашивает, например, этнограф и получает целый ряд разнообразнейших ответов. По словам одного, мудор есть родовое имя, «тогда как всем известно, что это слово есть синоним воршуда»,— говорит г. Смирнов в своей книге («Вотяки», стр. 295). Далее оказывается, что воршудные имена — это имена *давно забытых* богинь. Еще дальше господин Верещагин тоже смешивает воршуда, как божество, с воршудным именем (стр. 304), еще дальше «воршуд есть слово, означающее род и относящееся исключительно к лицам женского пола» (219). «Воршуд — это идол, помещающийся в переднем углу квалы». «Воршуд — бог счастия семейной жизни», воршуд — коробка с монетой или оловянной и свинцовой бляшкой, ложкой, хвостиком белки, золой (213). Воршуд (в одной сказке) — человек в белой одежде, которого вотяк прогоняет выстрелом из ружья (214). Воршуд — христианский ангел-хранитель (240).

Наконец, «для елабужского и сарапульского вотяка воршуд — синоним Ин-Мара (стр. 210), то есть назва-

ние, обозначающее также и единого бога. Что касается Мудора — то и он тоже претерпел сильные превращения: «Мудор — дерево-покровитель и его части — ветви; на мудоре (ветках) стоит воршуд (коробка), мудор — просто жертва перед иконой, мудор — икона, образ» — в словаре Зеленова. Наконец, эксперт г. Верещагин тоже самым решительным образом заявил на суде: «Господин Смирнов говорит: мудор — бог. Но мудор не бог, мудор — икона».

Я понимаю, конечно, что г. Смирнов вправе расположить все эти предметы в логическую цепь и протягивать ее в глубь минувшего, к давно забытым богам или богиням, дополняя своими изысканиями черты легенд и сказок. Но неученый вотяк просто читает перед иконой (мудором) христианскую молитву, или переносит свой кусочек сухой ветви или беличий хвостик из старого дома в новый, совершенно не задаваясь вопросом о том, что думали об этом его «типичные» предки, как мы не задаемся этими вопросами, прибивая подкову на пороге...

Я тоже получил свою долю сведений о воршуде. Это было в Мултане, куда я приехал после суда. Сын одного из оправданных в Малмыже вотяков, грамотный и развитой сын расторопного отставного солдата — водил меня в шалаш, где якобы совершено было человеческое жертвоприношение. Шалаш этот произвел на меня своеобразное и очень сильное впечатление. Это просто большой амбар с двускатною крышей. Крыша и теперь раскрыта, как и тогда, когда в нем производили обыски и (напрасно) искали следов крови. Земляной пол весь изрыт, густая пыль лежит на полках, расположенных вдоль стен. На одной из полок стоял образ (мудор) Николая Чудотворца. Хозяин этого шалаша давно умер напрасною жертвой «ритуального дела» в тюрьме и хозяйка тоже. Из ближайшего дома со страхом смотрели на нас испуганные детские лица. Это семья одного из осужденных, «одно малое племя», то есть малолетки,— как сказал мне мой провожатый... Выйдя оттуда, я разговорился с солдатом о мифологии.

— Есть у вас мудоры?

— Есть мудор. Мудор — икона,— ответил он.

— А воршуд?

— Есть и воршуд.

— Что же это такое? — спросил я, радуясь, что наконец на место Курбона и Чупкана я могу поймать в Мултане хоть одного живого языческого бога.

— Воршуд, видите что... Видели вы в шалаше полки?

— Видел.

— Хлебы кладем мы на полки, молимся. Вот воршуд.

Итак, вместо бога Мудора — икона, вместо Воршуда — обряд освящения хлебов. Что мой собеседник говорил правду, это косвенно доказывает ссылка г. Смирнова на указание г. Богаевского («Воршуду или Мудору запрещается приносить кровавые жертвы» — хлеб не кровавая жертва). Наконец, если бы оказалось даже, что в Мултане есть «бог Воршуд», то и тогда еще «сарапульские и елабужские вотяки слово «Воршуд» иногда употребляют, как синоним «Ин-Мара»,— то есть благого духовного бога!

На суде защитник спросил у тыр-восяся Михаила Титова:

— Ин-Мар — кто такой?

Свидетель:

— Вот! (поднимает глаза и крестится).

— Значит наш бог?

— Бог, все равно... конечно, бог... господь.

Затем, по требованию председателя читает молитву Ин-Мару: «Ин-Мар-нянь-чесь, ныпли десьми уось» (записано, быть может, не совсем точно). В переводе, по его словам, это значит: «Бог хлеб давал бы, здоровья давал бы».

Вот это, действительно, совпадает с черемисской молитвой: «Великий древний бог» и т. д. Но это же совпадает в значительной степени и с нашей молитвой: «иже еси на небесех, хлеб наш насущный даждь нам днесь».

На вопрос председателя, обращенный к священнику Ергину, очевидцу жертвоприношения,— какие это боги, кому они поклонялись на своем мольбище,— о. Ергин ответил:

— Они так говорили: тому же богу кланяемся, как и вы, а если в лесу, так потому, что отцы и деды так поклонялись.

На суде этому не поверили... А между тем, этому следовало поверить, и мы все стояли в эту минуту очень близко к истине в вопросе о том, кому приносят вотяки кровавые жертвы. Это истина грустная, но все же далеко не в такой степени, как пытался доказать г. Смирнов своими двумя черемисскими сказками. Да, обряд остался, но его содержание изменилось. Правда, наше понятие о боге оскорбляется тем, что эти люди приносят ему кровную жертву. Но самая жертва уже не так ужасна, как жертва какому-то несуществующему людоеду Курбону. Мы видели, что черемисы приносили ее «древнему богу», Михайло Титов режет быка в честь Ин-Мара, того самого, в честь которого осеняет себя крестным знамением, а старуха, мать обвиняемого Кузнецова,— стоит при этом даже на коленях, как в церкви... И, может быть, старческими губами молит Ин-Мара, древнего бога, к которому стремится из мрака времен мысль всех народов, чтобы он отвел от ее сына тяжелое обвинение в каннибальской жертве забытым давно божествам...

Очень может быть, что тут примешиваются еще какие-нибудь черты язычества,— но мы видим, однако, что между ничтожными нулес-муртенятами, которых можно изжарить в костре, и между мудорами-воршудами, которые выродились у одних в кусочки сухих древесных ветвей, а у христиан обратились в иконы или в одно из наименований «Того, что на небе»,— ни экспертиза, ни мифология Кобылина не сумели поставить того бога, которому могла быть принесена человеческая жертва: воршуду и лешим — уже не стоит, а тот, кого зовут Ин-Маром, уже ее не примет...

Что это наше предположение верно,— это доказывает и сам г. Смирнов: Ин-Мар, Кылдысин и Квазь,— говорит он (стр. 240)—*слились с христианским богом отцом, сыном и духом святым;* воршуды — с ангелами-хранителями, а отдельные святые — с духами явлений природы.

Слились, но старый обряд еще остался. «В селах Глазовского уезда,— пишет г. Смирнов (на стр. 241),— распространены так называемые напольные молебны,— в Панинском приходе около Троицы, в озимом поле перед началом пашни. Молебен пригоняется обыкновенно к воскресению; накануне, в субботу, совершается языческое моление. В поле устраивается скамейка *для иконы*

и обставляется срубленными березками. Перед иконой *служат молебен* и приносят *жертву*. В поле приводится жертвенный бык, купленный на общественные деньги, и здесь его колют Жрец берет в руки березовую ветку и читает вотскую молитву, а в это время с мясом жертвенного животного варится каша для всей деревни. По окончании языческого моления приезжает православный священник, служит молебен и освящает жертвенные яства; по окончании молебна священнику подносят на блюде голову жертвенного животного, священник кропит ее водой и делает на ней крест. Голова и внутренности поступают на угощение духовенства; остальное съедают молящиеся; кожа идет на церковь» [1].

«При некоторых церквах Вятской губернии,— продолжает г. Смирнов,— как нам передавали, устраиваются специально жертвенники, напоминающие своим расположением вотские дзек-квалы; это палатки, в которых по краям расставлены скамьи, в средине — столы, уставляемые жертвоприношениями, которые, после благословения священника, тут же и поедаются с возлиянием кумышки. В *Малмыжском уезде* также весной в озимом поле закалывается бык, над которым сначала читается вотская молитва, а затем христианское благословение...»

Ну, так вот и Мултан находится в Малмыжском уезде. А ученый профессор, сам написавший все это, ищет мудоров и воршудов, которым мултанцы приносили свои жертвы. И таких даже, которым, на основании сказок,— приносятся будто бы жертвы человеческие! Господин Смирнов забыл, что сказка может представлять простую окаменелость совсем другой антропологической формации, нахождение которой не доказывает, что соответствующая ей форма живет и теперь!..

Бог простит, вероятно, присяжным, слушавшим в первый раз в жизни слова ученого профессора, утверждавшего «с положительностью», на основании черемисских сказок, возможность человеческого жертвоприношения у современных вотяков-христиан. А пока очевидно, что Курбон Кобылина и урядника Соковикова, от которого отказался даже обвинитель на суде, не заменен никаким другим божеством, требующим человеческой жерт-

---

Смирнов — Вотяки. Стр. 241.

вы Мы вправе также совершенно отвергнуть сказочную теорию почтенного профессора и присоединиться к мнению г. Богаевского и г. Верещагина, который категорически заявил на суде:

— Вотское божество человеческой жертвы не требует...

По крайней мере до тех пор, пока на место кобылинского Курбона, который означает «моление», на место мудоров и воршудов, которые обратились или в иконы, или в сухие ветки, на место нулес-муртов, которых вотяк сам может изжарить на костре, на место сказочных вумуртов, которые открыли на базарах скромную торговлю рыбой,— нам не покажут какого-нибудь языческого бога, достаточно злого для того, чтобы потребовать человеческой жертвы, достаточно могущественного для того, чтобы ему ее дали! Бога, которого бы признавал весь вотский народ, потому что обвинение мултанцев истекает из признания «обычая» у всех вотяков, основывается на слухах, собираемых не в Мултане, предполагает не переживания только, а настоящий культ, еще живой и общий всей вотской народности...

А между тем, общего культа у вотской народности уже давно нет. «Типичный вотяк» профессорских лекций может становиться еще «более типичным» на страницах научных исследований; он, может быть, вспомнит даже тех «богатых и славных богинь», которые дали ему некогда воршудные имена. Но с живым инородцем происходит как раз обратное. Уже теперь есть местности, в которых умерла не только старая вера, но и старый обряд. Есть другие, где, быть может, жив не только обряд, но и самая вера. Вся остальная масса вотского населения располагается между этими крайними полюсами живая, изменчивая, пестрая. Старое в ней угасает, хотя, быть может, не вполне угасло, новое уже народилось, но еще не окрепло. Найти место Мултана в этом потоке, на пути от язычества к христианству, отыскать то, что еще живо от старых богов, или приурочить старый обряд к новой вере — вот какова была задача ученой экспертизы... К сожалению, она даже не попыталась ее исполнить...

Это осталось открытым вопросом в деле, переполненном сомнениями, наряду с другими, тоже не разрешен-

ными вопросами: где же ночевал действительно Матюнин, в Мултане или в Кузнерке? Кем у него отнята голова: мултанцами, или теми, кто с неизвестною целью надевал и снимал с него одежду уже в то время, когда убитый лежал на тропе? И не могла ли та же рука, которая все это делала неизвестно зачем,— вынуть также и внутренности из убитого в первые дни или даже в длинный промежуток времени между нахождением трупа (когда никто еще не знал, что у него нет сердца и легких) — и вскрытием, которое сделано через месяц?

Зачем это могло бы быть сделано? — спросит, конечно, читатель.

Здесь я старался лишь показать, что в деле и ныне осталось недоказанным самое существование у вотяков человеческих жертвоприношений. В другом месте и на основании других данных, в настоящей статье не затронутых, я буду доказывать, что это могло быть сделано с целью симуляции жертвоприношения, которая и достигнута тем, что все дознание, следствие и самый суд направлены по ложному следу.

А в результате — опасность страшной и уже окончательной судебной ошибки...

1895

РЕШЕНИЕ СЕНАТА ПО МУЛТАНСКОМУ ДЕЛУ

Читателям «Русского богатства» известна сущность мултанского дела, получившего громкую огласку. Несколько вотяков Малмыжского уезда обвинялись в принесении человеческой жертвы языческим божествам; активное участие в самом убийстве приписывалось десяти подсудимым; в пассивном участии, укрывательстве и содействии обвинялось население целой местности, в интересах которой и для удовлетворения общего культа, существующего будто бы у всей вотской народности, принесена самая жертва.

Дознание и предварительное следствие тянулось 29 месяцев. Зимой 1894 года десять вотяков были пре-

даны суду сарапульского округа в гор. Малмыже, причем трое оправданы, а семи вынесен обвинительный приговор, отмененный сенатом по жалобе защиты. Мотивом кассации послужили существенные нарушения судопроизводства и признанная неравноправность сторон, допущенная судом. Первый отчет по этому делу, напечатанный, к сожалению, в малораспространенном «Казанском телеграфе»,— нарисовал поразительную картину произвола и нарушения самых элементарных начал правильного судебного процесса. Несмотря, однако, на эту поправку, внесенную сенатом, признавшим чрезвычайную неполноту и односторонность следственного материала,— что обязывало суд восстановить по возможности нарушенные права защиты,— дело поступило для вторичного разбирательства (в Елабуге) в том же, совершенно не исправленном и не восстановленном виде. Чрезвычайно характерна для прочно установившихся судебных приемов в этой отдаленной местности та крайняя беззаботность, с которой члены сарапульского суда отнеслись к напоминанию об элементарных началах юридической справедливости, исходившему от высшей судебной инстанции. Очевидно, сарапульский окружной суд посмотрел на кассацию лишь как на случайность, как на одну проигранную ставку в обвинительной игре, которую можно начать сначала при тех же условиях. Распорядительное заседание, подготовлявшее материал для нового суда над вотяками, происходило при участии прежнего председателя г. Горицкого, и опять все просьбы защиты о вызове свидетелей со стороны вотяков были отвергнуты огулом, по соображениям частию слишком формальным, частию даже, как это признано сенатом,— совершенно незаконным. 29 сентября 1895 года в гор. Елабуге семь вотяков опять предстали перед судом присяжных, и опять против них выступили два полицейских пристава, три урядника, старшина, несколько старост и сотских, вообще тридцать семь свидетелей, в числе которых не было опять *ни одного*, вызванного по специальному требованию защиты. Словом, суд в Елабуге лишь в несколько смягченном виде повторил суд в Малмыже, причем вниманию двенадцати присяжных был предложен все тот же односторонне обвинительный материал, все те же слухи, неизвестно откуда исходящие, все те же

вотяки, невежественные и беззащитные. Виноваты ли присяжные, что на основании одностороннего материала вынесли приговор, который опять не может быть признан окончательным?

Защитником была подана новая кассационная жалоба: 22 декабря истекшего года жалоба эта рассмотрена кассационным департаментом сената, и вскоре же телеграммы разнесли весть о новой отмене приговора по мултанскому делу. Уже вторичная отмена сенатом судебного вердикта представляет явление очень редкое в нашей практике. Но в данном случае то, что стало известно из газет о мотивах кассации, вскрывает попутно такую яркую бытовую картину, которая и сама по себе добавляет не последнюю черту в этом вообще необыкновенно характерном деле. Невольно рождается вопрос: что же это, наконец, за атмосфера в этих инородческих отдаленных окраинах, что это за ужасная атмосфера, в которой даже представители суда доходят до таких удивительных приемов, до таких совершенно неожиданных взглядов на самые основы суда и состязательного процесса?

Привожу из газет («Русские ведомости») содержание этого нового сенатского Quos-ego * по адресу сарапульского окружного суда. Заключение по жалобе защиты давал А. Ф. Кони, который охарактеризовал настоящее дело одной существенной и главной его чертой: «Судебным расследованием устанавливается здесь не одна лишь виновность тех или иных определенных лиц, фигурирующих в качестве подсудимых, а констатируется известное *бытовое явление*, произносится суд над *целой народностью или целым общественным слоем* и создается *прецедент*, могущий иметь на будущее время значение судебного закрепления виновности той или иной группы населения. Результатом деятельности суда в таких случаях является не только res judicata **, но историческое свидетельство за или против той или иной морально-бытовой оценки данного уровня культуры — в целой народности или в отдельных ее классах; вот почему пределы исследования должны здесь раздвинуться,

---

* Я вас! (*лат.*)
** Юридический прецедент (*лат.*).

раздаться возможно шире, чтобы приблизиться по всесторонности, полноте и беспристрастию к исследованию научному. Основания приговора, из которого вытекает, что теперь, на пороге XX столетия, существуют человеческие жертвоприношения среди народа, который более трех веков живет в пределах и под цивилизующим воздействием христианского государства, должны быть подвергнуты гораздо более строгому испытанию, чем те мотивы и данные, по которым выносится обвинение в заурядном убийстве. Между тем, в течение производства суд не однажды погрешил против указанной основной особенности дела, несмотря на то, что эта особенность была рельефно подчеркнута в назидание суду в первом определении сената по делу, коим был кассирован первый обвинительный приговор».

Эти совершенно ясные слова уважаемого судебного деятеля не могут, конечно, подать повода ни к каким недоразумениям. Суд обязан *во всех случаях*, важных и неважных одинаково, дать сторонам все средства для выяснения дела, и требование беспристрастия, разумеется, нимало не ослабляется тем соображением, что суду подлежит решение одинокой судьбы никому не известного человека. Бывают, однако, случаи, которые в практике всех судов признаются *особо важными*, когда, кроме пассивного беспристрастия к усилиям сторон, суд должен сделать и с своей стороны все возможное для выяснения не одного лишь вопроса о виновности или невиновности данных лиц, но также и о бытовой подкладке данного дела, имеющей порой очень глубокое государственное и общественное значение. Таково именно мултанское дело, и если бы простая истина, высказанная А. Ф Кони, не была игнорирована сарапульским судом с самого начала, то и это дело было бы признано делом «особой важности» и тогда, без сомнения, научно-этнографические вопросы, возникшие по этому поводу, решались бы не при помощи одних лишь Кобылиных, урядников Соковиковых и «неизвестных нищих», рассказывающих сказки на ночлегах,— не говоря уже о том, что труп Матюнина не лежал бы до вскрытия в течение месяца (в майские — июньские дни), и следователь не выжидал бы по четыре месяца прежде, чем послать то или другое «кровяное пятно» для химического исследования.

Между тем, по словам А. Ф. Кони,— «главный грех производства по настоящему делу состоит в забвении судом его основной черты — его широкого бытового значения — и в разнообразных помехах, которые ставились поэтому его всестороннему исследованию и освещению. Суд, даже в тех случаях, когда он действует в пределах дискреционной власти, не может избрать девизом своей деятельности: sic volo, sic jubeo, sit pro ratione voluntas *, и отношения его к сторонам и их ходатайствам не могут определяться произволом или капризом

«Ходатайство о вызове новых свидетелей может быть отклонено судом — это его право, но подобный отказ должен быть мотивирован обстоятельным разбором относимости к делу и важности обстоятельств, для подтверждения коих сторона ссылается на свидетелей, а не одним лишь формальным очистительным заявлением о том, что суд считает уместным эти обстоятельства игнорировать. Но так именно поступил в данном случае суд в ответ на просьбу подсудимых о вызове на их счет новых свидетелей, заявленную одновременно с просьбой о вызове новых экспертов. Или — далее — суд отказывает в вызове в качестве свидетелей тех из подсудимых, кои были оправданы первым приговором, приводя в объяснение то, что обязательный вызов таких свидетелей не установлен никаким «основным законом». Если основные законы Российской империи и могут иметь отношение к разрешению указанного частного процессуального вопроса, то уместнее всего окажется тот основной закон, который запрещает судам «обманчивое непостоянство и самопроизвольные толкования». Ибо если не в основных законах, то в уставе уголовного судопроизводства ясно определено понятие свидетеля по делу: это — лицо, которое призывается показать перед судом все, что оно видело, слышало и знает по делу. Если лица, привлеченные к делу, два года продержанные в предварительном заключении, преданные суду и посаженные на скамью подсудимых, должны a priori ** считаться ничего не видевшими, не слышавшими и не ведающими относитель-

---

* Так хочу, так приказываю, да будет вместо разума моя воля (*лат.*).

** Независимо от опыта, от проверки (*лат.*).

но события, в котором они играли главную роль, то после этого свидетелей, в легальном смысле этого термина, не существует вовсе. Или суд отклоняет ходатайство защитника об отсрочке заседания ввиду вызова обвинительной властью новых свидетелей и предъявления новых улик,— ссылаясь на соответствующее право прокуратуры, не подлежащее, будто бы, никакой поверке суда, а также на то, что защита имела возможность повторить свое ходатайство в тот момент производства, когда новые свидетели и новые улики вступили в его течение и заняли в нем определенное место. Но суд ошибается: защита не исполнила бы своего долга, если б упустила заявить просьбу об отсрочке заседания при первом появлении в деле новых и неожиданных для нее фактов и лиц, а предлагаемое ей судом повторение ходатайства — в тот момент, когда оно оказывалось запоздалым и не подлежащим удовлетворению,— равносильно приглашению к совершению акта ничтожного и незаконного. Или, наконец, суд удерживает защитника от допроса свидетеля, станового пристава Шмелева, о его оригинальных действиях по производству вторичного полицейского дознания, находя, что свидетель не обязан отвечать на вопросы, могущие привести к уличению его в преступлениях по должности. Но деятельность пристава Шмелева по производству дознания есть деятельность должностная, публичная, и квалификация ее в качестве преступной или непреступной принадлежит не самому должностному лицу, а его начальству. Поэтому суд не вправе был устранить вопросы о грубых, жестоких или самоуправных действиях, доставивших канву для всего последующего производства, на том только основании, что разоблачение этой грубости, жестокости или самоуправства может открыть и состав какого-нибудь уголовного деяния».

Признав правильность соображений, приведенных обер-прокурором, кассационный департамент постановил вторичный приговор по мултанскому делу отменить и, кроме того, *членам суда, принимавшим участие в двух распорядительных заседаниях по этому делу,— сделать замечание.*

Таков этот новый эпизод мултанского процесса. Картина, однако, будет неполна, если мы не приведем еще

одной замечательной черточки, совершенно неожиданно украсившей собою это характерное дело. Из той же речи г. обер-прокурора мы узнаем, что «кассационная жалоба защитника прибыла в сенат в сопровождении целого ряда «объяснений», присланных как судом в полном составе, так и отдельными членами. Между прочим, один из товарищей председателя вятского окружного суда в отдельном объяснении излагает свой взгляд на дело, вынесенный им из разбирательства по существу,— взгляд, безусловно неблагоприятный для подсудимых,— и вместе с тем делится с сенатом драгоценными сведениями о том, что кассационное обжалование есть затея не обвиненных, людей темных, готовых, дескать, покориться своей участи, а их защитника и нескольких «газетных корреспондентов», и не менее драгоценной догадкой, что если названный защитник и корреспонденты добьются кассационной отмены приговора, то они впоследствии добьются и оправдания подсудимых, вырвут оправдательный приговор и у присяжных заседателей. Обер-прокурор счел своей обязанностью отметить и осудить это стремление насильно вовлечь сенат в «существо дела», то есть в тину провинциальной сплетни, как не соответствующее «ни достоинству писавшего, ни высоте того места, куда он обращался».

Иронический эпитет, употребленный А. Ф. Кони по отношению к этой новой неожиданности, мне лично кажется применимым в самом прямом, самом серьезном смысле Разве не «драгоценна» в самом деле эта удивительная, вполне непосредственная доверчивость, с которой «председательствовавший» в судебном заседании обращается в высшую инстанцию, делясь с ней, так сказать, на ушко,— не только своими личными выводами, но и провинциальными сплетнями? Разве не драгоценна эта похвала смиренным людям, которые, вследствие темноты, подчинились бы своей участи и пошли бы на каторгу, не беспокоя ни сарапульских судей, ни сенат своими, как оказывается, совершенно основательными жалобами? Разве не столь же драгоценна простодушная откровенность, с которой усилия защиты, основанные на таких вопиющих нарушениях, приравниваются к интриге? Что еще писал господин председательствовавший член суда в своем «отзыве», мы не знаем,— но сказанного

достаточно. Ведь это пишет не урядник Соковиков, не пристав Шмелев и даже не товарищ прокурора г. Раевский, руководивший этим «блестящим» дознанием и следствием,— это пишет опытный юрист, давно «работающий на судебном поприще». Да, эта черта драгоценна, и именно тем, что дорисовывает картину этого яркого, полного неожиданностями дела. Если так говорят члены суда, обращаясь в высшую инстанцию, если даже в этом случае «опытные юристы», привыкшие к порядкам данной окраины, доходят до такого забвения основных начал своей деятельности,— то как они рассуждают, разговаривают, действуют у себя, «дома», имея дело действительно лишь с «темными людьми», не знающими, где искать защиты, не имеющими опоры ни в «интригах защитника», ни в гласности? Наконец, чего же после этого ждать от остальных, начиная с товарища прокурора г. Раевского (бывшего врача, начавшего лишь сравнительно недавно юридическую карьеру под просвещенным руководством господ сарапульских судей), до приставов и урядников.. Мудрено ли, что даже «Вятские губернские ведомости», не обинуясь, признают, что «к раскрытию (мултанского) преступления полиция употребляла всевозможные меры,— не пренебрегла даже деревенским знахарством, в котором замечен какой-то медвежий культ» (см. «Вятские губ. вед.», № 91, 1895 года). «Весь уезд,— пишет корреспондент из Малмыжа, ссылаясь на эту выдержку из официального органа,— знает о деяниях господина Шмелева, только один г. Раевский составляет странное исключение, хотя, по словам самого пристава, он в то время был в Мултане с ним» («Нижегор. листок», № 351, 1895).

Вот на какие факты закрывают глаза судебные деятели, которым зато угодно делиться с сенатом провинциальными сплетнями о защите и корреспондентах. Всякому, кто следит за провинциальными известиями в газетах, не могло не кинуться в глаза обилие за последнее время сообщений об истязаниях при предварительном дознании. Дело Адамова среди латышей Псковской губернии приводило в ужас необыкновенным драматизмом, почти сказочным злодейством истязателей. Но в газетах Волжско-Камского края мы встречаемся с другим ужасом из этой же области. Нельзя сказать, чтобы чины

слободской полиции, практиковавшие подвешивание и пытку, или яранский урядник Луппов, превративший заподозренного в краже Прохорова из здорового человека — «в совершенного калеку с костылями» («Вятский край», № 121) — во многом уступали псковскому Адамову. Есть, однако, дела не столь вопиющего драматизма, от которых поистине волос становится дыбом.

Таково, например, дело, изложенное в корреспонденции из Елабуги[1] По содержанию оно необыкновенно просто. Крестьянин Чернышев из дер. Яковлева, Елабужского уезда, отправился в гости в дер. Новую Мурзиху, к крестьянину Фуженкову, на мельницу, арендуемую Денисовым. Дело было на святках, в праздник. Выпили и пошли с ряжеными по деревне, где зашли в дом к мельнику Денисову. Отсюда компания направилась дальше, а выпивший Чернышев от нее отстал и домой уже не являлся. Несколько крестьян видели перед вечером человека, шедшего без шапки и в расстегнутом полушубке по направлению к дер. Яковлевой. А так как к ночи поднялась метель, то решили, что Чернышев, вероятно, замерз пьяный в поле, и его занесло снегом.

Но елабужская полиция не могла успокоиться на этой гипотезе. Это совершенно понятно, как и то, что «хороший полицейский» почти всегда найдет виновного в Вятской губернии. Поэтому елабужский исправник Таширев отправился на место действия, арестовал мельника Денисова, засыпку Фуженкова, да еще соседа их Борисова и привез всех в Елабугу Здесь, в закрытом помещении, их подвергли соответственным «убеждениям», давшим блестящие результаты,— все трое сознались. Денисов признался в том, что это он убил Чернышева, случайно приняв его за вора. Фуженков же и Борисов подробнейшим образом описали, как они запрягли лошадь, увезли труп на реку Вятку, оставили лошадь на берегу, так как лед был тонок, несли труп на руках до полыньи, потом положили его на закраину, потом столкнули в воду длинною жердью. Вот видите, с какими подробностями раскрыто это преступление «путем убеждения» преступников в закрытом помещении при елабужской полиции! Правда, у следователя все трое отказа-

---

[1] «Нижегородский листок», 1895, № 342.

лись от этих признаний, утверждая, что сознание вынуждено у них побоями и истязаниями, причем будто бы у Борисова во время очной ставки был «полон рот крови». Но, говоря словами обвинителя вотяков г. Раевского, «какой же полицейский позволит себе что-либо подобное, какой же судебный деятель решится скрыть такие действия?» «Преступникам» не поверили, составили обвинительный акт и предали суду. Очень вероятно, что все трое, «как люди темные, подчинились бы обвинительному приговору», который, ввиду сознания, был более чем вероятен, если бы на этот раз не вмешалась своего рода «интрига» со стороны весеннего солнца. Прошло девяносто семь дней, наступила весна, снег начал таять и под ним, в поле, у дороги нашли труп Чернышева, без признаков насильственной смерти, просто-напросто занесенным снегом и замерзшим...

Читатель, может быть, полагает, что после этого прокурор отказался от обвинения, а о действиях полиции начато дознание. Нет, товарищ прокурора поддерживал обвинение, а полицейские повторяли с чрезвычайной точностью все показания, клонившиеся к доказательству того, что Чернышев не только замерз, но и убит, не только найден в поле, но и утоплен в реке. Нашлись даже и сторонние свидетели, которым «убийцы» каялись («грех наш»). Но, разумеется, добиться обвинения при этих условиях было трудно — все трое сознавшихся оправданы.

А дальше? Дальше, разумеется, ничего. Сарапульский суд нашел, что тут нет обстоятельств, способных привлечь его особенное внимание на те способы убеждения, которыми у мнимых убийц исторгнуты такие удивительные подробности несовершенного преступления!.. И если мы говорим теперь об этом деле, если о нем писали столичные газеты, если оно обращает еще чье-либо внимание, то это уже интрига неведомого корреспондента, огласившего в скромной провинциальной газете удивительные подробности этого дела...

Я лично, как человек тоже причастный к перу и к провинциальной публицистике,— прочитал с особенным удовлетворением то место, где г. сарапульский судья счел нужным сказать свое слово о деятельности корреспондентов. Полагаю, то же почувствует и каждый работник печатного слова в провинции... Правда, член сарапуль-

ского суда квалифицирует деятельность корреспондентов довольно сурово. Но... мы желали бы, чтобы во всех случаях нападок на прессу было так же ясно, как в данном случае, на чьей стороне правда: на стороне ли скромных работников печати, оглашающих эти удивительные порядки елабужских, мултанских и иных дознаний,— или же на стороне их строгих ценителей и судей, пытающихся самый сенат вовлечь в тину провинциальной сплетни.

1896

ТОЛКИ ПЕЧАТИ О МУЛТАНСКОМ ДЕЛЕ

Эту часть текущей нашей хроники мы начинаем под впечатлением известия об оправдательном вердикте по мултанскому делу.

История эта с внешней стороны в значительной степени известна нашим читателям. В Малмыже и Елабуге подсудимые вотяки были обвинены в принесении человеческой жертвы языческим богам. Сенат дважды кассировал дело, находя в нем такие существенные нарушения судопроизводства, которые внушали сильное сомнение в правильности самого приговора, поставленного на основании слишком одностороннего следственного и судебного материала. После второй кассации дело было изъято из Сарапульского округа и передано в Казанский. В печати появился отчет о заседаниях елабужского суда, послуживший материалом для суждений прессы и специалистов. Сомнение в виновности вотяков все крепло в обществе, а заключения специалистов отчасти приподымали завесу, опущенную над этой таинственной драмой вопиюще небрежным и односторонним следствием.

Тем не менее, в газетах уже весной настоящего года появились известия, сначала показавшиеся весьма сомнительными, но впоследствии получившие полное подтверждение. Оказалось, что казанский суд назначил разбирательство в уездном городе Мамадыше, хотя и

Казанской губернии, но расположенном на самой границе Малмыжского уезда, то есть в сфере тех же «слухов и толков», ареной которых является этот последний уезд в течение вот уже четырех лет. Затем газеты принесли известие, что во всех ходатайствах защиты о вызове новых экспертов и свидетелей казанским судом отказано и что, таким образом, дело предстанет перед присяжными совершенно в том виде, в каком оно являлось уже два раза: в Малмыже и Елабуге.

Затем из телеграммы «Русских ведомостей» мы узнали, что 28 мая открылось в Мамадыше заседание выездной сессии, под председательством г. Завадского. Обвинителем явился прикомандированный специально для этого дела тов. прокурора г. Раевский (обвинявший вотяков в Малмыже и Елабуге и руководивший предварительным следствием) и прокурор казанского суда г. Симонов. Защита состояла из господ Дрягина, Карабчевского, Короленка и Красникова. Это усиление состава защиты и являлось, если не ошибаемся, единственной чертой, отличавшей новое заседание от прежних; обвинение же усилило число ранее вызванных свидетелей одиннадцатью новыми.

Из той же телеграммы мы узнали, что защита предъявила вновь ходатайство о вызове с своей стороны свидетелей, в опровержение новых показаний, но ей в этом было отказано. В зале присутствовали профессора судебной медицины казанского университета г. Леонтьев, и харьковского — г. Патенко, явившиеся сюда с научными целями ввиду огромного интереса, возбужденного этим делом. С этой же целью приехал из Томска ученый этнограф С. К. Кузнецов. Защита просила суд воспользоваться этим благоприятным обстоятельством и дополнить экспертизу уездных врачей заключением признанных ученых специалистов.

Судом и в этом ходатайстве отказано.

Затем известия смолкли, и в течение восьми дней в далеком Мамадыше, в тесной и душной зале, едва вмещающей несколько десятков посторонних зрителей,— разыгрывался третий (надеемся, последний) акт судебной драмы, которой предстоит надолго остаться в летописях нашего суда «конца XIX века». 4 июня телеграфная проволока разнесла из Мамадыша во все концы

России известие о приговоре: все подсудимые оправданы, и кошмар «человеческого жертвоприношения» рассеян.

Судьбе угодно было, таким образом, обставить этот вердикт такой комбинацией обстоятельств, при которой он получает особенные, совершенно исключительные силу и значение.

Мы видели, что и в этот раз защита была обезоружена в то время, когда обвинение усилило кадры своих свидетелей на целую треть. Работы специалистов, вызванные появлением отчета, были совершенно устранены, и, наконец, двери суда были широко открыты для всевозможных слухов, «неизвестно откуда исходящих». И если, даже при этих условиях, суд присяжных, наконец, разобрался в тумане, окутавшем это таинственное дело, и вынес свой вердикт, освободивший несчастных мултанцев от четырехлетнего заключения, а вотскую народность — от обвинения в существовании ужасного культа,— то это, полагаем, говорит ясно, где в этом деле правда!

Мы ждем полного отчета, который, надо надеяться, не замедлит появиться, и нам еще придется вернуться к «мултанскому молению». Да, это дело ставит еще целый ряд вопросов, на которые отрицательное решение присяжных, формулированное в этих красноречивых словах: «нет, не виновен»,— еще не дает нам ответа. Мы не говорим уже о полной бытового интереса и своеобразных красок этнографической стороне этого замечательного дела, не говорим и о специально юридических вопросах, возникающих в изобилии на всем протяжении мрачной и трогательной драмы. Но нас, но все общество, но высшие юридические сферы, наконец, не может не интересовать глубоко тревожный вопрос о том, каким образом в течение четырех лет создавалось это обвинение, которое нельзя было доказать даже при таких исключительных, при таких односторонне благоприятных обстоятельствах?

Уже из газетных отчетов, пока еще весьма неполных и отрывочных, выясняются некоторые черты предварительного следствия, которым, казалось бы, не должно быть места в нашем суде. Однако мы не имеем пока в виду подробно касаться и этой стороны дела. Не сомневаемся, что казанский суд обратит на них свое внимание. Нам дает право надеяться на это и отмечаемое газетами

образцовое беспристрастие, сказавшееся в резюме председателя казанского суда, г. Завадского... А пока мы только отмечаем факт оправдания и остановимся на некоторых замечаниях прессы, вызванных этим фактом.

В этом отношении отзывы печати единодушны. Сомневаться в правильности приговора, вынесенного при таких обстоятельствах, разумеется, трудно, а нарушение прав защиты, конечно, не может служить поводом для ослабления значения *оправдательного* вердикта... Если, таким образом, есть какая-нибудь почва для разногласий и споров, то она лежит в области не частного факта, а в сфере общих вопросов о значении его для оценки нашего суда вообще и института присяжных в частности.

Казалось бы, и в этом отношении дело довольно ясно. Закон недаром обставляет собирание и предъявление следственного материала известными гарантиями, без которых, по удачному выражению А. Ф. Кони, «мнение» двенадцати человек, сидящих на судейской скамье, не может приобрести значение и силу «приговора». Если эти гарантии нарушались — вина не присяжных. Читатели, вероятно, заметили, что в нашем журнале нет ни одной строки, ни одного слова горечи и упрека по адресу присяжных. И это не результат доктринерского предубеждения, закрывающего глаза на значение живого факта; это — глубокое убеждение в том, что сами присяжные стали два раза жертвой изумительных следственных, а также и судебных порядков, практиковавшихся,— скажем так,— в Сарапульском судебном округе... Лица, бывшие на последнем разбирательстве дела, отзываются с глубоким уважением о том неослабевавшем внимании, с каким в течение семи с половиной дней «десять мужиков, мещанин и дворянин» следили за всеми изгибами запутанного дела, за всеми тонкостями этнографической экспертизы, за всеми аргументами обвинения и защиты. И если бы, при одностороннем материале, предоставленном их вниманию, они еще раз вынесли обвинительный вердикт,— кто, по совести, мог бы поставить им это в вину, кто отнес бы на их счет грехи одностороннего обвинительного следствия и судебной процедуры, стеснившей в такой степени голос защиты?..

Но присяжные вышли с честью из тяжелого испытания. Живым чутьем они различили, наконец, истину под

грудой односторонне набросанных деталей. Таким образом, мултанское дело прибавляет лишь новое доказательство благотворности и жизненности суда присяжных. Суд людской — не божий. Присяжные — тоже люди и, конечно, способны поддаваться и молве, и предрассудку, и заблуждению. Тем важнее соблюдение всех законных гарантий, обеспечивающих достоверность судебного материала. Но разве не страшно подумать, что было бы, если бы вердикт был предоставлен тому самому составу сарапульского суда, который умел *так* обставить двукратное заседание... Нет,— в данном деле вина двукратной судебной ошибки лежит, очевидно, не в институте присяжных.

Она не может быть также отнесена за счет действующих судебных установлений в целом, как это пытаются сделать «Московские ведомости». Указав на двукратную отмену приговора и на то, что для этого понадобились, между прочим, экстраординарные усилия печати, газета делает вывод: «Нет надобности входить в обсуждение вопроса, кто виноват в подобных ошибках: следствие, суд или сами присяжные, но во всяком случае ясно, *что при существующем порядке вещей гарантии правосудия оказываются весьма шаткими»* («Моск. в.», № 55,— курсив наш).

Что порядки, уже отчасти вскрывшиеся в мултанском процессе и ожидающие еще дальнейшего освещения, весьма плохо гарантируют правосудие, с этим, конечно, согласится всякий, кому дороги интересы справедливости и правосудия в нашем отечестве! Но если так, то тем более *есть надобность* отыскать источники этой шаткости, тем необходимее найти больное место нашего правосудия... К сожалению, все эти нападки на суд присяжных и на «дух судебных уставов» только мешают выяснению истинной причины зла, и в этом отношении заметка почтенной газеты представляется особенно типичной. И перед ней мултанское дело ставит «тревожные вопросы»: «допуская, что третий вердикт окажется последним и что он вполне согласен с требованиями справедливости»,— автор невольно задается вопросом: чем вознаградить несчастных мултанцев за четырехлетние мучения? Далее: «что, если бы дважды судебное решение не дало сенату кассационных поводов или поводы эти прошли незаме-

ченными?» Наконец, газета делает допущение, что, «если бы не В. Г Короленко, никакого отношения к суду не имеющий, то дело могло бы остановиться на первом или втором вердикте, и обвиняемые были бы невинно осуждены».

В этих пессимистических рассуждениях есть несколько очень крупных недоразумений и одна не менее крупная наивность. Первое из этих недоразумений касается роли В. Г Короленко в этом деле. Как ни лестно для нас допущение, будто без влияния статей нашего сотрудника дело могло остановиться на первом или втором вердикте, но мы, быть может, с некоторым невольным сожалением, должны отказаться от этой иллюзии [1]. Дело в том, что первая кассация мултанского дела в сенате последовала тогда, когда В. Г Короленко не написал о деле ни одной строчки и когда огромное большинство прессы было далеко от каких бы то ни было сомнений в наличности печального факта. А так как второе заседание того же сарапульского суда (в Елабуге) лишь усилило отмеченные сенатом нарушения,— то вторая кассация была просто логической необходимостью и, очевидно, ни о какой связи ее с теми или другими статьями прессы тут не может быть и речи...

Что же касается вопроса газеты: «что было бы, если бы суд не подал поводов для кассации»,— то ответ так прост и ясен, что мы склонны считать наивностью самую его постановку. Поводы для кассации так примитивно внушительны, нарушения прав защиты так осязательны, так существенны и важны, что если бы их не было, то не было бы и надобности в кассации; если бы свидетели защиты были выслушаны на первом суде, то истина предстала бы и ранее, и полнее, чем она предстала теперь, и мултанцы были бы оправданы еще в Малмыже

Нет, к счастию, как ни темно еще теперь мултанское дело, но один вывод из него совершенно ясен: не суд присяжных и не судебные уставы повинны в таких ошибках. Причина их в системе предварительного следствия и собирания доказательств, а отчасти и в том, что в магистратуру проникла в последнее время излишняя терпимость к таким приемам «подготовительных к суду

[1] Эта статья была напечатана без моей подписи.— *В. К.*

действий», какие вскрылись, хотя, быть может, еще не вполне, во время мултанского процесса... В заключение этой заметки мы приводим самое «свежее» известие, относящееся к области «косвенных влияний» мултанского дела, и достоверность которого гарантируется уже самым источником, откуда мы его заимствуем. В одном из последних номеров «Вятских губернских ведомостей» сообщают, что в селе Кизнере, соседнем с Мултаном, повесился вотяк-десятский. Это было в то время, когда, перед судом, все еще «дополнялось следствие», и местный урядник употреблял десятского для каких-то действий по мултанскому делу. Несчастный повесился, чтобы избежать, как сказано в «Губернских ведомостях», «посредничества между вотяками и начальством»...

Не правда ли, какая печальная, но и какая знаменательная заключительная нота в этом глубоко мрачном аккорде... И неужели мы не узнаем, что это за «посредничество», которого требовали господа урядники по мултанскому делу и от которого люди ищут спасения в смерти?!

1896

Знаменитость конца века

Этюд

I

«Конец века», в ряду других характерных явлений, обогащает нас еще новым рядом знаменитостей. Мы знали знаменитых государственных людей, полководцев, ораторов, писателей, художников, артистов, врачей, строителей, путешественников, воздухоплавателей, наконец, знаменитых укротителей зверей или антрепренеров, вроде знаменитейшего американского Барнума...

Теперь у нас есть еще знаменитые — негодяи.

Вы скажете, пожалуй, что это было всегда. Публика всегда любила так называемые causes célèbres *. Пранцини, убийца, был тоже своего рода знаменитостью, как и Джек-потрошитель, как Тропман, казнь которого так превосходно описана Тургеневым.

Это верно, но было это по-иному. Говорили, например, что какой-то англичанин заплатил большие деньги палачу за кусок кожи казненного Пранцини. Он заказал из нее портсигар и, угощая приятелей дорогой сигарой, наверное прибавлял с самодовольством истого коллекционера: «Обратите внимание на этот портсигар, сэр. Он сделан из кожи знаменитого Пранцини». Согласитесь, что Пранцини заплатил, пожалуй, дороговато за свою популярность.

---

* Знаменитые дела (*франц.*).

Можно сказать с уверенностью, что и Пранцини, и Тропман, и Джек-потрошитель тщательно избегали личной известности. Это были деятельные негодяи, но знаменитости чисто пассивные. Современная же Франция являет нам примеры знаменитостей подобного же рода, которые пользуются своей славой еще при жизни, делают из своего негодяйства нечто вроде социального фактора. Они сами угощают сигарами многочисленных почетных посетителей. И последние, вместо того чтобы закурить такую сигару, тщательно завертывают ее в бумажку и потом хвастают перед другими любителями коллекций. «Обратите внимание: этой сигарой такого-то числа и года, в таком часу угостил меня знаменитый панамист Артон, или не менее знаменитый Герц, или, наконец, затмивший ныне всех своею знаменитостью Эстергази».

Вы, конечно, помните: Артон был вор и посредник воровства в деле Панамы. Герц был тоже вор, украшенный орденом Почетного легиона, pauvre diable * или действительно главная пружина этого грязного дела, а Эстергази... ну, Эстергази-то знаменитее обоих панамистов. Насколько эта интересная личность успела выясниться до сих пор,— он мот, прожигатель жизни, мелкий мошенник, обокравший родственников, фальсификатор, из корысти подделавший массу документов, интриган из бульварного романа, придумывающий или только выполняющий сложные интриги с переодеваниями и подлогами, лжесвидетель, содействовавший обвинению людей, заведомо невинных, наконец — продажный субъект, готовый теперь за хорошие деньги предать недавних нанимателей...

И, кроме всего этого,—кавалер французского ордена Почетного легиона, которому герцог Орлеанский еще недавно считал за честь публично пожимать руку.

II

Вот новая знаменитость конца нашего века! Из его кожи никто не сделает портсигара, как сделал английский варвар из кожи злополучного Пранцини. Даже на-

* Жертва (*франц.*).

против,— посмотрите: он носит орден Почетного легиона, из которого давно исключен Золя, пытавшийся разоблачить его проделки. Дрейфус, теперь заведомо для всего мира осужденный на основании подлогов Эстергази, продолжает томиться на Чертовом острове. Золя, знаменитейший из писателей Европы, скрывается неведомо где, а его вещи продаются с аукциона за то, что он старался разоблачить проделки Эстергази и ошибку «графологов», которая теперь уже ни в ком не возбуждает сомнения... Пикар, первым пытавшийся разыскать эти доказанные подлоги, заперт в военной тюрьме Cherche-midi, и в то время, как я пишу эти строки, ему еще не разрешено видеться даже со своим защитником. Правда, по последним известиям, его «дело» принимает сравнительно благоприятный оборот. Теперь речь идет лишь о том, не пользовался ли Пикар поддельным petit-bleu *, чтобы вредить... господину Эстергази. А г. Эстергази в это самое время разъезжает по европейским столицам, курит дорогие сигары, угощает ими любителей коллекций, отбивается от тучи назойливых репортеров, с жадностью ловящих каждое его словечко,—как будто это сказочная принцесса, при каждом слове которой с румяных уст падают на землю розы или, еще лучше,— червонцы. О нет, из его кожи никто не сделает портсигара! Он сам теперь торгуется, чтобы подороже продать историю своего негодяйства, которое является настоящим сокровищем.

— Вы желаете узнать, как мы подделали такой-то документ? Г-м... Но ведь это, monsieur **, будет стоить недешево.

— Ах, сэр,— отвечает английский издатель,— мы не стоим за деньгами... Если бы, вдобавок, вам угодно было почтить нас еще рассказом о том, как вам удалось свалить все это на Пикара...

— Может быть, может быть... Я еще посмотрю.

— Посмотрите, сэр... Мы будем надеяться...

Он посмотрит. Один раз он уже сделал ошибку. Еще неопытный в такого рода сделках, он продешевил один из своих секретов и отдал его газете «Observer». И вот

* Городская телеграмма (*франц.*).
** Сударь (*франц.*).

знаменитый Эстергази сидит в office'е * одного из лондонских адвокатов и совещается, как поправить дело... Биржевая стоимость его негодяйства быстро поднимается, и сделка с «Observer»'ом теперь для него чистое разорение.

— Вы дали какие-нибудь документальные обязательства, сэр? — спрашивает адвокат с некоторым беспокойством.

— Никаких. Я имел лишь неосторожность поделиться кое-какими сведениями... устно... разумеется, тогда я не знал еще настоящей цены...

— О, это ни к чему не обязывает. Законы этой страны на вашей стороне, сэр!

И действительно, в известный час, точный и строгий, застегнутый на все пуговицы английский юрист является в редакцию английской газеты, чтобы защищать интересы французского негодяя.

— Мой знаменитый клиент,— начинает он сухо, но все-таки с оттенком некоторой гордости... И затем газета, хотя и с большой досадой, вынуждена прекратить печатание своих разоблачений, Эстергази получил обратно свое драгоценное негодяйство и опять выносит его на рынок. Торговля открыта! Кто даст больше? Опять около квартиры Эстергази, кажется, на Charing-cross'е, устраиваются дежурства репортеров, и знаменитый некогда Веллингтон с завистью смотрит с вышины своей колонны на знаменитого ныне Эстергази. По временам к подъезду подкатывают щегольские кэбы, и респектабельные джентльмены, с туго набитыми бумажниками в карманах, подымаются по лестнице в квартиру Эстергази, кавалера ордена французского Почетного легиона, продающего свое негодяйство оптом и в розницу. На этот раз, однако, он величаво сдержан. Он ждет. Он знает, что у него будут покупать его слова, и еще более — его молчание... Для этого он и бежал из Франции за границу. Ему приходилось плохо. Дело разоблачалось, Анри уже заплатил жизнью за свою фальсификаторскую ревность, личная репутация Эстергази погибла, недавние друзья уже не в силах поддержать это «блестящее реноме».

---

* Конторе (*англ.*).

— Если меня исключат из армии,— говорит он своему «приятелю» Стронгу,— мне остается только пуля.

— О нет,— отвечает опытный газетчик.— Вам остается еще знаменитость и богатство...

И вот, как некогда Мадзини, Виктор Гюго и другие «шаблонные герои» устаревшей европейской истории,— г. Эстергази переправляется тайно через границу... Судьба, а может быть, и еще кто-нибудь оберегает конспиративный побег: поезд везет великого Эстергази и его счастье.

И вот он — в Лондоне. Он привез с собой нечто такое, из-за чего вступают в конкуренцию издатели нескольких столиц. По самым последним известиям, «разоблачения» (то есть признания) Эстергази появятся одновременно в Лондоне и Париже. «Agence National» сообщает, что между французскими и английскими издателями мемуаров майора Эстергази последовало соглашение... По сведениям «Agence» первая рукопись Эстергази будет получена на днях парижским издателем... Парижский издатель monsieur Файар не без гордости подтверждает это известие. Действительно, пишет он в «Temps», «между г. Эстергази и мною уже состоялось соглашение. Майор уже приступил к редактированию статей, которые появятся у нас в форме брошюры... Господин Эстергази пишет два рассказа(!): один для нас, другой, который не есть перевод и разнится от первого,— для своего лондонского издателя». Скоро мы услышим, быть может, что к упомянутым двум столицам присоединяется еще Берлин, Вена, Рим, Петербург Может быть, даже злополучный Мадрид забудет на время несчастия своей страны и позор своих поражений и тоже примкнет к всемирной аудитории знаменитейшего из негодяев «конца века». И когда таким образом весь мир насторожится вокруг г. Эстергази, он, наконец, заговорит с полным сознанием своего мирового значения.

— Итак, милостивые государыни и милостивые государи,— я начну с истории нашего первого подлога. Слушайте!..

И в тот день, когда это блестящее начало при посредстве телеграфа и печатного станка появится в виде черных букв на белой бумаге,— во всех столицах мира произойдет одновременно заметное движение, как будто

у знаменитого негодяя в руках собраны струны от миллионов человеческих сердец...

Не правда ли, это явление уже совершенно новое, настоящее знамение «конца века»...

III

Да, это уже не Тропманы и не Пранцини, из кожи которых любители-варвары выкраивали портсигары. Те сами платились за свою знаменитость, а за знаменитость Эстергази платят издатели, расплачивается,— и какой дорогой ценой! — все общество...

Я говорю, разумеется, не о тех фунтах стерлингов, которые г. Эстергази положит в карман, в окончательном итоге своей сделки на негодяйстве. И вообще я говорю не о деньгах. Не помню, кто сказал первый, что сущность того воздействия, которое литература оказывает на общество, сводится к внушению. Во всяком случае это мысль, не подлежащая теперь спору, и относится она не к одному лишь роману и не к одной лишь прямой проповеди. То, что мы называем «прессой» в самом общем значении этого слова, играет ту же роль. Le roman est un miroir qu'on promêne le long d'un chemin *,— сказал кто-то. Но вся пресса заслуживает это сравнение в гораздо большей степени. Огромное зеркало стоит у огромной всемирной дороги, выхватывая порой из дорожного движения фигуры и эпизоды, по драматизму и по впечатлению, оказываемому на зрителей, превосходящие всякий романический вымысел. Каких только «знаменитостей» не отражало оно за время своего существования! И вот теперь на поверхности мирового зеркала появилась и привлекает все взоры фигура знаменитого г. Эстергази, который готовится рассказать миру о своих подлогах...

С этой точки зрения, право, даже трудно оценить влияние этих фигур, невольно приковывающих к себе внимание и незаметно действующих на воображение миллионов людей. Одно время это воображение невольно и стихийно влеклось за таинственной траекторией ловкого

* Роман — это зеркало, которое передвигают вдоль дороги *(франц.)*

панамиста и беглеца Артона, мелькавшего то в Алжире, то в Лондоне, то на бульваре Вены, то чуть не на вершине Чимборасо. Но все-таки это был хоть беглец! С тех пор явление, которое я пытаюсь анализировать,— сделало еще шаг по пути своей эволюции и, в лице Эстергази, комфортабельно устроившись в Лондоне, дарит нас своими откровениями. Право, не будет ничего удивительного, если вскоре на вопрос к какому-нибудь юноше: «Чем ты хотел бы быть, милый мальчик»,— мы получим ответ:

— Я хотел бы быть знаменитым негодяем, вроде Эстергази. Это так интересно!

И ведь в самом деле заманчиво: в известный день и час негодяй скажет свое негодяйское «откровение», и все столицы внезапно вздрогнут от любопытства. И только Дрейфус на Чертовом острове, да Пикар в келье Cherche-midi не будут читать великого произведения, потому что к тому времени они все еще будут в руках людей, в пользу которых Эстергази совершал свои подлоги,— о чем он благоволит, быть может, рассказать в своих «разоблачениях». Ну, можно ли, в самом деле, придумать «роман» невероятнее и романичнее этой ситуации, реально разыгрывающейся перед глазами всей Европы?

IV

Кто виноват?

Начнем с той публики, которая будет тесниться у киосков, когда появится «история» великого Эстергази. Виновата ли она? Едва ли, даже наверное нет. В худшем случае это люди, которые, отправляясь в должность или на свою дневную работу, пожелают из утреннего номера газет или из только что отпечатанной брошюры узнать свежую новость. Любопытство, быть может, праздное, но совершенно невинное. В лучшем же случае, и это наверное у большинства — среди сложной амальгамы душевных движений шевелится также человеческое участие, интерес к правде, желание разъяснить себе истину в сложном деле, наконец, хоть у немногих — это будет интерес к вопросу права и справедливости. Нет, право, никто из нас, из тех, которые будем тесниться в тот день у киосков,— не виноват.

Мосье Файар, продавцы, издатели, вообще пресса? Да, французская пресса вылила теперь в умы и в души европейского читателя целый поток невообразимого изуверства и грязи. Вот что, например, написал, напечатал, распространил в десятках тысяч экземпляров Рошфор после того, как кассационный суд высказался за пересмотр дела Дрейфуса. «Какому наказанию народ должен подвергнуть этих изменников?» — спрашивает французский «патриот».— Гильотине? Это слишком мягко. Сжечь живьем? Это не ново (un peu vieux jeu). И вот что этот «патриот» придумывает для членов верховного суда Франции: «Надо расставить их рядом, одного за другим («en queue de cervelas»), как в центральных тюрьмах. Специально приученный и подготовленный к этому палач им срежет сначала веки парою ножниц Когда они таким образом не в состоянии будут закрыть более глаз, надо в ореховые скорлупы поместить больших самых ядовитых пауков и затем прикрепить прочными завязанными сзади головы повязками эти скорлупы к глазным яблокам!.. Проголодавшиеся пауки, не очень разборчивые на пищу, медленно сожрут глазное яблоко и зрачок»... И т. д. И чтобы окончить статью особенным эффектом,— Рошфор заключает криком, полным жалости: «Бедные пауки!» [1]

Вот для чего эти патриотические господа употребляют теперь изобретение Гутенберга, и, конечно, если когда, то именно теперь можно бы усомниться в пользе этого изобретения. Однако — достаточно вспомнить, что никто не обрадовался бы отсутствием гласности в этом деле более самого Эстергази и его вдохновителей,— чтобы излечиться от этого пессимизма. Да, много грязи вылила в наши умы французская пресса; но только пресса же способна бороться с этим потоком. Благодаря ей в деле Дрейфуса, как и в Панаме, истине удалось пробиться с такой силой, что уже ничем нельзя ее ни заглушить, ни уничтожить. Нет, пресса все-таки в среднем только сделала свое дело, открыла кратер для этого внутреннего извержения...

---

[1] Эту цитату покойный цензор Елагин вычеркнул из моей статьи в «Русском богатстве», находя ее, вероятно, слишком яркой для «национализма», хотя бы и французского.

Гонз, Пати-дю-Клам, наконец — сам Эстергази! Об этом смешно говорить. Что, в сущности, значит эта ничтожная, хотя и типично негодяйская фигура? Если даже Наполеоны не сами создавали свою эпоху, а явились лишь верхушкой исторической волны, которая их выносила на своем гребне, то что же говорить об этих дю-Кламах и Эстергази. Правда, нужно быть искусным пловцом, чтобы держаться на верхушке бурной волны, и десятки Наполеонов погибли, прежде чем один достиг вершины. Значит, нужно быть и негодяем не вполне уже заурядным, чтобы вписать свое имя в скрижали истории. Но все же самая волна, которая поднялась во Франции так высоко, что великолепная фигура стала видна всему миру — создала господина Эстергази, а не создана последним.

Значит, Франция?

Франция — это удивительная страна, из которой в последнее столетие исходили все ожидания и все разочарования мыслящей Европы. Она то вызывала расцвет самых восторженных надежд, то опять разливала в умах реакцию и безнадежность. Теперь много говорят о реакции против парламентаризма. Но в Англии, родине чистого парламентаризма, он действует совершенно нормально. Это именно Франция дает более всего материала для указанной реакции. Она явила нам пример «республиканских добродетелей» в деле Панамы. Теперь она заставляет многих усомниться в пользе свободного слова, выкапывающего и разливающего в массы изуверское настроение самых мрачных периодов средних веков. И если когда, то именно теперь, вместе с нашим поэтом, нам

...Хочется сказать великому народу:
Ты жалкий и пустой народ!

Однако будет ли справедливо, если мы успокоимся на признании вины за Францией? Эта страна всегда была только пробной лабораторией Европы, и если в 1793, в 1830, в 1848 годах в ней слышались первые взрывы, то разве остальные страны не были переполнены тем же газом? Всегда Европа обращала свои глаза к пробной лаборатории, и если, по окончании многих опытов, в результате являлось разочарование, то разве мало препаратов, которые все-таки вошли в общее употребление...

Теперь мы видим в лаборатории новую работу: она дает нам экстракт буржуазно-политического строя, в виде Панамы, и конденсированного милитаризма — в деле Дрейфуса — Эстергази. Правда, это яды, острый запах которых отравляет дыхание. Правда, в результате этого эксперимента — невидимые нити общеевропейского внимания оказались в руках господ Эстергази, которые являются до известной степени «властителями наших дум»... Но все же нам, может быть, следует благодарить господ французов за «чистоту» их работы и за необыкновенную характерность их препаратов.

V

Не заставят ли они и нас оглянуться немного на себя. Если бы я был французом и слышал осуждение своей родины остальными европейцами, я бы сказал: «Ну, хорошо. У нас произошло все это, потому что мы воспитали целое поколение ядовитым хлебом реванша! Но посмотрите, однако, сколько у вас самих было и есть защитников и Эстергази, и Анри, и Дрюмона, и Рошфора. И если мы бьемся в этом вязком болоте, в которое нас втянули запутанные реальные интересы и интриги,— то из-за чего ваши Дрюмоны и ваши Рошфоры, после того как истина уже разоблачена, продолжают кричать: «Долой разоблачителей; держите «жида» на Чертовом острове. Что им Гекуба, что они Гекубе?»

И в самом деле: откуда это удивительное явление?

У Лесажа, в истории Жиль-Блаза де-Сантильяна рассказан такой эпизод: легкомысленный герой натыкается в тесной улице на свалку, в которой один защищается против пятерых. Он не знает ни этих пятерых, ни этого одного, однако, видя, что расспрашивать уже некогда, тотчас же обнажает свою шпагу и становится на сторону одного... И мы все невольно, инстинктивно, по чувству, которое врожденно в человеческом сердце, отдаем свои симпатии этому молодому человеку, далеко не всегда заслуживавшему монтионовской премии. Мы чувствуем, что, по большей части, когда слишком уж сильная сторона злоупотребляет своим перевесом,— правда должна быть на стороне слабейшего. А так как, вдобавок, вмешательство одного против пятерых требует героизма и

явно невыгодно для Жиль-Блаза, то понятно, почему мы с невольным сочувствием будем следить за его участью... Это здоровый инстинкт человечества, который, надо надеяться, останется в нем и в двадцатом и в двухсотом веке ..

Не то же ли самое происходило на наших глазах во Франции? Виновен или невиновен Дрейфус? Почем нам было знать это? Но мы слышим, что кучка частных людей, в том числе знаменитый писатель, выступают против господствующей партии и,— что еще опаснее,— против господствующей *страсти* своего народа. Они утверждают, что человек осужден невинно и уж во всяком случае неправильно, что на суде нарушены первые, необходимейшие условия всякого правосудия. И никто, ни один из участников не посмел сказать, что это неправда, что судьям не были предъявлены документы, неизвестные защите (и впоследствии оказавшиеся поддельными). Начинается борьба, еще, кажется, невиданная в истории: кучка частных людей и ничтожное меньшинство прессы борются с несколькими министерствами, с штабом, в руках которого огромная сила, с ослеплением всего народа: их гонят, их заплевывают (даже молодежь!), им закрывают уста, им грозят смертью, для них раскаленное ложным патриотизмом воображение изобретает невиданные казни... Золя вынужден бежать, Пикар во власти своих личных врагов, а мы... мы, стоящие вдали и уж во всяком случае не связанные никакими реальными интересами, становимся на сторону пятерых против одного,— нет, даже на сторону пяти тысяч — против одного... Мы защищаем Эстергази, мы защищаем Пати-дю-Клама, мы защищаем Анри и через всю Европу присоединяем свои голоса к крикам страсти и изуверства, раздающимся на парижских улицах и бульварах против людей, стоящих за несомненное право.

Отчего это? Или в самом деле человечество разочаровалось в героизме и в шаблонной добродетели, и его разочарованный взгляд, жаждущий новых впечатлений, с удовольствием отдыхает теперь на типично негодяйских фигурах господ Эстергази? Конечно, нет... Дело совсем не в этом; дело просто в ослеплении, дело в родственных настроениях, дело в общих формулах, называемых, по-старому, «идеями» и «принципами».

Истина всегда была и всегда будет великой силой; с нею даже за ничтожным меньшинством обеспечена рано или поздно нравственная победа. Но истину надо угадать, надо почуять ее сердцем и постигнуть умом. А для этого нужен верный компас, указывающий ее направление... Этот компас мы и называем чутьем правды.

Он, очевидно, был у так называемых «дрейфусаров», и посмотрите результаты: в то время, как Золя, оплеванный, исключенный с позором из ордена, который в то время украшал еще грудь Эстергази, спасается бегством из своего отечества, когда Пикар удален от всего мира в тюрьму Cherche-midi, когда все материальные атрибуты успеха на стороне торжествующего большинства,— над подделывателем Анри истина уже произнесла свой приговор, и для всей торжествующей партии уже готово страшное нравственное поражение, которое теперь не отвратят никакие формальные приговоры никаких в мире судов. Анри сознался в подлогах и умер таинственным образом, Пати-дю-Клам скрывается неизвестно где, не будучи даже осужденным, как Золя, Эстергази готовится за хорошие деньги снять маски не только с себя, но и с других. Оглянитесь назад: сколько на столбцах газет (в том числе и наших) расточалось похвал этим господам и их покровителям? Теперь все это остается историческим свидетельством рокового ослепления и полного отсутствия того, что называется «чутьем правды».

Откуда же все это, где его источники? Прислушайтесь к этим крикам и, вместо аргументов, вы услышите одно: «Дрейфус — жид». В этом все дело, отсюда, как из источника, вытекает все остальное, это слово объединило людей на противоположных концах Европы... Не очевидно ли, что яд, которым так густо насыщена теперь атмосфера Франции, отравляет воздух и других стран, мешая «чувствовать правду»? И вот почему нити от наших сердец очутились в руках знаменитого «писателя» Эстергази, вот почему к крикам французских Дерулэдов, Дрюмонов и Рошфоров присоединяются такие сочувственные отклики из других стран: «Не нужно раскрывать истину, держите «жида» на Чертовом острове...» И вот почему, наконец, мы еще раз обязаны благодарностью Франции за «образцовые препараты» националистских ядов,

которые она изготовила в своей общественно-политической лаборатории. Берегитесь национализма! Яд...

Это с одной стороны. А с другой — эта беспримерная борьба кучки частных лиц против отравленной совести всего народа, эта теперь уже несомненная победа ничтожной группы над несколькими министерствами, над парламентом, над общественным мнением целой страны,— не есть ли это еще один препарат, который Франция опять приготовила в назидание старой Европе наряду с другими? И, вместо того, чтобы, подобно фарисею, возводить очи горé и благодарить бога за то, что не сделал нас, «как эти французы»,— Европе следует подумать: в подобных же обстоятельствах найдутся ли всюду свои Золя, Кестнеры и Пикары? Найдется ли наряду с изуверской прессой — пресса, которая сумеет воспользоваться свободой так, как ею воспользовалась часть французской печати?

А пока послушаем все-таки, что нам скажет г. Эстергази, знаменитейший из негодяев «конца века» (если только ему, действительно, лучше заплатили за его слова, чем за молчание)... Потому что,— такова уже сила «шаблонной истины», что ей служат в конце концов даже господа Эстергази...

1898

Дом № 13

Очерк

I

Я приехал в Кишинев спустя два месяца после погрома [1], но его отголоски были еще свежи и резко отдавались по всей России. В Кишиневе полиция принимала самые строгие меры. Но следы погрома изгладить было трудно: даже на больших улицах виднелось еще много разбитых дверей и окон. На окраинах города этих следов было еще больше...

Настроение было напряженное, тяжелое... Газеты принесли известие, что в Петербурге еврей Дашевский ударил ножом г-на Крушевана и, что было еще страшнее,— другой еврей, врач, хотел подать раненому первую помощь. Г-н Крушеван в ужасе отказался от помощи и писал, что «душа Дашевского принадлежит ему»; вместе с г-м Комаровым он требовал для Дашевского смертной казни на том основании, что он, г-н Крушеван, не простой человек, а человек государственной идеи. А дня два или три спустя, уже во время пребывания моего в Кишиневе, три неизвестных молодых человека кинулись на шедшего из училища еврейского юношу, и один из них ткнул его в бок кинжалом; кинжал был направлен гораздо искуснее, чем у Дашевского, и только книга, которая была у юного еврея под застегнутым пиджаком, ослабила удар, но не избавила его от раны. Еврейский

Писано в 1903 году.

юноша, мирно шедший из училища, не был, разумеется, «человеком государственной идеи», и потому о происшествии (по крайней мере за все время моего пребывания) не только г. Комаров и г. Крушеван, но и местная газета «Бессарабец» не говорили ни одного слова, только евреи передавали об этом с весьма понятной тревогой.

Говорили, между прочим, будто этот удар, нанесенный школьнику, есть ответ на покушение Дашевского. Как это ни нелепо, но все же похоже на правду. Впрочем, «все (теперь) похоже на правду», все может случиться в Кишиневе, где самый воздух еще весь насыщен дикой враждой и ненавистью. Жизнь города как бы притихла. Постройки приостановились: евреи охвачены страхом и неуверенностью в завтрашнем дне.

II

В такие дни я приехал в Кишинев и, стараясь разъяснить себе страшную и загадочную драму, которая здесь разыгралась так недавно, бродил по городу, по предместьям, по улицам и базарам, заговаривая о происшедшем с евреями и христианами.

Я, конечно, не имею претензии разъяснить здесь сколько-нибудь исчерпывающим образом этот потрясающий эпизод, этот изумительный процесс быстрого, почти внезапного исчезновения всех культурных задержек, из-под которых неожиданно прорывается почти доисторическое зверство. Нет ничего тайного, что бы не стало явным. Очень может быть, что и все пружины этого преступного дела когда-нибудь выступят наружу и все оно станет понятно, как механизм разобранных часов. Нет сомнения, однако, что и затем останется еще некоторый остаток, который трудно будет свести на те или другие обстоятельства данного места и данного времени. И это будет вечно волнующий вопрос о том, каким образом человек обыкновенный, средний, иногда, может быть, недурной человек, с которым порой приятно вести дело в обычное время, вдруг превращается в дикого зверя, в целую толпу диких зверей.

Нужно много времени и труда, нужно очень широкое, внимательное изучение, чтобы просто восстановить

картину во всей ее полноте. Для этого у меня нет возможности, да, может быть, для этого еще не наступило время. Хотелось бы думать, что суд сделает это, хотя есть основание опасаться, что и суд этого не сделает... Но мне хочется все-таки поделиться с читателем хоть бледным отражением этого ужаса, которым пахнуло на меня от моего короткого пребывания в Кишиневе спустя два месяца после погрома. Для этого я попытаюсь восстановить, по возможности точно и спокойно, один эпизод. Это будет история знаменитого ныне в Кишиневе *дома № 13*.

III

Дом № 13 расположен в 4-м участке города Кишинева, в переулке, который носит название «Азиятского» в том месте, где он соединяется с Ставрийским переулком. Впрочем, название этих узких, кривых и запутанных улиц и переулков даже кишиневцы знают довольно плохо, и еврей извозчик (здесь очень много извозчиков евреев, и среди них тоже были раненые и убитые) сначала не понял, куда нам надо. Тогда мой спутник, который больше успел ориентироваться среди местных достопримечательностей, связанных с погромом,— пояснил:

— Дом тринадцатый... Где убивали...

— А... знаю,— сказал извозчик, мотнув головой, и хлестнул свою лошадь, тощую, как и он сам, и, как он, невзрачную и унылую. Лица его мне не было видно, но я слышал, как он бормотал что-то в бороду. Мне казалось, что я расслышал слова: «Нисензон» и «Стекольщик».

Нисензон и Стекольщик — это еще недавно были живые люди Теперь это только звуки, воплощающие ужас недавнего погрома.

Ехали мы долго и, миновав людные широкие и сравнительно культурные улицы нового города, долго вертелись по узким, кривым, очень своеобразным переулкам старого Кишинева, где камень, черепица и известка глушат тощие деревца, растущие тоже из камня, и где, кажется, носятся еще тени каких-то старых историй времен боярства, а может быть, и турецких набегов. Дома здесь малы, много каменных стен, как бы маскирующих входы

во дворы; кое-где сохранились узкие окна, точно бойницы.

Наконец, по одному из таких переулков мы спустились к искомому дому. Невысокий, крытый, как все кишиневские дома, черепицей, он стоит на углу, в соседстве с небольшой площадью, как бы выдаваясь в нее тупым мысом. Кругом виднеются убогие домики под черепицей, значительно меньше и невзрачнее. Но между тем как все они производят впечатление жилых, дом № 13 похож на мертвеца: он зияет на улицу пустыми окнами с исковерканными и выбитыми рамами, с дверьми, заколоченными кое-как досками и разными обломками... Нужно отдать справедливость кишиневской полиции,— хотя она не особенно противилась погрому, но теперь принимает энергичные меры, понуждая евреев к скорейшему приведению в порядок разрушенных и поврежденных зданий. Но над хозяином дома № 13 она уже не имеет никакой власти...

Двор еще носит выразительные следы разгрома: весь он усеян пухом, обломками мебели, осколками разбитых окон и посуды и обрывками одежды. Достаточно взглянуть на все это, чтобы представить себе картину дикого ожесточения: мебель изломана на мелкие щепки, посуда растоптана ногами, одежда изодрана в клочья; в одном месте еще валяется оторванный рукав, в другом — обрывок детской кофточки. Рамы с окон сорваны, двери разбиты, кое-где выломанные косяки висят в черных впадинах окон, точно перебитые руки.

В левом углу двора, под навесом, у входа в одну из квартир, еще виднеется ясно большое бурое пятно, в котором нетрудно узнать засохшую кровь. Она тоже смешана с обломками стекла, с кусками кирпича, известкой и пухом.

IV

— Здесь убивали Гриншпуна...— сказал кто-то около нас странным глухим голосом.

Когда мы входили в этот двор, все было здесь мертво и пусто. Теперь рядом с нами стояла девочка лет десяти — двенадцати. Впрочем, это казалось по росту и фигуре. По выражению лица можно было дать гораздо

больше, глаза глядели не по-детски... Этот ребенок *видел все*, что здесь делалось еще так недавно. Для нее вся эта картина разрушения на молчаливом дворе под знойными лучами солнца была полна незабываемого ужаса. После этого она ложилась много раз спать, просыпалась, вставала, делала все, что делала и прежде, и, значит, «успокоилась». Но ужас, который должен был исказить это детское лицо, весь не исчез. Он оставил по себе постоянный осадок в виде недетского выражения в глазах и какой-то застывшей судороги в лице. Голос у нее был как бы придушенный, а речь ее было тяжело слушать: звуки этой речи выходили с усилием, как у автомата, и, становясь рядом, образовали механически слова, не производившие впечатления живой речи.

— Он вот тут... бежал...— говорила она, тяжело переводя дыхание, показывая рукой по направлению к навесу и луже крови.

— Кто это? Стекольщик? — спросил мой спутник.

— Да-а... Стекольщик. Он бежал сюда... и он упал вот здесь... и тут они его убивали...

С невольным ощущением дрожи мы отошли от этого пятна, в котором кровь перемешалась с известкой, грязью и пухом.

В доме все было разрушено с таким же старанием, как и во дворе: сорваны обои, выломаны двери, разломаны печи, стены пробивались насквозь. Эта чрезвычайная тщательность дикого разрушения породила в городе рассказ, будто перед погромом один из полуинтеллигентных и довольно влиятельных «антисемитов» заготовил целую партию ломов с крючками, розданную погромщикам и отобранную затем обратно особыми «агентами».

Не могу сказать, сколько тут правды, но в самом слухе немало характерности. Как бы то ни было, трудно представить, что еще недавно в развалине, которую мы рассматриваем, текла обычная мирная жизнь.

Дом № 13 состоял из семи квартир, в которых, по обыкновению, скученно и тесно жило восемь еврейских семей, всего около сорока пяти человек (с детьми). Хозяин его был Мовша Маклин, комиссионер и владелец скромной лавки в городе. На всех своих предприятиях, то есть в качестве домовладельца, комиссионера и лавочника, он получал тысячу пятьсот рублей в год. Среди

остальных обитателей дома он, конечно, должен был считаться богачом и счастливцем. Сам он, впрочем, в доме № 13 не жил, но одну из квартир занимала дочь его с мужем и детьми.

Один из видных жильцов был мелкий лавочник, Навтула Серебрянник. Лавка его была в самом углу. Теперь ее можно узнать по обломкам деревянных ларей, составлявших прилавок и валяющихся на грязном полу среди ободранных стен.

Затем в доме жили еще: приказчик галантерейной лавки Берлацкий с женой и четырьмя детьми. Он зарабатывал сорок восемь рублей в месяц. Нисензон, человек лет сорока шести, был бухгалтером, то есть ставил бухгалтерские книги и заводил денежную отчетность. Эту, отчасти ученую, профессию он выполнял сдельно, вырабатывая рублей двадцать пять—тридцать в месяц. Мовша Паскар служил приказчиком, получал рублей тридцать пять. У него была жена Ита и двое детей. Ицек Гервиц был служителем больницы, но в последнее время, кажется, бедствовал, оставшись без места. Мовша Тур-кениц имел столярную мастерскую, в которой держал трех рабочих, а Бася Барабаш торговала мясом. Наконец, стекольщик Гриншпун ежедневно отправлялся с оконными стеклами и возвращался вечером домой со своим заработком.

Цифры взяты из показаний потерпевших и их родственников Из них видно, какими богачами был населен дом № 13. Между тем, показания, данные при заявлении убытков, можно скорее заподозрить в преувеличениях, чем в утайке...

Так мирно и тихо жил этот дом до 6 апреля. Нисензон ходил по лавкам и «ставил в них бухгалтерию», Берлацкий и Мовша Паскар продавали товары в чужих лавках, Навтула Серебрянник отпускал соседям евреям, молдаванам и русским свечи, мыло, спички, керосин, дешевый ситец и дешевые конфекты, Ицек Гервиц искал места, а стекольщик Гриншпун вставлял разбитые стекла... И никто не предчувствовал того, что должно было случиться.

Шестого апреля, в первый день величайшего из христианских праздников, в городе начались погромы. Вести о них, конечно, распространились по всему Кишиневу, и

легко представить, какие часы пережили жильцы тесно набитого евреями дома № 13 при рассказах о том, что происходит в городе и как относится к этому православное общество и начальство. Впрочем, говорили, что происходит это потому, что губернатор ждет какого-то «приказа». Ночью приказ должен придти непременно, и значит — утром все будет спокойно.

К вечеру беспорядки сами собой затихли, и ночь прошла в страхе, но без погромов.

V

То, что произошло на следующее утро, бывшие жильцы № 13 и их соседи описывают следующим образом.

Около десяти часов утра появился городовой «бляха № 148», человек хорошо, конечно, известный в данной местности, который, очевидно, заботясь о судьбе евреев, громко советовал всем им спрятаться в квартиры и не выходить на улицу Евреи, конечно, исполнили этот совет, и тесные еврейские квартирки наполнились испуганными жильцами. Двери, ворота и ставни были заперты, и вся площадь около Азиятского переулка замерла в пугливом ожидании

Я имею основание думать, что эта картина: запертые ставни, опустевшие улицы и пугливое ожидание того, что должно случиться, является характерной для предместий Кишинева в начале второго дня погрома. Я имел печальную возможность видеть и говорить с одним из потерпевших в другом месте. Это некто Меер Зельман Вейсман. До погрома он был слеп на один глаз. Во время погрома кто-то из «христиан» счел нужным выбить ему и другой. На мой вопрос, знает ли он, кто это сделал,— он ответил совершенно бесстрастно, что точно этого не знает, но «один мальчик», сын соседа, хвастался, что это сделал именно он посредством железной гири, привязанной на веревку.

Этот Зельман жил около бойни на Магале (предместьи). Совершенно так же, как и жильцы дома № 13, в этом предместьи все слышали с большой тревогой о том, что происходило в городе, так же ждали приказа, который придет в ночь и не допустит дальнейших беспорядков. И так же на следующее утро в предместье, еще не

испытавшее погрома и только ожидавшее со страхом и недоумением,— из города явился местный же городовой, состоявший около бойни. Его тотчас же окружили жители предместья — молдаване, соседи евреев. Меер Вейсман не слышал, что им говорил городовой. Я не предполагаю, что городовой говорил что-либо дурное или прямо подстрекающее, я думаю, что он только не чувствовал себя официальным лицом и говорил, как с добрыми соседями, одну чистую правду. А правда состояла в том, что он вернулся на свой пост без всяких специальных приказов и в городе видел, как погром идет с усиливающейся жестокостью в присутствии войск и полиции. Из этого сообщения молдаване, жившие около бойни, сделали свои выводы. Они стали держать совет, который исходил из общего положения, что им, живущим около боен, очевидно, нужно делать то же, что делают в других местах города. Из этого совещания Вейсман передает одну подробность. Вопрос шел о двух братьях, евреях: толпа решила, что одного из них можно «оставить»...

Затем евреи стали прятаться, где кто мог. Меера Вейсмана с семьей скрыл у себя добрый человек, сосед-молдаванин, но жена его пришла с улицы и сказала, что толпа грозит за это расправиться и с ними. Тогда,— говорил Меер Вейсман,— «мы стали бегать». Ему пришлось потерять много времени для того, чтобы пристроить хоть маленьких детей в семье одного зажиточного соотечественника, принявшего христианство. Его дочери принимали малюток, но отец три раза выбрасывал их обратно через забор. Пришлось скрываться вместе с детьми; Меер Вейсман бежал на салотопный двор. Через некоторое время «туда пришли молдаване с дрючками и стали бить». Больше ничего он не помнит... Хотя история Вейсмана составляет некоторое отступление от прямой нити моего повествования о доме № 13, но я хочу досказать ее. Когда он очнулся в больнице, то первый вопрос его был о семье и о дочери.

— Ита! Где моя Ита?

— Я здесь,— ответила Ита, стоявшая у постели. Но больной заметался сильнее и позвал опять:

— Ита, Ита, где же ты?..

Когда она наклонилась к нему и опять повторила, что она здесь,— Меер Вейсман, не понимая еще, что слу-

чилось, стал шарить в воздухе руками и жаловаться, что не видит дочери.

Он ее не видел потому, что «христианский мальчик» выбил ему гирей другой глаз, вероятно, для симметрии. Впрочем, многие думают, что Меер Вейсман «сам виноват» и уже «с избытком вознагражден» за то, что никогда не может увидеть любимую дочь... Что же касается христианского мальчика, совершившего над евреем операцию с гирей, то он, конечно, не заслуживает слов укоризны. Он скорее является «жертвой»...

Что ж, может быть, это и правда. Войти в жизнь с таким делом на совести... Какой ужас, если христианский мальчик поймет, что он сделал. Если же не поймет, то он, действительно, жертва, еще более несчастная. Только... действительно ли это Меер Вейсман повинен в этой жертве?

VI

Совершенно так же, как около боен, начиналась, по-видимому, трагедия дома № 13. Городовой «бляха № 148» так же, как его сослуживец, вернулся утром из города, где, вероятно, ждал ясных и точных приказаний, так же не получил их, так же явился в свой квартал и так же не мог дать другого совета, кроме: «Эй, жиды, прячьтесь по домам и сидите тихо!» И так же, как около бойни, в числе громил явились соседи из окрестных улиц и переулков.

Городовой «бляха № 148», отдав свое благожелательное распоряжение, сел на тумбу, так как ему явно больше ничего не оставалось делать, и, говорят, просидел здесь все время в качестве незаменимой натуры для какого-нибудь скульптора, который бы желал изваять эмблему величайшего из христианских праздников в городе Кишиневе.

А рядом в нескольких шагах от этого философа — трагедия еврейских лачуг развертывалась во всем своем стихийном ужасе. Толпа явилась около одиннадцати часов, в сопровождении двух патрулей, которые, к сожалению, тоже не имели никаких приказаний. Она состояла человек из пятидесяти или шестидесяти, и в ней легко можно было заметить добрых соседей с молдаванскими

фамилиями. Говорят, они прежде всего подступили к винной лавке, с хозяином которой, впрочем, поступили довольно благодушно. Ему сказали: «Дай тридцать рублей, а то убьем». Он дал тридцать рублей и остался жив,— конечно, спрятавшись куда было можно, чтобы все-таки не быть на виду и не искушать снисходительность дикой толпы... Последняя же приступила к погрому. Площадь в несколько минут покрылась стеклом, обломками мебели и пухом.

Вскоре, однако, все почувствовали, что самое главное должно произойти около дома Мошки Маклина.

Почему,— сказать трудно. Был ли действительно у этих громил какой-нибудь план, руководила ли ими какая-то тайная организация, как об этом многие говорят в городе, или ярость толпы — это слепой призрак, устремляющийся вперед с чисто стихийной бессознательностью,— это вопрос, который, может быть, разрешит (а может быть, и не разрешит) предстоящее судебное разбирательство. Как бы ни было, в доме № 13 к грохоту камней, треску стен и звону стекол вскоре должны были присоединиться крики убийства и смерти...

Налево от ворот, в углу, около которого сохранилась лужа крови до сих пор, есть несколько небольших деревянных сараев. В один из них спрятались от толпы громил стекольщик Гриншпун, его жена с двумя детьми, Ита Паскар, тоже с двумя детьми, и еще девочка четырнадцати лет, служанка. Изнутри сарай не запирался, и вообще все эти сараи напоминают карточные ящики. Преимущество их было только то, что в них нечего было ломать и грабить, и евреи рассчитывали, что здесь они будут не на виду. О защите нечего было и думать: в доме было только восемь мужчин; городовой № 148, не получив никаких приказаний, сидел на тумбе, а два патруля стояли в переулках выше и ниже разрушенного дома. А в толпе уже совершилось загадочное нарастание стихийного процесса, при котором из-под тонкого налета христианской культуры прорываются вспышки животного зверства. Разгром был в разгаре: окна были выбиты, рамы сорваны, печи разрушены, мебель и посуда обращены в осколки. Листки из священных книг валялись на земле, горы пуху лежали во дворе и кругом дома, пух но-

сился по воздуху и устилал деревья, как иней. Среди этого безумного ада из грохота, звона, дикого гоготания, смеха и воплей ужаса — в громилах просыпалась уже жажда крови. Они бесчинствовали слишком долго, чтобы остаться людьми.

Прежде всего кинулись в сарай. Здесь был только один мужчина: стекольщик Гриншпун. Сосед с молдаванской фамилией, которого вдова Гриншпуна называла по имени, как хорошего знакомого, первый ударил стекольщика ножом в шею... Несчастный кинулся из сарая, но его схватили, поволокли под навес и здесь докончили дубинами именно на том месте, где теперь сохранилось кровяное пятно.

На вопрос,— действительно ли вдова убитого знает убийцу и не ошибается, что это был не захожий разбойник, не албанец из Турции и не беглый каторжник из тюрьмы, еврейка сказала с убеждением:

— Я его держала ребенком на свои руки. Дай бог так жить, как хорошие были знакомые.

Этот «хороший знакомый» и нанес первый удар ножом в доме № 13. После этого положение определилось: первый предсмертный стон стекольщика,— и евреям, а быть может и самой толпе, стало ясно, чего от нее следует ожидать дальше. Евреи заметались, «как мыши в ловушке»,— выражение одного из кишиневских «христиан», веселого человека, который и в подобных эпизодах находил поводы для веселья...

Некоторые из них кинулись на чердак... В том самом навесе, под которым был убит Гриншпун, есть вверху темное отверстие, представляющее ход на чердак. Ход тесный и неудобный. Первый кинулся туда Берлацкий с дочерью, за ними последовал домохозяин Маклин. Маклин, как было уже сказано, не жил в этом доме. Но здесь жила его дочь, и, обеспокоенный ее судьбой, он явился на место трагедии. Дочери он не застал. Она уже ранее уехала в город с детьми... Теперь ему приходилось спасаться самому.

Все трое проникли на чердак беспрепятственно. Из этого следует, конечно, заключить, что далеко не вся толпа была проникнута жаждой крови, иначе, несомненно, их бы не допустили скрыться в этом темном отверстии, куда приходилось пролезать с трудом, на виду

у погромщиков, находившихся на дворе. Они скрылись,— значит их допустили скрыться люди, которые считали для себя удовольствием (или обязанностью) громить имущество, но не убивать людей. Однако вскоре за беглецами кинулись на чердак и убийцы...

Чердак дома № 13 — мрачное, полутемное помещение, загроможденное балками, боровами труб и подпорками крыши. Несчастные беглецы, сделав несколько поворотов (дом расположен покоем), увидели все-таки, что здесь, в полутьме чердака, душного и тесного, им не скрыться. Слыша сзади крики погони, они в отчаянии стали ломать крышу.

Два черных отверстия с разметанными вокруг черепицами еще видны на крыше дома № 13 в то время, когда я пишу эти строки. У одного из них лежал во время нашего посещения синий железный умывальный таз. Нужно было много отчаяния, чтобы в несколько минут смертельной опасности голыми руками пробить это отверстие. Но это им удалось: они хотели во что бы то ни стало взобраться наверх. Там был опять свет солнца, кругом стояли дома, были люди, толпа людей, городовой «бляха № 148», патрули... И они проломали в крыше два отверстия. Первым пролез в одно из них Мовша Маклин, так как он был человек «маленький и легкий» (характеристика одного из очевидцев). Берлацкому же предстояло сначала подсадить дочь Хайку. Затем, когда он полез сам, то один из преследователей был уже тут и схватил его за ногу.

И вот на глазах у всей толпы началась отчаянная борьба. Дочь тащила отца кверху, снизу его держал один из преследователей. Борьба, конечно, была не равная, и, разумеется, Берлацкому не увидеть бы еще раз солнечного света... Но тут Хайка Берлацкая перестала тянуть отца и, наклонившись к отверстию, *попросила* громилу отпустить его.

Он отпустил...

Пусть этому человеку отпустится часть его вины за то, что хотя на одно короткое мгновение, среди этой тьмы исступленного зверства, он допустил в свою душу луч человеческой жалости, что страх дочери-еврейки за жизнь еврея-отца все-таки проник в его омраченную душу... Он отпустил жида.

Что он сделал после этого? Может быть ушел с побоища, устыженный и прозревший, вняв голосу бога, который, как об этом говорят все религии, проявляется в любви и братстве, а не в убийстве беззащитных... А может быть он очнулся от мгновенного доброго побуждения и «раскаялся», но не в порыве зверства, а в движении человеческой жалости к убиваемым евреям, как это мы видели и на других примерах.

Как бы то ни было, а три жертвы оказались на поверхности крыши. Еще раз они увидели свет божий: и площадь, и дома, и соседей, и синее небо, и солнце, и городового «бляха № 148» на тумбе, и патрулей, ждавших приказа, и, может быть, еще того священника, который, руководимый христианским сознанием, пытался один и безоружный подойти к рассвирепевшей толпе громил.

Этот священник случайно проходил по площади, и евреи, которые смотрели с соседних домов на то, что творилось в доме № 13, стали просить, чтобы он заступился. Имени священника я, к сожалению, не знаю. По-видимому, это был добрый человек, который не думал, что есть на «святой Руси» или где бы то ни было такой народ, который заслужил, чтобы его людей убивали за какие-то огульные грехи, как диких зверей. Не думал он, очевидно, и того, что могут быть на Руси люди, которые имеют право убивать толпой беззащитных евреев, не стыдясь света и солнца. Непосредственное первое, самое правильное побуждение заставило его подойти к толпе с словом христианского увещания. Но громилы погрозили ему, и... он отступил. Это, очевидно, был простой добрый человек, но не герой христианского долга. Хочется думать, что, по крайней мере, он не стыдится своей попытки и своего первого побуждения.

В эту ли самую минуту, или в другую произошел этот эпизод, во всяком случае, три жертвы очутились на крыше, среди города, среди сотен людей,— без всякой защиты. Вслед за ними в те же отверстия показались убийцы.

Они стали бегать кругом по крыше, перебегая то в сторону двора, то появляясь над улицей. А за ними бегали громилы. Берлацкого первого ранил тот же сосед, который нанес удар Гриншпуну. А один из громил кидал

под ноги бегавших синий умывальный таз, который лежал на крыше еще два месяца спустя после погрома... Таз ударялся о крышу и звенел. И, вероятно, толпа смеялась...

Наконец всех троих кинули с крыши. Хайка попала в гору пуха во дворе и осталась жива. Раненые Маклин и Берлацкий ушиблись при падении, а затем подлая толпа охочих палачей добила их дрючками и со смехом закидала горой пуха... Потом на это место вылили несколько бочек вина, и несчастные жертвы (о Маклине говорят положительно, что он несколько часов был еще жив) задыхались в этой грязной луже из уличной пыли, вина и пуха.

VII

Последним убили Нисензона. Он с женой спрятался в погребе, но, услышав крики убиваемых и поняв, что в дом № 13 уже вошло убийство и смерть, они выбежали на улицу. Нисензон успел убежать во двор напротив и мог бы спастись, но за его женой погнались громилы. Он кинулся к ней и стал ее звать. Это обратило на него внимание. Жену оставили и погнались за мужем; он успел добежать до дома № 7 по Азиятскому переулку. Здесь его настигли и убили. При этом называют две фамилии, одна с окончанием польским, другая молдаванская. Перед пасхой шли дожди, в ямах и по сторонам улиц еще стояли лужи. Нисензон упал в одну из таких луж, и здесь убийцы, смеясь, «полоскали» жида в грязи, как полощут и выкручивают стираемую тряпку.

После этого толпа как бы удовлетворилась и уже только громила дома, но не убивала. Евреи из ближайших домов вышли, чтобы посмотреть несчастного Нисензона. Он был еще жив, очнулся и попросил воды. Руки и ноги у него были переломаны... Они вытащили его из лужи, дали воды и стали отмывать от грязи. В это время кто-то из громил оглянулся и крикнул своим. Евреи скрылись. Нисензон остался один. Тогда опять тот же человек, который убил Гриншпуна и первый ранил Берлацкого, ударил несчастного ломом по голове и покончил его страдания...

Затем толпа продолжала работать дальше. Площадь была загромождена обломками мебели, обрывками всякого старья и выломанными рамами до такой степени, что проходить по ней было очень трудно. Одна еврейка рассказывала мне, что ей нужно было пробраться на другой конец, где остались ее дети; на руках у нее был грудной ребенок, и она напрасно дважды пыталась пройти. Наконец знакомый христианин взял у нее ребенка, и только тогда она кое-как прошла через эти беспорядочные баррикады...

В пять часов этого дня стало известно, что «приказ», которого с такой надеждой евреи ждали с первого дня, наконец, получен...

В час или полтора во всем городе водворилось спокойствие. Для этого не нужно было ни кровопролития, ни выстрела. Нужна была только определенность.

А теперь нужны будут годы, чтобы хоть сколько-нибудь изгладить подлое воспоминание о случившемся, таким грязно-кровавым пятном легшее на «совесть кишиневских христиан»...

И не только на совесть тех, которые убивали сами, но и тех, которые подстрекали к этому человеконенавистничеством и гнусною ложью, которые смотрели и смеялись, которые находят, что виноваты не убийцы, а убиваемые, которые находят, что могут существовать огульная безответственность и огульное бесправие...

Я чувствую, как мало я даю читателю в этой заметке. Но мне хотелось все-таки выделить хоть один эпизод из того спутанного и обезличенного хаоса, который называется «погромом», и хоть на одном конкретном примере показать, что̀ это было «в натуре». Для этого я пользовался живыми впечатлениями очевидцев, переданными отчасти мне лично, частью же моему спутнику, который помог мне восстановить черта за чертой эту картину. Правда, это основано на показаниях евреев, но нет основания сомневаться в их достоверности. Факт несомненен: в доме № 13 убивали толпой беззащитных людей, убивали долго, среди людного города, точно в темном лесу. Трупы налицо... А затем,— не все ли равно евреям, как именно их убивали? Для чего им выдумывать подробности?..

Мораль ясна для всякого, в ком живо человеческое чувство... Но во многих ли оно живо?..

Этот тяжелый вопрос встает невольно, когда увидишь то, что мне пришлось увидеть в Кишиневе.

VIII

А впрочем... Подавленный этим ужасающим материалом, я кончал свои беспорядочные наброски, когда прочитал в газетах о смерти нотариуса Писаржевского. Имя этого человека было у всех на устах в то время, когда я был в Кишиневе. Молодой, красивый, богатый, вращавшийся в «лучшем обществе», он искал еще новых впечатлений. Десятки людей говорили мне о том, что Писаржевский, несомненно, лично участвовал в погроме, поощряя громил. Говорили также много о том, какие сильные средства пускались в ход, чтобы затушевать это вопиющее дело и скрыть прямое участие в погроме кишиневского светского льва. Хотелось бы думать, что не все верно, что рассказывали по этому поводу, но и то, что верно, составило бы очень подходящее прибавление к странной истории кишиневского погрома...

Эти усилия не удались. Истина была слишком очевидна, и в газетах появилось известие о привлечении Писаржевского к делу.

После этого он продолжал прежний образ жизни: вращался в свете, кутил, играл в карты. В роковую ночь ему очень везло в игре, он был очень весел, а на заре ушел в сад, написал на скамье: «Здесь умер нотариус Писаржевский»,— и застрелился.

В газетных комментариях сообщают, что он был наследственный алкоголик, что его угнетала перспектива суда, что ему не удались какие-то любовные комбинации...

Все ли это?.. Теперь факт уже совершился, печальная расплата закончена... Мне кажется, я не унижу памяти несчастного человека, если предположу, что в том счете, итог которого сам он вывел на скамейке, могли участвовать еще некоторые цифры. Что на заре его последнего дня перед ним встало также сознание того, что́ сделал он, интеллигентный человек,— по отношению к евреям, которых убивали христиане, и по отношению к христианам, которые убивали евреев.

Я не имел в виду создавать проекты решения еврейского вопроса. Но если бы я был один из тех еврейских миллионеров, которые заняты этим вопросом, я бы, признаюсь, не устоял против соблазна произвести один социальный опыт: я бы переселил, чего бы это ни стоило, если не всех, то огромное большинство евреев из места погрома. Я вернул бы богачу его богатство и сделал бы бедняка зажиточным человеком, под условием немедленного переселения. И когда из-под снятого таким образом пласта еврейского капитала выступил бы в данном месте свой отечественный и даже патриотический капитал без примеси и без усложняющих обстоятельств, когда г. Крушевану не на кого было бы взводить мрачные небылицы о ритуальных убийствах, а ростовщики и скупщики щеголяли бы не в еврейской одежде,— тогда, надо думать, стало бы ясно, в чем тут дело и можно ли решать эти вопросы погромами и убийством «бухгалтеров» Нисензонов, несчастных стекольщиков Гриншпунов, извозчиков-евреев, добывающих свой горький хлеб трудом, таким же тяжким, как и труд их христианских собратьев...

И действительно ли гнет ростовщика легче, если он не носит еврейскую одежду и называет себя христианином?..

1903

Сорочинская трагедия

По данным судебного расследования

ПРЕДИСЛОВИЕ

В декабре 1905 года в местечке Сорочинцах и Устивице (Полтавской губ.) произошли события, вызвавшие известную «карательную экспедицию» статского советника Филонова.

12 января 1906 года я поместил в газете «Полтавщина» открытое письмо, в котором, рассказав о беззаконных жестокостях и массовых истязаниях, допущенных этим чиновником, взывал к суду — над ним или надо мною.

18 января, вернувшись из другой подобной же экспедиции, Филонов был убит в гор. Полтаве. Убийца скрылся.

В самый день похорон Филонова местная полуофициозная газета «Полтавский вестник» поместила от имени покойного «посмертное письмо писателю Короленко». Письмо это, уже и тогда внушавшее большие сомнения в своей подлинности, открыло обширную и ожесточенную газетную кампанию, целью которой было, во-первых, подорвать доверие к правдивости сообщенных мною фактов, а во-вторых, возбудить в читателях сомнение в прямоте и искренности моего призыва к правосудию, который выставлялся, как сознательное подстрекательство к террористическому убийству.

В газете «Полтавщина», а затем в «Русском богатстве» (январь 1906 г.) я ответил на эти инсинуации кратким заявлением. Глубоко сожалея о том, что нача-

тая мною гласная тяжба с бесчеловечными по форме и размерам административными репрессиями прервана вмешательством, которого я не мог ни предвидеть, ни, тем более, желать,— я выражал надежду, что и теперь ничто не помешает полтавской администрации потребовать у меня на суде доказательств правдивости всего, мною сказанного, к чему я совершенно готов...

Вскоре стало известно, что против писателя Короленко и редактора «Полтавщины» Д. О. Ярошевича возбуждается преследование по п. 6 гл. 5 отдела III временных правил о печати. Тогда, с своей стороны, я прекратил всякую полемику по этому предмету, в ожидании компетентной проверки фактов, в результатах которой я не имел оснований сомневаться.

Это соображение не остановило начатой против меня кампании. Быть может, именно потому, что результаты судебного расследования легко было предвидеть,— газеты известного лагеря постарались широко использовать время до решения суда. Поток инсинуаций разливался все шире. Клевета проникла, наконец, на столбцы министерского органа «Россия» и была повторена господином Шульгиным с высоты депутатской трибуны.

Теперь следствие закончено, и самое дело прекращено, так как *изложенные мною факты подтвердились.* С этим проверенным материалом в руках я имею теперь возможность ответить на клевету.

Впрочем, если бы дело шло только обо мне лично, то, вероятно, я пригласил бы моих противников поддержать их обвинения против меня тем же судебным порядком, каким я поддерживал свои по отношению к «филоновской экспедиции». При этом мне представлялся широкий выбор противников, начиная с министерского органа и кончая «Полтавским вестником»[1], открывшим кампанию заведомо подложным письмом.

Но я считаю, что значение «сорочинской трагедии» гораздо шире личного вопроса и даже вопросов местных. Это — типичная «карательная экспедиция», освещенная теперь с начала и до конца, со всеми характерными чертами этого явления наших «конституционных дней». Роль администрации, суда, официозной и

---

[1] Редактор Д. Иваненко.

независимой печати в этом эпизоде до такой степени поучительны, что ими совершенно поглощаются частные вопросы личного порядка.

Поэтому я и решил развернуть перед обществом всю эту картину, как она рисуется теперь на основании официально проверенного материала.

При этом читатели могут судить попутно и о том, имели ли писатель Короленко и независимая полтавская печать *право* и даже *обязанность* напечатать «открытое письмо» с призывом к суду, и на чьей стороне были не только право и правда, но и самая строгая «законность».

I

СОРОЧИНЦЫ И УСТИВИЦА

Все это случилось через месяц после манифеста 17 октября 1905 года.

В России долго будут помнить это время.

В разгар общей забастовки, среди волнений, закипавших по всей стране, манифест провозглашал новые начала жизни и во имя их призывал страну к успокоению. В записке гр. Витте, приложенной к манифесту по высочайшему повелению, говорилось, между прочим, что «волнение, охватившее разнообразные слои русского общества, не может быть рассматриваемо... только как результат организованных действий крайних партий. Корни этого волнения, несомненно, глубже». Они в том, что «Россия переросла формы существующего строя».

Дальше говорилось о необходимости полной *искренности* в проведении новых начал, а властям предстояло сообразовать с ними свои действия.

Отсюда вытекали, разумеется, неизбежные последствия: так как вина в волнениях, происходящих в обществе, «переросшем формы существующего строя», признавалась по меньшей мере двусторонней, то и меры успокоения должны быть тоже двусторонни. Перед властью лежала сложная и ответственная задача: с одной стороны, она не могла, конечно, допустить насилий, погромов и захватов, но с другой — должна была показать, что сила власти направлена только на поддержание закона и регулируется законом. Старые приемы произвола,

административных усмотрений и безответственности должны были отойти в прошлое. Только из приемов самой власти общество и народ могли увидеть, что обещания манифеста не одни слова, что они входят в жизнь как действующая и уже живая сила...

Этих простых и общепризнанных положений, заштемпелеванных и даже высочайше утвержденных, совершенно достаточно для освещения описываемых мною событий. Местная независимая печать стояла в филоновском деле именно на этой точке зрения...

К сожалению, те, для которых она, по-видимому, являлась наиболее обязательной, были совершенно не подготовлены к ее пониманию. Отсюда сорочинская трагедия. Отсюда и много других трагедий, которые переживала и еще переживает наша страна, «переросшая формы своего существования», которые, однако, продолжают давить ее с прежнею силой...

23 декабря 1905 года я вернулся из Петербурга в Полтаву.

В городе в это время рассказывали ужасы о мрачной драме, разыгравшейся в местечке Сорочинцах (прославленных некогда веселыми рассказами Гоголя) и в соседней Устивице.

В местной газете были помещены известия об этих событиях [1]. В первой корреспонденции сообщалось, что в ночь на воскресенье, 18 декабря, в Сорочинцах был арестован (в административном порядке) местный житель Григорий Безвиконный. «В ответ на это,— продолжает корреспондент,— 19 декабря, с общего согласия крестьян, был арестован при волостном правлении сорочинский пристав. Крестьяне думали таким образом ускорить освобождение Безвиконного». Вслед за приставом арестовали и урядника Котляревского.

В Полтавской губернии подобные вспышки были уже в других уездах, причем, по-видимому, толпа была особенно чутка к арестам в административном порядке лиц, читавших и объяснявших манифест народу. Так, в гор. Зенькове, после ареста такого толкователя Никольского, толпа около двух тысяч человек двинулась к тюрьме. Стражники стреляли, но это не помогло. Толпа росла,

---

[1] «Полтавщина» №№ 310 и 314.

увеличиваясь пришельцами из деревень. На следующий день прибыл освобожденный Никольский и успокоил народ, «обнадежив его милостью высшего начальства», которое (по его словам) не оставит безнаказанным опрометчивый поступок исправника, повлекший за собой кровавые жертвы... Толпа разошлась, причем ни грабежей, ни других беспорядков больше не было, и столкновение разрешилось на этот раз без дальнейших несчастий[1].

14 декабря такое же волнение было вызвано в Лохвице административным арестом местного жителя И. П. Бедро. Толпа арестовала помощника исправника и повела его к волости. Отряд драгун освободил его, и в толпу было дано три залпа. Оказались раненые, в том числе трое тяжело[2].

В местечке Ковалевке (Пирятинского уезда) такое же впечатление произвел арест крестьянина Оправхата...

Очевидно, народ «слишком непосредственно» принимал обещания манифеста о «неприкосновенности личности» и «ответственности лишь по суду», считая эти обещания уже вошедшими в силу. Между тем администрация, особенно уездная, не желала отказаться от привычных способов действий. Понятно, что всякая возбуждающая агитация на этой почве встречала в народе восприимчивое и отзывчивое настроение.

Какое значение имел арест Безвиконного для дальнейших событий,— лучше всего можно судить из показаний полицейских, которых в этом случае нельзя заподозрить в тенденциозности. Пристав Якубович в своем показании, воспроизведенном в газете «Полтавский вестник»[3], говорит, что ему кричали: «Мы знаем теперь, зачем существует полиция. Чтобы красть людей». Еще определеннее свидетельство другого полицейского, урядника Котляревского, претерпевшего плен вместе с приставом. «Обсуждая события 19 декабря,— простодушно и метко говорит этот очевидец,— я должен сказать, что в местечке Сорочинцы сравнительно все было спокойно, и начались волнения с введения усиленной охраны, когда появились слухи о производившихся арестах». Сам Без-

---

[1] «Полтавщина», 20 декабря 1905 г., № 307. (Корреспонденция из Зенькова).

[2] «Полтавщина» № 308. (Корресп. из Лохвицы.)

[3] «Полтавский вестник», 5 февраля 1906 г., № 972.

виконный, по словам Котляревского, не пользовался особенной популярностью. Но его арест послужил все-таки «предлогом для начала смуты».

Народным настроением воспользовался неведомый заезжий «оратор Николай». Уже 16 числа он появился в Сорочинцах и говорил речи перед толпой. Все это, однако, держалось в известных пределах, довольно обычных для того времени. С арестом Безвиконного настроение толпы резко поднялось. Арестовали пристава, звонили в набат, собирались с дрекольем. «Оратор» указывал на примеры, когда народу удавалось добиться освобождения административно арестованных...

19 декабря, то есть на следующий день после ареста пристава, часов в 11 утра в местечко прискакал из Миргорода помощник исправника Барабаш с сотней казаков. Население собралось по набату на площадь; многие были вооружены вилами, косами, дрючками и т. д. «Оратор Николай» был тут же. Барабаш просил крестьян пропустить его к приставу. Крестьяне согласились на это и проводили Барабаша к «пленнику», но на требование освободить пристава ответили отказом, требуя в свою очередь предварительного освобождения Безвиконного. Барабаш в этих трудных обстоятельствах сделал самое худшее, что только мог сделать: после переговоров он сначала уехал с своим отрядом, а потом вернулся к торжествующей и ободренной этим отступлением толпе. Здесь во время новых переговоров произошел, между прочим, следующий инцидент. Какая-то женщина ткнула длинной палкой в морду коня начальника отряда, полковника Бородина. Ее застрелил казачий урядник К.[1]. Можно предполагать с большой вероятностью, что именно этот выстрел, раздавшийся среди страшного напряжения еще до сигнального рожка (когда полковник Бородин «уговаривал толпу») и убивший женщину,— послужил сигналом для последовавшей за ним свалки, которая разразилась стихийно и ужасно. На месте остались смертельно раненный Барабаш и восемь человек сорочинских жителей; двенадцать других были тяжело

[1] Лист моего дела 50 и последующие. На полковника Бородина этот случай произвел такое потрясающее впечатление, что он заболел нервным расстройством. Передают, что ему все чудится убитая баба.

ранены и убиты в разных местах, на дворах и улицах местечка.

На другой день (то есть 20 декабря),— по словам того же урядника Котляревского,— *«все уже было спокойно»*. В переполненной больнице подавали помощь раненым. Барабаш и несколько сорочинских жителей умерли. Возбуждение предшествующих дней сразу упало. Наступила полная реакция.

Это был критический момент всего дела, мертвая точка, с которой оно могло направиться по новому пути, намеченному манифестом, или ринуться по старому, в глубину административного произвола. За дни возбуждения и волнений, корни которых тоже ведь надо было искать «глубже организованных действий крайних партий»,— местечко заплатило уже тяжкой, кровавой ценой. Теперь только суд мог с достаточным авторитетом разобраться в первом действии этой трагедии, от которой погиб Барабаш, но погибло также двадцать сорочинских жителей, не говоря о раненых...

Если бы обещания манифеста искренно признавались не отвлеченными рассуждениями, а живой и действующей силой, с которой «администрация должна сообразовать свои действия», то, конечно, суд вступил бы со своим вмешательством тотчас после «усмирения»...

Вышло не так. Полтавская администрация еще раз взяла на себя старую роль судьи в деле, в котором, по самым элементарным представлениям, она с момента усмирения должна была явиться уже только стороной,— обвиняющей и, может быть, защищающейся против обвинений...

От старых привычек отказываться трудно, особенно когда нет к тому и особого желания...

Наступало роковым образом второе действие сорочинской драмы...

В местечко был командирован Ф. В. Филонов, старший советник губернского правления, в распоряжение которого дан отряд казаков, с двумя пушками. Отряд вступил в Сорочинцы 21 декабря, и уже в ночь на 22-е были беспрепятственно произведены аресты так называемых «зачинщиков»

Тем не менее 22-го, по приказанию Филонова, казаки согнали без разбора на площадь перед волостью причастных и непричастных к событиям жителей. Здесь Фи-

лонов поставил всю тысячную толпу на колени в снег... Толпа покорно встала, что уже само по себе дает яркое доказательство отсутствия всякого бунта. Тем не менее Филонов продержал ее в этом положении по самым умеренным показаниям (казачьих есаулов и полицейских) не менее трех часов,— что уже само по себе составляет истязание... На этом фоне производились и другие действия, подробно описанные в моем «Открытом письме».

На следующий день, 23-го, отряд выступил в Устивицу, куда перенес ту же грозу, несмотря на то, что там не было никаких насилий, никого не арестовали и не убивали, а только самовольно закрыли винную лавку.

Все происшедшее было оглашено в газете «Полтавщина», в номерах, вышедших 23 и 30 декабря...

Таковы были события,— чудовищные (и, как всегда, еще преувеличенные) рассказы о которых я застал, вернувшись в Полтаву перед самым рождеством 1905 года. По этому поводу ко мне, как к одному из заметных работников печати, присылали письма, являлись лично возмущенные, взволнованные, негодующие люди с требованиями более энергичного вмешательства независимой прессы.

Упрекаю себя в том, что я некоторое время медлил. У меня была своя спешная работа. Я считал, что многое в этих рассказах преувеличено, и не мог взяться за это дело без тщательной проверки. Наконец — в печати были уже оглашены все факты. Земский начальник (Данилевский) официально докладывал о них губернатору (кн. Урусову)... Почетный мировой судья Лукьянович, имение которого находится по соседству с Устивицей, 31 декабря послал подробное официальное сообщение прокурору полтавского окружного суда... Трудно было думать, что и после этого никто, ни администрация, ни судебная власть, не удержит дальнейших бесцельных жестокостей.

Никто не удержал их, и вскоре из уездов стали приходить известия самого тревожного свойства. В селе Кривая Руда, *в которой не было уже никаких беспорядков*, Филонов произвел погром, показывавший, что военный отряд отдан, по-видимому, в распоряжение человека, одержимого какими-то болезненными приступами непонятной жестокости...

II

КРИВАЯ РУДА. ЭПИДЕМИЯ НАСИЛИЙ

На этот раз погром был вызван забастовкой на хуторе земского начальника Надервеля. Отправляясь туда, Филонов распорядился, чтобы староста *села Кривой Руды,* через которую только лежал путь на хутор земского начальника, заготовил (бесплатно) обед для казачьего отряда и созвал полный сход. Жители Кривой Руды, не допускавшие в своем селе никаких беззаконий, считали и себя в свою очередь состоящими под охраной законов и потому отказали старшине в бесплатной выдаче припасов, а сход, собравшись в полном составе, ждал с утра до восьми часов вечера. Видя, что отряда нет, старшина счел себя вправе распустить усталых и озябших людей по домам.

Этого для Филонова было достаточно, чтобы повторить в мирном селе все то, что он произвел в Сорочинцах, где все-таки было ранее вооруженное столкновение. Приехав вечером, он прежде всего потребовал к себе старшину, сорвал с него знак, избил палкой по лицу, затем принялся за писарей, которых таскал за бороды из одного конца комнаты в другой. Среди холода и темноты наскоро был согнан сход из двухсот — трехсот человек ничего не понимавших и ни к каким забастовкам не причастных («многие из попавших на этот сход сами имеют годовых рабочих»,— прибавляет корреспондент). Выйдя на крыльцо, Филонов закричал: «Шапки долой, на колени, мерзавцы! Выдавай виновных!» Толпе не было объяснено даже, кто виновен, и в чем виновен, и кого следует выдавать... В это время казаки привели к крыльцу отставного земского фельдшера Багно. Увидав его, Филонов закричал: «Долой шубу!» С больного старика сорвали шубу, закатили пиджак, два казака нагнули за волосы и за бороду, а два начали бить, пока он свалился на землю. После этого его заперли в арестантскую и принялись за толпу по очереди. «Выбирать не выбирали, а просто били по порядку, кто ближе стоял на коленях...»

Тогда, под влиянием ужаса (все это, напомним, происходило в темноте и среди полного недоумения о причи-

нах нападения), кто-то в толпе поднялся, чтобы бежать. Толпа последовала этому примеру... Люди побежали в беспорядке. Казачий есаул крикнул: «Руби!» «Никто не успел опомниться — все смешалось. Каждый видел перед собою только смерть Ночь безлунная, хотя и звездная, наводила еще больший ужас на души суеверных, беззащитных крестьян... Бежали прямо под шашки, топча и давя друг друга...» [1].

К этой картине, которой мне приходится дополнить свое «Письмо», прилагаемое ниже, считаю необходимым прибавить здесь же следующую оговорку: она заимствована мною из корреспонденции газеты «Полтавщина», напечатанной долго спустя [2], так как редакция подвергла ее предварительно самой тщательной проверке. По этому поводу губернатор, князь Урусов (к сожалению слишком поздно), командировал чиновника г. Устимовича для проверки газетных сведений о деяниях своего «старшего советника», а вероятно, также на предмет возбуждения нового дела против газеты. Но г. Устимович счел своей обязанностью сделать правдивый доклад, *подтвердивший сведения, сообщенные корреспондентом.* В приобщении к моему делу этого доклада мне было отказано, но самый факт командировки и ее результатов установлен показанием старшего советника губернского правления г. Ахшарумова, который,— правда в очень смягченной форме,— признал в своем показании по моему делу, что дознание Устимовича действительно было и что Филонов «при исполнении служебных обязанностей применял по отношению к некоторым лицам репрессивные меры, граничащие с физическим воздействием, *почему судебного преследования против газеты за означенную корреспонденцию возбуждено не было...»* [3].

«Меры, граничащие с физическим воздействием»,— это, конечно, выражение очень изящное, в чисто канцелярском стиле, но зато окончание изящной фразы вполне определенно: газета не была привлечена к ответст-

---

[1] Изувеченных и раненых оказалось, по словам корреспондента, более 40 человек (22 была оказана медицинская помощь).

[2] В апреле 1906 г., № 23, уже после смерти Филонова.

[3] Показания по моему делу старш. сов. губ. правления Ахшарумова. Лист 247 и след.

венности, несмотря на всю готовность администрации, потому что ее сведения подтвердились. А она говорила не о мерах, «граничащих с воздействием», а о таких мерах, которые далеко перешли границу, отделяющую простые «воздействия» от *истязаний*, и применялись к мирным жителям, ничем, с своей стороны, не нарушившим существующих законов...

Была еще причина, побудившая меня взяться за перо: жестокость Филонова заражала подчиненных и переходила в какую-то эпидемию.

Еще Петр Великий на своем образном языке указывал последствия того, «когда начальствующий сойдет с фарватера» правды и закона. «Первее всего станет тщиться всю коллегию в свой фарватер сводить... А видя то, подчиненные в какой роспуск впадут».

Этот «роспуск» уже ширился по губернии. Почетный мировой судья Лукьянович сообщал прокурору о появлении в его усадьбе какой-то пьяной банды, которая, без всяких законных полномочий, начинала рыскать по хуторам, чтобы хватать неблагонадежных, а вернее, конечно,— сводить свои счеты... Из Хорольского уезда газете «Полтавщина» сообщали, что после «усмирения» на хуторе Дубовом, исправник для производства дознания собрал жителей и крикнул: «На колени, крамольники!» «Крамольники» стояли в луже, но, окруженные казаками, стали на колени в ледяную воду и простояли два часа. «Крамолу изгнали,— прибавляет корреспондент,— а ревматизмов приобретено не мало» [1].

Такие известия приходили из разных мест. Одни слухи о приближении филоновского отряда вызывали панику, которую ярко рисуют некоторые свидетели по моему делу.

«Я наблюдала картину настоящей паники,— говорит, например, устивицкая учительница Крапивина [2].— Люди куда-то шли из центра местечка и вели с собой детей. Шли оторванные от предпраздничной работы женщины, запачканные в меле, так как они мазали хаты».

Другой свидетель, случайно гостивший в Устивице, дает картину первых моментов после занятия отрядом

---

[1] «Полтавщина», 1906, № 8.

[2] Лист моего дела 209.

села: «Один ожидаемый приезд отряда нагнал на народ панику. Многие с уезда (приезжие?) принялись убегать даже с детьми, куда глаза глядят. Были такие, что прятались в лесу или в соседних селениях». На улице ему попались два казака, которые гнали какого-то старика (на сход), подгоняя его нагайками. Взобравшись (вероятно, для безопасности) на колокольню, он «хорошо видел, что казаки (несколько человек) бегают по улицам, по дворам и гоняются за какими-то людьми, не то мужчинами, не то женщинами».

«Одна местная жительница, красивая, молодая женщина, еле отделалась от любезностей гонявшихся за нею и так перепугалась, что нервно заболела» [1]

Вот во что, под влиянием «старшего советника», «уклонившегося с фарватера закона», превращались отряды, назначенные для восстановления закона и «спокойного доверия к власти»... И не было видно такой закономерной власти, которая бы пожелала и смогла положить этому предел и напомнить об ответственности «не одних обывателей, но и должностных лиц».

Администрация, по-видимому, не желала.

Суд, вероятно, не мог...

Оставалась печать, и я чувствовал угрызения совести, что не сделал ничего тотчас же по получении известий о сорочинской катастрофе. Я надеялся на последствия фактических газетных корреспонденций и на официальные сообщения почетного мирового судьи. Но за ними последовали только истязания ни в чем не повинных криворудских жителей. Очевидно, нужно было сказать что-нибудь более яркое и более сильное, чем фактические корреспонденции провинциальной газеты.

При данных обстоятельствах эта задача явно ложилась именно на меня, и, после известий о Кривой Руде, я уже не мог думать ни о каких других работах.

Разумеется, наиболее благодарным материалом для ее исполнения являлся криворудский эпизод, не осложненный никакими «беспорядками», *где явное беззаконие, с начала и до конца, было на одной только стороне*. Но это требовало, разумеется, новой тщательной проверки, а дни уходили, разнося ужас и панику, подавляя всякие

[1] Лист моего дела 178. Показание учителя духовного училища Кремянского.

надежды на законный исход, принося, быть может, новые экспедиции и новые жестокости.

В это именно время в Полтаву приехали двенадцать человек сорочинских жителей, которые сами пожелали дать для печати сведения о происшествиях в их селе, принимая ответственность за правильность сообщения... Я по очереди опросил их, записал их показания, сопоставил их друг с другом и исключил все, что возбуждало хоть в ком-нибудь из них сомнение и не подтверждалось двумя-тремя человеками.

Так был получен материал для нижеследующего письма, которое я привожу целиком и без всяких изменений. Читатель увидит, надеюсь, что картина, в нем изображенная, бледнее той, которая рисуется следственным материалом... И если при этом мне приходится повторять о мертвом то, что я писал, призывая к суду живого; если мне придется дополнить картину его действий новыми подробностями, доставленными запоздалым официальным расследованием, то пусть вина в этом падет на тех, кто в течение целого года, пользуясь моей сдержанностию в ожидании суда,— продолжали извращать факты, известные целому краю, не останавливаясь при этом даже перед подлогами от имени покойного Филонова.

Истина имеет свои права, и теперь пусть общество судит не только о действиях Филонова, но и о том, какими средствами защищали этот образ действий его живые единомышленники...

III

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО СТАТСКОМУ СОВЕТНИКУ ФИЛОНОВУ[1]

Г Статский советник Филонов!

Лично я вас совсем не знаю, и вы меня также. Но вы чиновник, стяжавший широкую известность в нашем

---

[1] «Полтавщина», 12 января 1906 г., № 8. Все примечания, которыми я здесь снабжаю текст своего письма, взяты из следственного дела о писателе В. Г. Короленке и редакторе газ. «Полтавщина» Д. О. Ярошевиче, привлеченных к следствию по п. 6 гл. 5 отд. III временных правил о печати. Ссылки не полны. Я отдавал предпочтение показаниям казаков, полицейских, священников и должностных лиц.

крае походами против соотечественников. А я писатель, предлагающий вам оглянуться на краткую летопись ваших подвигов.

Несколько предварительных замечаний.

В местечке Сорочинцах происходили собрания и говорились речи. Жители Сорочинец, очевидно, полагали, что манифест 17 октября дал им право собраний и слова. Да оно, пожалуй, так и было: манифест действительно дал эти права и прибавил к этому, что никто из русских граждан не может подлежать ответственности иначе, как по суду. Он провозгласил еще участие народа в законодательстве и управлении страной и назвал все это «незыблемыми основами» нового строя русской жизни.

Итак, в этом отношении жители Сорочинец не ошибались. Они не знали только, что, наряду с новыми началами, оставлены старые «временные правила» и «усиленные охраны», которые во всякую данную минуту предоставляют администрации возможность опутать новые права русского народа целою сетью разрешений и запрещений, свести их к нулю и даже объявить беспорядком и бунтом, требующим вмешательства военной силы. Правда, администрация приглашалась сообразовать свои действия с духом нового основного закона, но... у нее были и старые циркуляры, и новые внушения в духе прежнего произвола.

В течение двух месяцев высшая полтавская администрация колебалась между этими противоположными началами. В городе и в губернии происходили собрания, и народ жадно ловил разъяснения происходящих событий. Конечно, были при этом и резкости, быть может излишние, среди разных мнений и заявлений были и неосновательные. Но мы привыкли оценивать явления по широким результатам. Факт состоит в том, что в самые бурные дни, когда отовсюду неслись вести о погромах, убийствах, усмирениях,— в Полтаве ничего подобного не было. Не было также тех резких форм аграрного движения, которые вспыхивали в других местах. Многие, и не без основания, приписывали это, между прочим, и сравнительной терпимости, которую проявила высшая полтавская администрация к свободе собраний и слова. Под их влиянием стихийные страсти народа умерялись,

сознание росло, ожидания вводились в закономерное русло, надежды обращались к будущим свободным учреждениям страны. Казалось, еще немного, и народное мнение сложится и прояснится, как проясняется вино после шумного и мутного брожения. А затем ему предстояла окончательная переработка в высшем законодательном учреждении страны...

Теперь это уже только прошлое. С 13 декабря полтавской администрации угодно было переменить свой образ действий. Результаты тоже налицо: в городе — дикий казачий погром, в деревне — потоки крови. Вера в значение манифеста подорвана, сознательные стремления сбиты, стихийные страсти рвутся наружу или, что гораздо хуже — временно вгоняются внутрь, в виде подавленной злобы и мести...

Зачем я говорю вам все это, г. статский советник Филонов? Я, конечно, хорошо знаю, что все великие начала, провозглашенные (к сожалению, лишь на словах) манифестом 17 октября 1905 года, вам и непонятны, и органически враждебны. Тем не менее это уже *основной закон русского государства*, его «незыблемые основы»... Понимаете ли вы, в каком чудовищно преступном виде предстали бы все ваши деяния перед судом этих начал?

Но я буду «умерен»... Я буду более чем умерен, я буду до излишества уступчив... Поэтому, г. статский советник Филонов, я применю к вам лишь обычные нормы старых русских законов, действовавших до 17 октября.

Факты.

В Сорочинцах и соседней Устивице происходили собрания без формального разрешения. На них говорились речи, принимались резолюции. Между прочим, постановлено закрыть винные монополии. Составлены приговоры и, не ожидая официального разрешения, монополии закрыли, на дверях повесили замки. .

18 декабря, на основании усиленной охраны, то есть в порядке внесудебном, арестован один из сорочинских жителей, Безвиконный. Односельцы потребовали, чтобы его предали суду, а до суда отдали им на поруки. Такие требования о судебном расследовании, вместо ненавистного административного усмотрения,— становятся общими, имели место в разных селах и местечках нашей гу-

бернии и сопровождались кое-где успехом. Сорочинцам было отказано. Тогда они, в свою очередь, арестовали урядника и пристава.

19 декабря помощник исправника Барабаш приехал в Сорочинцы во главе сотни казаков. Он виделся с арестованными и, как говорят, уступая их убеждениям, обещал ходатайствовать об освобождении Безвиконного и отошел с отрядом Но затем, к несчастью, он остановился на окраине, разделил свой отряд, сделал обходное движение и опять подъехал к толпе. Произошло роковое столкновение, подробности которого установит суд. В результате смертельно ранен помощник исправника, смертельно ранено и убито до двадцати сорочинских жителей ..

Известно ли вам, г. статский советник Филонов, при каких обстоятельствах погибли эти двадцать человек? Все они убивали исправника? Нападали? Сопротивлялись? Защищали убийц?

Нет. Казаки не удовольствовались рассеянием толпы и освобождением пристава. Они кинулись за убегавшими, догоняли и убивали их. Этого мало: они бросились в местечко и стали охотиться за жителями, случайно попадавшимися на пути.

Так именно, около дома господина Малинки был убит сторож *Отрешко*, мирно обметавший снег около хозяйского крыльца[1]. Так, Евстафий *Гарковенко* «смыкал» для скота сено из стога, в своем дворе, за версту от волостного правления. Казак прицелился с улицы, и раненый Гарковенко упал прежде, чем мог заметить злодея. Так, старик аптекарь Фабиан *Перевозский* возвра-

---

Показания: *свящ. Греченко* (лист дела 215): «Казак перегнулся через забор и выстрелил». Показ. *дворянина Малинки* (лист 245 и след.): «Отрешко был ранен подъехавшим казаком из-за забора в то время, как он был во дворе». Показания *старшины Копитько* (лист 214), *старосты Повзика* (лист 216), *урядника Котляревского* (л. 216—217) и др. Интересно указание дворянина Малинки, что серия выстрелов, от которой, между прочим, погиб Отрешко, раздалась долго спустя после залпов у волостного правления. Урядник Котляревский слышал, что это стреляли казаки, возвращавшиеся из больницы, куда они отвезли Барабаша.

щался с сыном из почтового отделения. Около дома Орлова их настиг убийца, казак, который застрелил сына на глазах у отца. Так, Сергей Иванович *Ковтун* убит в шести саженях от своих ворот. Так, *женщина*, жена крестьянина *Маковецкого*, убита в самых воротах. Так, *у девушки Келеповой* прострелены пулей обе щеки [1]. Я мог бы вам перечислить, при каких условиях и где именно убиты все погибшие в Сорочинцах. Но я считаю достаточным сказать, что восемь человек убиты у волостного правления и в непосредственной близости, двенадцать же пали на улицах, у своих домов и в глубине дворов... [2].

Теперь, г. статский советник Филонов, я позволю себе спросить: одно ли преступление совершено в Сорочинцах 19 декабря, или их совершено много? Думаете ли вы, что драгоценна только кровь людей в мундирах, а кровь людей в свитках и сермягах, кровь Отрешка, Гарковенка, Ковтуна, Маковецкой, Келеповой и им подобных можно лить безнаказанно, как воду? Не кажется ли вам, что, если необходимо исследовать, кто и при каких обстоятельствах убил несчастного Барабаша, то не менее необходимо, чтобы правосудие занялось и тем, кто, вооруженный, убивал на улицах, на дворах, в огородах безоружных простых людей, не нападавших, не сопротивлявшихся, не бывших на месте рокового происшествия, не знавших о нем и умерших в этом незнании.

---

[1] Об *Евстафии Гарковенко* есть показания, что он ранен не во дворе, а на площади. *Ковтун* найден в 20 саженях от своих ворот (показания: *урядника Котляревского*, лист 216; *старосты Повзика*, л. 216; *Кияшко*, л. 217 и след.; *старшины Копитько*, л. 214 и др.). *Келепова* не ранена, а убита у женской школы, а у *Маковецкой* прострелены щеки недалеко от ее ворот (*урядник Котляревский*, кр. *Кияшко*, *староста Повзик*, *свящ. Греченко* и др.).

[2] Показания кр. *Кияшко* (217). На его глазах стреляли в женщин, убегавших по улице. Женщины шли не от волости, а иные стояли у своих ворот. *Анна Сорока* (218) видела, как казаки стреляли в лежавшую на снегу девушку. В нее (Сороку) тоже стреляли, когда она перебегала улицу (далеко от волости). *Гриценко* (217) и *урядник Котляревский* (216) слышали, что это делал отряд, возвращавшийся из больницы, куда отвезли Барабаша. Факт погони и убийств на улицах *признан и определением суда по моему делу*.

О, да! Мне нет никакой надобности применять к этой трагедии великие начала нового основного закона... Для этого достаточно любого закона любой страны, имеющей хоть самые несовершенные понятия о законе писанном или обычном. Отправьтесь, г. статский советник Филонов, в страну полудиких курдов, на родину башибузуков. И там любой судья ответит вам: «У нас,— скажет он без сомнения,— тоже много вооруженного разбоя, опозорившего нашу страну перед целым светом. Но и наши несовершенные законы признают, что кровь людей в простой одежде так же взывает к правосудию, как и кровь убитого чиновника».

Решитесь ли вы открыто и гласно отрицать это, г. статский советник Филонов?

Наверное — нет! И, значит, мы оба согласны, что представителю власти и закона, отправлявшемуся в Сорочинцы впервые после трагедии 19 декабря, предстояла суровая, но и почетная и торжественная роль. В это место, уже охваченное смятением, печалью и ужасом, он должен был внести напоминание о законе, суровом, но беспристрастном, справедливом, стоящем выше увлечений и страсти данной минуты, строго осуждающем самосуд толпы, но также (заметьте это, г. статский советник Филонов) *не допускающем и мысли о кастовой мести со стороны чиновничества всему населению...*

Ему предстояло еще показать народу, что законы в России не перестали действовать, но что и гарантии правосудия, торжественно обещанные царским манифестом,— тоже не мертвая буква и не нарушенное обещание. Но об этом мы уже условились не говорить с вами, г. статский советник Филонов... Притом же, если бы эта последняя задача имелась в виду, то, конечно, ее возложили бы не на вас.

Между тем, к удивлению многих в Полтаве, именно на вас возложена тяжелая, трудная и почетная роль представителя «законной» власти в местечке Сорочинцах после 19 декабря.

Как вы ее поняли? И как выполнили?

Факты.

21 декабря из Сорочинец увезли тело несчастного

Барабаша, умершего в больнице. Еще не стих печальный перезвон церковных колоколов, как вы, г. статский советник Филонов, въехали в Сорочинцы во главе сотни казаков [1].

Были ли в то время какие-нибудь признаки возмущения? Было ли вам оказано сопротивление? Построили вам навстречу баррикады? Собрались с оружием? Мешали вашим следственным действиям?

Нет, в местечке Сорочинцах не было уже никаких признаков, которые бы говорили о сопротивлении и противодействии. Жители были подавлены страшным несчастием 19 декабря, разразившимся над ними неожиданно, стихийно и так ужасно [2]. Они понимали, что теперь неизбежно вмешательство правосудия и, если бы в село прибыл судебный следователь, вооруженный только законом, то и он не встретил бы ни малейшего сопротивления. А если бы с ним и были казаки, то они знали бы, что их роль — только охрана должностного лица и его законных действий, а не наказание еще не обвиненных людей, не буйство, не истязания, не насилия, которые, в свою очередь, караются законом.

Да, это несомненно было бы так, тем более, что от *судебной* власти жители ждали бы правосудия также и для себя, за кровь своих близких...

Но в Сорочинцы был послан не судебный следователь, а вы, г. статский советник Филонов (старший советник губернского правления), и на вас падает вина в том, что вооруженный отряд, отданный в ваше распоряжение, из охранителей силы закона превратился в его нарушителей и насильников.

---

[1] Не точно: тело Барабаша увезено 22 декабря утром. Отряд Филонова прибыл еще накануне, 21-го, и уже в ночь были произведены аресты. Это показывает еще яснее, что в Сорочинцах *к этому времени не было никаких признаков бунта*, если уже накануне экзекуции можно было не только арестовывать, но и истязать арестованных. Показание *старшины Копитько* (л. 214 и след.): «21 в 4 ч. утра потребован Филоновым в волость и видел там арестованных Готлиба и Герасима Муху. Они были избиты до того, что их трудно было узнать».

[2] «На следующий день все было спокойно» (показание урядника).

Вы сразу стали поступать в Сорочинцах, как в завоеванной стране. Вы велели «согнать сход» и объявили, что, если сход не соберется, то вы разгромите все село, «не оставив от него и праха»[1] Мудрено ли, что после такого приказания и в такой форме казаки принялись выгонять жителей по-своему. Мудрено ли, что теперь в селе, называя имена, говорят о целом ряде вымогательств и даже изнасилований, произведенных отрядом, состоявшим в вашем распоряжении[2].

Для чего же вам понадобился этот сход, и какие законные следственные действия производили вы в его присутствии?

Прежде всего вы поставили их *всех на колени*, окружив казаками с обнаженными шашками и выставив два орудия. Все покорились, все стали на колени, без шапок и на снегу... Только часа через два вы спохватились, что в этой коленопреклоненной толпе есть два георгиевских кавалера. Вы их отпустили. Потом отпустили новобранцев и малолетних. Остальных, под угрозой смерти, вы держали таким образом в течение четырех с полови-

---

[1] «Филонов говорил, что наверное по местечку придется открыть огонь» (показание *подъесаула Ончакова*, л. 116 и след.) «Филонов объявил, что, если бы отряд вновь был встречен набатом, то местечко могло бы быть сожжено» (показание *подъесаула Чернявского*, л. д. 118)

[2] Показания о грабежах в Сорочинцах и Устивице: *урядника Когляревского*. «Многие, в особенности евреи, *заявляли мне* об ограблении» (л. д. 216—217). Поч. миров. судья *Лукьянович* (со слов урядника Бокитько, л. д. 124). *Урядник Бокитько:* «Казаки забирались в частные дома. Мне заявляли, что *они просто грабили* (л. 211 и след.), *Кремянский* (воспитатель дух. уч., л. д. 178): «Стражник Балакший подтвердил, что забирались в дома, и сказал: мы сами их отгоняли». *Свящ. Станиславский* показал, что были грабежи, но приписывал их не казакам (л. 208). *Старшина Луценко* (Устивица) по приказанию исправника собирал заявления потерпевших, но затем исправник приказал заявления уничтожить, а свою (исправника) бумагу вернуть ему обратно (л. 209). Есть еще показание старшины Повзика (л. 216), Анны Сороки (грабеж в присутствии пристава Юровского, 219), Герасима Мухи, Авр. Готлиба. Существование упорных слухов о насилиях над женщинами подтверждает Кремянский, Гриценко (л. 217), Сура Готлиб (220), Кияшко (л. 217) и др.

ной часов, даже не подумав о том, что в этой беззаконно истязуемой вами толпе могут быть лица, еще не похоронившие невинно убитых 19 декабря братьев, отцов, дочерей, перед которыми другие должны бы стоять на коленях, вымаливая прощение — в убийстве[1].

Эта толпа нужна вам была как фон, как доказательство вашего советницкого всемогущества и величия и... презрения к законам, ограждающим личность и права русских граждан от безрассудного произвола. Дальнейшее «дознание» состояло в том, что вы вызывали отдельных лиц по заранее составленному списку.

Для чего? Для допроса? Для установления степени вины и ответственности?

Нет, едва вызванный раскрывал рот, чтобы ответить на вопрос, объясниться, быть может, доказать полную свою непричастность к случившемуся, как вы, собственной советницкой рукой с размаха ударяли его по физиономии и передавали казакам, которые, по вашему приказу, продолжали начатое вами преступное истязание, валили в снег, били нагайками по голове и лицу, пока жертва не теряла голоса, сознания и человеческого подобия...

Так именно поступили вы, например, с Семеном Гриценко, у которого, как вам донесли, ночевал один из «ораторов». Укажите мне, г. статский советник Филонов, такой закон, по которому человек, приютивший другого на ночь, отвечал бы за все его слова и действия, самая преступность которых тоже еще не доказана? И, однако, едва Гриценко открыл рот для объяснений, как вы принялись бить его по лицу, а затем передали для побоев казакам. Избитого раз, его посадили в холодную Вам этого показалось мало: вы опять его вызвали, опять не дали говорить, опять били сами и передали казакам для вторичного истязания. . Так же поступили вы еще с Герасимом Мухой, у которого хранился ключ от закрытой

---

[1] О том, что толпа была поставлена в снег на колени, единогласно говорят все, начиная с полковника Бородина и кончая казаками и урядниками. Разно определяют только время: *хорунжий Дюжин* и *подъесаул Ончаков* (112 и 114) определяют время в 3 часа, *старшина Копитько* (214), *староста Повзик* (216) и *урядник Котляревский* от 4 до 4 ½ ч. В Устивице 2—2 ½ часа.

обществом «монополии», только этого вы еще ударили ногою в живот. Так же (два раза) били вы Василия Покрова, потом истязали Авраама Готлиба, Семена Сорокина, Семена Коверко. Я не стану перечислять здесь всех двадцать человек, которых вы били собственными руками, лягали ногами и приказывали бить нагайками [1]. Упомяну еще только студента Романовского...

Студент Романовский лицо «привилегированное», и потому вы не посмели бить его собственноручно. Вы даже не сразу приказали бить его и казакам; вы только отправили его в холодную. Тогда кто-то из казаков сказал: «Почему же не под нагайки...»

Вы нашли, что спросивший прав. Все равны перед законом. Вы здесь творили вопиющие беззакония, почему же не уравнять всех перед беззаконием? Студента вызвали из холодной. Едва он вышел на крыльцо — его толкнули на снег и избили... К счастью, какой-то сердобольный человек посоветовал ему предварительно обернуть голову и лицо башлыком...[2].

Но и этого всего вам показалось недостаточно, и потому, оглядев толпу, стоявшую в снегу на коленях перед вашим советницким величием, вы вдохновились на новый акт изысканной жестокости. Вы велели евреям отделиться от православных, поставили их на колени отдельно и приказали казакам бить их всех, без разбора. Вы объяснили это тем, что «евреи — умны и что они враги России». Казаки ходили среди коленопреклоненной толпы и хлестали направо и налево мужчин, подростков, седых стариков. «Як вівчар вівці» — по картинному выраже-

---

Относительно собственноручной расправы Филонова и дальнейших побоев нагайками свидетели показывают единодушно. Привожу наиболее характерные показания: *хорунжий Дюжин:* «Некоторых из наиболее главных зачинщиков Филонов сам вытаскивал, давая тумаки» (л. 112); *подъесаул Ончаков* (114); «Филонов своими руками выхватывал подлежащее экзекуции лицо и приказывал идти в волость, в арестантскую, и его по дороге принимала экзекуц. команда и била нагайками». *Свящ. Греченко* (215) видел, как «Филонов какого-то человека толкал ногами, когда тот не в состоянии был встать». Священник два раза уходил со схода, чтобы не видеть этого.

[2] Эпизод со студ Романовским единогласно подтверждают все свидетели казаки, утверждая только, что по голове вообще не били.

нию очевидцев[1]. А вы, г. статский советник Филонов, глядели на это избиение и поощряли бить сильнее...

Господин статский советник Филонов! Поверьте мне: я устал, я тяжко устал, излагая только на бумаге все беззаконные истязания и зверства, которым вы, под видом якобы законных следственных действий, подвергали без разбора жителей Сорочинец, не стараясь даже уяснить себе,— причастны они или не причастны к трагедии 19 декабря... А между тем, вы производили все это над живыми людьми, и мне предстоит еще рассказать, как вы отправились на следующий день для новых подвигов в Устивицу... А за вами, как за триумфатором, избитые, истерзанные, исстрадавшиеся, тащились ваши сорочинские пленники, которым место было только в больнице...

Так ехали вы в Устивицу восстановлять силу закона...

В дальнейшем я буду краток.

Что было в Устивице до вашего появления? Там не было ни бунта, ни ареста пристава, ни убийства исправника, ни столкновений. Там только жители постановили приговор о закрытии монополии и привели его в исполнение ранее получения официального разрешения. Замок на дверях монополии один только свидетельствовал о том, что жители села решили самовольно прекратить у себя пьянство[2].

Они сделали это с нарушением законных форм. Да, это правда. Ну, а вы, г. статский советник Филонов, вы — чиновник и слуга закона! Сами вы соблюдали «законные формы» при совершении вашего злого дела?

---

[1] Этот факт тоже установлен многочисленными свидет. показаниями. Особенно характерны· *подъесаул Ончаков* (116—118): «Короленко написал неправду, будто били толпу Действительно, был такой эпизод: местные евреи были поставлены отдельно на колени. Когда Филонов подошел к ним, и они «загалдели», начали вставать с колен, то Филонов приказал несколько человек из них проучить нагайками». То же показали: *подъесаул Черняевский* (119), *сотник Иванов* (119) прибавляет: «Давали 10—15 ударов, не более», «экзекуция была легкая» (!!). *Староста Повзик* (216): «Всей толпы поголовно казаки не били, а избили выделенную толпу евреев». Кр. *Кияшко (217):* «Всей толпы не били, евреев же колотили всех поголовно».

[2] Показ. свящ. А. А. Троцыны· жители еще в октябре ходатайствовали о закрытии винной лавки. Когда приезжал чин. Коновалов, они повторили просьбу, и он обещал ходатайствовать (л. 175).

Впрочем, я, вдобавок, ошибся: еще накануне, по вашему приказу, посланному из Сорочинец, жители сняли замок, и, таким образом, к вашему приезду не было уже и этого следа закононарушения... Казенная монополия была открыта, вино продавалось пьяницам свободно и невозбранно. . Это не воздержало вас, однако, от новых буйств и истязаний, которых я не стану описывать подробно, предоставляя более точное изложение суду, если таковой когда-нибудь состоится.

Здесь я скажу только, что, мстя на этот раз лишь за права казенной винной продажи, вы прежде всего избили старосту, с которого сорвали знак и бросили в снег. Затем вы поколотили писаря, которого били не только руками, но изломали на нем счеты, после чего писарь не мог уже составлять протоколов и писать приговоры. Тут же избит вами Дионисий Ив. Бокало, пришедший в правление за справками, которого вы колотили по голове «исходящей книгой»...[1] Жителей Устивиц вы так же поставили в снег на колени, так же казаки били их нагайками и так же суду, если таковой состоится, предстоит решить, правильны ли ужасающие рассказы жителей об изнасилованиях, которым подвергали устивицких женщин

---

[1] Показания *старшины Луценко* (л. 209—212): Филонов начал бить людей у черного входа в волость. . Достал откуда-то простую палку и начал бить находившихся в коридоре людей. Его (старшину) начал бить сразу, сорвал знак, разбил губы и велел еще бить казакам. Писарь Волошин, избитый Филоновым, «теперь (июнь 1906) еще в больнице в Полтаве».— *Ур. Бокитько* (211—213): при нем Фил. побил старосту Кирьяна, судью Панкова и писаря Волошина (последнего бил счетами и канцел. книгами). Фил. посылал его разыскивать учительницу и, по словам казачьего сотника, «хотел ее для примера сильно выпороть». Учит *Крапивина* (209). Филонов кричал в волости. «подайте мне эту бабу, я ее проучу».— *Терещенко* (177): Дениса Бокала 9 казаков били 3 раза; «я думал, его убьют».— *Свящ. Троцына (188):* Фил. избил старшину и писаря. Сход был поставлен на колени (2 часа). Свидетель стал заступаться, доказывая, что старшина и писарь не виновны, а на сходе по большей части находятся люди, не причастные к закрытию винной лавки. Тогда Филонов велел людям встать с колен и потом вновь поставил на колени и заставил извиняться перед старшиной за то, что он, Филонов, наказал его невинно, за людей. Сторож Галайдич рассказывал свидетелю, что у него в хате казаки 23 декабря избили его чахоточного сына солдата, вернувшегося раненым с войны, за то, что будто бы он не хочет идти на сход. *Бережной* (учит. мин. шк., 176) у избитого Филоновым Панкова видел кровь на лице.

казаки, находившиеся в вашем распоряжении...[1] Вы поймете, конечно, что имена жертв в этих случаях не так легко поддаются оглашению.

Толпу вы держали и здесь на коленях два часа, вымогая у нее, как и в Сорочинцах, имена «зачинщиков» и требуя приговора о ссылке неприятных администрации лиц. Вы забыли при этом, статский советник Филонов, что пытка отменена еще Александром I, что истязания тяжко караются законом, что телесное наказание, *даже по суду*, отменено для всех манифестом от 11 августа 1904 года, а приговоры, добытые подобными, явно преступными приемами, не имеют ни малейшей законной силы...

Я кончил. Теперь г. статский советник Филонов, я буду ждать.

Я буду ждать, что, если есть еще в нашей стране хоть тень правосудия, если у вас, у ваших сослуживцев и у вашего начальства есть сознание профессиональной чести и долга, если есть у нас обвинительные камеры, суды и судьи, помнящие, что такое закон или судейская совесть, то кто-нибудь из нас должен сесть на скамью подсудимых и понести судебную кару: вы или я.

Вы,— так как вам гласно кинуто обвинение в деяниях, противных служебному долгу, достоинству и чести, в том, что вы, под видом следственных действий, внесли в Сорочинцы и Устивицу не идею правосудия и законной власти, а только свирепую и беззаконную месть чиновничества за чиновника и за ослушание чиновникам. Месть даже не виновным,— для их установления нужно было расследование. Нет, вы принесли слепую и дикую грозу истязания и насилия над людьми без разбора, в том числе и над заведомо невинными...

А если вы можете отрицать это, то я охотно займу ваше место на скамье подсудимых и буду доказывать, что вы совершили больше, чем я здесь мог изобразить моим слабым пером... Я докажу, что, называя вас истязателем, насильником и беззаконником, я говорю лишь то, что непосредственно вытекает из совершенных вами деяний. Потому что вы, несомненно, производили истяза-

[1] Кремянский (воспит. дух. уч., л. 178). местная жительница, молодая, красивая женщина, еле отделалась от любезностей казаков, которые гонялись за нею, и так перепугалась, что нервно заболела.

ния, насилия и беззакония. Вы попирали все законы, старые и новые, вы подрывали в народе не только уже веру в искренность и значение манифеста, но и самую идею о законе и власти. А это значит, что вы и подобные вам толкаете народ на путь отчаяния, насилия и мести.

Я знаю: вы можете сослаться на то, что вы не один, что деяния, подобные вашим, может быть, превосходившие ваши,— остаются у нас безнаказанными... Это, г. статский советник Филонов,— пока печальная истина.

Но это не оправдание для вас. К вам же я обращаюсь потому, что живу в Полтаве, что она полна живыми образами ваших насилий, что до меня доносятся стоны и жалобы ваших жертв .

А если и вы, как другие вам подобные, останетесь безнаказанным, если, избегнув всякого суда по снисходительности начальства и бессилию закона, вы вместе с кокардой предпочтете беспечно носить клеймо этих тяжелых публичных обвинений, то и тогда я верю, что это мое обращение не пройдет бесследно.

Пусть страна видит, к какому порядку, к какой силе законов, к какой ответственности должностных лиц, к какому ограждению прав русских граждан зовут ее два месяца спустя после манифеста 17 октября.

За всем сказанным вы поймете, почему, даже условно, в конце этого письма, я не могу, г. статский советник Филонов, засвидетельствовать вам своего уважения.

Вл. Короленко

9 января 1906 г.

IV

ЧЕГО Я ДОБИВАЛСЯ СВОИМ ОТКРЫТЫМ ПИСЬМОМ

Прежде всего и всего важнее: правильно или неправильно я изложил факты?

Я нарочно воспроизвел выше текст своего письма, снабдив его подстрочными примечаниями из «дела», которое по справедливости можно было бы назвать «делом о сообщении *заведомо правильных* сведений»... Всякий, кто дал себе труд сличить текст с примечаниями, может видеть, в какой степени свидетельские показания колеб-

лют или подтверждают фактическую часть моего письма, и много ли выигрывает память Филонова от этих дополнений.

Уже одних показаний казачьих офицеров и урядников достаточно, чтобы установить, что тысячная толпа, без разбора виновных и невинных, в том числе старики и подростки, была поставлена на колени, в снег, в декабре месяце. . На три часа (!), как говорят свидетели-казаки, на четыре или пять часов, как утверждают полицейский урядник, сельские власти, священники, частные лица. В этой толпе огулом били людей, стоящих на коленях, но .. не всех, а только евреев, поставленных отдельно и позволивших себе роптать на это истязание. Арестованных ранее избивали до неузнаваемости... Филонов, по показанию казаков, расправлялся собственноручно, вытаскивал из толпы, наделял тумаками, по словам священника,— ударами ноги он поднимал тех, кто сам не мог подняться (так как на снегу коченели ноги!..). По показанию старосты, священника, других свидетелей,— тотчас по приезде в Устивицу он достал откуда-то «простую палку» и кинулся бить ею людей, стоявших у входа в правление... Он кричал, чтобы ему подали «эту бабу», с которой он намерен расправиться... Речь шла об учительнице, которая, счастливо избегнув зверской расправы исступленного чиновника, ни к какому даже дознанию не привлекалась...

Таковы, между прочим, «маленькие дополнения», которые внесло следствие, тянувшееся около года. Неточности, которые теперь мне приходится признать, состоят в том, что у меня сказано, будто Маковецкая убита, а у Келеповой прострелены щеки, тогда как в действительности убита Келепова, а ранена Маковецкая.. Есть указания на то, что Гарковенко ранен не во дворе, а на площади... Били не всех, стоявших на коленях, а только евреев, но зато «били поголовно» (показание Кияшко). «Если кто падал, то били и лежачего»,— как простодушно свидетельствует один из исполнителей, бомбардир Кожевников [1].

И подумать, что все это делалось после того, как «зачинщики» *были арестованы уже накануне*, без малейше-

---

[1] Лист дела 110.

го с чьей бы то ни было стороны сопротивления... Все это было известно в первые же дни высшей администрации края из доклада земского начальника (г. Данилевского), от священников, нарочно приезжавших для этого к губернатору, из газет... А суду — от почетного мирового судьи Лукьяновича, а затем из дознания, *произведенного товарищем прокурора на месте...*

И несмотря на все это, ст. советнику Филонову было дозволено продолжать свои походы, последствием чего явилось новое кровавое избиение уже совершенно неповинных жителей Кривой Руды!..

«Обращаясь к тем частям письма Короленко,— говорится в утвержденном окружным судом заключении прокурора,— где изложена *чисто фактическая сторона событий с момента столкновения толпы с казаками* (а только это, замечу от себя, и лежало в компетенции суда), *нельзя не признать ее в общем соответствующей действительности*. Несомненно, есть и в этой части «ошибки и неточности», по выражению свидетелей, но это всегда возможно при полной правдивости автора, когда приходится излагать события, передаваемые со слов других, да еще потерпевших людей. Как выяснилось на предварительном следствии, *некоторые лица были убиты в м. Сорочинцах далеко от волости*[1], а сторож г Малинки, Отрешко, ни в чем не повинный, был убит действительно во дворе. Что касается «корреспонденции из Устивицы», *все изложенные в ней факты нашли себе полное подтверждение на предварительном следствии*. Не подтвердилось лишь сообщение о грабежах и насилиях казаков над жителями, хотя по этому поводу в мест. Устивицы, как и в мест. Сорочинцах, ходили упорные слухи»[2].

Итак, даже по признанию суда, факты изложены пра-

---

[1] Прибавим долго спустя после столкновения у волостного правления.

[2] Позволяю себе исправить «фактическую неточность», допущенную судом. В деле есть показания урядника, сельских должностных лиц и священника, говорящих не только о *слухах*, но и о *прямых заявлениях потерпевших*, а это не одно и то же Урядник Бокитько, старшина Луценко и поч. миров. судья Лукьянович говорят о начатом уже дознании и о составленных списках потерпевших, уничтоженных исправником Можно ли при таких условиях говорить, что слухи не подтвердились, а если не подтвердились, то — почему?

вильно. Отсюда ясна первая цель, которую я преследовал, печатая свое письмо:

Она состояла в оглашении правды.

Далее. Автор «заключения», утвержденного судом, как и авторы некоторых газетных статей, находят, что писатель Короленко недостаточно ярко оттенил события, предшествовавшие столкновению 19 декабря, и что даже стиль писателя Короленко, в первой части его письма тусклый и бледный, резко отличается от слишком яркого стиля, которым он изображает действия Филонова... Правда, и г. прокурор, и члены окружного суда, утверждавшие его заключение, высказывают справедливое соображение, что, во-первых, «освещение событий не наказуемо» (иначе сказать, не подлежит и судебной квалификации), и, во-вторых, что оно «может быть результатом просто точки зрения автора».

Это последнее соображение совершенно верно. У меня есть на все эти события своя точка зрения, отчасти, пожалуй, совпадающая с заявлениями, приложенными к манифесту 17 октября. С этой точки зрения, «корни волнений, охвативших русский народ», лежат очень глубоко, и, чтобы говорить о них с достаточной полнотой, пришлось бы, пожалуй, подняться к событиям гораздо более ранним, чем 17—18 декабря 1905 года. Но и помимо всяких «точек зрения», суду не угодно было обратить внимание, что «разница стилей» и настроений писателя в данном случае отражала только *вопиющую разницу положений*...

Сорочинские жители за то, что произошло 19 декабря, понесли уже тяжкую кару, для очень многих далеко не соразмерную с виной· двадцать человек из них было убито, причем некоторые, по признанию самого суда, убиты далеко от волости и совершенно безвинно. Другие изранены и подверглись истязаниям, потому что стоять на коленях в снегу, для иных еще под ударами нагаек, хотя бы и три часа,— есть жестокое истязание. Наконец третьи — и теперь, когда я пишу эти строки, ждут еще судебного воздаяния...

А ст. советник Филонов в то время, когда я, взволнованный рассказами об его действиях, писал открытое письмо,— оставался на своем посту и отправился в новые экспедиции, на новые жестокости и насилия.

Полагаю, что критики, более компетентные в вопросах стиля и настроения,— увидят в моем письме естественное негодование против *безнаказанности* официального лица, допустившего массовые истязания, тогда как жители Сорочинец понесли наказание свыше всякой законной меры и готовы нести прибавочную кару уже по закону...

Отсюда — другая цель, которую я ясно выразил в конце своего письма:

Я добивался суда и для другой стороны.

Была и третья. Она диктовалась надеждой, что громко сказанная правда способна еще *остановить разливающуюся все шире эпидемию жестокости.*

Наконец... В то время, когда я писал свое письмо,— в моем воображении неотступно стояло представление об этой серой толпе, так резко пережившей такие противоположные настроения. Еще недавно она была охвачена эпидемическим волнением, загипнотизированная сильной волей одного, почти неведомого ей человека.. Через два дня те же люди стояли на коленях перед другим человеком, окружившим их войском и пушками, загипнотизировавшим их ужасом беззаконных насилий.

Я хотел рассеять этот гипноз, вызвать новое настроение, достойное будущих граждан обновляющейся страны. Голос печати, независимый и смелый, должен был поднять этих людей с колен и напомнить, что и у них есть право, скрепленное обещаниями равенства перед законом, которого они должны добиваться сознательно и открыто.

Сдавленные чувства людей, покорно стоящих на коленях в снегу, под ударами нагаек и жерлами пушек,— плохая почва для «общественного спокойствия», не говоря уже о «новых началах» и их гарантиях. Гораздо надежнее со всех точек зрения напоминание «о законе, суровом, но беспристрастном и справедливом, стоящем выше увлечений и страстей данной минуты, строго осуждающем самосуд толпы»[1], но также устанавливающем равновесие между виной и наказанием и не допускающем мысли о безграничном произволе... одним словом, о законе, каким он *должен быть,* к которому *необходимо стремиться.*

---

[1] Цитата из моего открытого письма.

И если бы дружным усилиям независимой печати, лиц из общества, подобных мировому судье Лукьяновичу, священникам, приезжавшим к губернатору, и, наконец, самим потерпевшим удалось вывести самонадеянного чиновника из-за окопов «служебной гарантии», если бы состоялся суд и приговор, который бы сказал свое внушительное «Quos ego!» * не одному Филонову, но и его многочисленным подражателям, то это было бы законным выходом из трагического положения, первой еще фактической победой новых начал на местах, одним словом, это создавало бы в деле «карательных экспедиций» то, что называют «прецедентом».

Вот для чего я решился заменить безличные корреспонденции своим «открытым письмом», начинавшим планомерную кампанию. Как бы ни были слабы шансы успеха, возможный все-таки результат был тем дороже, что он был бы достигнут на почве борьбы вполне закономерной, к которой призывалось также и само население

И если бы это действительно удалось, если бы мы имели возможность огласить первые решительные и твердые шаги в этом направлении администрации и суда,— с той самой поры та же независимая печать стремилась бы только укрепить доверие к суду и вызывать ему всякое содействие... И тогда стиль писателя Короленко своим спокойствием и равномерностью удовлетворил бы, я уверен, самых взыскательных критиков из среды господ полтавских судей...

V

СЛАБЫЕ ПРОБЛЕСКИ

Была ли какая-нибудь надежда на то, что эта прямая и ясная цель моего письма будет достигнута?

Я знаю, какие улыбки вызовет мой ответ после всего, что произошло, и после того, как сам я целый год состоял под следствием и в подозрении за сообщение *заведомо правильных сведений*... И тем не менее я все-таки отвечу, что эта надежда не была лишена некоторых оснований.

---

* «Я вас!» (*лат.*).

Мое письмо было воспроизведено частью целиком, частью в значительных выдержках на страницах многих столичных и провинциальных газет. Затем переводы и выдержки появились в заграничной прессе. Я получал из-за границы письма с просьбой о сообщении дальнейших судеб этого дела. Население в свою очередь шло навстречу усилиям печати, и мне предлагали сотни свидетельских показаний на случай суда Две женщины, потерпевшие тяжкие оскорбления, соглашались даже рассказать о своем несчастьи, если действительно состоится суд над Филоновым или надо мною.

Тяжба между независимой печатью и произволом была поставлена широко и всенародно. На глазах у всей страны были указаны факты вопиющего беззакония в то самое время, когда она призывалась к законности, и характер репрессии явно не соответствовал обстоятельствам: уже в Сорочинцах толпа стояла на коленях; в Устивице картина еще менее осложнялась незначительными волнениями и закрытием винной лавки. Криворудский погром не осложнялся уже ничем, и вопиющие стороны «карательных приемов» Филонова выступали неприкрытые и беззащитные перед самым элементарным правосудием

К тому же я оставался на месте, готовый поддерживать свое обвинение или отвечать за него. Таким образом типичная картина усмирений была поставлена точно под стеклянным колпаком, на виду у русской и заграничной печати. Оставалось довести ее до конца, освещая весь ход этого дела и каждый шаг правосудия.

Есть некоторые, косвенные, правда, указания на то, что положение полтавской администрации в эти дни было очень затруднительно и что в ее среде существовали колебания, пошатнувшие служебную неприкосновенность ст. сов Филонова Это я заключаю, между прочим, из той позиции, которую после моего открытого письма занял официозный орган местного чиновничества «Полтавский вестник» (редактор его, г Иваненко, чиновник, совмещавший с редактированием «Вестника» также и должность редактора «Губернских ведомостей»).

И вот в одной из статей, появившейся спустя три дня после моего письма, эта газета не решается прямо опровергать, а только заподозревает правильность фактов

(которые, конечно, официозу были отлично известны). Далее газета указывает на «наше время», когда «разные агитаторы заставляют толпу ходить с красными флагами, петь бессмысленные песни, зверски мучить животных (sic!), пускают по миру ни в чем не повинных людей», причем «зарево пожаров освещает путь озверелой толпы». Еще далее идут не особенно тонкие намеки на то, что именно писатель Короленко своей литературной деятельностью поощряет и вызывает все эти ужасы, и, наконец, высказывается предположение, что «открытое письмо» вызвано не чем иным, как мучениями совести, которая по всем этим причинам терзает писателя Короленко.

Статья кончается следующими строками, характерными на столбцах заведомого официоза:

«Господин Короленко не прочь сесть на скамью подсудимых, если на ней не сядет Филонов. Лучше всего, если сядут *оба рядом*,— писатель Короленко и статский советник Филонов,— и свободно выскажутся один против другого — может быть, тогда яснее станет, насколько каждый из них праведник и насколько грешник... И окажутся *писатель и статский советник одной цены*»[1].

То, что сказано о «писателе Короленко», разумеется, никого удивить не может. Но когда небольшой местный чиновник решается в субсидируемой газетке поставить «старшего советника губернского правления» наряду с таким жалким субъектом, как писатель Короленко... когда он позволяет себе даже высказывать ужасное предположение, что старший советник губернского правления *одной цены* с автором «открытого письма» и достоин занять место на скамье подсудимых, то есть значительные основания думать, что положение старшего советника Филонова очень пошатнулось и что, значит, достижение той цели, которой я добивался своим письмом, становилось уже вероятным. Я думаю и теперь, что статский советник Филонов в те дни, когда г. Иваненко позволял себе третировать его так свысока, был, по крайней мере, на распутьи между безнаказанностью и скамьей подсудимых, пожалуй даже ближе к последней..

---

[1] «Полтавский вестник», 15 января 1906 г.

К сожалению, это теперь остается в области предположений, которые многими (не без видимых оснований) считаются слишком наивными в наших русских условиях. Объективные факты, видимые всем на поверхности жизни, говорили другое. Для предания Филонова суду нужно было предварительное согласие высшей администрации. Но если бы начальство не одобряло его действий, то он не был бы послан во вторую экспедицию после того, как сорочинская была разоблачена и гласно, и официально...

Это во-первых.

Во-вторых, в это время в нашем крае находился генерал-адъютант Пантелеев, посланный для «водворения порядка» в губерниях Юго-Западного края. 12 января появилось мое письмо, а уже 14-го, по телеграмме этого генерал-адъютанта, газета, которая разоблачила ныне доказанные факты из деятельности чиновника, была приостановлена. Все видели в этом «административном воздействии» обычный и единственный ответ администрации на оглашения печати и на ее призывы к правосудию...

Суд хранил таинственное молчание... Передавали, так сказать, под рукой, что прокурорский надзор производил какое-то негласное дознание, но не только его результаты, а и самый факт дознания сохранялся в строжайшем секрете, точно это не была обязательная и закономерная функция судебной власти, сопряженная с открытым опросом потерпевших и свидетелей, а какое-то тончайшее дипломатическое предприятие, которое приходится скрывать самым тщательным образом, точно разведки в неприятельском лагере [1].

Таким образом на поверхности полтавской жизни оставалась старая картина: вопиющий произвол чиновника... Одностороннее вмешательство суда, направленное только на обывателей, уже потерпевших свыше меры Административное закрытие газеты... Бессилие призывов к правосудию и нестерпимое зрелище безнаказанности вопиющих насилий.

---

[1] Интересно, что на мою просьбу — приобщить к делу переписку об этом дознании, мне было отвечено, что такой переписки. не было!

При этих условиях стремление независимой печати, взывавшей к правосудию и надеявшейся на него, могло, разумеется, казаться совершенной наивностью. . И в глубине смятенной жизни, полной темноты и бесправия, уже назревало новое вмешательство, которому суждено было сразу устранить и гласную тяжбу, начатую независимой печатью, и таинственные движения робкого правосудия, если они действительно были..

VI

УБИЙСТВО ФИЛОНОВА И ЕГО ОБСТАНОВКА

Ранним утром 17 января Филонов вернулся в Полтаву с трудной задачей — оправдать свои действия, слава которых теперь вышла далеко за пределы канцелярий и даже местной печати. По свидетельству ст. советника Ахшарумова (нынешнего заместителя Филонова), когда Филонов явился к губернатору, то последний потребовал, чтобы он ответил печатно на письмо Короленко[1]

Свидание это было, вероятно, с бытовой точки зрения очень интересно. Для начальства Филонов уже раньше «объяснил» свои действия Несмотря на официальные сообщения земского начальника, священников, почетного мирового судьи, объяснение это признано вполне удовлетворительным, и Филонов командирован вторично. От него требовали теперь объяснения печатного...

Положение затруднялось еще тем, что между Сорочинцами и этим свиданием легло «новое обстоятельство», в виде разгрома уже явно неповинной Кривой Руды

В «Полтавском вестнике» было напечатано впоследствии, что Филонов заходил в этот день также в редакцию этой газеты. Старший советник губернского правления явился к редактору, маленькому и зависимому чиновнику, еще недавно позволившему себе в субсидируемой газетке дерзко сравнить его с писателем Короленко и высказать пожелание, чтобы они *сели рядом на скамью подсудимых*... Старший советник Ахшарумов свидетельствует, что Филонов «не обладал литературным талантом»; очень вероятно поэтому, что он нуждался теперь в просвещенных советах дерзкого редактора... Здесь он ска-

[1] Показание г. Ахшарумова, лист дела 247.

зал, что вечер этого дня и следующее утро намерен посвятить на составление (требуемого губернатором) ответа...

18 января в обычное время (десять часов утра) он отправился в губернское правление, и здесь, на людной улице, неизвестный молодой человек убил его выстрелом из револьвера и скрылся...

Сложное и запутанное положение, создавшееся из привычных насилий, из их поощрения, из широкой гласности, из начинавшихся колебаний в среде администрации, из слишком слабых признаков пробуждения правосудия, из «наивных» призывов независимой печати,— разрешилось трагически просто.. «Наивная» тяжба снималась с арены. Перед нами, вместо противника, который должен был защищаться и которому мы приготовились отвечать новыми, еще более вопиющими фактами,— лежал труп внезапно убитого человека. Администрации представился удобный случай сделать из него в своих официозах мученика долга, а из писателя Короленко — «морального подстрекателя к убийству»

Что насилия, подобные насилиям в Сорочинцах и Кривой Руде, вызывают чувства острого негодования, а оглашение их в печати распространяет эти чувства, это верно, как и то, что особенную остроту и силу этим чувствам придает обычная безнаказанность...

Однако была ли в данном случае прямая связь между моим письмом и убийством 18 января на Александровской улице города Полтавы?

В «Полтавском вестнике», получающем сведения о происшествиях из непосредственных полицейских источников,— самое убийство описано следующим образом:

«Покойный только накануне (то есть 17 января) возвратился из служебной командировки, чувствовал себя усталым, почти больным, и предполагал несколько дней не выходить из дому. Но вчера утром, в *обычное время* [1], отправился на службу. Шел *обычной дорогой* по Александровской улице Как говорят очевидцы, за ним в нескольких шагах шла какая-то женщина, по виду торговка, а за ней молодой человек. Поравнявшись с открытыми воротами во двор Варшавских [2], молодой человек забе-

---

[1] Курсивы мои.
[2] Этот двор проходной.

жал вперед и выстрелил в лицо Филонову... Затем он побежал во двор дома Варшавских и скрылся»[1].

А на другой день газета прибавила следующие, довольно существенные соображения:

«Преступник, *видимо, изучил ранее дорогу, по которой Филонов имел обыкновение ходить на службу,*—поджидал его вблизи ворот дома В-ских, где помещается чиновничье собрание, и, прогуливаясь там, рассматривал магазинные витрины»[2].

В книге «К убийству Ф В. Филонова», изданной родными покойного, воспроизведены газетные известия и статьи, вызванные этой трагедией,— с слишком тенденциозным подбором. Интересно, что, воспроизведя первую заметку, издатели совершенно обошли молчанием вторую. И это понятно. Неизвестный убийца, *«видимо, ранее изучил дорогу, по которой Филонов имел обыкновение ходить на службу»*, и выбрал место у проходного двора. Но Филонова не было в Полтаве в то время, когда появилось мое письмо, и вплоть до 17 января он был в командировке, а на службу явился в самое утро убийства. Итак, *изучить обычную дорогу*, взвесить все ее удобства и неудобства можно было только во время, предшествовавшее появлению открытого письма, в те дни, когда Филонов вернулся из командировки в Сорочинцы и еще не уехал в Кривую Руду.

А это значит, конечно, что убийство было взвешено и обдумано ранее, чем появилось мое письмо, и не могло явиться его последствием...

Эти соображения, справедливость и огромная вероятность которых била в глаза, издатели упомянутой книги и редакция «Полтавского вестника» сочли более удобным скрыть от читателя, предпринимая против писателя Короленко продолжительный клеветнический поход, поддержанный всеми официозами провинциальной и столичной России... Открыт он в «Полтавском вестнике» непосредственно после появления письма, но сначала неуверенно. «Писатель Короленко» признавался

---

[1] «Полтавский вестник», 19 января 1906 г

[2] «Полтавский вестник», 20 января 1906 г., № 959 В книге эта заметка *не воспроизведена*.

только равным ст. сов. Филонову, которому все же отводилось место *на скамье подсудимых.*

«За что убит Филонов,— спрашивает «Полтавский вестник» еще 19 января,— неужели за те «преступления», которые указывались г. Короленко? Но ведь Короленко звал Филонова на суд»...

Скоро, однако, все эти оговорки исчезают. Филонов бесповоротно превращается в «верного царского слугу» и «доблестного исполнителя долга», а писатель Короленко выставляется сознательным подстрекателем и моральным убийцей...

Все это закрепляется появлением «посмертного письма ст. сов. Филонова».

VII
«ПОСМЕРТНОЕ ПИСЬМО СТ СОВ. ФИЛОНОВА ПИСАТЕЛЮ КОРОЛЕНКО»

Письмо это появилось при торжественной обстановке, в самый день похорон Филонова, под звон колоколов, когда его тело переносили из собора на кладбище, в сопровождении войск, официального персонала, сослуживцев, знакомых и толпы народа

В это самое время, то есть в разгар разностороннего возбуждения, вызванного быстро сменявшимися событиями, ходил по рукам номер «Полтавского вестника», в котором покойный чиновник обращался к писателю с рядом ответных обвинений-упреков... Очевидно, и редакция «Полтавского вестника», и ее непосредственные вдохновители, обвинявшие писателя Короленко в том, что его письмо имело значение подстрекательства, не особенно считались с обстановкой, при которой сами они выпускали «посмертный ответ».

Что же представляло собой это ответное письмо из-за могилы? Была ли это правда, которую можно печатать при всяких обстоятельствах?

Через несколько дней после его появления в «Полтавском вестнике» в редакцию газеты «Полтавщина» явился один из родственников Филонова и выразил желание, даже требование, чтобы газета *во имя справедливости* перепечатала ответ Филонова на тех же столбцах, с которых раздались обвинения. Редактор Д. О. Яро-

шевич ответил на это готовностью поместить «письмо», выразив только желание видеть оригинал, подписанный самим Филоновым. так как в городе упорно говорили, что письмо подложное и что составлено оно не умершим Филоновым, а его живыми единомышленниками и защитниками. Господин Ярошевич затем повторил этот вызов печатно.

Родственник г. Филонова обещал «поискать оригинал» и удалился.

Оригинал доставлен не был.

Затем, когда возникло наше «дело» и я был вызван к судебному следователю, то я просил, между прочим, о приобщении этого оригинала, как единственного показания по настоящему делу самого участника... Я считал необходимым *установить его подлинность*.

По требованию судебного следователя редакция «Вестника» прислала рукопись, служившую для набора, и препроводительное письмо, подписанное г-жой Филоновой. Я просил подвергнуть эти документы официальному осмотру. Оказалось:

Во-первых, что *письмо писано не рукой Филонова.*

Во-вторых, что *подпись в конце письма сделана не Филоновым.*

В-третьих, что *все имеющиеся на рукописи поправки тоже сделаны не филоновским почерком* [1].

И, наконец, в-четвертых, сослуживец и заместитель Филонова, нынешний старший советник губернского правления Л. И. Ахшарумов признал, что *форма изложения тоже не филоновская*, «так как покойный не отличался литературными дарованиями» [2].

Обстоятельства, при которых могло (или не могло) быть написано это письмо, тоже очень выразительны. В «Полтавском вестнике» по этому поводу есть две заметки. В первой сообщается, что Филонов был в командировке и не мог ответить на обвинение Короленко. Вер-

---

Одна из этих поправок особенно характерна. Письмо начинается словами: «*Я третьего дня* вернулся в Полтаву и прочел Ваше письмо...» Затем «третьего дня» зачеркнуто и чьей-то рукой написано: «*Я только что* вернулся...» Филонов вернулся 17-го, убит 18-го. «Третьего дня» он мог бы написать только после смерти.

[2] Показание Л. И. Ахшарумова (л. д. 247).

нулся он 17-го и в разговоре со знакомыми сообщил, что *вечером в тот же день займется составлением ответа...* На другой день он был убит [1].

В другой (редакционной) статье говорится: «Накануне покойный, только возвратившись из поездки, на минуту забегал к пишущему эти строки и говорил, что *вечер этого дня и следующий* он посвятит *исключительно* на ответ и защиту себя против обвинений, какие в его отсутствии были брошены ему в известном письме Короленко. *Но ему самому себя защитить не судилось,*— вчера он убит» [2].

Итак, «Полтавский вестник» сам дает два свидетельских показания, из которых следует, что Филонов лишь собирался писать свой ответ, но *написать* его *не успел.*

В дополнение мы имеем еще показание вдовы покойного, которая утверждает, наоборот, что черновик письма был написан ее мужем еще в уезде и привезен готовым; затем письмо переписано начисто 17 января, то есть уже в самый день приезда Филонова, и доставлено ее мужу одним из чиновников губернского правления. Однако самый ответ Филонова начинается словами: *«Я только что вернулся из командировки и прочел Ваше письмо»...*

Старший советник губернского правления Л. И. Ахшарумов, спрошенный следователем, заявил категорически, что «в числе чиновников губернского правления нет лиц, пишущих таким почерком», каким переписана рукопись... Сам он якобы в первый раз увидел «посмертный ответ» у следователя... При этом оказалось, однако, что препроводительное письмо в редакцию «Полтавского вестника» *написано рукою самого г. Ахшарумова.* Обстоятельство это он объяснил тем, что «во время похорон Филонова» брат его вдовы подошел к нему и спросил совета, от чьего имени послать в редакцию «ответное письмо». Господин Ахшарумов дал совет и согласился написать черновик письма в редакцию.

Давая это объяснение, г. Ахшарумов забыл только, что в день похорон «посмертное письмо» *уже было напе-*

---

[1] См. книгу «К убийству Филонова», стр. 17.

[2] «Полтавский вестник», 19 января 1906 г. Воспроизведено в книге «К убийству Филонова», стр. 17—18.

чатано... значит, о письме г. Ахшарумов, несомненно, знал раньше, и показание его явно расходится с истиной.

Наконец, что касается отсутствия самого оригинала, то г-жа Филонова дала по этому поводу следующее удивительное объяснение, которое прибавляет последний и самый замечательный штрих к этой любопытной истории: «18 января,— говорит она в своем письменном показании следователю,— муж мой отправился в губернское правление, имея в левом кармане сюртука записную книжку, в которой были заметки по поводу сорочинских событий, а также вышеупомянутые клочки бумаги и черновик письма... В тот день он был убит, причем *убийца захватил ту книжку, а также черновик письма*...»

Я далек от того, чтобы строго осуждать бедную женщину за все, что «доброжелатели» научили ее делать в эти дни ее растерянности и горя. Я понимаю также, что чувства ее «к писателю Короленко» были не таковы, чтобы удержать от неправдивых показаний или хотя бы от явного злоупотребления именем ее покойного мужа... Читатель согласится, однако, что появление «письма» при всех описанных выше обстоятельствах более чем странно, а подлинность его так же вероятна, как и то, что убийца, только что застреливший человека среди белого дня, на людной улице, заботится о каких-то черновиках никому неведомого «ответа», который, вдобавок, по показаниям «Полтавского вестника», покойный еще только собирался писать...[1]

Итак, документ, которым полтавский официоз открывал кампанию против меня, я имею все основания объявить явным и заведомым *подлогом*... Все, что нам известно точно об его происхождении, сводится к тому, что в нем, не исключая и подписи, нет ни одного слова, написанного покойным, и что он прислан в редакцию вдовой при препроводительном письме, которое писано старшим советником губернского правления г. Ахшарумовым. Таким образом, в лице последнего к сему похвальному делу приложила руку «полтавская бюрократия»...

Последний в своем показании говорит, что полтавский губернатор кн. Урусов, при свидании с Филоновым в

---

[1] Все показания о моменте убийства говорят, что молодой человек выстрелил и тотчас бросился бежать...

день его приезда, потребовал, чтобы он ответил на письмо Короленко ..

«Сам он этого сделать не успел» (слова «Полтавского вестника»). За него это сделали другие, не остановившиеся перед очевидным подлогом...

Это освобождает меня от обязанности воспроизводить здесь целиком этот обширный продукт коллективного творчества подделывателей. Тем не менее он представляет некоторый интерес, уже не как ответ участника сорочинской драмы, а как ответ его среды, считающей массовые истязания доблестным исполнением долга.

Что же представляет этот ответ по существу?..

Прежде всего в нем было бы совершенно напрасно искать опровержение приведенных мною ужасающих фактов. Авторы «посмертного письма» ограничиваются заявлением, что «девять десятых приписываемых Филонову подвигов ложно». И ложно, между прочим, что в Сорочинцах ко времени филоновской экспедиции уже не было бунта.

«Писатель Короленко!—говорит мнимый Филонов.— Когда я приехал в Сорочинцы, тело «несчастного» Барабаша валялось в грязном сарае. Неоднократные мольбы родственников о выдаче тела успеха не имели, ни один из «мирных» обывателей Сорочинцев не хотел делать гроба, а священники, боясь «справедливого народного гнева», отказывались служить панихиду. И только благодаря моему воздействию, подкрепленному казаками, удалось добиться, чтобы несчастной жертве служебного долга был оказан последний христианский долг. Из этого, между прочим, видно, насколько правдиво ваше указание, что «в то время в Сорочинцах не было уже никаких признаков бунта»...

Все это очевидная, детски беспомощная неправда... Из дела известно, что Филонов с отрядом прибыл в Сорочинцы 21 декабря и в ту же ночь были арестованы зачинщики. . И не только арестованы, но и избиты так, что вполне благонамеренный старшина Копитько не мог узнать их, когда они были приведены в правление.

Никто при этом никакого сопротивления не оказал... А когда толпу согнали на площадь и приказали стать на колени, она покорно стояла четыре часа.

И это признаки бунта?

Жители не хотели делать гроба... Но ведь всем жителям и не приказывали это делать. Значит, и этот изумительный признак бунта мог относиться разве только к плотникам. В деле нет никаких указаний на то, кто и к кому обращался с заказом. Гроб все-таки сделан, и 22 декабря утром тело проводили из села по Миргородской дороге...

«Тело валялось в грязном сарае», во власти толпы, которая отказала (якобы) выдать его, «несмотря на неоднократные мольбы родственников»... Эта картина, заимствованная из донесения самого Филонова, которым, очевидно, пользовались составители письма, повторялась всеми официозами, стремившимися оттенить упорную преступность сорочинских жителей и лживость писателя Короленко. *По странному недоразумению, она частью приводится также и в «заключении» прокурора.*

Между тем все это до очевидности лживо: сотник Щетихин со своими казаками отвезли раненого Барабаша и сдали его в больницу [1]. Никакая толпа после этого им не овладевала, и если бы тело умершего валялось в грязном сарае, то это было бы не бунтом сорочинских жителей, а только нерадением больничного персонала.

Но и этого не было. Через несколько дней после появления подложного письма в «Полтавском вестнике» сорочинский врач, заведующий больницей, прислал опровержение, напечатанное 31 января в той же газете [2]. В опровержении этом говорится, что тело Барабаша не валялось ни в каком сарае, а было поставлено в коморе (горнице), которая служит мертвецкой, и куда тело было вынесено вместе с кроватью и постелью...

Что касается родственников, «умолявших толпу», то совершенно очевидно, что к толпе им обращаться не было ни малейшей надобности, так как тело не находилось в ее власти. В деле опять нет ни малейших указаний, к кому именно и кто именно обращался с мольбами. Есть показания совершенно обратные. Так, пристав Якубович говорит, что, «по приезде в Миргород, он сообщил о происшедшем несчастии жене покойного, которая так была убита горем, что не знала, что делать, и *поручила ему*

---

[1] Лист дела 108.
[2] «Полтавский вестник», 31 января 1906 г, № 968.

распорядиться относительно доставления тела в Миргород». Это и было исполнено 22 декабря...

Наконец *«священники боялись служить панихиды»...* Если бы это было так, то опять возникает вопрос,— основательна ли была эта боязнь и виновно ли в том тогдашнее настроение жителей или излишняя опасливость сорочинских пастырей.

В деле опять есть одно прямое показание, которое этому противоречит. Тот же пристав Якубович рассказывает, что в день его ареста один из сорочинских священников, о. Владимир Греченко, смело вошел в средину возбужденной толпы с крестом в руке, «убеждая ее не приводить в исполнение преступного намерения и предупреждая об ответственности...» (Тот же священник дал впоследствии правдивые показания о действиях Филонова.) Можно ли поверить, что этот человек, не боявшийся уговаривать толпу в дни наибольшего ее возбуждения, отказал бы в панихиде над телом, лежавшим в больнице, если бы его о том попросили? Нужно ли прибавлять, что в деле нет опять-таки указаний, кто просил об этом и кто отказывал...

Урядник Копитько говорит определенно, что *«на следующий день* (20 декабря) *все было спокойно»...* И если все эти признаки, за которые хватаются авторы подложного письма, говорят о чем-нибудь, то разве о том, как легкомысленно известная среда устанавливает порой «признаки бунта» и как тяжко приходится расплачиваться за это преступное легкомыслие.

Чтобы дать понятие об общем характере «посмертного ответа», я приведу еще его начало:

«Г писатель Короленко! Я только что вернулся из командировки и прочел ваше открытое письмо... Сначала я не хотел отвечать на него. К чему? Мы слишком разно смотрим на вещи... Вы ненавидите всякую законную власть, презираете правительство, я — агент этой правительственной власти. Можете ли вы поэтому честно и беспристрастно отнестись к этой власти? Конечно, нет. Я недавно прочел (где?) заявление «убежденного журналиста» (кого именно?) из ваших единомышленников (?)... Он говорит: «Уважающий себя писатель не имеет права теперь говорить правду». По крайней мере откровенно. Но в таком случае, какую цену может иметь ваше письмо?..»

Таково начало посмертного ответа. Оно дает полное представление о тоне, каким написано все «письмо», и об его полемических приемах... На обвинения, поставленные точно, ясно, с указанием имен и фактов, с призывом к суду,— неведомые защитники отвечают, будто Филонов недавно прочел, неизвестно где, заявление неведомого журналиста, по неведомым причинам признаваемого за единомышленника Короленко... Этот журналист будто бы не рекомендует вообще говорить правду Значит,— и Короленко говорит неправду в своем письме...

Таково это возражение чиновника писателю, вернеё,— таков ответ его среды на вызов независимой печати!

Фактическая часть этого ответа — явная неправда!

Публицистическая — наивнейшая инсинуация...

Нравственная — грязный подлог от имени мертвого.

VIII
ОТВЕТ КЛЕВЕТНИКАМ

Продолжение соответствовало началу. Подложное письмо дало тон печати известного лагеря. За «Полтавским вестником» отозвался «Киевлянин». За ним «Русская правда» (издатель — бывший земский деятель г. Квитка!), «Черниговские губернские ведомости», какая-то орловская газетка, поместившая «некролог писателя Короленко», написанный врачом Петровым «Харьковские губернские ведомости», «Новое время»... Целый ряд явно и тайно черносотенных изданий в десятках тысяч экземпляров на разные лады комментировали и извращали факты...

Наконец даже высоко-официозный орган председателя совета министров П. А. Столыпина счел достойным своей официозной роли, не дожидаясь постановления суда, украсить свои столбцы безоглядным утверждением, будто «травля Филонова, произведенная г. Короленко, имела прямой целью убийство данного лица» [1].

---

[1] «Россия». Цитирую из «Русск. вед.», 16 сент 1906 г., № 228.

Эта дрянная выходка официоза, вероятно, не имеющая примеров во всей официозной печати всех европейских стран,— явилась достойным завершением кампании, начатой подлогом. После этого оставалось только повторить ее в новорожденной российской палате... И действительно, низкая клевета вползла, наконец, и на парламентскую трибуну...

12 марта 1907 года, в Государственной думе, во время обсуждения законопроекта о военно-полевых судах, депутат от Волынской губернии г. Шульгин выразил пожелание, чтобы казням подвергались «не те несчастные сумасшедшие маниаки, которых посылают на убийство другие лица, а те, которые их послали, интеллектуальные убийцы, подстрекатели, умственные силы революции, которые пишут и говорят перед нами открыто .. Если будут попадать такие люди, как известные у нас писатели-убийцы...

Голос: Крушеван?

Деп. Шульгин: Нет, не Крушеван, а гуманный и действительно талантливый писатель В. Короленко, убийца Филонова!

Голоса: Довольно! вон!

Председатель: Прошу не касаться личностей, а говорить о вопросе.

Шульгин: Слушаюсь».

Этот эпизод я заимствую буквально из стенографического отчета. В то время, когда г. Шульгин стоял на трибуне Государственной думы и перед собранием депутатов беззаботно кидал обвинения, всю тяжесть которых, очевидно, не способен понять умом или почувствовать совестью,— телеграммы уже сообщили, что дело писателя Короленко и редактора Ярошевича направлено к прекращению, так как факты, ими изложенные, подтвердились...

Когда-то Людовик XIV потребовал объснения у одного из своих генералов, который проиграл битву, потому что не пустил в дело артиллерию.

— Государь,— ответил генерал,— у меня есть тысячи причин. Первая: отсутствие пороху...

— Довольно,— ответил король,— докажите наличность этой одной, можно не излагать остальных.

Я отвечаю то же достойному хору моих обвинителей: у меня было много причин написать мое письмо, но для всякого непредубежденного человека достаточно одной: покойный Филонов действительно совершил возмутительные насилия, и было бы преступлением со стороны печати молчать о них...

Правда, наше время — ужасное время, когда каждое слово падает, как искра, в умы, возбужденные всем, что совершается кругом, среди грохота и шума тяжело перестраивающейся жизни. Однако следует ли из этого, что печать должна замалчивать факты беззаконий, истязаний, насилия?

Господа правые, называющие себя приверженцами закона, правды и порядка, осуждающие «моральное подстрекательство печати»! Оглянитесь на ваши собственные действия.

Вот вы на столбцах официозных органов продолжаете кампанию, начатую подлогом, и с высоты парламентской трибуны считаете возможным заявлять, что писатель Короленко — сознательный подстрекатель и убийца!

Думаете ли вы о том, что ведь и ваши слова падают, как искра, в возбужденные умы ваших приверженцев?

Вы скажете, конечно, что считаете себя вправе не принимать этого в соображение. Вы просто указываете на то, что, по-вашему, сделал писатель, и не вы виноваты, если это кого-нибудь возмущает.

Справедливо. Но тогда не имел ли и писатель Короленко такое же право сказать свое мнение о действиях чиновника, истязавшего без разбора тысячную толпу, стоявшую перед ним на коленях, и затем продолжавшего невозбранно тот же образ действий в других местах?

Нет, не оглашение, а самые факты мучат, терзают, доводят до отчаяния, обесценивают жизнь, отравляют чуткие совести сознанием бесправия, побуждают к ужасному самопожертвованию и ужасным самосудам. И если бы еще печать замолчала, то жизнь была бы отдана всецело во власть стихийных страстей и их необузданной ярости. Тогда, среди мрачного молчания, раздавались бы только выстрелы с одной и с другой стороны, как это мы уже видим в Лодзи и в некоторых местах Кавказа...

Нет, выход не в молчании, а в правде. Я доказал, что говорил правду, не выдумывая и не искажая фактов и освещая их по своему разумению и совести.

А вы, прибегающие к подлогам и клевете в защиту насилия... можете ли вы доказать то, что говорите? И понимаете ли вы все значение вами сказанного?

Писатель, который, открыто взывая к гласности и суду, в действительности стремился бы только подстрекнуть другого на убийство,— совершил бы величайшую низость, какую только возможно совершить при помощи пера и печатного станка...

Но если так, то каков же должен быть нравственный уровень среды, для которой возможны обвинения в такой низости без всяких других оснований, кроме того, что писатель сказал суровую правду о насилиях, совершенных чиновником.

А эти обвинения раздавались со столбцов органа «конституционного» министерства и с парламентской трибуны!

IX

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Много еще можно бы сказать по этому предмету, но на этот раз я кончаю.

Не для г. Шульгина и не для «министерской газеты», а для людей, способных искренно и честно вдуматься в современное положение, я хочу закончить эти очерки небольшим эпизодом.

На второй день после убийства Филонова ко мне прямо из земского собрания явился крестьянин, мне незнакомый, и с большим участием сообщил, что он случайно слышал в собрании разговор какого-то чиновника с кучкой гласных. Чиновник сообщал, будто состоялось уже постановление об аресте писателя Короленко. И мой незнакомый посетитель пришел, чтобы предупредить меня об этом.

Я поблагодарил его и затем спросил:

— Послушайте, скажите мне правду. Неужели и вы

и ваши думаете, что я действительно хотел убийства, когда писал свое открытое письмо?

Он уже прощался и, задержав мою руку в своей мозолистой руке и глядя мне прямо в глаза, ответил с тронувшим меня деликатным участием:

— Я знаю... и много наших знает, что вы добивались суда. А прочие думают разно. . Но...

Он еще глубже заглянул мне в глаза и прибавил:

— И те говорят спасибо.

Впоследствии не в одних Сорочинцах при разговорах с крестьянами об этих событиях мне приходилось встречать выражение угрюмой радости...

— Ничего,— говорил мне молодой крестьянин, у которого еще летом болели распухшие от ревматизма ноги.— У меня ноги не ходят, а *он* не глядит на божий свет...

Таков результат двух факторов: стояния на коленях и чувства мести за безнаказанные насилия..

Но это не то дело, которое начато было в Полтаве независимой печатью. Мы вызывали эту толпу, еще недавно стоявшую на коленях, к деятельному, упорному, сознательному и смелому отстаиванию своего права *прежде всего* законными средствами. Она слишком скоро получила удовлетворение иное, более резкое и трагически мрачное...

Мы потерпели неудачу. И я, быть может, более искренно, чем многие сослуживцы покойного Филонова, был огорчен его смертью. Не из личного сочувствия, — после всего изложенного я считал его человеком очень дурным и жестоким... И не потому, что для меня с этой смертью был связан ряд волнений и опасностей, что за ней последовал целый год, в течение которого я был мишенью бесчисленных клевет, оскорблений и угроз. Не потому, наконец, что эта кампания, начавшись подложным письмом в Полтаве, перешла на столбцы правительственного органа и на парламентскую трибуну...

А потому, что выстрел, погубивший Филонова, разрушил также то дело, которое было начато независимой печатью и которое я считал и считаю важным и нужным... Так как, сколько бы ни предстояло еще потрясений и испытаний нашей родине на пути ее тяжкого обновления и какие бы пути ни вели к этой цели,— все-таки

окончательный выход из смятения лежит в той стороне, где светит законность и право, для всех равное: и для избитого на сорочинской площади человека в сермяге, и для чиновника в мундире, для рабочего одинаково, как и для министра... И эту дорогу нужно искать всюду, где еще возможно и когда возможно, как бы она ни загораживалась старыми привычками и властными интересами, как бы ни перепутывалась с другими тропами, как бы ни терялась среди царящего мрака и беззаконий...

В деле Филонова независимая печать звала именно на этот путь, оглашая правду о сорочинской и других подобных трагедиях. Взывая к суду, она исполнила свою обязанность, но осталась одинокой... Ее не поддержала ни местная, ни высшая администрация. Суд безмолвствовал, пока Филонов производил свои истязания, и выступил только с попыткой... привлечь меня *за заведомую правду*. Если бы другие закономерные факторы жизни исполняли свой долг в эти критические дни, после обещаний манифеста, то правда, которую так поздно пришлось подтвердить и суду,— не была бы отравлена сознанием одиночества и бессилия таких призывов... Тогда не было бы и сорочинской трагедии... Не было бы, вероятно, и набата, и массового гипноза, и убийства Барабаша, и карательных экспедиций, когда, как в Кривой Руде, «в безлунные темные ночи» люди рубят людей без смысла, без вины и без цели...

Не было бы, наверное, и выстрела 18 января, не было бы надобности и русским писателям выступать с «открытыми письмами» к статским советникам и с тяжелыми очерками, какими я в настоящее время терзаю читателей.

Кто же виноват, что этими мотивами переполнилась вся наша жизнь на заре начинающегося обновления...

1907



В. Г Короленко — студент Технологического института. 1871.



В. Г. Короленко в кругу своей семьи в Полтаве. Слева направо: Евдокия Семеновна, жена В. Г. Короленко, Владимир Галактионович, его дочери: Наталья Владимировна, Софья Владимировна. Начало 1900-х годов.

Бытовое явление

Заметки публициста о смертной казни

I

12 МАЯ 1906 ГОДА

Ни одно из заседаний всех трех Государственных дум не оставило во мне такого глубокого впечатления, как заседание 12 мая 1906 года.

Прошло полгода со дня знаменитого манифеста. Назади осталась ужасная война, Цусима, московское восстание, кровавый вихрь карательных экспедиций. 27 апреля открылась первая Государственная дума; она должна была отметить грань русской жизни, стать в качестве посредника между ее прошлым и будущим. В ответном адресе на тронную речь Дума почти единогласно высказалась против смертной казни.

Это было последовательно. Во всеподданнейшем докладе гр. Витте, приложенном к манифесту, признавалось открыто и ясно, что беспорядки, потрясавшие в это время Россию, «не могут быть объяснены ни *частичными* несовершенствами существующего строя, ни одной только организованной деятельностью крайних партий». «Корни этих волнений,— говорил глава обновляемого правительства,— лежат, несомненно, глубже». И именно в том, что «Россия пережила формы существующего строя» и «стремится к строю правовому на основе гражданской свободы». «Положение дела,— говорилось далее в той же записке,— требует от власти приемов, свидетельствующих об искренности и прямоте ея

намерений». На докладе, в котором были эти слова, государь император написал: «Принять к руководству всеподданнейший доклад ст.-секретаря С. Ю. Витте».

Такова была компетентная оценка положения, среди которого созывалась первая Дума. Исторический строй, признанный свыше отсталым и не удовлетворяющим назревшим потребностям современной русской жизни, открыто брал на себя свою долю ответственности за волнения и смуту, охватившие Россию. Ни «организованные партии», ни общество не были повинны в политической отсталости России. Вина в этом падала на единственных хозяев и бесконтрольных распорядителей. Первая Дума сделала из этого вывод: оставьте же старые приемы борьбы, смягчите кары за общую вину всей русской жизни. Это и будет доказательство той искренности и прямоты намерений, о которых вы говорите.

Казалось, историческая власть стоит в раздумье перед новой задачей. «С 27 апреля,— говорил в одной из своих речей депутат Кузьмин-Караваев,— ни один смертный приговор не получил утверждения. Напротив, постоянно приходилось читать, что приговор смягчен и наказание заменено другим...» [1] В течение двух недель виселица бездействовала, палачи на всем пространстве России отдыхали от своей ужасной работы. Среди этого затишья историческая Россия встречалась с Россией будущей, и обе измеряли друг друга тревожными, пытливыми, ожидающими взглядами.

12 мая получилось известие, что виселица опять принимается за работу. Раздумье кончилось.

В Думе происходило обсуждение кадетского законопроекта о неприкосновенности личности... У проекта были, конечно, свои недостатки. На него нападали с разных сторон: для одних он был почти утопичен, для других — слишком умерен. Теперь едва ли можно сомневаться, что, будь он действительно осуществлен хоть в значительной части, Россия вздохнула бы, точно после мучительного кошмара. Весь вопрос состоял в том, может ли Дума осуществить что бы то ни было, или все ее пожелания останутся красивыми отвлеченностями. Призвана ли она для реальной работы, или ей суждено предста-

[1] Стенографич. отчет о заседании Госуд. думы 18 мая 1906 г.

вить из себя законодательную фабрику на всем ходу, с вертящимися маховиками и валами, но только без приводных ремней к реальной жизни.

Случай для ответа на этот вопрос скоро представился и притом в самой трагической форме. Обсуждение законопроекта о неприкосновенности личности было прервано спешным запросом трудовиков: известно ли главе министерства, что в Риге готовится сразу восемь смертных казней?

Еще 11 декабря 1905 года, в разгар преддумских беспорядков, восстаний, усмирений и карательных экспедиций, в Риге был убит пристав Поржицкий. Как известно, в Остзейском крае вообще, в Риге в частности, кризис, вызванный переломом застоявшейся русской жизни, проявлялся особенно резко. С одной стороны, ужасающие газетные известия о пыточных застенках и приемах полицейских репрессий, с другой — убийства сыщиков и агентов власти. Здесь более, чем где бы то ни было, нужно было внимательное отношение к двусторонним проявлениям общей вины и общей ответственности. Искренность, о которой говорил С. Ю. Витте, несомненно требовала передачи дела общему суду при обоюдных гарантиях. При том же этого требовал и формальный закон.

Убийство было совершено 11 декабря. Усиленная охрана заменена военным положением 24 декабря. Предание суду состоялось 15 апреля. Случилось так, что *формально* был промежуток, когда в Риге перестала действовать усиленная охрана, а военное положение еще не вошло в силу. Поэтому военный генерал-губернатор, при изъятии дела из общей подсудности, вынужден был мотивировать это «усиленной охраной», которая в то время уже не действовала. Это было незаконно: главный военный суд уже кассировал такой же приговор по делу Иогансона и Зегала, передав дело гражданскому суду.

Еще недавно министр юстиции на обращение депутатов по поводу казней забронировался *формальной* законностью: пока смертная казнь не отменена, она действует в законном порядке. Теперь такой же формальный закон защищал восемь жизней. Стоило только применить его, дело было бы рассмотрено общим судом и восемь рижских виселиц остались бы праздными.

Тем не менее явно незаконный военный суд состоялся и вынес восемь смертных приговоров. Защитники подали кассационные жалобы, исход которых не мог возбуждать сомнения. Тогда генерал-губернатор *собственною властью не дал хода кассации*.

Общее значение этого было совершенно ясно. Раздумье кончалось. Исполнительная власть отстраняла общесудебные гарантии и даже на место гарантий военно-судных выдвигала личное усмотрение рижского администратора. Иначе сказать: администрация опять выступала судьей в собственном деле и на основании этого суда, глубоко чуждого самому духу новых учреждений, уже готовила казни.

На этой своеобразно «легальной» почве, около этих восьми жизней, закипела бескровная, но полная глубокого драматизма борьба новой Думы со старой исторической властью. Были пущены в ход заявления, ходатайства, просьбы. Апеллировали к человеколюбию, к великодушию, к справедливости, к простой формальной законности. Защита подала жалобу в сенат на приостановку кассации и в то же время обратилась с ходатайством на высочайшее имя. Думе, в целом, оставалось только принять запрос. Шестьдесят шесть ее членов подписали отдельное личное ходатайство...

12 мая я сидел в ложе журналистов и запомнил навсегда сумеречный час этого дня, предъявление запроса, речи депутатов, смущенные, полные предчувствий. Среди водворявшейся временами глубокой тишины как будто чуялось веяние смерти и невидимый полет решающей исторической минуты. Это была своего рода мертвая точка: вопрос состоял в том, в какую сторону двинется с нее русская политическая жизнь, куда переместится центр ее тяжести: вперед, к началам гуманности и обновления, или назад, к старым приемам произвола, не считающегося даже со своими собственными законами...

К трибуне подошел В. Д. Кузьмин-Караваев. Речь его была простая, короткая, без громких слов. Раздалось несколько нерешительных рукоплесканий и тотчас смолкли. Председатель поставил на баллотировку предложение: препроводить запрос к председателю совета министров немедленно, без соблюдения обычных формаль-

ностей, с указанием на необходимость приостановки исполнения приговора до решения вопроса о кассации, до ответа на ходатайства...

— Кто возражает против предложения,— говорит председатель,— прошу встать.

Не поднялся никто.

В первой Думе тоже были принципиальные защитники смертной казни, и еще недавно высказался в этом смысле екатеринославский депутат Способный. Но еще не было откровенной кровожадности нынешних «правых», требующих виселиц даже для своих думских противников. Решение принято единогласно. Кто не хотел видеть в этом простой справедливости, те чувствовали все-таки святость милосердия и останавливались перед ужасом восьми казней...

И помню, что тотчас по объявлении этого постановления, когда Дума перешла опять к законопроекту «о неприкосновенности», зажгли электричество. Свет залил весь думский зал, председательскую трибуну, фигуру докладчика на кафедре, амфитеатр думских скамей с фигурами депутатов... И у меня было такое ощущение, как будто тут, в зале, есть еще что-то невидимое, но жутко ощутительное, почти мистическое. Может быть, это была неуверенность в спасении восьми жизней, а за ней и во многом другом, что роковым образом сплелось с судьбой этих безвестных восьми людей в Риге... *Дума сделала все, что могла. Но она не сделала ничего,*— кажется, так следует истолковать это странное ощущение. Здесь могут только негодовать, надеяться, скорбеть и высказывать пожелания. А там могут вешать...

Прошло шесть дней. 18 мая на трибуну взошел докладчик Набоков, чтобы сообщить ответ председателя совета министров на думский запрос. Ответ был краток и формален. Сущность его, впрочем, была уже известна из газет: рижский генерал-губернатор не пожелал ожидать исхода жалоб на приговор заведомо незаконного суда и распорядился (16 мая) спешно казнить всех восемь приговоренных...[1].

Смысл сообщения был ощутительно ясен; на соображения о законности отвечали заявлением о силе. В Ду-

---

[1] «Наша жизнь», 17 мая 1906 г., № 447.

ме полились речи, полные негодования и горечи. «В ответ на наш запрос,— сказал депутат Ледницкий,— нам кинули восемь трупов». «Некоторые из них малолетние»,— прибавляет депутат Локоть. Кузьмин-Караваев оглашает звучащую горькой иронией телеграмму Леруа-Болье. Просвещенный француз, знаток и друг России, поздравляет Думу с предстоящей отменой смертной казни. «Этим русский парламент совершит акт милосердия и ускорит прогрессивное развитие человечества». Депутат Родичев еще пытается протестовать против «маловерия», которое темной волной хлынуло в Таврический дворец от этой мрачной генерал-губернаторской демонстрации. «Вы напишете закон об отмене смертной казни,— утешает он депутатов,— его утвердят, его не могут не утвердить. Неужели вы сомневаетесь, что смертная казнь уже корчится в предсмертных судорогах?»

Увы! Самые оптимистические каламбуры бессильны перед фактом. А факт состоял в том, что против потока превосходных слов и проектов рижский генерал-губернатор, разумеется в полном согласии с правительством, выдвинул восемь виселиц. Это было так убедительно, что через десять дней в той же думской зале тот же депутат Родичев говорил с горьким унынием: «Если мы и признаем обсуждаемую статью (об отмене смертной казни) за закон, в чем же изменится положение дела? Вы убеждены, что этот параграф станет законом и казни прекратятся? Но, господа, каждый из нас понимает, что это не так...»

И действительно, это оказалось не так. Кто теперь вспоминает на Руси, что в заседании 19 июня 1906 года в первую Государственную думу внесен законопроект, состоявший из двух статей:

Статья первая: Смертная казнь отменяется.

Статья вторая: Во всех случаях, в которых действующими законами установлена смертная казнь, она заменяется непосредственно следующим по тяжести наказанием...

И что этот законопроект Государственной думой принят... И что он облечен в форму закона... Новый закон унесен потоком событий, смывших первую Думу, а факт остался. Виселица опять принялась за работу, и еще никогда, быть может, со времени Грозного Россия не

видала такого количества смертных казней. До своего «обновления» старая Россия знала хронические голодовки и повальные болезни. Теперь к этим привычным явлениям наша своеобразная конституция прибавила новое. Среди обычных рубрик смертности (от голода, тифа, дифтерита, скарлатины, холеры, чумы) нужно отвести место новой графе: «от виселицы». Почти ежедневно, в предутренние часы, когда над огромною страной царит крепкий сон, где-нибудь по тюремным коридорам зловеще стучат шаги, кого-нибудь подымают от кошмарного забытья и ведут, здорового и полного сил, к готовой могиле...

Да, как не признать, что русская история идет самобытными и необъяснимыми путями. Всюду на свете введение конституций сопровождалось хотя бы временными облегчениями: амнистиями, смягчением репрессий. Только у нас вместе с конституцией вошла смертная казнь как хозяйка в дом русского правосудия. Вошла и расположилась прочно, надолго, как настоящее бытовое явление, затяжное, повальное, хроническое...

В последующих очерках, далеко не систематических и не претендующих на исчерпывающее значение, мы постараемся присмотреться к этому новому бытовому явлению... Нужно же знать то, от чего пока (и, может быть, надолго) нет силы избавиться...

II

СМЕРТНИКИ В N-СКОЙ ТЮРЬМЕ

До сих пор быт русских тюрем знал определенные категории заключенных. Это были «высидочные», отбывавшие срочное заключение по суду, подследственные, пересыльные и каторжане.

«Обновление» принесло еще новую категорию, которой тюремный жаргон присвоил зловещее название: «смертники».

Интеллигентный человек, закинутый превратной судьбой в одну из провинциальных тюрем (называть которую он не желает), имел случай наблюдать, хоть не систематически и отрывочно, быт этих людей, ждущих в заключении смертного приговора, конфирмации, казни.

Материал, добытый таким образом из случайных встреч, разговоров, урывками и секретно пересылавшихся писем, он предоставил в наше распоряжение, и я хочу познакомить с ним читателя.

Губернская тюрьма провинциального города. Архитектура обыкновенная. По углам главного корпуса четыре башни. Ход в каждую башню из тюремных коридоров, на которые смотрят в два ряда молчаливые «глазки» камер. В конце коридора крепко запертая дверь, ключ от которой хранится у особых надзирателей. Один из них постоянно караулит вход в башню. За этим входом небольшой темный коридор, ведущий еще к одной двери. За нею круглая башенная камера.

Камера представляет цилиндр, аршин трех или четырех в диаметре. Вверху — небольшое окно, забранное двумя решетками. Решетки скрадывают свет, а зимой, когда вставляются двойные рамы, в камере становится так темно, что даже днем читать или писать становится невозможно. Вечером вспыхивает электрическая лампочка, подвешенная к потолку. Она подвешена высоко, и, даже стоя под нею, читать можно лишь с большим напряжением. Ни коек, ни нар в камере нет. Маленький столик и два-три табурета уносятся на ночь. Спать приходится прямо на полу. Стены вверху бледносерые. Внизу, аршина на два от пола, идет траурная черная полоса.

Камеры верхнего этажа каждой башни лучше. Они суше, светлее; из окон можно видеть город, площадь за тюрьмой, проходящих по площади людей. Нижние камеры врыты глубоко в землю, так что их полукруглые окна помещаются на уровне тюремного двора. Люди тут как будто опущены в колодец, траурно-темный, холодный и сырой. Из окон они могут видеть ноги гуляющих по двору арестантов. Против каждой башни стоит надзиратель с ружьем.

Тут помещаются «смертники».

В том году, к которому относятся наблюдения нашего случайного корреспондента, их перебывало свыше сорока. Это были все сравнительно молодые люди, преимущественно рабочие местного крупного железоделательного завода, осужденные по делам об экспроприациях.

Тюремная администрация употребляет все усилия, чтобы изолировать их от остальных заключенных.

Для прогулки смертников отведено особое место. В баню их тоже водят отдельно. Но, разумеется, полная изоляция невозможна. На допросы, в суд, на прогулку или на свидания их проводят все-таки общими коридорами, и арестанты смотрят в «глазки» на этих обреченных, уже отмеченных печатью смерти людей. Теми же коридорами ведут их в темные предутренние часы на казнь, и тогда спящие арестанты тревожно вскакивают, слушая гулкие шаги, порой стоны и предсмертные крики человека, прощающегося таким образом с доступным ему и сочувствующим арестантским миром. Потом шаги и жалобные крики смолкают В глубокой тишине на заднем дворе совершается последнее действие страшной трагедии... В камерах не спят и гадают, кого это повели только что к открытой могиле...

Порой в часы прогулок гуляющие арестанты слышат откуда-то, точно из-под земли, голоса, громко разговаривающие или спорящие. Порой, особенно в первой половине того года, к которому относится наш материал, из «смертных» камер раздавалось пение. Тогда стоящий у башни караульный начинал волноваться, стучал ружьем и кричал:

— Башня, перестань петь! Башня! Тебе говорят: перестань!

Если это заклинание не действовало, на сцену являлся помощник начальника, и кого-нибудь из людей, ждущих казни, вдобавок сажали в карцер. .

Карцер — темная коробка, помещающаяся прямо под тюремной церковью, низкая, сырая, холодная, с отвратительным воздухом. Многих после трех-четырех дней заключения из карцера выносили на рогожах прямо в больницу.

В башнях порой в одиночку, иногда группами люди ждут приговоров или их исполнения... Ждут дни, недели, иногда месяцы, каждый вечер спрашивая себя, увидят ли они завтрашнее утро. В прежнее, еще недавнее, «доконституционное» время один военный судья говорил мне, что продолжительная отсрочка казни являлась огромным шансом за ее отмену: нельзя казнить человека, пережившего такой продолжительный ужас, хуже самой смерти. Теперь этими психологическими тонкостями не стесняются...

III
БУДНИ СМЕРТНИКОВ

Всем еще памятно то одушевление, с которым шли на смерть приговоренные к казни или расстреливаемые без суда в первом периоде нашей «революции». Так умирали интеллигентные люди, молодые девушки, железнодорожные рабочие, матросы. Группа матросов, восставших вместе с лейтенантом Шмидтом, шла на казнь дружным строем и пела известную народную рекрутскую песню:

Последний радостный денечек
Гуляю с вами я, друзья!
А завтра рано чуть светочек
Заплачет вся моя семья...

В этом зрелище было столько одушевления и веры в значение жизни перед лицом неизбежной смерти, что, говорят, эта песня на юге приобрела значение марсельезы.

Теперь многое изменилось, и по мере того, как смертная казнь превратилась в будничное бытовое явление, от нее удаляется и обволакивавшее ее прежде одушевление. Должно быть, труднее умирать за то, за что люди так часто умирают в наше время.

Впрочем, наш корреспондент отмечает, что в первые дни после приговора многие смертники чувствуют себя сравнительно бодро. В свои мрачные башенные камеры они вносят еще возбуждение недавней борьбы, полной если не возвышенных, то сильных ощущений и крайнего напряжения нервов. Суд и приговор — только последний размах той же волны. В большинстве писем, относящихся к первым дням после приговора, звучит еще своеобразная бодрость, даже ирония. Иные из этих писем чрезвычайно характерны, и мы приведем их в тех отрывках, какие дает наш корреспондент.

«Я напишу вам,— так начинается одно письмо,— но предупреждаю, что я человек малограмотный, неразвитой и малоначитанный. *Я чувствую себя очень хорошо*[1]. Смерть для меня ничто. Я знал, что это, рано или поздно, но должно быть. Я был уверен на воле, что меня по-

---

[1] Курсивы и далее наши.

весят или застрелят где-нибудь на деле. Так вот, товарищ, может ли мне казаться страшной смерть? Да, конечно, ничуть. Я не знаю, как другие, но до суда и после суда я был в одном настроении. Только обидно: со мной приговорили одного невиновного. Я в суде не утерпел и крикнул судьям...[1] За это мне попало от «сознательного конвоя»...»

Еще через некоторое время тот же автор писал: «Вы спрашиваете, как я провожу время. Определить трудно. Я сам себя не могу учесть в этом случае. Одно могу сказать, *что душевно я спокоен*. Очень даже спокоен. Наружный вид, можно сказать, веселый. С утра до ночи смеемся, рассказываем различные анекдоты, конечно юмористические. Конечно, вопрос о жизни приходит иногда в голову. Задумаешься на несколько минут и стараешься забыть это все потому, что все уже кончено для меня на сей земле. А раз кончено, то такие мысли стараешься отогнать и не поднимать в своей голове. Я вижу, что времени для жизни осталось очень мало, и в такие короткие минуты ничего не могу разрешить. Чем понапрасну ломать голову, лучше все это забыть и последнее время провести веселее. Я сам себя не могу определить: я как будто ненормальный. Иногда хочется отравиться. Отравиться тогда, когда мне этого захочется. Уж очень не хочется идти помирать на задний двор, да еще в сырую погоду, в дождик. Пока дойдешь, всего измочит. А мокрому и висеть не особенно удобно. Да еще и то: берут ночью. Только разоспишься, а тут будят, тревожат... Лучше бы отравиться...»

Читатель видит, что здесь у человека еще хватает настроения для какого-то жуткого юмора над своей страшной судьбой... «Измокнешь, а мокрому и висеть неудобно... Только что разоспишься, а тут — тревожат...»

«Чувствую себя ничего,— пишет другой приговоренный.— Даже удивлен, что в душе не сделалось никакого переворота. Точно ничего не случилось...» По-видимому, жизнь обладает своей инерцией движения, и человек еще органически не может себе представить, что она скоро оборвется без внутренних, органических причин. Он *знает* о приговоре, но еще не может его *почувствовать*...

---

[1] Многоточие в присланной нам рукописи.

Поддержать в себе возможно дольше, до самой смерти, это настроение продолжающейся жизни, не дать ужасной истине пустить в душу отравляющие ростки,— такова теперь задача, к которой приспособляется весь быт своеобразного общества, населяющего мрачные камеры. «Забыть и дать забыть другим» — это как будто правило его социальной нравственности.

«Спать ложимся мы в три часа ночи,— пишет один приговоренный.— Это постоянно. Р. научил нас играть в преферанс, и мы до того им увлеклись, что играем, как будто бы за интерес. Увлеклись сильно. Тут есть и сожаление от проигрыша, и маленькие радости от выигрыша. *Упадка духа ни в ком как будто и не замечается*. Если посмотреть со стороны и не знать, что мы приговорены к смерти, то можно счесть нас просто за людей, отбывающих наказание. Если же наблюдать нас, зная, что нас ждет смерть, то, вероятно, можно подумать, что мы ненормальны. Действительно, и самому приходится удивляться тому, что мы так хладнокровны. По одной фразе вашей я заметил, что предполагается у нас тяжелое настроение духа. Представьте себе, что нет. Даже, напротив, бывает неестественно веселое настроение. *Часто смех, шутки, песни и рассказы не сходят у нас с уст*. О том, что ждет нас, буквально забываешь. Это, по моему мнению, происходит от того, что сидишь не один... Чуть кто пригорюнится, так другой старается, может быть ненамеренно, оторвать его от тяжелых мыслей и вовлечь в разговор или во что-нибудь другое... Находят минуты какой-то беспричинной злобы, хочется кому-нибудь сделать зло, какую-нибудь пакость. Насколько я наблюдал, если такому человеку поволноваться и вылить свою злобу в руготне, то он понемногу успокоится. На некоторых в такие моменты действует пение. Затяни что-нибудь,— он поддержит».

В такие-то минуты из наглухо закрытых башен несутся звуки песен, и стража во дворе начинает тревожиться, стучать ружьями и кричать: «Башня, тебе говорят, замолчи!» Но заставить замолкнуть такую песню, конечно, нелегко...

«Теперешнее мое состояние удовлетворительно,— читаем мы еще в одном письме «из башни»,— только в голове какой-то хаос. Хотелось бы на день, на два остать-

ся одному с самим собою; но это невозможно. Жаль погибающую молодость! К тому, что скоро придется умирать, отношусь не то чтобы хладнокровно, но все-таки эта мысль не смущает меня: я *не вдумываюсь в нее*. Чем объяснить это,— я не знаю!»

Автору этого письма хотелось бы остаться одному; но именно одиночество в этом положении ужасно. «Как начинает лезть что-нибудь в голову,— пишет другой «смертник»,— так я тотчас же отвлекаю себя разговорами с товарищами, лишь бы только это удалить. А то, как только почувствую, что могу заснуть, стараюсь лечь спать. Мне кажется, что если бы я... сидел один, то давным-давно покончил бы с собою».

По мере того как идет время, спокойствие тоже уходит. «Жизнь приходится считать минутами, она коротка,— пишет один из приговоренных, по-видимому проводящий последние дни в одиночестве.— Сейчас пишу эту записку и боюсь, что вот-вот растворятся двери и я не докончу. Как скверно я чувствую себя в этой зловещей тишине! Чуть слышный шорох заставляет тревожно биться мое сердце... Скрипнет дверь... Но это внизу И я снова начинаю писать. В коридоре послышались шаги, и я бегу к дверям. Нет, снова напрасная тревога, это шаги надзирателя. Страшная мертвая тишина давит меня Мне душно. Моя голова налита как свинцом и бессильно падает на подушку. А записку все-таки окончить надо. О чем я хотел писать тебе? Да, о жизни! Не правда ли, смешно говорить о ней, когда тут, рядом с тобой, смерть. Да, она недалеко от меня. Я чувствую на себе ее холодное дыхание, ее страшный призрак неотступно стоит в моих глазах... Встанешь утром и, как ребенок, радуешься тому, что ты еще жив, что еще целый день предстоит наслаждаться жизнью. Но зато ночь! Сколько она приносит мучений — трудно передать... Ну, пора кончить: около двух часов ночи. Можно заснуть и быть спокойным: за мной уже сегодня не придут».

«Я давно не писал вам,— говорится в новом письме (другого лица).— Все фантазировал, но ничего не мог сообразить своим больным мозгом. Я в настоящее время нахожусь в полном неведении, и это страшно мучает меня. Я приговорен вот уже два месяца, и вот все не вешают. Зачем берегут меня? Может быть, издеваются

надо мной? Может быть, хотят, чтобы я мучился каждую ночь в ожидании смерти? Да, товарищ, я не нахожу слова, я не в силах передать на бумаге, как я мучаюсь ночами! Что-нибудь — скорей бы!»

Это писал тот самый человек, который вначале удивлялся, что приговор не произвел на него впечатления, и говорил, что смерть его нисколько не пугает... Два его письма — это два полюса в настроении смертников: вначале возбуждение и бодрость, потом возрастающий ужас перед развязкой, тупой и безмолвной.

IV

ИЛЛЮЗИИ И САМОУБИЙСТВА

Впрочем, в промежутках часто являются мечта и надежда. «У каждого,— говорит один из авторов писем,— есть какая-нибудь надежда, и у каждого фантазия доходит до геркулесовых столбов. Хотя мы и знаем, что каждого из наших товарищей берут и вешают, но все-таки (собственная) предстоящая казнь кажется невероятной. Кажется невероятным, как это меня, здорового, полного сил человека поведут и повесят... У каждого есть розовая надежда на что-то, чуть не на чудо. Некоторые ждут помилования. Другие мечтают о подаче прошения на высочайшее имя и думают как-нибудь провести администрацию. Говорим иногда об усыпительных веществах. Как бы уснуть так, чтобы когда похоронят, то пришли бы товарищи и откопали бы из могилы. Мечтали о сделке с доктором во время смертной казни» и т. д.

Но и надежда в положении смертника, как гашиш, обманчива и ядовита. «Я думаю,— пишет один из них,— что для нас вредны мечты в большом размере, так как чересчур тяжки разочарования. Для примера приведу Х-ва. Он вполне был уверен, что ему отменят смертный приговор, так как об этом хлопотал сам суд, да и дядя его имел большие связи. Когда пришли ночью и сказали, что пришло помилование, то он поверил этому и с радостью пошел в контору. Что же ему пришлось пережить, когда вместо помилования его потащили на виселицу?.. Мне могут сказать, что все это неважно, так как страданий здесь всего ведь на час, да и то, быть может, меньше.

Но я не хочу месяца иллюзий, чтобы пережить и час таких страданий. Лучше я буду внушать себе, что мне скоро придется умереть. Я не скрою, что и я тоже мечтаю и строю иллюзии, но только я не позволяю мечте вкорениться глубоко. Против мечты о воле, о том, как хорошо было бы очутиться в кругу близких людей, против этой мечты я принимаю свои меры.

Теперь приведу другой пример — П-на. У него совершенно не должно было быть никаких надежд. Но вот почему-то одних берут, а его, хотя и вышел срок, оставляют. У него являются надежды. И вот он, который раньше соглашался умереть с бо́льшими страданиями, чем от доставленного ему яда, теперь уже не решается (отравиться) и ждет последней минуты. Яд он принимает только тогда, когда пришли и сказали: «Собирайся на виселицу». От яда он падает без чувств. Его выносят на тюфяке на свежий воздух и качают. . Он приходит в себя. Под воротами его рвет. Он приходит потом в контору, пишет письма и идет на виселицу».

«И таких примеров много,— прибавляет автор письма.— Это все последствия иллюзий...» П-в ждал решения своей участи без двух дней пять месяцев! И «хотя, по-видимому, у него были хорошие, благодаря иллюзиям, минуты, но в конце концов — тройные мучения... Каждый из нас хватается за соломинку, и тогда логика и рассудок — все летит к черту».

Удалось ли в конце концов писавшему вышеприведенные строки удержаться в пределах «логики и рассудка» — мы не знаем. Но те, кто пассивно поддаются иллюзиям, легко превращаются в маниаков. «Из всех приговоренных к смертной казни,— говорится в одном письме,— такого, как NN, я вижу впервые. Он хотя и не говорит, но, видимо, ему жаль порвать с жизнью. Он все ждет помилования. Прошения он не подавал, но подала его мать от своего имени. Теперь он постоянно гадает на картах, будет или не будет он помилован. Он отказался покончить с собой. Если бы я захотел описать его последние дни, то едва ли мог бы многое описать. Жизнь его течет чрезвычайно однообразно и монотонно. Вечером он ложится спать часов в шесть, а встает в два, три, четыре часа. И как только встает, так берется за карты и начинает гадать. Днем иногда ляжет полежать

и на мой вопрос: «О чем вы думаете?» — обыкновенно отвечает: «Я и сам не знаю, о чем». Почти все время проводит он за картами и в какой-то меланхолической мечте. Может быть он мечтает о чем-нибудь ценном, но только не желает с нами этим поделиться. Не знаю».

Автор заметок, которыми мы пользуемся при составлении этого очерка, пишет, что ему удавалось по временам видеть NN, о котором идет речь в предыдущем письме. «Это еще молодой человек, лет двадцати, с продолговатым лицом и голубыми, чем-то затуманенными и как будто ничего не видящими глазами. В серой, плотно облегавшей его фигуру арестантской куртке шел он медленно со своим провожатым на прогулку и устало и равнодушно смотрел куда-то вдоль длинного коридора. Больше всего привлекали внимание его смертельно усталые, рассеянные, ничего не видящие глаза». В то время, когда автор записывал в тюрьме свои впечатления, ему уже редко приходилось видеть NN. Говорили, что он обещал властям выдать несколько человек, если ему дано будет помилование, и что ему подали надежду на избавление от казни...

Не все, конечно, отдаются так всецело во власть безграничных иллюзий. Желания многих приговоренных не идут дальше добровольной смерти. Мы уже встречали выше выражение этого настроения: «Умереть, когда захочу сам». И в то время, как обыкновенное население тюрем стремится всеми мерами добыть «с воли» водку, табак или карты, смертники со всевозможными ухищрениями добывают яд или нож.

Газеты отмечают то и дело случаи самоубийства перед казнью. Больше всего прибегают осужденные к цианистому калию, реже к морфию или ножу. «Любопытно,— пишет автор наших материалов,— что ни один из присужденных при попытках к самоубийству не прибегал к помощи шнура или веревки, хотя достать их гораздо легче». Газеты отмечали случаи самоповешения, но действительно они реже других способов самоубийства. Смерть от руки палача кажется позорнее и страшнее. Приговоренные прежде всего предпочитают добровольную смерть, «когда сам захочу», и если можно, то она должна быть другая, не та, которую назначит им человеческий суд. В течение того года, к которому относятся

наблюдения нашего корреспондента, один из приговоренных отравился стрихнином и кончил жизнь в страшных мучениях. Другой нанес себе удар ножом в сердце. В третьем случае удар ножа не оказался смертельным, четвертый вскрыл себе рану на руке обломком стекла, он тоже остался жив. Было также несколько случаев неудачного самоотравления...

Эти попытки и самоубийства происходят на глазах у остального населения камеры. «Смерть товарища Я-ва,— говорится в одном из писем,— произвела на меня ужасное впечатление. Громадная сила воли, потрясающая картина геройской смерти. Перед смертью он был весел, курил, разговаривал, смеялся. Волнения не было заметно. Потом нащупал сердце, приложил нож одной рукой, а другой ударил: раз! два... Потом сказал: «Вот хорошо! Выньте». И начал хрипеть, и умер, не издав ни одного громкого стона».

Он оставил записку: «Кончаю жизнь самоубийством. Вы меня приговорили к смерти и, быть может, думаете, что я боюсь вашего приговора, нет! Ваш приговор мне не страшен. Но я не хочу, чтобы надо мной была произведена комедия, которую вы намерены проделать со своим формализмом. Мне грозит смерть. Я знаю и принимаю это. Я не хочу ждать смерти, которую вы приведете в исполнение. Я решил помереть раньше. Не думайте, что я такой же трус, как вы».

Для этого мужественного человека смерть, очевидно, явилась последним актом если не прямой борьбы, то хоть полемики с врагами.

V

ПОСЛЕДНИЕ СВИДАНИЯ

Два раза в неделю у тюремных ворот собирается толпа народу и терпеливо ждет, пока откроются двери. Это отцы, матери, братья, сестры, сыновья, дочери и жены заключенных, явившиеся на свидание. Двери, наконец, отворяются. Их пропускают.

Длинная, узкая и грязная комната с одним окном. Во всю длину она перегорожена двумя перегородками: внизу перегородки — деревянные, сплошные, вверху до потолка — из частой проволочной сетки. Между перегород-

ками расстояние в два аршина. На этом расстоянии арестанты и их родные переглядываются и переговариваются через две сетки... Так как говорить приходится всем вместе и общий говор заглушает слова, то через несколько минут «свидальная комната» переполняется шумом и криками. Каждый старается перекричать других и закинуть дорогому человеку свое слово за эти перегородки. Комната полна нестройных отчаянных выкрикиваний. Визг женских голосов, судорожно напряженные лица и бессильный, никому не слышный плач под звон кандалов... Вот старая крестьянка. Она притащилась в город за пятьдесят верст и теперь судорожно вцепилась скрюченными пальцами в проволочную сетку. Она пытается несколько раз что-то выкрикнуть сыну, но ее старческий голос тонет в этом нестройном грохоте, звоне и шуме. Она машет рукой и уже только смотрит старыми заплаканными глазами... А через пять — семь минут свидание прекращается. Всех выгоняют, и за проволочные решетки пускают новые партии арестантов и пришедших к ним «с воли». Прежние уходят, унося с собой чувство неудовлетворенности и печали. Хотелось сказать дорогому человеку так много. Не сказал ничего. Казнены уже в России тысячи человек. Приблизительно столько же матерей, и еще столько же отцов и, может быть, столько же сестер, братьев и жен смотрели через такие решетки на дорогих людей, которым грозила смерть. Если это были простые рабочие или крестьяне, то прощаться с ними, как с умирающими, приходили и другие родственники, каких только допускали. И сколько тяжелого, незабываемого и порой непрощаемого страдания разнесут эти простые люди по предместьям городов и по дальним деревням и селам.

Когда приговор уже состоялся, «смертник» получает привилегию: с него снимают кандалы и на свидание к нему близких родственников допускают в тюремную контору. И опять по дорогам тянутся телеги, а в них — матери и отцы, едущие на последнее свидание. Военное правосудие по большей части совершается стремительно, и, пока старая мать бредет пешком или тащится на заморенной клячонке,— дело часто бывает кончено. Тюремный привратник деловито и бесстрастно, как русский мужик вообще умеет говорить о смерти, сообщает,

что сын повешен на рассвете, в то время, когда они тащились в темноте по плохим дорогам. «Недавно,— рассказывает наш корреспондент,— одна из таких матерей подошла к тюрьме и стала просить прощального свидания. Вместо разрешения из тюремной конторы ей вынесли клок волос — все, что ей осталось от сына. Перед виселицей сын попросил ножницы, отрезал прядь волос и передал их для матери. Последняя воля его была добросовестно исполнена».

В прошлом году газеты сообщали о случае еще более печальном. Приговоренный к смертной казни в Балашове Шуримов послал к отцу письмо с просьбой приехать попрощаться перед смертью. «Элементарная гуманность,— говорит сообщивший об этом случае корреспондент,— если о гуманности может быть речь около виселицы,— требовала чего-либо одного: или отказа передать письмо, или разрешения этого последнего свидания. Третьего, казалось, тут быть не может... Но именно это третье, мучительное и безобразное в своей бесчеловечности, и вышло». Отец, бедный и больной старик, собрав последние гроши, отправился в Саратов, захватив с собой и младшего сына. Прежде всего, конечно, обратился в суд. Здесь ему посоветовали «навести справку» у командующего войсками. На вопрос: жив ли еще его сын, сухо отвечали: не знаем. Старик съездил в Казань, но и тут ему «справки» не дали. Вернулся в Саратов и тричетыре дня обивал разные пороги. Ходил к прокурору, к тюремному попу, в тюремную контору. Наконец, кто-то (добрая душа!) сжалился над тоской и слезами старого отца и сообщил ему, что... сын его уже повешен...

«Этот старик,— заключает корреспондент,— уедет домой, в семью, в круг своих близких, знакомых, друзей... И от него, от множества таких стариков, от всех им близких — будут требовать любви к родине, уважения к ее учреждениям, патриотических чувств. .» [1].

Конечно...

Однако вернемся к нашему «бытовому материалу».

Контора, в которой «смертным» даются последние свидания с родными, разделена на две неравные части деревянной перегородкой в половину человеческого ро-

---

[1] Из газеты «Киевские вести», 8 марта 1909 г., № 66.

ста. «Смертный» вводится за перегородку, дверца за ним закрывается, по обеим сторонам становятся надзиратели. Родственники, пришедшие на свидание, остаются на другой стороне перегородки.

Надзиратели равнодушно слушают разговоры. Человек ко всему привыкает, а они многих приводили уже к этой решетке и к виселице. Их дело смотреть, чтобы «смертному» не передали чего-нибудь, и главное, ножа или яду, и они смотрят равнодушно и бесстрастно. На человека свежего эти свидания производят неизгладимое впечатление, как все, в чем вопросы жизни и смерти стоят в такой осязательной близости. Нашему корреспонденту пришлось случайно быть в конторе во время последнего свидания с матерью того самого Я-ва, который так мужественно покончил с собой. Это было незадолго до самоубийства. Высокий, с болезненно желтым лицом и лихорадочно блестевшими глазами, стоял он у перегородки, за которой были две женщины. Одна, сгорбленная, закутанная в шаль, все время плакала и постоянно вытирала глаза концом шали. Другая не плакала; глаза у нее были воспаленные и сухие. Это была мать. Она не спускала глаз с сына, но слов для него у нее не находилось. Таких слов, которые бы тронули, смягчили, утешили, которые просто были бы у места.

— Ну, как же ты теперь? — все-таки спрашивала она тоскливо.— Как здоровье?..

— Что здоровье? Повесят скоро,— хрипло ответил сын и попробовал засмеяться. Но смех не вышел и резко оборвался. Опять молчание.

— Сны страшные видишь? — опять спрашивает старуха.

— Да, разное снится,— ответил он задумчиво и потом сказал легче и проще: — Там у меня поддевка осталась... Ее нужно бы продать...

Заговорили о поддевке и оба обрадовались предмету, не имевшему прямого отношения к тому главному, что занимало обоих. Свидание скоро прекратилось. «Смертного» надзиратели увели в башню, а мать ушла «на волю», которая ей была, вероятно, не лучше этой башни. Говорили, что она после казни сына сошла с ума.

«Когда родители приходят на свидание,— говорится в одном из писем,— то хочется все, все им передать. Но

этого никак не могу сделать: ничего не выходит. Вот сейчас чувствую, что много наговорил бы им ласкательного, хорошего, успокоил бы их, но в конторе этого сделать не могу, потому что там рядом со мной стоят люди, противные мне. При них я не могу выговорить ни одного ласкового слова. Я чувствую, что надо сказать что-нибудь ласковое, хорошее, но язык не повинуется. Когда идешь на свидание, то думаешь сказать то, другое, но когда придешь, то как будто все позабудешь. Все из головы уйдет. Смотришь только на них и слушаешь, что они говорят, а сам ни слова».

«Жду приезда своих,— говорит другой приговоренный,— они прислали мне десять рублей, но я отдал их жене. Вот человек, слепо преданный и любящий! Мне положительно стыдно перед ней. Но сказать ей, втолковать, поднять до себя у меня нет возможности. А так тяжело! Говорим мы на разных языках».

Человек, написавший эти строки, приписывает это тяжкое отчуждение от близких людей разности умственных уровней. Но едва ли это верно. «На разных языках» говорят, по-видимому, все обреченные с теми, кто остается после них на этом свете. Человеческий язык не приспособлен для *таких* разговоров. Обычные понятия робко смолкают в сознании своей ненужности, неуместности, оскорбительности. Что, в самом деле, значит вопрос о здоровье для человека, которого скоро повесят... И сны ему, конечно, видятся всякие... Разговоров о будущем мире, о боге и вечной жизни наш корреспондент тоже не приводит. Об этом, наряду с другими «формальностями», перед виселицей скажет ему тюремный священник, который за это получает казенное жалование...

И, конечно, рад бы был получать его за что-нибудь другое...

VI

«АВТОБИОГРАФИЯ»

«Смертники» пишут, если только есть возможность, довольно охотно. Это — один из способов скоротать страшные часы ожидания и, кроме того, оглянуться, обращаясь к сочувственному слушателю, на себя и свою

уходящую жизнь. В случаях, когда рукой пишущего продолжает водить одушевление идеей, за которую человек сознательно отдал свою жизнь,— такие письма отливаются в формы, изумляющие и трогающие даже противников. Русская печать в последние годы нередко имела случай оглашать на своих столбцах такие обращения мертвых к живым, и эти голоса из-за могилы читались в самых глухих и прозаических закоулках жизни, заставляя забывать о противоречиях и несогласиях и напоминая только о душевной силе, побеждающей и освящающей ужас смерти.

В этих «бытовых» очерках мы имеем дело не с такими освещенными вершинами. Наш материал именно бытовой, обыденный, прозаический. Авторы не выдающиеся люди, письма их не согреты одушевлением какой-нибудь веры Это скорее печальные сумерки мысли и гражданского сознания. Но и здесь условия, в которых рождаются эти предсмертные излияния обреченных людей, налагают на них печать серьезности, придают им особое печальное значение. Пишутся они без всякой задней мысли, как бог положит на душу, даже без надежды, что письмо проникнет дальше тесного круга родных или соседней тюремной камеры. Близость смерти делает людей искренними и серьезными. Тому, что говорится в таких условиях, приходится верить.

В нашем распоряжении есть целая автобиография такого заурядного человека, приговоренного к смерти, и теперь, вероятно, уже казненного. Мы приводим ее здесь целиком в том виде, как она списана нашим корреспондентом.

«Вы спрашиваете о детстве. Да, о нем я вспоминаю отчасти с хорошей стороны, отчасти с сожалением. Родился я и вырос в очень богатой аристократической семье. Все детство было сплошным удовольствием. Был окружен няньками, репетиторами. Зимой жил в городе, летом — в прекрасном имении. Имел ружье, лошадь, вообще все, что можно дать мальчику моего возраста. Потом началось учение. Учился в трех гимназиях, года полтора в кадетском корпусе на казенный счет, благодаря заслугам отца перед отечеством и престолом. Нигде не кончил и сделался в конце концов оболтусом. Мать по-своему любила меня. Отца я помню мало. Он через несколько лет после ту-

рецкой кампании скончался. Нас было четверо братьев и одна сестра Должен вам сказать, что, несмотря на имеющиеся в нашей семье большие средства, ни один из братьев нигде не окончил. Вырастая, каждый стал отделяться от семьи и кое-как устраиваться. Один из братьев отравился лет восемнадцати от безнадежной любви. Другой женился девятнадцати лет на горбатой девушке, дочери крестьянина, чем, по мнению матери, осрамил всю фамилию. Служит он теперь обер-кондуктором на юго-западных железных дорогах. Третий женился на артистке провинциального театра и, сколько я помню, всегда был на полицейской службе. Теперь он где-то служит приставом или помощником полицмейстера. Помню я, что он был несколько раз под судом за растрату и дебоширство, но, благодаря протекции, всегда выходил сухим из воды. Четвертый — я, ваш покорнейший слуга, мерзавец порядочный, в особенности по отношению к женщинам. Был, впрочем, таковым только до ознакомления с политикой. Вот эта самая штука, «политика», захватила меня целиком. У меня явилась жажда к учению, и я, хотя и бестолково, начал читать все, что попадалось под руку. Не забудьте, что до этого ничего, кроме бульварных романов, не читал. В детстве у меня проявлялся, хотя бессознательно, какой-то вольный дух, из-за чего у меня выходили со своими крупные ссоры. Летом крестьянам разрешалось собирать в нашем лесу грибы, но только тем, которые за это выходили на работу. Таким выдавались билетики, а остальным не разрешалось. Не выходили на работу, по-видимому, потому, что было невыгодно. И вот на таких-то и делались облавы, причем собранные грибы, конечно, отбирались. Меня это возмущало, и я отдавал грибы обратно, а с братьями по этому поводу вступал в драку. Как ни старались втолковать мне, я все-таки стоял на своем. Когда из-за этого произошла крупная ссора, я написал записку приблизительно такого содержания: «Когда будете читать эту записку, меня уже не будет в живых. Умираю потому, что не позволяют возвращать крестьянам грибы». Затем я взял револьвер, оставил эту записку на столе и ушел с сознанием, что ровно себе ничего не сделаю. Тут же за мной была погоня. Я не успел добежать до лесу и был пойман. Но с тех пор прекратились облавы на крестьян, и я торже-

ствовал. Этот случай является одним из приятных воспоминаний. Старших — матери, теток и дядей — мы все, дети, избегали и старались поскорей скрыться из глаз, несмотря на то, что я ни разу не был наказан ими. Нас выводили, как дрессированных щенят, к столу. Говорили мы заученные французские фразы, целовали руку матери, пили чай и удалялись. То же самое проделывали мы, когда были гости. От такого воспитания ничего хорошего для нас не получилось. Меня, да, вероятно, и других братьев, ничто не тянуло к родному углу. Мать и другие родственники, по-настоящему, чужие для меня люди, и у меня нет к ним любви. Если бы даже была у меня возможность поговорить по душе и приласкаться, то я отказался бы. не даст она мне той ласки, которая мне нужна, да и не займет она меня. Я с ними никогда не ссорился. Письма с поздравлениями писал аккуратно, так как знал, что это для них важно. Никогда я не обращался к ним с просьбами. Всегда им писал, что здоров, живу хорошо, хотя на самом деле мне и приходилось сидеть без еды дня по два и по три. Почему я не обращался,— не отдаю (себе) отчета. Я не сказал о сестре. Она кончила в Киеве гимназию, вышла замуж за доктора, но не по любви, а потому, что муж представлялся ей выгодной партией. С супругом, сыном и матерью она и теперь живет в N. Муж ее уже профессор, имеет громадные связи и безусловно мог бы сделать для меня очень многое За два года тюремного заключения я ни разу не писал им. Не писал потому, что не знал их взглядов, и думаю, что их скомпрометирую Теперь мне хотелось бы послать им письмо, но то, что хотелось бы написать,— нельзя, а писать так — не стоит. Да думаю, что на меня и на брата-кондуктора смотрят как на нравственных уродов. Но теперь, ввиду смерти, мне хотелось бы знать, пожелают ли они хлопотать за меня. Если да,— то я отложил бы свою смерть. Повторяю: одна мысль безотвязная мучает меня: умру ли тогда, когда захочу того сам...

Но я уклонился от рассказа о своей жизни Лет пятнадцати — шестнадцати я, после долгих пререканий с матерью, добился согласия на отъезд, получил рублей триста денег и укатил в Одессу. Моя мечта была поступить на море. Через несколько месяцев я добился своего и по-

ступил на пароход «Платон» Российского Общества и совершал поездки до Батума и обратно. Прослужил я в качестве ученика около двух лет, затем заболел, пролежал месяца четыре в больнице и потом вышел. Под руководством одной особы, довольно опытной, вскоре после этого занялся торговлей. Три года с лишком родные не знали, где я и что со мной. Я, наконец, написал. За мной приехала жена брата (которого из братьев,— автор письма не сообщает) и уговорила уехать обратно. Возвратившись в Киев, я познакомился с институткой, очень хорошенькой, закрутил с ней любовь, и в результате — роды. Я хотел было жениться, но родные увезли ее и выдали замуж, как я это узнал потом...» [1]

Так началась и так шла эта странная сумеречная жизнь в такой же странной сумеречной семье, выделяющей в одну сторону типичного полицейского-взяточника и преступника, пользующегося протекцией, чтобы избегнуть суда, в другую — кандидата на виселицу. Все здесь как будто на своем месте, все формально прилично: семья собирается за чайным столом, дети подходят к ручке и говорят заученные фразы. Но все так глубоко чужды друг другу, что даже в минуту смертельной опасности, перед возможностью казни (и притом, как увидим, казни по ошибке) у человека, написавшего эту удивительную автобиографию, нет решимости пробить брешь в ужасающем семейном отчуждении. Здесь нет ни слова о взаимной любви, ни слова о религии, ни слова об общем боге .. Ниоткуда также не проникло еще сюда и отрицание религии или семьи. Ее никто не отрицал. Ее просто не было. В таком состоянии, уже взрослым, уже отцом, но все еще бродягой, не членом общества — автор встречается с «политикой».

«Политику»,— говорит он,— я сначала считал простыми переговорами одного государства с другим, но к политическим преступникам питал вообще глубокое уважение и считал их чуть ли не сверхчеловеками...» Как могли явиться политические преступники при условии, что политика — только переговоры одного государства с другим, автор не объясняет, и это, конечно, тоже характерно для того умственного хаоса, в каком бродит граж-

[1] Здесь мы опускаем личное указание.

данская мысль даже сравнительно «культурного» русского человека. Совершенно понятно, что разобраться в многообразном брожении политических идей при таких условиях нет никакой возможности. «Политика» тут обращается в простое «отрицание существующего строя», и беззащитный ум влечется туда, где это отрицание последовательнее и проще.

«В первый раз,— пишет автор,— я был арестован в Киеве, когда жандармский ротмистр изнасиловал в петербургской крепости политическую, кажется, И-ую[1] Студенты в Киеве решили отслужить по сгубленной панихиду, но им было в этом отказано. Студенты все-таки собрались, человек триста. Был тут и я. Нас всех переписали, но тут же и выпустили. Мы собрались вновь, опять были переписаны и посажены по тюрьмам. Через четыре месяца выслали на один год из Киева».

После этого молодой человек поступил счетоводом на Юго-западную железную дорогу, где его дядя служил инженером. Устроился сносно, но местность была лихорадочная, и он заболел. Пришлось уехать в Самару, где ему удалось поступить конторщиком на железную дорогу. Конторщик он был, вероятно, самый обыкновенный, и едва ли за ним последовала даже репутация неблагонадежного. Таких маленьких «протестов» тогда было очень много. Но если бы вскрыть в это время душу этого обыкновенного самарского конторщика, то в ней можно было бы обнаружить представление о государстве как об учреждении, под покровом которого совершаются гнусные насилия в глухих казематах над беззащитными девушками. Оно покрывает эти насилия и наказывает за выражение негодования. С такой психологической подготовкой

Автор имеет, очевидно, в виду громкую и памятную историю в девяностых годах, когда молодая девушка, курсистка, заключенная в крепости, облила себя керосином и зажгла на себе платье. В городе много говорили о причинах этой смерти, и во всяком правовом государстве невозможно было бы оставить мрачную загадку без всестороннего освещения. Самодержавное правительство того времени предпочло заглушить ее, сделав таким образом тайну какого-то служебного преступления своим общегосударственным делом. Волнения молодежи по этому поводу обошли все высшие заведения России. Фамилия покойной девушки была, если не ошибаюсь, Ветрова.

он знакомится в Самаре с фельдшерицами-ученицами, к которым ходили неблагонадежные лица. «Тут-то я и стал познавать всю премудрость».

Какую именно «премудрость», автор не объясняет, считая это понятным. .

«Вот моя жизнь,— так заканчивает он свое жизнеописание.— За что я иду на виселицу? Скоро наступит смерть, и я даю вам слово, что не только в этой, но и ни в какой экспроприации я никогда не участвовал. Да, вероятно, я и не способен убить кого бы то ни было. По натуре я очень мягок и добр до идиотства, так что буквально не способен на такие дела. В этом же деле, за которое меня приговорили к смерти, я виноват только в том, что не донес. Да я и не знал точно, как они хотят обработать это дело. Да если бы и знал, то мои убеждения не позволили бы мне сделать донос. На суде мне пришлось удивиться существованию мелких улик против меня. Теперь я говорю вполне искренне: в данном случае простое совпадение. *Ну, да черт с ними! Не хочется об этом и толковать.* Добавляю, впрочем, интересный факт: суд признал меня виновным только в подстрекательстве, и все-таки дал мне виселицу...»

Если припомнить, что это письмо из одного каземата в другой, в расчете на тайную передачу помимо начальства, что это простая исповедь приговоренного перед временным товарищем по тюрьме,— то страшная правдивость его станет вне всяких сомнений. В одном из цитированных выше писем мы видели, как приговоренный к смертной казни обругал суд не за себя (себя он признавал виновным в том, что ему приписывали), а за то, что вместе с ним был приговорен невинный... Очень вероятно, что этот протест вызван приговором именно над этим юношей.

Теперь,— когда из тюремных камер эта автобиография выбралась на волю,— вопрос об этой жизни давно, конечно, решен. Как? Этого мы сказать не можем. Более чем вероятно, что «правосудие сделало свое дело». И того, кто писал эти строки, и другого, который один только, звеня кандалами, по-своему за него заступился (за что вдобавок к смертной казни попал еще в карцер),— уже, надо думать, нет на свете. Сумеречная жизнь закончилась среди сумеречного правосудия, не дающего себе

труда отличить виновных от невиновных. Едва ли последние минуты этой жизни осветились вспышкой какой-нибудь веры. «Черт с ними!» — такова формула, которую, уходя, он кинул на прощание...

Но те, кто его судили, вели на казнь и напутствовали предсмертными поучениями, как будто во что-то верят сами и требуют веры от других. Думают ли они о том, какой ужасный иск этот сумеречный и неверующий юноша мог бы представить против «существующего строя» в той признаваемой ими инстанции, которая должна быть выше всякого земного суда?

VII

ЭКСПРОПРИАТОРЫ

В сентябре 1909 года в киевском окружном суде (с присяжными заседателями) разбиралось дело эстонского журналиста Эккарта (Энделя) Хорна. Ранее он был приговорен к каторжным работам за политическое преступление, совершенное в Прибалтийском крае, где, как известно, революционное движение было особенно интенсивно и местами действительно принимало характер массовой борьбы. В киевской лукьяновской тюрьме, где он отбывал наказание, в соседней с ним камере содержалась «смертница», Матрена Присяжнюк, бывшая сельская учительница. В августе 1908 года она была приговорена киевским военно-окружным судом к смертной казни. 12 сентября приговор был утвержден, но исполнение почему-то затянулось. Перед казнью Матрену Присяжнюк перевели в камеру рядом с Хорном. Он слышал ее шаги и звон кандалов. Ночью светила луна. Через стену было слышно, как приговоренная, звеня кандалами, подошла к своему окну. Два товарища, осужденные вместе с нею, уже раздобылись ядом. Хорн вскрыл замазанное глиной отверстие в стенке и передал девушке цианистый калий в носке чайника. Она приняла яд, и Хорн до конца разговаривал с нею, утешал ее. В письмах к невесте, сидевшей в той же тюрьме, он описал последние минуты Матрены Присяжнюк (кружковая кличка ее была Рая). Письмо странно и не вполне связно. Видно, что писал человек, потрясенный до глубины души. О себе он иной

раз говорит в женском роде, о своей невесте и Рае — в мужском.

«Я ждал вечера. Какой это был длинный, мучительный день... Когда все у нас ложились спать, я открыл ножиком замазанное глиной отверстие... Через несколько минут я увидел свет из ее камеры... Открывается отверстие, и она называет меня по имени. О боже! Я должен был передать ей. . Я чувствовал, как она сняла с палочки мое послание... Затем передал ей два письма. Все время с жадностью смотрел я в отверстие. Она читала.

В это время спрашивает Степа из каземата, чтобы спросить у Раи, когда она думает принять, чтобы уйти вместе... Какая любовь! Они любили ее... Звон кандалов. Значит, прочитала...» «Милый, я долго говорил с нею, я дополнил словами письмецо. Наконец, я просил ее немного отступить от отверстия, чтобы я мог ее увидеть. И я увидел ее красивое, чистое личико. Какой я был счастливец! Она смотрела на меня и смеялась тихо, тихо... «Эндель, ты слышишь, я смеюсь?» — «Да, Раичка, слышу... Что с тобою?..» — «Мне смешно, что мы здесь увидимся, что мы сумеем еще говорить»... Затем она спросила, что с тобою? Где Анатоль, где «земляк»?.. «Передай моей Надюшке мои приветы и поцелуи». Здесь она уходит. Через некоторое время опять подходит. Степа спрашивает: «Когда?» «Сегодня, после смены,— ответила она.— Действует ли калий?» — «Да, дорогая. Больше ничего не могу тебе дать!» Здесь я страшно волновался. Передать из рук в руки другу, которую так любишь, смерть, когда так хочется жить. Это ужасно... «Не волнуйся, Эндель»,— ответила она. Я молчал, а она говорила что-то. Наконец, она спрашивает, каким образом принять.— «Разотри в порошок. Можно немного воды».— «Хорошо, я возьму так». Она ушла ..

После смены стук в стенку,— я подошел. «Сейчас приму, Эндель, я без воды. Что парни?» — спрашивает она. «Кажется, уже».— «Прощай».— «Прощай, дорогая».— Я слышал шорох платья, звон кандалов. Затем тишина. «Раичка, приняла?» — «Уже, прощай».— «Прощай, дорогая...» — Несколько секунд была глубокая тишина. Затем она сильно задышала. Вздохи... Опять слабое дыхание... наконец, сильные вздохи... тишина. Тише,

человек умер... не стало дорогой Раички. Тише, человек умер, но жизнь идет своим чередом»... «Я говорил с нею, я слышал все, был с нею до последней минуты. Все это навсегда запечатлелось в моей душе... Нет Раи, говорите вы... неправда! Я говорю,— она есть и теперь со мною, со всеми нами, которые любили ее. Мы будем жить ею. Через некоторое время послышались стуки в стенку, но отвечать было незачем. То пришли тюремщики» [1].

Это письмо попало из тюрьмы на волю, ходило по рукам и, спустя полгода, было взято при обыске у некоего Кинсбургского. Оно послужило основанием для возбуждения против Хорна нового дела «о пособничестве самоубийству», которое разбиралось 10 сентября 1909 года киевским окружным судом. Почему оно было направлено в порядке общей подсудности, с присяжными и даже при открытых дверях,— сказать трудно. Если правительство рассчитывало показать обществу «чудовищ», которых военные суды келейно приговаривают к смертной казни, то расчет оказался ошибочным. «Медленно и страшно,— говорит автор судебного отчета,— приподнялась завеса над одним из ужасов жизни. Наступающие сумерки, сухое и отчетливое чтение письма среди мертвой тишины производило глубокое впечатление». В коротком последнем слове Хорн, признавая факт, отрицал вину. «Она приговорена была к смертной казни, приговор был утвержден, и я помог дорогому товарищу освободиться от нее. Я ничего безнравственного не совершил». Дальше он не мог говорить от волнения и сел... Присяжные удалились в совещательную комнату только на одну минуту. Приговор был *оправдательный*.

В значении его едва ли можно ошибиться. Присяжные — это люди из того самого общества, которое правительство защищает от экспроприаторских налетов посредством военных судов и смертных казней. Хорн — революционер, анархист, стоявший очень близко к экспроприаторским кругам... И тем не менее во всем эпизоде нет ни одной черты, которая бы говорила о «кровожад-

---

[1] Письмо это (с некоторыми сокращениями) я заимствую из судебного отчета, напечатанного в местной газете («Киевские вести», 11 сент. 1909 г., № 242).

ной свирепости» или «глубокой испорченности», невольно возникающих в воображении в связи с таким отвратительным явлением, как экспроприация, вдобавок еще частная. Для присяжных она осталась в тумане. Перед ними и перед обществом встал только образ интеллигентной девушки довольно распространенного в России типа, с знакомой издавна психологией прямолинейной готовности на борьбу и жертву. А обстановка этой смерти дала картину такого нечеловеческого страдания и атмосферу такого взаимного сочувствия, что присяжные, как мы видели, даже не колебались. Их приговор явился непосредственным откликом общественной совести Несомненно, что Хорн помог жертве правосудия ускользнуть от виселицы. Он содействовал самоубийству... Да, но для того, чтобы устранить казнь. И присяжные, люди среднего русского типа, сказали: *не виновен*. Не знаю, конечно, вспоминали ли они знаменательное признание гр. Витте относительно «отсталого строя». Можно думать, что и без гр. Витте у среднего русского человека, поставляющего контингент присяжных заседателей, есть представление о связи явлений, которая последнее время становится особенно ясной. И если даже в миазмах экспроприаторской эпидемии перед удивленным взглядом такого среднего русского обывателя встают черты душевной красоты и чувствуется психология самоотвержения,— то тут есть повод задуматься о причинах этого угара... Общественная совесть не мирится, конечно, с экспроприациями. Но она не может примириться и с прямолинейным решением трудного вопроса посредством не рассуждающей «упрощенной» процедуры, в конце которой — веревка и виселица...

Временная связь между экспроприациями и традициями политических партий, проявленная в бурном периоде движения, не могла удержаться долго. Она была вызвана неверной оценкой данного момента. По существу, как длительная тактика борьбы, она противна психологии революционных партий. Антагонизм проявился сразу, и с тех пор только усиливался. Случайные идейно-революционные элементы уходили из отравляющей душу полосы, экспроприация все больше приближалась к простому разбою, иногда в самых отвратительных и жестоких формах. Но для правительства и для вульгарной

«благонамеренности» вообще выгодно смешивать эти явления. Репрессии против *всех* оппозиционных партий оправдываются существованием экспроприаций. Борьба мнений, партийное самоопределение, партийные споры и сталкивающиеся внутри оппозиций программы — составляют в глазах всякого политически просвещенного правительства элемент *социальной рефлексии*, которая уже сама по себе ослабляет дикую страстность борьбы, обращая ее от непосредственных импульсов в сферу мысли, колебаний, сомнений, изучений. Свобода мнений выставляет самые крайние из них под свежие веяния критики. Наша власть продолжает считать своим успехом и признаком своей силы то обстоятельство, что ей удалось загнать работу оппозиционной мысли и воли в душные подполья, оставив на поверхности жизни одно только властное предписание, один только голос «организованного беспорядка» и стихийную анархию об руку с разбоем...

В этом правительство достигло значительных внешних успехов. Одного только оно устранить не в силах, это — общего, можно сказать, всенародного сознания, что *так дальше жить нельзя*. Сознание это властно царит над современной психологией. А так как самостоятельные попытки творческой мысли и деятельной борьбы общества за лучшее будущее всюду подавлены, то остается непоколебленным одно это голое отрицание. А это и есть психология анархии. Ни уважения к «отсталому строю», раз уже признавшему всенародно свою несостоятельность, ни самоуважения, как к членам организующегося по-новому общества... «Вы говорите о каких-то возможных еще приемах легальной или хоть не вполне легальной партийной борьбы. Где они? Вот. Только *эти люди* еще борются *при всяких условиях*. Итак, долой социальную рефлексию, долой всякую организацию, всякие положительные программы и принципы. Мы принимаем только ясное, простое, очевидное: неорганизованное, не связанное никакими ограничениями выступление анархической личности. Насилие индивидуальное — на насилие легализованное, тайное убийство — против казни по упрощенному суду или совсем без суда, грабеж — против разорения «административным порядком», личная кровавая месть — против истязаний в участковом застенке,



Защитники и обвиняемые по мултанскому делу.



«Сорочинская трагедия». *Худ. И. Шульга.*

партизанская анархия — против того, что цензор Никитенко назвал так метко «организованным беспорядком». Общий фон — глубочайшее презрение уже не только к одной стороне жизни, а ко всей жизни: к правительству, к обществу, к себе и к другим. Мы видели, как один из смертников прощался со всем этим краткой формулой: черт с ними.

Этому процессу нельзя отказать в последовательности. Он последователен, как любая болезнь в организме, пораженном маразмом застоя, как воспаление там, где есть невынутая заноза, как заражение крови...

Среди материалов, сообщенных нашим корреспондентом, есть одно письмо, поразительное по цельности и интенсивности стихийно анархистского настроения.

«Вы спрашиваете, к чему я стремился? И действительно,— к чему? Я не могу объяснить. Я не нахожу тех слов, которыми мог бы все это объяснить. Но я вижу и чувствую, что *не то в жизни, что должно бы быть* [1]. А как должно быть по-настоящему, я не знаю, или, пожалуй, знаю, но не умею рассказать. Когда я был на воле, то наблюдал, что *люди делают не то, что нужно делать*, а совсем другое. Несколько лет назад и я сделал не то, что нужно, а потом махнул рукой на всех и стал делать то, что хочу и что мне нравится».

Себя он характеризует с беспощадной откровенностью:

«Я страшный эгоист и любил только себя во всю свою жизнь. Я одно ясно сознавал: я живу, а раз живу, то для этого нужны деньги (!). Своих денег у меня не было, и я брал, где только они есть. Я не знаю,— быть может, это и худо, но я ни на кого не смотрел. Мне нет дела до людей, какого они мнения о моих поступках. Ты и сам знаешь, что я не буду подставлять свою жизнь, а скорее сам отниму. Я всегда старался угнетать слабых и брать у них все, что мне надо. Если бы понадобилась их жизнь, я отобрал бы ее, но в жизни других я не нуждался. Ты не думай, что под слабыми я разумею бедных людей. Нет. *У нас и богач слабое существо. Я на воле был сильнее богача, но теперь я слаб*, у меня отняли все, что я имел, *и мне остается умереть*».

---

[1] Курсивы всюду мои. *В. К.*

Правда, среди всего материала, которым я располагаю в настоящее время, это письмо является единственным по своему безнадежно мрачному, беспросветному цинизму. Другие только в большей или меньшей степени к нему примыкают. В них это настроение смягчается по большей части проблесками признания где-то существующей, но недоступной правды и глубокой, за душу хватающей печалью о погибающей жизни.

«Придется умереть,— пишет восемнадцатилетний юноша.— А как хочется жить, если бы ты понял! Страшная жажда жизни. Подумай: мне ведь только восемнадцать лет. *А как я прожил эти восемнадцать лет? Разве это была жизнь?* Это были сплошные страдания. Ведь у нас семейство семь душ. Работник почти один брат. Я еще какой работник! Обо мне и говорить нечего: много ли я мог заработать? *Плохо было жить. Так я жизни и не видел*».

«Жизнь прошла бледной, как в тумане,— пишет другой смертник.— Является чувство жалости к прожитому. Почему я был так темен и не знал другой жизни? Почему я не учился?.. Жалеешь, почему так поздно узнал то, что узнал теперь. Почему жизнь была так пуста? Что меня занимало? Какая-то ерунда, за которую теперь стыдно».

«Впрочем,— заканчивает он безнадежно,— успокаивает мысль, что рано или поздно, но не избежать бы мне этого. Если бы и выбрался я на волю, то пришлось бы жить нелегально. Это легко только тому, кто не испытал этого. Пришлось бы заниматься тем же. Значит, и опять явился бы кандидатом на виселицу».

«Все хорошее,— пишет третий,— заслонялось дурным, *и я видел только зло во всю свою хотя и короткую жизнь*. Видел, как другие мучаются, и сам с ними мучился. При таких обстоятельствах и при такой жизни *можно ли любить что-нибудь, хотя бы и хорошее?* Прежде я работал на заводе, и мне это нравилось. Потом я понял, что работаю на богача, и бросил работу. С вооруженного восстания стал грабить с такими же товарищами, как я».

«Да и стоит ли выходить на волю? — спрашивает четвертый.— Нашел ли бы я там людей, с которыми стоило бы жить? *Я знаю, что где-нибудь есть хорошие,*

честные люди, но я их не найду, а сойдусь с какими-нибудь негодями. Пожалуй, и не стоит выходить на волю и жить так, как я жил раньше. *Лучше уже умереть, чем сплошная мука»*.

Порой встречаются попытки реабилитации и оправдания экспроприаторской «деятельности». «Я напишу вам о том, что меня мучает в данную минуту,— пишет один из экспроприаторов-смертников политическому заключенному.— Я знаю, что большинство людей считают меня, как и других экспроприаторов, простым вором. Но я не для себя грабил, а помогал тому, у кого ничего не было. Об этом знают многие. Я делал это не от лица какой-нибудь партии, а от себя лично, и мне так обидно, когда обо мне говорят так. Когда я прежде сидел в общей камере с уголовными, то все говорили, что экспроприаторы грабят только для себя. Я спрашиваю вас: неужели те, которые сидят с вами в одной камере (речь, очевидно, идет о политических), думают так же, как уголовные? Я говорил прежде уголовным, что есть люди, которые берут не для себя, а для других. Лично о себе я ничего не говорил, но мне всегда было так горько при таких отзывах об экспроприаторах».

Но общий уровень экспроприаторской среды падает гораздо ниже и этих наивных попыток своеобразной идеологии. «Я грабил с такими же экспроприаторами, как и я,— печально признается еще один автор,— но и тут подлость: товарищ у товарища ворует. Я участвовал во многих грабежах, но редко проходило без подлости. Разве это не обидно? Ведь свой у своего берет? *А снаружи все хорошие люди. И как жить после этого?»*

Читатель, вероятно, заметил горькую, хотя, может быть, и несознательную иронию этих заключительных слов. О том, чтобы найти правду в обычных условиях общества, этот погибающий юноша уже и не говорит. Остались еще, по-видимому, немногие хорошие люди. Это экспроприаторы, которые одни дерзают активно восставать против торжествующей несправедливости. Но и они хороши только «снаружи», по своему, так сказать, «почетному званию». Как жить после того, когда даже среди них настоящей правды не оказывается!..

VIII

«ПРИГОВОР УТВЕРЖДЕН»

Этим исчерпывается автобиографический материал, доставленный самими смертниками нашему корреспонденту.

Эти интимнейшие, откровенные и совершенно бескорыстные признания-исповеди разными способами, но почти всегда неофициально пробирались из камеры смертников в другие тюремные камеры к людям, которые не имели ни малейшей возможности повлиять на участь приговоренных. В каждой строчке звучит поэтому одна предсмертная правда. Многие авторы писем откровенно говорят о том, что для них при данных условиях нет уже никакого исхода, и сомневаются, стоит ли им даже мечтать о жизни. И тем не менее,— только в одном (первом) письме можно, пожалуй, увидеть признаки настоящего цинизма и нераскаянности. Во всех остальных сквозит горькое раздумье и тоска по какой-то другой жизни, по какой-то трудно доступной правде. Можно ли, положа руку на сердце, сказать, что для тех, кто писал эти исповеди, не может быть места среди людей и что рука, утверждавшая эти приговоры, удаляла из жизни извергов, недоступных ни раскаянию, ни исправлению?

А ведь все это писано по большей части профессиональными экспроприаторами, дышавшими разъедающей атмосферой вульгарно-анархической психологии. Таково ли, однако, большинство жертв военной юстиции? Экспроприаторство — это эпидемия. Нередко она захватывает людей просто среднего типа, не думавших за месяц до преступления, что они могут в нем участвовать, и просыпающихся от закрутившего их вихря, точно после тяжелого сна. В газетах появлялись не раз письма смертников к родным, ярко выражавшие это пробуждение от кошмара, проникнутые страстным чувством раскаяния.

Вот несколько примеров.

Некто Карамышев служил в экономии Орлова-Давыдова, в Аткарском уезде, Саратовской губернии. Был обыкновенный служащий, нажил на службе увечье и должен был получить за это увечье деньги. Но в про-

межутке принял участие в нападении на купца, причем никому никаких ран причинено не было. Самый обыкновенный грабеж, окрашенный современным колоритом «экспроприаций». Тем не менее он был приговорен к смертной казни. Вот его предсмертное письмо к родителям: [1]

«Дорогие мои родители, папаша и мамаша, и сестрица Феня! Пишу я свое любезнейшее письмо к вам со слезами на глазах; извещаю я вас в том, что я присужден к смертной казни через повешение. То прошу, дорогие мои родители, простите меня и все мои преступления перед вами. Перед смертью я исповедывался и причастился, отклонить этого я не мог. Прощай, родной ты мой отец, прощай, родная моя мать, прощай, сестрица моя родная, прощайте все мои братья и любезные мои друзья; вы больше меня не увидите, до гроба будете вспоминать. Прошу, дорогие мои родители, отслужите панихиду по мне. Ах, как трудно такой смертью помирать. Сообщите брату моему Ване, что меня уже нет на свете. Дорогие мои папаша и мамаша! Когда писал это письмо, у меня сердце кровью обливалось, слезы катились с моих глаз и капали прямо на стол. Передайте моей жене, чтобы и она отслужила панихиду. Жена моя и братья мои навещали до самой смерти моей. Прошу еще, скажите моим дядям и теткам и также крестной и дедушке, что я уже помер. Передайте смертный мой поклон Федору, Петру, Василию, Мише и всем моим знакомым. Еще прошу, напишите в Баку тетке и брату Василию о том, что меня нет в живых. Папаша и мамаша, если вы получите деньги за увечье, то прошу вас сердечно построить на эти деньги хороший дом, и меня не забывайте. Папаша и мамаша! Не плачьте обо мне; так как у вас осталось еще четыре сына; довольно вам и этих, без меня обойдетесь. Ну, дорогие мои родители, прощайте же еще раз! Прощай, мое село родное, где я родился и провел свою молодость. Прощай, все общество мое. *Простите меня, злодея окаянного*. Бог, может быть, не оставит меня и простит грехи мои все.

---

[1] Напечатано в «Сарат. листке» (№ 262). Заимствую его из «Речи» № 2991; год, к сожалению, на моей вырезке не отмечен, кажется, 1908.

Письмо это я писал перед смертью, рука дрожала, сердце билось. Извините, что так плохо написал, тороплюсь. Прощайте, прощайте. Нет уже меня. Еще раз прощай, жена моя родная, милая моя. Прощайте. Некогда. Меня ждут. Любящий сын ваш Василий Максимов Карамышев».

Читатель видит, что здесь нет и намека на характерную психологию экспроприаторов-анархистов, нет также и тени какой бы то ни было оторванности от среды и ее отрицания. Эта расстающаяся с миром душа — душа крестьянина, крепко связанная с семьей, с обществом, со своим миром.

За экспроприацию в Балашовском уезде Саратовской губернии был приговорен к смертной казни Шуримов. Его отец, слепой старик, проживающий в Цимлянской станице (области Войска Донского) получил от него следующее письмо: [1]

«Здравствуй, дорогой папа! Шлю тебе свой последний прощальный привет и желаю много... много... счастья. Прости, дорогой, что я так долго тебе не писал. Ты подумаешь, что я вконец забыл тебя. О милый папа, не обвиняй меня так жестоко. Все это время нашей разлуки с тобой было сплошное мученье для меня. Я только тем и жил, что *думал, настанет время, когда я навсегда соединюсь с тобой, когда я буду в силах преклонить твою седую голову к себе на грудь и залечить душевные раны, что нанес твоему бедному, истерзанному сердцу*. Но это время не настало, мечты мои разлетелись, и осталась горькая действительность. Я с 29 мая 1908 года сижу в тюрьме. 23 января я был на суде и приговорен к смертной казни. Приговор послан на утверждение командующему войсками, но надежды мало, чтобы смерть заменили каторгой. Мне осталось жить дней тридцать. Если можешь, дорогой папа, то приезжай, тебя допустят увидеть меня. Теперь я сижу на имя Шуримова. Напиши письмо матери и скажи ей, что последняя моя просьба, чтобы она не покидала тебя и успокоила бы твою бедную голову. Поцелуй Пашу и Мишу. Всем родным поклон. Прощай, папа!»

---

[1] «Киевские вести» № 64, 6 марта 1909 г.

Как и ожидал присужденный, приговор был приведен в исполнение.

Еще более яркие, по покаянному настроению, письма написал восемнадцатилетний юноша, Евгений Маврофриди, приговоренный к смерти военно-окружным судом в Новочеркасске в декабре 1908 года.

«Здравствуйте, дорогая мамочка.

Я, по воле всевышнего, еще жив, но в будущем не знаю, что со мной будет, приведут ли в исполнение приговор или же нет, но я, дорогая мамочка, чувствую, что я живу последние дни, а может быть, даже и часы, вот уже десятые сутки ожидаю смерти и ночью не сплю и прислушиваюсь, как заяц, к каждому шороху, и как только проходит мимо какой-нибудь надзиратель, так мне все кажется, что это за мною, то есть мне кажется, что легче будет умирать на виселице, нежели ожидать вот так каждую минуту то, что откроется дверь и скажут: выходи! Но, дорогая мамочка, на все его святая воля, я надеюсь на него. Он сам страдал, но он страдал за наши грехи, то есть за грехи всего народа, а я страдаю за то, что не слушал вас, дорогая мамочка, и не молился ему, который умер за наши грехи. Да, дорогая мамочка, грешен я перед богом и перед вами. Каюсь, ну что, теперь, мне кажется, уже поздно, да, дорогая мамочка, слушался бы я вас, молился бы почаще богу, ничего бы подобного не было; а то я послушал совета товарищей и оставил службу в банке, не бросил бы я служить, не сидел бы я теперь и не ждал бы каждый час смерти, а ожидал бы, как каждый христианин, среди вас, дорогие мои, праздника рождества Христова, ну, на все воля всевышнего. Суждено мне умереть, я умру, если нет — значит, буду жить.

Дорогая мамочка. Смотрите лучше за Колей, вразумляйте его, пусть он молится богу за всех вас, а также пускай помолится за своего грешного брата, может, бог услышит его, а обо мне, дорогая мамочка, забудьте, я недостоин, чтобы из-за меня мучились люди, а тем паче вы, дорогая мамочка, а также Маруся, она вас слушалась, и училась, и молилась за своего грешного брата богу. Мамочка, смотрите за ними, то есть за Колей и Марусей. Скажите им, чтобы они вас слушали, *а не подруг и товарищей.*

Дорогая бабушка, я знаю, что я вам приношу много горя, так как я горячо вами любим, но вы, дорогая, не обижайтесь на меня, а помолитесь лучше за меня богу Да, дорогая бабушка, тяжело умирать в таких летах, как я, ведь мне только восемнадцать лет, и я должен умирать, ну, раз так хочет бог. то пусть так и будет. Если господь нас, то есть меня с вами со всеми, дорогие мои, разделяет здесь на земле, то он нас соединит там, где дорогой мой папа, да, бабушка? Я иду до папы. Вы успокойте мамочку, скажите ей, что у нее есть еще Коля и Маруся; я молю бога, чтобы она нашла в них себе утешение.

Ну, покамест до свидания, а может быть, прощайте, это бог знает. Целую вас всех крепко, поцелуйте за меня тетю Шуру, Колю, Марусю и всех остальных. Евгений Маврофриди».

В том же тоне написано и письмо к брату, тому самому Коле, о котором этот юноша несколько раз упоминает в предыдущих письмах. Он просит его не оставить мать и сестру: «у них одна надежда на тебя. Оправдай все это, береги их, выучи ты Марусю, чтобы из нее вышла порядочная барышня, а не какая-нибудь потаскуха.. Не оставляй службы, служи, терпи и боже тебя сохрани послушать совета товарища без совета матери.. Дорогой Коля. если мне придется умирать, то я оставлю свой крестик золотой на серебряной цепочке, ты его получишь в тюремной конторе и одень его и носи до конца своей жизни, я тебя прошу ради бога, это будет благословение твоего грешного брата».

В Таганрог, где жили родные Маврофриди, письма пришли с прокурорской пометкой: писаны они 18 декабря. Мы не знаем, что предпринимала несчастная мать, но приговор был утвержден, и 29 декабря 1908 года *восемнадцатилетний* Маврофриди казнен.

И сколько таких матерей. и сколько отцов, и братьев, и сестер. и бабушек получали в последние годы такие письма. Сколько тут еще косвенного, непоправимого и незабываемого страдания людей уже совершенно невинных. Слепой старик Шуримов, получивший в Цимлянской станице от своего сына цитированное выше письмо, захотел исполнить его просьбу и отправился в Саратов, чтобы получить прощальное свидание. В первой статье

я уже рассказывал об его «хождениях по этому делу». Чтобы добиться простой справки — жив ли еще его сын, или его уже казнили,— ему пришлось путешествовать из Саратова в Казань, и только по возвращении оттуда «справку», наконец, дали: сын уже повешен. Что теперь с этим слепым стариком? Жив ли он, или не выдержал тяжкого удара и последовал за сыном? Мы не знаем. Это знают, вероятно, в Цимлянской станице. «Были случаи,— говорит сотрудник «Нашей газеты», описавший мытарства Шуримова-отца,— покушения на самоубийство лиц, близких к казненным: люди не выдерживали ужаса *такой* потери. Во всех таких случаях общество, несомненно, казнит невинного вместе с виновным» [1].

А вот еще бытовая картинка в современном вкусе, которую господин А. П. нарисовал с натуры в газете «Речь». Автору случилось 3—4 января 1909 года ехать с вечерним поездом из Ставрополя Кавказского. Ехали, как обыкновенно ездят в вагонах третьего класса, и разговоры шли обычные. На первой остановке в то отделение, где помещался автор, вошел мужчина в опрятном костюме, который на Кавказе носит название «хохлацкого» и всегда выдает переселенцев из малорусских губерний. Ничего особенного на первый взгляд в этом переселенце никто из пассажиров не заметил. Фигура тоже бытовая, обычная, и ее тотчас же, по обыкновению, приобщили к обычному вагонному разговору: кто? откуда? куда? по какому делу? торговля? покупка или продажа хлеба, скота, яиц или масла?

Оказалось, что едет он в Таврию и дела у него не торговые... А какие?

— Да так... несчастие маленькое вышло...

Что ж. И это дело обычное. «Со всяким человеком случаются несчастия». «Без этого невозможно. Дело житейское».

— Болен кто-нибудь?..

— Никто и не болен... *Сына повесили.*

Всех поразил спокойный, по-видимому, тон этого ответа. Известие было неожиданное и не совсем обычное. К такому «бытовому явлению» даже наша российская

---

[1] «Наша газета» № 53, 5 марта 1909 г.

публика еще не совсем притерпелась, как к обычному предмету вагонного разговора... Кое-кто, может быть, сразу и не поверил. Но «спокойный» незнакомец вынул из кармана «документы», и господин А. П. прочитал их. Документов этих было два. Первый гласил:

«Здравствуйте, дорогие родители, дорогие папа и мама и дорогие братья и сестры. Я в настоящее время сижу в одиночке в последнюю минуту повели меня. Нас на казнь пять человек Котеля, Воскоб (ойникова), Лавренова и Киценка. Вы хорошо знаете кажется хто был я и умру не первый и не последний. Привели меня в темную так называемую одиночку так что я писать не вижу, ни буквы ни линеек, которые находятся на этой бумаге. Дорогие папочка и мамочка и дорогие братики и сестрички читай(те) это письмо, но прошу не плачьте и (не) тратьте своего здоровья и сил и так слабы прошу не плачьте. А гордитесь своим сыном я умираю гордо и смело смотрю смерт(и) в глаза я нисколько не боюсь ее я очень рад что кончено мое мученье меня судили 29 октября, а 22 ноября ночью приблизительно часов у 12 или в час я очень весел, этим я горжусь, что умер не трусом. Это последнее прощальное письмо. Целую вас папу, маму, васю, ваню, катю, маню, варю. Прощайте, прощайте Коля Котель».

Другой документ было письмо защитника в чисто деловом тоне.

«Милостивый государь. Сын ваш был осужден судом к смертной казни, *причем суд постановил ходатайствовать перед Каульбарсом* о замене смертной казни каторгой. Сегодня в тюрьме случайно узнал о том, что *Каульбарс не уважил просьбы*, и смертный приговор приведен вчера в исполнение. Присяжный поверенный В. Гальков».

Читатель легко представит себе «вагон III класса» после оглашения этих документов. Поезд несется по русской равнине, громыхая и лязгая цепями, светя в темноту ночи своими окнами. В одном вагоне III класса все притихло. Кто не спит, слушает чтение документов и (теперь уже не совсем спокойные) речи «переселенца» в хохлацком костюме.

— Лучше бы меня повесили,— так передает господин А. П. общее содержание этих речей,— чем его,

молодого, в расцвете сил. Добрый был. Ласковый. Никому зла не сделал. Ну, хоть бы в каторгу послали, все-таки был бы жив... Растили... радовались... Мать пропадает от горя, у меня точно сердце из груди вынули... Пусто...[1]

В публике слушают, качают головами. «Бытовое явление» повернулось необычной стороной: перед глазами этих людей уже не экспроприатор и не революционер, а отец, такой же, как и все эти отцы, у которых тоже есть дети. И они тоже разошлись по белому свету в учение, на заработки, на службу... Кто их знает? Из семьи тоже уходили добрые, любящие, ласковые. Писали письма: «Дорогая мамочка и папочка. Посылаю я вам с любовью низкий поклон...» И вдруг вот так же внезапно напишут: «Сижу в одиночке. Через полчаса повесят». А защитник прибавит: «Суд ходатайствовал, но Каульбарс не уважил». И мать станет пропадать от горя, у отца вынут сердце. За что? Они ли виноваты, что всюду *вне их семьи* свирепствует эпидемия «волнений и расстройств», вызванная, между прочим, и тем, что современный строй уже «не удовлетворяет стремлениям общества к правовому порядку...» Почему же за это так тяжко приходится расплачиваться матерям и отцам? Разве «отстала» одна только семья, а не государство?..

И почему генерал Каульбарс казнил Колю Котеля, когда даже суд перед ним ходатайствовал о смягчении его участи? Кто этот генерал, такой строгий и непреклонный? Кто-нибудь даже и в вагоне III класса, пожалуй, знает кое-что про этого доблестного генерала. О нем много писали и продолжают писать. Например, генерал-адъютант А. Н. Куропаткин, останавливаясь на причинах наших неудач в минувшую войну, говорит: «Указать хоть на то, что командующий второй армией *генерал Каульбарс* не исполнил приказаний главнокомандующего, чем *много способствовал японцам в обходном движении.* Получив войска и приказание наступать, *он отступал;* вместо того чтобы идти вправо, шел влево и т. п. ...Военный совет нашел дей-

[1] «Речь».— Заимствовано «Нашей газетой» 28 марта 1909 г., «Киевск. вестями» 2 апр. 1909, и др.

ствия генерала Каульбарса неправильными, установил факты неисполнения приказаний главнокомандующего и решил предать генерала Каульбарса... *военному суду. Суд, по высочайшей милости, не состоялся»* [1].

Неужели это тот самый?.. Да, тот самый. Он пощадил японцев от своей грозной атаки и даже «много способствовал неприятельскому обходному движению». Почему же теперь он так беспощаден к «Коле Котелю», его отцу и матери? Самому ему грозил военный суд. Он избег его только *благодаря милости*... Почему же теперь сам он так немилостив, что отверг даже ходатайство суда?..

А русский поезд все дальше мчится русскою степью, унося с собой этот клочок ужасной русской современности «послеконституционного периода»... И на каждой маленькой станции кусочек «бытового явления» отщепляется от громыхающего поезда, и какой-нибудь из слушателей «спокойного рассказа» пробирается проселком в село, или в деревню, или в городское предместье, в крестьянскую лачугу, или в рабочую казарму. Что он несет туда? Какие впечатления, какие чувства, какие мысли? Уважение к силе власти? Страх перед нею?.. Перед генералом Каульбарсом, тем самым, который... Или, может быть, щемящее сочувствие к горю отца и матери, к сотням и даже тысячам отцов и матерей, постигаемых этой доблестной генеральской беспощадностью? Или, чего доброго, сочувствие к неведомому юноше, написавшему перед смертью:

«Умру не первый и не последний. Не плачьте, а гордитесь своим сыном. Умираю гордо, смело гляжу в глаза смерти...»

Трудно угадать, кто и что именно вынес с собой из этого вагона и от этого рассказа. Трудно точными словами передать чувства и мысли безгласной страны, которая, говорят, уже успокоилась, но в которой под конституционные речи все еще не хочет успокоиться виселица... Ведь и этот случайно встреченный господином А. П. пассажир в костюме кавказского переселенца *казался* тоже спокойным. Но все-таки он хранит на гру-

---

[1] «Петербургская газета», заимствовано «Речью» (7 дек. 1909 г., № 336) и почти всеми остальными русскими газетами.

ди свои «документы» и готов предъявить их по первому запросу...

Когда, при каких обстоятельствах, в какую инстанцию он их предъявит?.. Кто знает. Будущее темно. Русский поезд мчится в темноте дальше и дальше по старым, износившимся рельсам...

IX

КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ?

Прежде, еще не так давно, это делалось иначе, чем теперь. До последнего времени, до периода «обновления», казнь была явлением исключительным, необычным. Она волновала, потрясала, пугала человеческую совесть. В ней чувствовался ужас, над ней витала мрачная, почти мистическая торжественность.

Можно было бы привести много примеров. Мы удовольствуемся одним. В благонамеренном «Историческом вестнике» (за апрель 1909 года) были помещены воспоминания господина Георгия Черенкова, рисующие картину казни пяти солдат дисциплинарного баталиона. Всем более или менее известно, что такое дисциплинарные баталионы. Они были ужасны в «николаевские времена», быть может, еще ужаснее теперь. Доведенные до отчаяния преследованиями унтер-офицеров, эти пятеро солдат их убили. Военный суд приговорил их к казни. Автор описывает, как очевидец, самую картину казни, и мы приводим это описание in extenso[1].

Ночь перед экзекуцией остальные штрафные солдаты провели без сна. Еще с вечера, когда всех заперли на ночной отдых, в окна, выходившие на плац, были заметны какие-то приготовления. Бегали люди с заступами и фонарями... Все поняли, что они делают...

Еще не рассеялся предрассветный мрак, как на плац стали выводить войска. Их расставили в несколько рядов вокруг плаца по стенам ограды. Вслед за ними вывели из казарм и штрафных и расположили покоем. У открытой стороны этого покоя, впереди, шагов на двадцать, стояли в одну линию пять столбов. Появилось начальство — сначала свое, потом приезжее — губерн-

---

[1] Полностью (*лат.*).

ский воинский начальник, военный прокурор и еще кто-то. Кругом царила тишина раннего утра.

Но вот раздался шум многих шагов и странный звон железа. Слева в распахнувшиеся ворота ограды вышла масса людей, двигавшаяся сконцентрированным кольцом. В середине этого кольца виднелось несколько закованных фигур. Впереди, с крестом в руках, шел батальонный священник Иаков Стефановский. Он шел быстро, почти бежал, боязливо озираясь назад, как бы стараясь уйти от того страшного, что гремело назади.

В воздухе пронеслась команда:

— К эк-зе-куции!

Загремели барабаны. Двухтысячная толпа вздрогнула. Сердца забились. Каждый слышал удары сердца своего соседа.

От группы властей отделился военный прокурор с бумагой в руках. Нервным шагом он вышел на середину и стал лицом к осужденным. Бой барабанов умолк.

«По указу его императорского величества»,— громко и торжественно начал прокурор, а затем продолжал чтение, закрыв бумагой свое лицо от осужденных.

— На-пут-ствие! Расковать! — крикнул командовавший *смертным парадом* Масалитинов.

К осужденным подбежали кадровые и разомкнули ручные оковы. Появился кузнец с наковальней и молотом. Нетвердой рукой медленно он разбивал ножные железа. Потом подошел трепещущий священник и начал предсмертное напутствие.

А сзади, у столбов, уже мелькали, развертываясь, белые саваны... Вправо в стене ограды тихо открылись черные ворота, выходившие в степь, в сторону кладбища, и в них въезжали, громыхая, дроги с огромным черным ящиком.

— Проститься! — крикнул командующий «смертным парадом».

Чурин (один из осужденных) встрепенулся. Он повернулся на север и, простирая руки в пространство, крикнул:

— Прости, север!

И, соответственно поворачиваясь, продолжал:

— Прости, юг! Прости, восток! Прости, запад!

Тем временем другие осужденные что-то невнятно го-

ворили к народу. Повернулся к толпе и Чурин. Не опуская рук, он закричал своим могучим голосом:

— Простите, братцы! За вас погибаем!

Раздался страшный крик:

— Эк-зе-куция!

Грохот десятка барабанов заполнил воздух, землю и небо.

Мы не выписываем дальнейшей процедуры вплоть до того момента, когда загремел залп, после которого три фигуры у столбов упали. Две продолжали шевелиться. Оказалось, что двое приговоренных помилованы и их заставили только психологически пережить ужасный момент казни. «К ним подходил, весь в слезах, доктор... Все облегченно вздохнули».

Это было в половине восьмидесятых годов. Россия, в которой казнь давно якобы отменена законом, в это время пережила все-таки немало казней, даже над женщинами. Но *бытовым явлением* казнь еще все-таки не была. Она совершалась всенародно и носила характер мрачного «смертного парада». Момент расставания с жизнью, хотя бы и преступников, признавался еще чем-то торжественным и священным. Чурин на глазах тысячной толпы прощается с севером и югом, западом и востоком, прощается с товарищами, за которых отдал свою жизнь. Священник дрожит, прокурор закрывает лицо бумагой, в «страшном крике» командующего чувствуется содрогание человеческого сердца, доктор подходит к столбам весь в слезах. Над всем витает сознание торжественности, живое ощущение ужаса и ответственности.

В наши времена казнь вульгаризировалась. С нее сорваны все торжественные покровы. Да и могли ли они уцелеть, когда суды выносят сразу по тридцать смертных приговоров, когда казнь назначается «за нападение, сопровождавшееся только похищением четырех рублей, пары башмаков и колец», как это было совсем недавно в Севастополе [1], или за «ограбление пятнадцати рублей без всяких убийств или даже поранений», как это случилось в прошлом году в Уфе [2].

---

[1] «Р. вед.» № 55, 9 марта 1910 г.

[2] «Киевские вести», 27 июня 1909 г., № 169.

Таких примеров можно бы привести десятки. По мере того как «бытовое явление» ширится, сознание исполнителей тупеет. Казнь становится вместо «смертного парада» простым и будничным делом. Людей начинают вешать походя, кое-как, без ритуала, даже просто без достаточных приготовлений. 13—14 декабря 1908 года в городе Уральске по приговору военно-полевого суда совершена казнь над Лапиным, обвиненным в убийстве генерала Хорошкина. Палач, нанятый для этого случая за пятьдесят рублей, был в маске. Заплатили ему довольно дешево, вероятно потому, что это был еще новичок в своем деле. *Приготовленная веревка оказалась негодной;* послали за другой, принесли опять чересчур толстую. Пришлось разыскивать третью (где? может быть, бегали по смотрительским чердакам?). *Все это происходило в присутствии осужденного.* Неопытность дешевого палача вынудила осужденного помогать ему прилаживать петлю и оттолкнуть скамейку... Во все время этой затянувшейся процедуры осужденный утверждал, что в убийстве Хорошкина он не виновен [1].

В одной из южных губерний товарищ прокурора подал характерный протест: явившись для присутствия при казни приговоренного к виселице, он застал другую процедуру: за неимением палача обвиненного расстреляли [2], находя, очевидно, что «не все ли равно». Был бы человек убит, а как именно — это в значительной степени предоставляется усмотрению и инициативе исполнителей. 26 ноября 1908 года в газете «Новая Русь» была напечатана телеграмма: «Сегодня на рассвете во дворе четвертой части по приговору военного суда повешены: Аристофиди, *Котель*, Воскобойников, Лавронов и Киценко. Во время казни веревка оборвалась. Котель упал на землю, испустив страшный крик. Палач, желая прекратить этот крик, *наступил ему на горло ногой.* Издевательства палача над Котелем и другими осужденными прекращены товарищем прокурора [3].

Если знакомый уже нам «кавказский переселенец», которого господин А. П. встретил в ставропольском

---

[1] «Речь», «Киевские вести», янв. 1909 г.
[2] «Новая Русь», 14 дек. 1908 г., № 121.
[3] «Новая Русь», 26 ноября 1908 г., № 103.

поезде, читал эту телеграмму, то, наверное, он присоединил ее к тем «документам», которые он носит с собой на груди. Потому что этот Котель — тот самый «Коля», его сын, письмо которого он показывал пассажирам, тот самый, о смягчении участи которого суд ходатайствовал перед непреклонным генералом Каульбарсом. Вот как она была «смягчена» в действительности...

Впрочем, пусть это только «исключение». Не всегда нанимаются неопытные палачи «подешевле», не каждый раз обрываются веревки, не при каждой казни осужденному приходится ждать, пока новую веревку разыскивают по чердакам, и не каждую жертву вместо одного раза казнят двойными казнями... «Опытных» палачей, имевших много практики, становится теперь все больше. Не во всякой также тюрьме происходят и те ужасающие зверства над казнимыми, которые такими потрясающими чертами обрисованы бывшим депутатом Ломтатидзе в его письме, адресованном в социал-демократическую фракцию третьей Думы. Я избавлю читателя от нового воспроизведения этой картины, которая предназначалась для думского запроса и обошла в прошлом году все газеты... Обратимся от исключений к общему правилу и посмотрим, как это делается *обычно*, в средней, бытовой обстановке.

Совсем недавно к депутату Гегечкори обратился Рудольф Глазко, томящийся в рижской тюрьме уже *несколько лет* без суда и следствия. Он умоляет добиться для него суда, который так или иначе должен прекратить его физические и нравственные истязания. Как и Ломтатидзе, самыми тяжкими из них он считает соседство «смертников». Посадили,— пишет он,— в одиночную, рядом с камерой «смертников». По ночам не спал. В стенку торопливо стучат «смертники»... В ранние утренние часы по коридору раздается звяканье шпор, шорох... душу раздирающий крик: «Прощайте, товарищи!..» На дворе погашают фонари. Смертных ведут на казнь» [1].

Эта картина, данная в самых широких и общих чертах, составляет фон, на котором другие доступные нам источники выводят «бытовые» узоры. Мне лично бы-

[1] Цитирую по «Вятской речи», 8 марта 1910, № 52.

ла доставлена следующая копия с письма заключенного к сестре или невесте, в котором описываются впечатления тюремного населения (то есть, сотен людей!!) во время казней.

«Дорогая NN... Не знаю, дойдет ли до тебя это письмо. Не знаю потому, что посылаю его не обычным путем, да еще и без марки... Опишу тебе подробно казнь четырех наших товарищей в ночь с 5 на 6 ноября. Вечером, 5-го, к нам в камеру заходил начальник тюрьмы и уверял нас в том, что приговоренные к смертной казни наши товарищи помилованы. Мы начальнику почти поверили, тем более потому, что перед этим приговоренные подавали прошение на имя главнокомандующего московским военным округом, и очень могло быть, что главнокомандующий заменил им смертную казнь бессрочной каторгой. На деле оказалось, что это со стороны начальника было хитрой уловкой. Он знал, конечно, что в эту ночь должна была произойти казнь, старался нас успокоить. Осужденные тоже ничего не знали до того момента, когда их начали вешать, так что не могли даже проститься со своими родными. Но некоторые из нас не поверили начальнику и решили ночь не спать. Я заснул часов в двенадцать ночи, и ничего не было заметно. Часа в три ночи просыпаюсь и слышу крики: «Повели!» Бужу всех товарищей и подбегаю к «волчку». Вижу, что в коридоре стоят солдаты (обыкновенно их не бывает). Потом послышался лязг кандалов и шарканье многих ног по асфальтовому полу коридора. Через несколько времени мимо «волчка» промелькнули фигуры солдат. Среди них шли четверо осужденных. Осужденные шли в одних рубахах, без верхнего теплого платья. Их взяли прямо с постелей, не дав одеться в теплое платье. Лязг кандалов, шарканье ног по полу, сдержанный шепот надзирателей — все это покрывали громкие рыдания. Плакал один из приговоренных, Сурков, молодой парень, лет двадцати. Осужденных вывели на двор и расковали там, а потом повели к месту, где они должны быть повешены. На дворе была морозная ночь. Дул холодный ветер. Вокруг всех стен с внутренней стороны были расставлены солдаты, а с наружной казаки. Место для вешания выбрали такое, что оно не видно было из окон камер. Висе-

лицы не было никакой, роль ее исполняла *простая пожарная лестница*, приставленная к стене тюрьмы. Осужденных привели, поставили, прочли им приговор и предложили им причаститься и исповедаться. Двое отказались, а двое причащались. Сурков продолжал рыдать; другие трое его успокаивали, как могли. Один из осужденных, Ножин, несмотря на свой возраст (семнадцать лет), держался замечательно спокойно. Ну-с, потом начали вешать. Вешали по одному, а другие осужденные должны были ждать, пока тот совсем окоченеет. Говорят, что палачами были двое надзирателей из нашей тюрьмы. Для того чтобы их не узнали, им надели маски. Впрочем, наверное еще неизвестно, кто был палачами...»

«...Нам не видно было, как происходила казнь, и потому мы, от нечего делать, костили офицеров, которые стояли с солдатами вокруг стены... Одного из товарищей пришлось стаскивать с окна, потому что офицер уже направил на него револьвер. По окончании казни повешенных свалили на телегу и увезли из тюрьмы. Казнь сильно подействовала на товарищей. Раздался из одной камеры похоронный марш, и через некоторое время все пели. Мы не сговаривались, а вышло это так как-то само собой. Когда началось пение, влетел начальник и потребовал, чтобы мы прекратили пение, грозился облить водой, перестрелять... Когда он ушел, пение все-таки продолжалось. Повешенных всех четыре. Из них Шишаков двадцати шести лет, Сурков девятнадцати или двадцати, Ножин семнадцати [1], Трущелев двадцати девяти лет».

Я заменил в этом описании многоточиями ужасающие подробности, которых автор сам не видел и которые могли бы и эту «бытовую» картину превратить в одно из отвратительнейших исключений. Действительность теперь часто становится неправдоподобнее са-

---

[1] В заседании Госуд. думы 19 июля 1906 года министр юстиции г. Щегловитов говорил: «В уложении 1903 года, *которое с 17 июня 1904 г. составляет закон...* обращает на себя внимание установленная замена *для всех несовершеннолетних* смертной казни другими наказаниями» (см. стенографич. отчеты). А 19 июня 1909 года русские газеты отмечали пятьдесят пятую годовщину указа императора Николая I об отмене смертной казни в России.

мого кошмарного вымысла. Но мне кажется, что настоящий ужас все-таки не в этих примерах крайнего одичания исполнителей. Он не в исключениях, а в общем правиле, в средних условиях, окружающих ужасное дело. Тот самый корреспондент, который из-за стен тюрьмы доставил мне большую часть фактического материала этой статьи, пишет о последнем акте «смертнической трагедии». Опять та же знакомая картина, с ничтожными вариациями: «...Гремят замки, слышится лязг засовов, и через несколько минут по коридорам несутся уже прощальные крики. Это «смертные» шлют свой прощальный привет другим «смертным». Их ведут по-двое или по-трое мимо камер, битком набитых уголовными, грязных, смрадных и безмолвных. Никто в это время не должен подниматься с постели и никто не должен подходить к «волчку». Заключенный, замеченный в нарушении этих требований, *а тем более крикнувший этим осужденным последнее «прости», наказывается продолжительным темным, страшно холодным карцером.* Осужденных проводят в контору, и толпа надзирателей нередко возвращается обратно, за новыми жертвами. Обыкновенно в одну ночь не вешают более шести человек. В конторе прокурорская власть читает им приговор о казни через повешение и *берут с них подписку в прочтении бумаги (!!).* После этого священник предлагает свои услуги осужденным. Затем они пишут свои последние письма и идут к месту казни на тюремном дворе».

«Мы не будем описывать самого процесса казни»,— говорит наш автор и в заключение приводит следующее замечательное письмо «очевидца», каждое слово которого есть непосредственное впечатление и от каждого слова веет эпической правдивостью и глубокою, спокойною печалью:

«Я спал очень крепко. Но при первых криках, несущихся откуда-то издалека, я проснулся и, еще не сознавая отчетливо, что значат эти крики, как-то сразу понял, что опять началось то ужасное, что тяжелым кошмаром висело над нами уже несколько ночей. Каждый вечер мы ожидали наступления этого ужасного, и когда оно началось, то всем нам показалось невероятным, что безумное дело готово свершиться у всех перед

глазами. Но крики, ужасные, рыдающие крики неслись в звонкой тишине, и у меня вдруг появилась сумасшедшая уверенность, что кричат *они*, уже сгибшие в прошлый раз, что каждую ночь будут проходить они по гулкому коридору, приходить и кричать нам и всем тем, кто спит спокойно там, в холодном, равнодушном городе, за тюремными стенами, о наступившем ужасе.

За дверью камеры слышался топот ног, смутный говор, непонятная возня, и вдруг чей-то резкий надтреснутый голос отчетливо крикнул: «Дай ему! Дай ему! Что орет!» И затем крики смолкли, и где-то внизу стукнула дверь. Я подбежал к окну. В камерах зимние рамы еще не вставлены, и замерзшие окна мертвенно смотрят в нашу камеру. Но кусочек стекла у самого подоконника остался незамерзшим, и я по-прежнему припал к подоконнику и стал смотреть на освещенный двор. Еще раз стукнула где-то дверь, и наступила жуткая мертвая тишина. Она казалась бесконечной, и я уже готов был подумать, что они прошли где-то другими дверями на роковой дворик, но на освещенном электрической лампочкой дворе сразу появилась густая толпа. Она быстро пошла к калитке, и, странно размахивая руками, среди одетых в черное надзирателей быстро шел по двору одетый в арестантскую куртку «смертный». Отчетливо неслись по двору из толпы опять два голоса — один сильный и звонкий, другой глухой и слабый, и, сливаясь и перебивая друг друга, в морозном воздухе повисли одни и те же слова: «Товарищи, прощайте! Прощайте, товарищи!» Калитка открылась, «смертные» вошли туда, толпа надзирателей стала таять, двор опустел, и только три черные фигуры, странно качнувшись, быстро бросились обратно в главный корпус. Кончилось или нет? Я подошел к «волчку» и стал слушать. Попрежнему из всех камер несся глухой, сдержанный говор и кашель простуженных людей...

На площадке, мимо которой проводят «смертных», слышались голоса возвратившихся от калитки надзирателей. В камеру доносились обрывки фраз, отдельные слова, но по ним можно было догадаться, что речь идет о только что совершившемся. «И чего только канителиться? — заговорил кто-то несколько громче.— Два человека. Уж сразу бы всех». Голос смолк, и кто-то дру-

гой заговорил пониженным голосом, а потом заговорили оба сразу, взволнованно, сопровождая каждое слово грубой, циничной бранью: «Возьми, говорит, зажми ему рот, а не понимает, что он палец откусит».— «Нет, чудно,— заговорил опять первый голос,— первый идет резво, а второй-то, второй-то... Умора! Как котенок слепой... Суется туда-сюда... Уж лучше бы накинуть ему на шею петлю... А то как есть слепой котенок...»

И, должно быть, говорившему сравнение показалось удачным. Он повторил его еще раз, а потом засмеялся. И было столько бессмыслицы и непонятной жестокости в этом смехе, что у меня сразу поднялась в сердце острая боль, и я уже не мог больше слушать и отошел от «волчка»... «Нужно сходить спросить,— послышался опять голос,— пусть разрешат: пора и спать». Мы поняли, что все кончилось. Кончилось только на этот раз. Кончилось затем, чтобы в одну из следующих ночей тюремный коридор вновь огласился криками. И когда подумаешь, что впереди предстоит еще много (таких) ночей, то становится непонятным, как это там, в этом холодном, равнодушном городе, люди, считающие себя умными и заслуживающими уважения, продолжают спокойно спать и позорно молчать!..»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В 1853 году на острове Гернси в Ламанше человек по имени Джон-Шарль Тапнер явился ночью к женщине и убил ее. Затем он ее ограбил и поджег дом. Расследование этого дела бросило ужасный свет на несколько других преступлений, в которых можно было подозревать ту же руку.

Тапнера судили. «Его судили с беспристрастием,— писал по этому поводу Виктор Гюго, живший на этом острове в качестве политического изгнанника,— судили с добросовестностью, которая делает честь свободному и беспристрастному суду. Тринадцать заседаний были посвящены рассмотрению факта. Третьего января 1854 года решение состоялось единогласно, и в девять часов вечера, в публичном и торжественном засе-

дании, председатель суда, судья Гернси, объявил подсудимому разбитым и прерывающимся, дрожащим от волнения голосом, что «так как закон наказывает убийцу смертью, то он, Джон-Шарль Тапнер, должен приготовиться к смерти, что он будет повешен 27 января на месте своего преступления. Там, где он убил, он будет убит».

Виктор Гюго обратился к жителям острова с письмом, в котором, нисколько не смягчая отвратительного преступления Тапнера, предостерегал их против преступления общественного. «В эту минуту,— писал он,— среди вас, жителей этого архипелага, находится человек, который в этом будущем, неведомом для всех людей, ясно различает свой последний час... Когда все мы дышим свободно, говорим и улыбаемся,— в нескольких шагах от нас в тюрьме находится дрожащий человек, который живет со взором, устремленным на один день этого месяца, на день 27 января, на этот призрак, который все приближается к нему. Этот день, для нас всех скрытный, как и все другие, перед ним уже обнаруживает свое лицо... мрачное лицо смерти».

Он убийца... Да... «Но,— продолжает Гюго,— какое мне дело до этого? Для меня, для всех нас этот убийца более не убийца, этот поджигатель более не поджигатель. Это дрожащее существо, и я хочу его защитить. Жители Гернси! Не дайте виселице бросить тень на ваш чудный остров... Не примите на себя страшной ответственности захвата божественного права человеческим правом. Кто знает? Кто проник в загадку? Есть бездны в человеческих поступках, как есть бездны в волнах. Вспомните о днях бурь, о зимних ночах, о темных и разъяренных силах природы, которые овладевают вами в иные минуты... Не допустите, чтобы в ваши паруса дул ветер с могил. Не забывайте, мореплаватели, не забывайте, рыбаки, не забывайте, матросы, что только одна доска отделяет вас самих от вечности... что и вы всегда находитесь лицом к лицу с бесконечным, с неведомым. Разве вы не будете думать с содроганием, что ветер, который будет свистеть в ваших снастях, встретил на своем пути эту веревку и этот труп?.. Ваши свободные учреждения отдают в ваше распоряжение все средства для того, чтобы выполнить этот священный,

этот религиозный подвиг. Соберитесь законным порядком. Взволнуйте общественное мнение и совесть... Жены должны убеждать мужей, дети должны умолять отцов, мужчины должны составлять прошения и петиции. Обратитесь к вашим правителям и судьям. Требуйте отсрочки, требуйте смягчения правосудия. Спешите, не теряйте ни одного дня».

Это было пятьдесят шесть лет назад, по поводу предстоящей казни *одного* человека, после судебного разбирательства, длившегося тринадцать дней, со всеми гарантиями защиты и при полнейшей очевидности факта. Сердца моряков и матросов откликнулись на благородный призыв французского изгнанника, и остров рыбаков закипел петициями, собраниями и протестами против казни...

Что сказал бы теперь великий поэт и гуманист, если бы дожил до нашего русского «обновления» и увидел целую страну, где не один человек, а *сотни и тысячи* «живут со взглядами, устремленными на свой последний день, в то время как другие дышат свободно, разговаривают, смеются...» Где чуть не каждую ночь в течение нескольких уже лет происходят казни... Где предутренний ветер то и дело встречает на своем пути виселицы, веревки, качающиеся трупы и несет на поля, на деревни, на города «святой Руси» последние стоны и хрипы казнимых. Где в вагонах отцы рассказывают «спокойно» о гибели сыновей, почти мальчиков, и о непреклонности генералов Каульбарсов. Где самая казнь потеряла уже характер мрачного торжества смерти и превратилась в «бытовое явление», в прозаические деловые будни. Где не хватает виселиц, и людей вешают походя, ускоренным и упрощенным порядком, без формальностей, на пожарных лестницах, при помощи первых попадающихся под руку обрывающихся, гнилых веревок... И потом так же наскоро зарывают трупы, торопливо, с цинической небрежностью, точно в самом деле во время повальной моровой язвы...

В июне прошлого года в газетах мелькнуло коротенькое известие, не обратившее на себя особенного внимания. В Екатеринославе на окраине города начали строить казармы. Едва землекопы принялись рыть фундамент, как тут же наткнулись на трупы казненных. Уз-

нать их было нетрудно: трупы лежали в земле в кандалах [1].

Встает старая легенда, оживает мрачное суеверие седой старины, когда «для прочности» фундаменты зданий закладывались на трупах... Не достаточно ли, не слишком ли много трупов положено уже в основание «обновляющейся» России? «Кто знает, кто проник в загадку?» — скажем мы вместе с великим французским поэтом. Есть бездны в общественных движениях, как есть они в океане. Русское государство стояло уже раз перед грозным шквалом, поднявшимся так неожиданно в стране, прославленной вековечным смирением. Его удалось заворожить обещаниями, но «кто знает, кто проник в загадку» приливов и отливов таинственного человеческого океана. Кто поручится, что вал не поднимется опять, так же неожиданно и еще более грозно? Нужно ли, чтобы в своем возвратном течении он принес и швырнул среди стихийного грохота эти тысячи трупов, задавленных в период «успокоения»?.. Чтобы к историческим счетам прибавились еще слезы, стоны и крики мести отцов, матерей, сестер и братьев, продолжающих накоплять в «годы успокоения» свои страшные иски?

Нужно ли?

На этом я пока заканчиваю эти очерки «бытового явления». «Продолжение» несет с собою каждый наступающий день, каждая «хроника» нового газетного листа, каждый новый приговор упрощенного военно-судного механизма. Мы не можем, подобно великому французскому писателю, сказать: «Наши свободные учреждения предоставляют все средства для борьбы в пределах закона» с этим обыденным ужасом. Мы не можем «собираться в законном порядке», не можем на этих собраниях «волновать общественное мнение и совесть», облекать это мнение в формы «петиций для обращения к правителям и судьям». Тем важнее, скажу даже — тем священнее обязанность печати хоть напоминать о том, что ужас продолжается в нашей жизни,

---

[1] «Киевские вести», 27 июня 1909 г., № 169.

чтобы не дать ему превратиться окончательно в будничное, обыденное, бытовое явление, своего рода привычку, перестающую шевелить общественное сознание и совесть.

В заключение считаю своею обязанностью принести искреннюю благодарность человеку, который в самом центре этого ужаса, в соседстве со смертниками имел мужество собирать, черта за чертой, этот ужасный материал и помог ему проникнуть за пределы тюремных стен и роковых «задних дворов».

Читать это тяжело. Писать, поверьте, еще во много раз тяжелее... Но ведь это, читатели, приходится переживать сотням людей и тысячам их близких.

Март — апрель 1910 г.

Черты военного правосудия

I

ВМЕСТО ВСТУПЛЕНИЯ. ДЕЛО ЮСУПОВА.

Мне пришлось однажды близко взглянуть на военное правосудие по следующему случаю.

В ноябре 1898 года в Грозненском округе тремя чеченцами было произведено нападение на хутор некоего Денишенка. Самого хозяина дома не было. Разбойники захватили разные вещи, в том числе голову сахару. Шум на хуторе привлек несколько соседей, и разбойники, сделав по ним четыре выстрела, скрылись. Дело произошло вечером; разглядеть лица было трудно, но семейные Денишенка показали, что один из разбойников как будто похож на чеченца Юсупова, года за два перед тем жившего у Денишенка в работниках. В данное время Юсупов жил неподалеку, на своем собственном хозяйстве. Денишенко показал, кроме того, что вместе с сахаром у него была припрятана сторублевая бумажка, которую тоже похитили нападавшие.

Юсупов и предстал перед военными судьями в Грозном 2 апреля 1899 года.

Никто из семьи Денишенка на суд не явился. Оказалось, что они переселились в Закаспийскую область, и причина неявки была, значит, законная. Но с нею исчезали единственные свидетели обвинения. *Все осталь-*

ные показали в пользу Юсупова. Среди последних были, между прочим, свидетели русские, которые явились на защиту Денишенков прямо от Юсупова. Они были у него в гостях, и, по их словам, *он сам послал их на хутор Денишенков,* откуда слышался шум. Они тоже видели разбойника, несколько похожего в темноте на Юсупова. Семейные Денишенка сначала говорили очень нерешительно о кажущемся сходстве. Только по возвращении главы семьи их показания приобрели полную определенность. Другие свидетели объясняли это тем, что Денишенко рассчитывал взыскать с Юсупова свои убытки, а показание о ста рублях они считали корыстной выдумкой. Уже после ареста Юсупова, чеченец, похожий на него фигурой, произвел несколько нападений на дорогах. Свидетель Бугленко, один из защищавших Денишенков, впоследствии сам был ограблен этим разбойником. Денишенко, по мнению этого свидетеля, ускорил свое переселение, опасаясь последствий ложного показания.

В таком виде предстало это дело перед господами военными судьями в городе Грозном. Заседание было гласное, и публика (как и сам подсудимый) совершенно спокойно ждала оправдательного приговора. Другого по обстоятельствам дела, ждать было невозможно.

Вышел суд. Юсупова приговорили *к смертной казни.*

Изумительный вердикт поразил всех присутствовавших негодованием и ужасом. «Устрашающее действие приговора очевидно,— говорилось в одной из корреспонденций по этому поводу,— но есть большие основания думать, что устрашатся вовсе не те, против которых направляются репрессии. В то самое время, как свидетели русские *единогласно* показывают на судебном следствии в пользу Юсупова, по некоторым намекам чеченцев можно думать, что всем им хорошо известен настоящий виновник, «немного похожий» на невинно осужденного. Кого же устрашает такой суд? Он до очевидности опасен мирным людям, но над ним смеется настоящий разбойник. Он убил одного мирного обывателя, суд убьет другого.

Один из местных жителей, г. Ширинкин, присутствовавший на суде, написал мне письмо. От этого листка почтовой бумаги на меня повеяло тем ужасом,

какой пережили свидетели чудовищного приговора. Защитник Юсупова подал кассационную жалобу, но сам считал ее безнадежной. Меня, как столичного жителя и писателя, просили найти какие-нибудь «ходы», чтобы предупредить *очевидное для всех судебное убийство*. Таким образом я, человек сторонний, живущий за тысячи верст от Грозного, не имевший ни малейшего понятия ни о Юсупове, ни о военно-судных Соломонах, его осудивших, становился с этой минуты причастным к ответственности за жизнь этого человека и за их приговор. Найду я ходы — Юсупов может спастись. Не найду — его повесят. А у него — жена, старик отец и ребенок. Таковы эти маленькие случайности нашей русской жизни, такова ее круговая ответственность. Я чувствовал себя отвратительно, точно здесь, в Петербурге, на меня свалилась и неожиданно придавила меня одна из кавказских скал...

К счастью, мне помогли добрые люди. Читатель, может быть, удивится, если я скажу, что эти «добрые люди» были... из военно-судебного ведомства. Один молодой человек, начинавший карьеру, первый явился ко мне на помощь, чтобы извлечь меня из-под ужасной кавказской глыбы. Он посоветовал обратиться прямо в главный военный суд, уверяя, что я там найду людей отзывчивых и добрых и прежде всего — в лице главного военного прокурора...

Я так и сделал. Напечатав то, что мне писал господин Ширинкин в (тогдашних) «Петербургских ведомостях», я затем написал письмо генералу Маслову. Приложив номер газеты с корреспонденцией из Грозного, я закончил заявлением, что, зная, как мало в таких случаях может сделать печать, и считая себя несправедливо отягченным этой ответственностью,— предпочитаю сложить ее с своей партикулярной совести на совесть его, генерала Маслова, как судьи и человека...

Вот при каких обстоятельствах я завязал в 1899 году личное знакомство с людьми в военно-судных мундирах. И должен сказать, что об этом знакомстве вспоминаю теперь с истинной душевной отрадой. Формально в приговоре Грозненского военного трибунала все было как нельзя более правильно. Правда, смертный приговор был вынесен на основании показаний отсутствую-

щих свидетелей, вопреки единогласным показаниям всех присутствовавших. Чудовищно брать на себя ответственность за смертный приговор при таких обстоятельствах. Но это уже дело ума и совести господ грозненских судей. Главный же военный суд имеет дело только с формальной законностью приговора. Причины неявки Денишенков были законны,— этим решалась судьба Юсупова. Все это и объяснил мне докладчик главного суда, к которому мне посоветовали обратиться. Разговор наш происходил, помнится, в понедельник. В четверг предстоял доклад. Заключение могло быть только совершенно отрицательным. В пятницу телеграмма на Кавказ, затем — конфирмация и казнь... Вполне сообразно с существующими узаконениями!.. Юсупов не мог жаловаться, что по отношению к нему нарушены какие бы то ни было законы. Кассационная инстанция ничего сделать не может.

— Все это так,— сказал я, с отчаянием выслушав все эти непререкаемые соображения.— Но что же мне сказать вам, чтобы вы почувствовали *по человечеству* то, что вам предстоит сделать?

Оказалось, что это было не так уж трудно. Судья, с которым я говорил, человек необыкновенно сдержанный, соглашался все-таки, что по существу, а не по форме приговор «внушает сильные сомнения». Признавали это и другие в главном военном суде и тоже готовы были принять участие в судьбе явно невинного человека. В четверг кассация была отвергнута, но об этом *по телеграфу не известили*. Докладчик обратился к главному прокурору с особым докладом. Главный военный прокурор доложил военному министру. Военный министр все эти сомнения препроводил кавказскому наместнику (тогда им был кн. Голицын). О Юсупове и приговоре грозненского трибунала пошла экстренная переписка.

— Не знаю, Владимир Галактионович, благодарить ли вас и газеты за то, что вы сделали своим вмешательством,— говорил мне не старый еще судья с серьезным лицом и седеющей бородой. Глаза его мне казались печальными, в улыбке чувствовалась горечь.— До сих пор,— продолжал он,— этот Юсупов был для нас просто бумагой, поступившей за нумером таким-то. Мы впи-

сали ее во входящий, рассмотрели. Все в ней оказалось правильно. Оставалось внести в исходящий и успокоиться. Теперь это уже не нумер, а человек. И знаете, что это значит для нас — иметь дело с людьми вместо бумаг. Вот посмотрите: борода поседела у меня в одну неделю, когда к нам приехали отцы и матери андижанских повстанцев[1]. Меня после этого врачи отправили за границу в нервном расстройстве.

Вскоре я узнал, что кн. Голицын прислал телеграмму о приостановке казни до конца предпринятого им административного расследования. С первых же шагов этого расследования выяснились обстоятельства, не оставлявшие сомнения, что беспечные грозненские судьи приговорили к смерти невинного. Прошло еще немного времени, и газеты сообщили, что Юсупов получил полное помилование. К нему явились в тюрьму, сняли кандалы и отпустили к семье — жене, отцу и ребенку.

Читая эти известия, я лично испытывал смешанное ощущение благодарности и ужаса. Благодарности — к людям, ужаса — перед учреждением. Я не знаю подробностей той *внесудебной*, чисто административной работы, которая спасла Юсупова. Во всяком случае это были внесудебные влияния, случайные и непредвиденные. Но что же это за аппарат, с такой слепой жестокостью присудивший к смерти человека, невинность которого так вопиюще очевидна для всех: для присутствовавшей на суде публики, для жителей города, для корреспондентов, для докладчика, имеющего дело с одной лишь бумагой, за тысячи верст от места действия, для администрации, как только она принялась за расследование...

К сожалению, я не могу кончить с историей Юсупова на этом «радостном» эпизоде, так как она имеет нерадостное продолжение.

Пока в Петербурге и в Тифлисе шли эти разговоры о нем и переписка, Юсупов сидел в тюрьме, в ожидании казни, вместе с двумя другими чеченцами, тоже присужденными к виселице. Подошла пасха. В тюремной

---

[1] Многие, вероятно, помнят историю неожиданного восстания в Андижане. Тогда были казнены, если не ошибаюсь, восемнадцать человек.

церкви шла пасхальная заутреня. Арестанты были крепко заперты по камерам, и ворота тюрьмы открыты для сторонних молящихся. В ту минуту, когда в церкви пропели «Христос воскресе», народ стал расходиться, и на дворе замелькали огни свечей,— три «смертника», разбежавшись вместе от противоположной стенки, ударили в дверь крепкими, упругими телами. Дверь соскочила с петель, и, пока ошеломленные надзиратели успели сообразить, в чем дело,— три чеченца накинулись на них, связали, забили рты, сняли мундиры и, переодевшись, выбежали во двор и вышли за ворота вместе с народом.

На следующий день всех их поймали. Двоих вскоре повесили. Юсупова оставили ждать своей участи и вздрагивать при каждом шорохе. Мы уже знаем: он дождался помилования и вернулся к семье.

Но... он ведь пытался бежать из тюрьмы. А это, как известно, преступление «перед обществом и властью». Правда, он был невинен, а суд его осудил и собирался *законно* убить невинного, а невинному приходится *незаконно* спасаться. Арестанта посадили, арестант должен сидеть. Его поведут на виселицу,— он должен идти. Юсупова по всем этим разумным основаниям привлекли к суду (на этот раз гражданскому), судили и осудили в каторгу. Было это незадолго до китайской войны, и несчастный чеченец затерялся где-то в далекой Сибири под шум поднимавшейся уже дальневосточной грозы. Я узнал об этом долго спустя...

Вот как это вышло просто и как законно. Невинно осужденный все-таки попал на каторгу, а грозненские судьи продолжают судить других Юсуповых с такой же проницательностью и с такой же легкой совестью. И теперь, вдобавок, они призваны экстренно водворять порядок в нашем отечестве, потрясенном беззакониями всякого рода. И они, конечно, водворяют. Почему бы нет? Кто скажет, что они хуже других, что они сознательно осудили невинного? Конечно, нет... Просто — средние военные люди, добросовестно убежденные, что спасают общество и Россию по мере своего разумения. Особой проницательности в деле Юсупова они, очевидно, не обнаружили. Даже напротив. Обнаружили изумительную недогадливость. Это — правда. Но ведь мера

обязательной проницательности никакими законами не установлена. Это уже от бога, а они действовали «в пределах своих законных полномочий». И если они все-таки постановили приговор, внутренняя преступность которого во много раз больше, чем самое нападение на хутор Денишенков... если главному военному суду оставалось только умыть руки, чтобы невинный человек был повешен,— то они ли в этом виноваты лично, своею совестью? Едва ли... Все тут нелепо и дико, но — все сообразно с законами, по которым действуют военные суды. А когда возможны такие вопиющие столкновения между тем, что люди хотят называть правосудием, и элементарными понятиями о праве и правде... и когда никого из участников нельзя обвинить в сознательном злоупотреблении, то не очевидно ли, что смертный грех гнездится в самом учреждении. И, значит, всем, кому дорога правда, необходимо внимательно присмотреться к его деятельности.

Это мы и попытаемся сделать в нижеследующих очерках.

II

ДЕЛО ГЛУСКЕРА

В Мглинском уезде Черниговской губернии есть небольшое местечко Почеп, расположенное по линии полесских железных дорог. В ночь на 16 августа 1907 года это местечко и весь Мглинский уезд были взволнованы ужасным преступлением. Ночью в своем доме вырезана целая семья Быховских: отец, сын и приказчик наутро найдены уже мертвыми, жена, невестка и внучка Быховских тяжело ранены. Убийство сопровождалось зверской жестокостью: стены, полы, потолки и окна были забрызганы кровью и кусками мозга. Эта жестокость поражала тем более, что не было заметно признаков борьбы: семью застали врасплох, и никакого сопротивления убийцам никто не оказывал.

В день этого убийства за сто верст от Почепа, в имении г-жи Гусевой работало человек восемь кровельщиков, в том числе некто Глускер, бывший приказчик убитого Быховского. Кровельщики мирно крыли крышу.

К вечеру они пошабашили, как обыкновенно, и спокойно отправились ночевать тут же, в имении.

В том числе Глускер.

К большому несчастию и для Глускера, и для правосудия, в Мглинском уезде расположено имение министра юстиции г. Щегловитова, и в роковую ночь, когда негодяи убивали семью Быховских в Почепе, а Глускер спокойно спал после рабочего дня в экономии г-жи Гусевой,— в имении г. министра находилась его семья. Весь уезд был потрясен ужасным убийством, и семья г. министра, понятно, разделяла эти чувства. А полиция и следственные власти были взволнованы вдвойне: «на дело это обратил особое внимание бывший в Почепе проездом в свое имение министр юстиции И. Г. Щегловитов» [1].

«Особенное внимание» высшей власти в деле правосудия почти всегда бывает зловеще. Покойный министр Муравьев проявил «особенное внимание» в памятном деле Тальмы. В Орле была кем-то убита генеральша Болдырева. Министр Муравьев, проезжая на открытие новых судебных учреждений в Томске, вызвал к себе прокурора орловского суда и захватил его с собой в поезде на несколько станций. При этом министр «обратил внимание» прокурора на то, что убита генеральша, «лично известная государю», и что нерешительность следствия «производит неблагоприятное впечатление». Говорят, прокурор изложил г. министру как некоторые свои догадки, так и свои сомнения в их правильности и говорят, что министр изволил одобрить г. прокурора: «Вы на верном пути». Тогда, конечно, под лучом высокого одобрения, прокурорские догадки превратились в уверенность, а прокурорские сомнения рассеялись, как дым. Тальма был привлечен, осужден, сослан на Сахалин. Но после этого финала сомнения, так легко рассеянные г. министром, всплыли опять. Заговорила пресса, пошли споры. Тальма был помилован и возвращен с Сахалина. Помилование есть формальное уничтожение последствий приговора, но не нравственная реабилитация. В последнем отношении Тальма так и остался, говоря старым юридическим безнрав-

---

[1] «Речь», 10 ноября 1909, № 309.

ственным термином, «в подозрении». Но никто не мог, конечно, реабилитировать и судебного приговора, который остался «в сильнейшем подозрении» вместе с Тальмой.

Не менее благосклонное внимание обратил покойный министр на знаменитое в свое время «мултанское дело», и нужны были экстренные усилия печати, профессоров судебной медицины, защитников, чтобы парализовать усердие властей и вырвать невинных мултанцев из цепких рук поощряемого свыше обвинителя Раевского... Такую же роль сыграло «особое внимание» Победоносцева в деле Скитских.

Я, разумеется, далек от того, чтобы относить ужасное дело, которое теперь волнует русскую печать и русское общество, на счет такого же прямого воздействия нынешнего министра юстиции, г. Щегловитова. Нет. «Прямого воздействия», вероятно, не было. Следственные власти *только* почувствовали на себе внимательные взгляды сверху, возбуждавшие энергию. А уж остальное — естественное последствие особенностей полицейского дознания, предварительного следствия, нашей юстиции вообще, военно-судной юстиции в частности: чем более напрягается служебная энергия, тем больше вероятия, что «возмущенное чувство» начальствующих лиц будет удовлетворено в самом непродолжительном времени. А зато кто-нибудь из обывателей рискует совершенно неожиданно для себя и в самый кратчайший срок очутиться под приговором к каторге, как мултанцы или Скитские, к Сахалину, как Тальма... Говорят, что в Китае в таких случаях поступают еще проще: убили кого-нибудь, чья смерть требует возмездия. Из Пекина пишут: *чтоб были немедленно открыты* виновные. Местные власти немедленно и удовлетворяют требование: отправляется отряд, который хватает первого дровосека в лесу, первого жнеца в поле, первого кровельщика на крыше дома. Когда требуемое число укомплектовано, их сводят к одному месту, привязывают к дереву, поставленному на козлах, рубят головы и счетом отправляют в Пекин. Высшие власти чувствуют удовлетворение: преступление открыто.

Россия — не Китай. О, конечно! У нас действуют «судебные уставы, не знающие смертной казни». Мултан-

цев и Скитских судили с присяжными, и в гласном суде удалось, наконец, разорвать сети «предварительного следствия». Тальму обвинили, но — оказалось возможным вернуть его с далекого Сахалина... Все это было до российской конституции... Только в последнее время мы сделали шаг от запада к Китаю: несчастного Глускера ускоренным порядком отправили туда, откуда уж ничье повеление не в силах вернуть его к жизни...

Под гипнозом «особенного начальственного внимания» власти быстро открыли виновных. Ими оказались, во-первых, бывшие приказчики Быховского: Глускер, Дыскин и Announcements Кописаров, которых покойный обвинял в краже товаров, и, значит, они могли ему мстить. Затем Толстопятова — прислуга Быховских. Она осталась жива, когда семья была перебита. «В оправдание» этого факта Толстопятова приводила то соображение, что жила она совершенно отдельно, в кухне, изолированной от остальных помещений... Но ее слушали плохо. К ней ходил племянник, Жмакин, который тоже был привлечен к делу.

Следствие закончено скоро и поступило на рассмотрение киевского военно-окружного суда. Кописарову и Дыскину удалось доказать свое alibi *, и они были оправданы. Толстопятова отсидела уже год в тюрьме. Жмакин пошел на каторгу, где находится и поныне.

Глускер повешен.

Теперь оказывается, что *в лице Глускера повешен невинный*. В день перед убийством он действительно работал на крыше за сто верст от Почепа. Ночью он действительно и заведомо для многих людей ночевал в экономии г-жи Гусевой... Военно-судная юстиция поторопилась до известной степени исправить ошибку. Тринадцатого мая выездная сессия киевского военно-окружного суда в Чернигове рассмотрела вторично дело об убийстве семьи Быховских. На этот раз перед судом были трое мужчин: Панков, Сидорцев и Муравьев, и три женщины: Рубеко, Антонович и Караваева. Суд приговорил мужчин к повешению, двух женщин за недонесение к пятнадцати годам каторги и одну — к двум годам крепости. Но Глускер?..

---

* Нахождение в другом месте (*лат.*).

Таковы оказались результаты служебной энергии, проявленной в деле о раскрытии убийства семьи Быховских. «Возмущенное чувство» общества и высшей власти было удовлетворено не только стремительно, но и с очевидной торопливостью. В деле Глускера не было никаких указаний на участие Панкова, Сидорцева и Муравьева. В деле последних — никаких указаний на виновность Глускера, Толстопятовой и Жмакина. Совершенно наоборот: в том сознании, которое послужило основанием для второго дела, новые обвиняемые заявляли категорически, что *никто из осужденных по этому делу раньше не принимал в убийстве никакого, даже отдаленного, участия*[2].

Обстоятельства, при которых возникло второе дело, тоже чрезвычайно характерны для состояния правосудия в конституционной России двадцатого века. Приговаривая к казни Глускера, суд, по-видимому, не испытывал никаких сомнений или истолковал все сомнительное не в пользу подсудимого, а в пользу виселицы. Но сомнения все-таки были и, между прочим, нашли себе место в голове «заштатного полицейского чиновника» Работнева. Кто такой полицейский чиновник Работнев, почему он попал «за штат», какими побуждениями руководился, продолжая свои розыски по «совершенно законченному» делу,— мы не знаем. Но рассуждал этот заштатный чиновник (сколько можно судить по газетным известиям) приблизительно так:

Семья Быховских убита с страшной жестокостью, которая едва ли может быть объяснена местью за подозрение в краже. Кроме того, Глускер — средний приказчик, простой обыватель, до того никогда не участвовавший в убийствах или вооруженных кражах. Наконец, он и убитые — евреи. Убита вся семья с такой жестокостью, в которой чувствовалась рука профессионального убийцы Так убивают беглые каторжники, специалисты-громилы, жидоненавистники, украшающие во многих городах ряды «монархических» организаций... Но едва ли так стал бы убивать еврей евреев... Не очень давно в газетах промелькнуло коротенькое, но в высшей степени характерное известие: исправник, аресто-

---

[2] «Киевские вести», 24 ноября 1909 года.

вавший убийцу, предложил ему вопрос, зачем он убивал часто без всякой надобности, и получил ответ.

— Не все ли мне равно, повесят ли меня за одно убийство, или за десять!..

Нельзя не видеть в этом маленьком эпизоде своеобразного результата «военно-судного» устрашения. Правосудие, считающееся с оттенками преступности, взвешивающее каждую долю вины, чтобы на другую чашку положить соответствующую долю ответственности, заставляет хоть до известной степени и преступника соразмерять свои действия. Кто знает тюремный быт, тому известно, какие там есть тонкие юристы и как отлично они различают степени наказания при взломах, например, или без оных, вторую и третью кражу и т. д. Военные суды, не признающие разных тонкостей и пускающие с такой легкостью смертную казнь в повседневный обиход юстиции, пустили этим самым в обиход жизни особый тип убийцы, тоже не признающего смягчений, действующего с ужасающей холодной свирепостью. За ним уже есть одно преступление, и он чувствует себя заранее приговоренным. И притом приговоренным не к тюрьме, не к каторге, а к казни. Приговор следует за ним по пятам. Это — петля и саван. Не красть и не грабить ему уже нельзя — жить нечем. Попасться на простой краже для него та же смерть. Человек, у которого он крадет, грозит ему не мировым судьей, не судом присяжных, а виселицей. Ему не дадут пощады, и он ее не даст.

И ходят среди нас эти «военно-судные» люди, люди петли и виселицы, с смертельным отчаянием затравленного зверя в душе, ходят десятками и сотнями... И когда такой человек станет над вами ночью с целью стащить ваши часы и кошелек с тремя рублями, из его глаз глядит на вас смертельная ненависть и призрак близкой петли. И в этом — часто ваш приговор.

Такую именно руку, привычную и твердую, почувствовал заштатный полицейский чиновник в том деле, за которое был казнен Глускер. Перебирая в уме людей этого профессионального типа, он вспомнил Бабичева. Бабичев был уже на примете и до преступления часто появлялся в Почепе с любовницей. После убийства оба исчезли. Работнев был «за штатом».

Очень вероятно, что он соперничал с кем-нибудь из счастливых открывателей Глускера. Он направился в Брянск, где жил Бабичев (несколько часов езды от Почепа), и там,— как кратко говорится в репортерских заметках,— стал «допытывать» сожительницу Бабичева. Как он ее допытывал, это — «профессиональная тайна» наших Шерлоков Холмсов вообще. Как бы то ни было, вскоре он получил возможность послать в соответствующее учреждение телеграмму:

«Нашел *настоящих виновников* убийства семьи Быховских».

Это и были Бабичев, Сидорцев, Панков и Муравьев. Из них Сидорцев по наружности очень похож на Глускера. А главная улика против последнего состояла в том, что оставшаяся в живых восьмилетняя девочка из семьи Быховских признала в нем убийцу, нанесшего ей удар, от которого она впала в беспамятство. Очевидно, это сходство и погубило Глускера. Сожительница Бабичева подробно рассказала, как Бабичев, Сидорцев, Панков и Муравьев, составлявшие разбойничью шайку, приговоренные уже ранее к каторге и бежавшие, сговаривались у нее на квартире. Муравьев сначала подтвердил все это; на суде, однако, он снял оговор с товарищей, утверждая, что оговорил их ложно, под влиянием истязаний, которым его подвергал черниговский Шерлок Холмс. Тогда и другие подсудимые взяли обратно свои признания, ссылаясь на те же, говоря вообще, довольно вероятные мотивы. Тем не менее, суд вынес приговор, который мы приводили выше: Сидорцев, Панков и Муравьев приговорены к виселице (Бабичев умер раньше).

Вскоре затем в газетах появилось известие, что двое из приговоренных покончили с собой до казни. Экспертизой точно не установлено, было ли в данном случае убийство или самоубийство. Пошли, конечно, разные толки, вызываемые предположениями о каких-то «профессиональных тайнах» полицейских застенков и застеночной политики, которые тоже составляют в наше время довольно распространенное «бытовое явление».

Во всякой другой стране, где вопросы о человеческой жизни не решаются с такой стремительной прямолинейностью, эти два судебных разбирательства вызва-

ли бы целую бурю и послужили бы поводом для расследования дела во всех мельчайших подробностях. У нас — первая ошибка только усугубила вину убийц по второму делу. И в самом деле: если казнили Глускера, то, конечно, тем скорее следовало казнить настоящих убийц, из-за которых погиб невинный. Но нам кажется, что это печальное заблуждение. Весьма вероятно, что Быховских убили именно Панков, Муравьев и Сидорцев. Но что касается невинно осужденного Глускера, то его убили не Панков, Муравьев и Бабичев, а военно-судная юстиция. А так как тут есть и еще заинтересованное лицо — все русское общество, потрясенное этой цепью убийств, бытовых и судебных,— то, конечно, во всякой стране, где не утрачено правовое сознание, предпочли бы второе дело рассматривать не в том же военно-судебном порядке, а в порядке общем, при полной гласности и с разъяснением всех обстоятельств дела. Конечно, тут вышла бы некоторая несообразность: настоящие убийцы не были бы казнены, тогда как за их вину уже казнен невинный. Но казнь невинного сама по себе есть такая вопиющая несообразность, такая незабываемая несообразность, такое неизгладимое общественное преступление, что ничем ее уравновесить нельзя и тем менее — новым применением судебного аппарата, только что обагренного невинною кровью. Тут, кроме Глускера или Панкова с товарищами, общественная совесть упорно ищет и еще виновника. Кого? Состав киевского военно-окружного суда?.. Едва ли... Конечно, мы не завидуем положению судей, подписавших смертный приговор невинному, как не завидуем и киевскому генерал-губернатору, с легким сердцем его утвердившему. Допускаем, что сон господ судей не всегда был спокоен после того, как заштатный полицейский чиновник прислал свою телеграмму: «Нашел *настоящих* убийц семьи Быховских». Пишущему эти строки отчасти знакома практика именно киевского военно-окружного суда. Защитники, выступающие по военно-судным делам в пределах киевского военного округа, единогласно свидетельствуют о том джентльменском отношении и внимании, какое всегда в этом суде встречали интересы защиты. Но личный состав суда может гарантировать — и то в самых узких пределах — лишь судебное следствие

и свободу защиты в заседании. Тем тяжелее вина не лиц, а самого учреждения, всего этого аппарата военной юрисдикции, при которой возможно взять человека, работавшего во время совершения убийства *на виду у десятков людей* за сто верст от места действия, зажать ему рот разными формальностями ускоренной процедуры и — повесить здорово живешь, «впредь до выяснения его невиновности»... Это — настоящая угроза общественной безопасности. Ведь и каждый из нас может так же, как Глускер, сидеть за самой мирной работой и так же, как и он, быть схвачен, а затем ускоренным порядком отправлен на виселицу. Но и, кроме этого, разве мы, все русские, не вправе требовать, чтобы нас не делали свидетелями и безмолвными участниками таких происшествий в нашем отечестве?

Впрочем,— мы притерпелись. Вот например, г. М. П. Успенский, защищавший, хотя и не защитивший покойного Глускера, обратился с письмом в редакцию «Нового времени» по поводу «неверных сведений, помещаемых в газетах по известному делу невинно казненного еврея Глускера». Какие именно неверные сведения были помещены в газетах и какие «неверности» могут усилить или ослабить значение «казни невинного» по суду — г. Успенский не объясняет, хотя и признает, что Глускер казнен невинно.

Но в его ласково баюкающем мягком изложении дело принимает такой оборот, что от ужаса самого факта не остается ничего, кроме... «стечения роковых случайностей, которые выяснились лишь после его (Глускера) смерти», не могли, очевидно, выясниться ранее и за которые, значит, никто не ответствен. «Оказалось, во-первых, что один из убийц... наружностью поразительно был похож на Глускера, вследствие чего тяжело раненная, но оставшаяся в живых десятилетняя девочка Быховская, хорошо знавшая в лицо Глускера, ошибочно, но категорически удостоверяла, что удар по голове, от которого она впала в беспамятство, нанес ей именно Глускер. Свидетельница эта на суде подвергнута была самому тщательному и продолжительному перекрестному допросу и, будучи ребенком умным, бойким и смелым, несколько раз повторила, что она хорошо знает Глускера...» Во-вторых, «по словам некото-

рых, вполне достоверных свидетелей, они в свою очередь видели Глускера в Почепе *вечером*, за несколько часов до убийства, шатающимся без всякого дела близ дома Быховских...»

Итак, виновато «роковое стечение обстоятельств», своего рода личное несчастье Глускера, который навлек на себя, сидя на крыше, молнию стремительного правосудия, как при тех же условиях можно привлечь и электрическую молнию... Правда, девочке Быховской десять лет теперь. В страшную ночь ей, кажется, было лет семь или восемь[1]. Мнимого Глускера она видела в промежутке между своим ужасным пробуждением и беспамятством от удара. А другие, вполне достоверные свидетели видели своего Глускера шатающимся без дела около дома Быховских *вечером*... Итак, сумерки детского сознания и вечер в буквальном смысле слова. Можно бы, конечно, спросить: это ли та непререкаемая ясность, которая требуется для решения вопроса о человеческой жизни и смерти?.. Неужели не могло возникнуть — ну хотя бы только *сомнения* в том, не ошиблась ли восьмилетняя девочка, тотчас же оглушенная ударом, и не введены ли другие свидетели в обман темнотой и случайным сходством.

Сомнений, очевидно, не возникло: верить или не верить тому или другому показанию, это, конечно, не произвольно. И если вдобавок не было других данных?..

Но тут невольно возникает вопрос: как же могло случиться, что у суда не было других данных, если эти данные так изумительно легко давались в руки: имение Гусевой всего в ста верстах от Почепа, а там Глускера видела не девочка сквозь туман беспамятства и не вечером только, а много людей и днем, и вечером, и на следующее утро, на таком видном месте, как кровля, на которой он работал вместе с десятком человек.

Господин Успенский и тут успокаивает нас «роковой случайностью»... Опять-таки «по *роковой случайности* (!!),— говорит он,— *Глускер на показание Гусевой не сослался*, и она в то время допрошена не была. Работавшим же с ним *евреям-кровельщикам, допрошенным по его показанию, суд не дал веры*. и участь подсу-

[1] См. «Киевские вести», 24 ноября 1909 г.

димого была так ужасно решена... И лишь после казни Глускера г-жа Гусева, женщина в высокой степени почтенная и уважаемая, удостоверила, что поздно вечером, в ночь совершения убийства, она лично видела Глускера в своем имении, а на другой день, ввиду дошедших до нее слухов об убийстве семьи Быховских, у себя же в имении подробно расспрашивала Глускера об убитой семье»[1].

Итак, если кто виноват в этой ужасной ошибке, то разве сам Глускер. Вольно же ему было ссылаться на десяток рабочих-евреев, работавших с ним вместе, когда *суд евреям вообще не верит*, а не указать одну только помещицу, которой суд бы поверил без сомнения. Правда, бедняга Глускер мог бы представить в свое оправдание некоторые смягчающие вину обстоятельства: ведь никто его не предупредил, что свидетельство нескольких рабочих-евреев не имеет никакого значения, что его недостаточно даже для того, чтобы хоть усомниться и постараться выяснить: уж не правдиво ли в самом деле их показание? Почему же его не предупредили об этом? Зачем записали его ссылку на этих свидетелей? Зачем их вызывали, опрашивали, составляли протоколы, вызывали в суд? Разве тот полицейский, который производил дознание, тот следователь, который вел предварительное следствие, тот прокурор, который писал обвинительный акт, тот суд, который постановлял вести дело ускоренным путем, в конце которого виселица,— разве все они не могли догадаться, что если несколько хотя бы евреев указывают точно ту кровлю, на которой среди белого дня работал Глускер в людной экономии, то его должны были видеть и г-жа Гусева, «женщина вполне почтенная и уважаемая», и ее управляющий, и конторщик, плативший деньги за работу, и прислуга, и дворня, и экономические рабочие... Разве трудно было дополнить это показание евреев-свидетелей опросом этих свидетелей-христиан? Или, в самом деле, предварительное следствие считает себя призванным только к тому, чтобы как можно энергичнее устилать, не оглядываясь по сторонам, прямую дорогу к виселице? И все эти господа в совокупности не обя-

[1] «Новое время», 22 июня 1910 г., № 12311.

заны собрать *все данные* для всестороннего освещения дела, от которого зависит жизнь человека, существование его семьи, достоинство суда? Или, в самом деле, энергия власти должна только устранять от взгляда суда все, что служит в пользу оправдания...

Тут, очевидно, не одна роковая случайность, как говорит г. Успенский,— тут целая цепь роковых случайностей. Прежде всего такой роковой случайностью является то, что Глускер встретился с правосудием именно в наши годы, когда, с одной стороны, происходят такие убийства, с другой — такое упразднение всяких гарантий. Разбои — Сцилла, судебная репрессия — Харибда, и русский обыватель всюду похож на злополучного ялтинца, который, избегнув осколка брошенной террористом бомбы, попадает тотчас же под выстрелы храброго генерала Думбадзе, которому угодно кинуть не одну бомбу, а целым градом ядер закидать обывательские дачи... Вторая роковая случайность, что наше время — есть время лицемерия и лжи. Князь Урусов в своих известных воспоминаниях губернатора очень благодушно рассказывает, что кишиневские судьи установили общее правило: свидетелям-евреям не верить!!. От этого и выходило, что во время погромов были налицо зверские убийства, совершенные среди белого дня и всенародно, но зверей-убийц не оказывалось. При этом г. Урусов свидетельствует, что кишиневские судьи лично прекрасные люди. Значит, винить некого? Можно только сожалеть, что у современного настроения «власти» нет достаточно прямоты и откровенности, чтобы обнаружить свою сущность. Если бы эта черносотенная сущность не прикрывалась октябристскими вуалями, мы имели бы не презумпцию, а закон: «Свидетелей-евреев не допрашивать». И это было бы честнее, и Глускер бы тогда не погиб. Ему бы прямо сказали: мы не вправе вызвать твоих товарищей-рабочих. Нам это воспрещает закон. Дай нам кого-нибудь другого. И он решился бы побеспокоить помещицу Гусеву. И она пришла бы в суд и сказала бы просто: «Я — помещица. Не казните этого жида: он был у меня в экономии». И Глускер остался бы жив, а г. Успенскому, не успевшему защитить Глускера, незачем было бы выступать на защиту судебного приговора.

О, г. Успенский, присяжный поверенный при стародубском окружном суде! Вы защищали несчастного Глускера... Спасибо вам, но он все-таки казнен. Теперь вы проливаете бальзам успокоения на наши совести, взволнованные судебным убийством невинного... Но и это тоже вам не удается... В 1903 году во время кишиневского погрома, в присутствии толпы людей и полиции на крыше дома № 13 громилы гонялись за евреями, которых сбросили на мостовую и убили. Поищите в судебных отчетах: что сказало кишиневское правосудие по поводу этого «происшествия» на одной кровле? А теперь на другой кровле сидит и стучит молотком Глускер. Его сняли оттуда, повесили и только после этого проявления энергии догадались, что он невиновен... Вот два полюса новейшего российского правосудия. Не слишком ли много роковых случайностей, и не называются ли они точнее: общими условиями, в которых действует наша судебная машина нового «конституционного» периода...

«При всем сочувствии к несчастному Глускеру,— так заканчивает г. Успенский свое успокоительное письмо,— я полагаю, что единственно, чем можно хоть несколько загладить эту ужасную судебную ошибку, это — открыть подписку в пользу шести малолетних детей и жены, оставшихся нищими после казни их несчастного кормильца».

Обеспечить семью Глускера и вернуть невинно осужденного Жмакина есть, конечно, неотложная обязанность прежде всего государства. В этом не сомневается даже кн. Мещерский: «Есть ведь закон,— пишет он в «Гражданине» [1],— по которому получивший увечье может требовать от хозяина по суду обеспечения себя и семьи. Но можно совершенно невинного на основании доноса посадить в тюрьму, послать на каторгу, казнить, и закон никого не обязывает вознаградить и обеспечить его семью?!. Неужели государство в лице правительства не обязано обеспечить семью Глускера и сделать это всенародно, чтобы вызвать уважение к себе всего русского народа (sic)?!»

---

[1] «Гражд». Цитирую по «Одесской почте», 30 июня 1910 г., № 542.

Да, это так: когда на фабрике от плохого устройства машины рабочий терпит увечье или теряет жизнь, то фабриканта обязывают вознаградить его или его семью... Но при этом не обещают ему «уважения всего русского народа». Это уважение было бы слишком дешевым товаром, если бы его можно было купить несколькими тысячами рублей, выданных семье человека, убитого плохо устроенным судом. Государство обязано просто обеспечить семью Глускера, не претендуя по этому поводу на уважение. «Загладить» сделанное нельзя ни обеспечением семьи, ни сбором, к которому приглашает г. Успенский (в чем, конечно, мы его горячо поддерживаем).

Дело Глускера — это один из тех случаев, в которых, как в фокусе, собирается грозовой тучей и сверкает предостерегающей зарницей глубокая ложь и неправда времени. Нужно вознаградить потерпевших? Ну, конечно!.. Нужно дать возможность вдове воспитать детей, у которых отняли отца, что горячо предлагает Ф. И. Родичев. Разумеется. Все это нужно сделать. Но, кроме того, нужно поднять глаза кверху и вглядеться, где в этих мрачных туманах светятся затерянные пути общественной правды. Убийство семьи Быховских отвратительно и ужасно. Отвратительна и казнь государством схваченного, связанного, обезвреженного человека... Но судебное убийство невинного, исправляемое новым убийством виновных,— этому нет достаточно сильного имени на человеческом языке, и загладить это подачками невозможно.

Наша заметка была уже набрана, когда в газетах появились новые статьи в защиту киевского военно-окружного суда в связи с делом Глускера. Первая из них явилась в том же «Новом времени», которое поместило и письмо г. Успенского. Напечатана она в «Судебной хронике», но снабжена красноречивым заглавием: «Можно ли верить на суде евреям?» — и дает на этот вопрос чисто нововременский ответ: верить, конечно, нельзя. И вот почему: 24 сентября 1907 года три карманных вора (евреи), Шварцкоп, Лангборт и Бер, вытащили у купца Гершмана две тысячи рублей. Первые двое были пойманы; третий, Бер, ускользнул. Чтобы выручить товарищей, Бер уговорил троих, *тоже воров* евре-

ев дать на суде показание об их alibi. Тем не менее присяжные в виленском окружном суде обвинили Шварцкопа и Лангборта, которые впоследствии сами рассказали всю эту воровскую и лжесвидетельскую махинацию. Отсюда «Новое время» (статья без подписи) делает вывод, что «в нашумевшем деле Глускера судьи, не поверившие свидетелям-евреям, были тоже *совершенно правы*»!![1]. Как же иначе: так как *евреи — члены воровской шайки* готовы лжесвидетельствовать в пользу таких же воров, то суд, не поверивший *евреям-рабочим* и казнивший невинного, может считать свой приговор совершенно правдивым. Не знаем, почувствовали ли судьи какое-нибудь облегчение от этой своеобразной защиты, но нам она кажется довольно скользкой: так как есть и русские воровские шайки, располагающие и русскими лжесвидетелями, то логически «Новому времени» мог бы быть поставлен его вопрос в другой национальной окраске. Впрочем, логика есть, как известно, момент космополитический, то есть для «патриотов» необязательный.

Не менее удачно «защищает» судей и «Земщина». «Вполне возможно,— говорит эта замечательная газета,— что если бы alibi Глускера подтвердили люди, заслуживающие доверия, то суд... счел бы необходимым дополнить следствие. Но, когда против обвиняемого говорили люди, не доверять которым не было основания, а за него выступили евреи, которые тысячелетиями всегда лгут и которым их закон вменяет в обязанность лгать,— суд мог ошибиться»[2].

Итак, если бы оказалось, что киевский военно-окружной суд казнил невинного потому, что действовал на основании «неписаного закона»: евреям-свидетелям никогда не верить,— то в России в XX веке находятся газеты,— начиная с ретроградного Левиафана «Нового времени» и кончая мелкой черносотенной амфибией,— которые всенародно и открыто признали бы такое явление принципиально правильным: частные ошибки (казнь невинного!) не могли бы помешать дальнейшему применению правильного начала.

---

[1] «Новое время», 7 июля 1910, № 12326.
[2] «Земщина». Цитирую из «Речи», № 176 (от 30 июня).

Воистину бывали, может быть, времена хуже, но такого циничного времени еще не бывало.

Как бы то ни было, нужно признать, что после этих *защит* суда, дело Глускера, превратившееся в дело военно-судной юстиции, стало только еще загадочнее и темнее. Среди густого тумана, мрачно залегающего над ужасной трагедией, единственным, ярко освещенным островком выделяется только экономия г-жи Гусевой, в которой среди белого дня сидит на кровле несчастный Глускер на виду у множества свидетелей. И несомненно то, что он казнен...

Когда на дороге находят мертвое тело с раздробленным черепом или пулевой раной, то прежде всего устанавливается факт преступления, и правосудие ищет того, кто это сделал. И уже затем суд исследует, вменить ли роковой удар тому, кто его нанес, или сам он стал убийцею случайно по роковому стечению обстоятельств.

На дороге российского (военного) правосудия тоже найден труп невинно казненного человека. Кто это сделал — неизвестно. Это сделал киевский военно-окружной суд, учреждение государственное. Понятно, что встревоженная общественная совесть требует выяснения: какие обстоятельства могут оправдать ужасное дело?

Состав суда психологически невиновен,— мягко говорит г. Успенский. Тем лучше. Мы первые порадовались бы такому заключению, если бы оно явилось следствием какого-то ни было убедительного исследования... Всегда отраднее думать о ближних лучше, чем это можно по защите «Нового времени» или «Земщины»... Но если так, если люди тут ни при чем, то что сказать об учреждениях, об этой следственной и военно-судной процедуре, которая и добросовестных судей приводит к *таким* приговорам?

А также, что сказать о смертной казни, которая делает эти приговоры непоправимыми?

P. S. По жалобе вдовы невинно казненного, дело Глускера было пересмотрено, но главный военный суд отказал истице по основаниям чисто формальным.

Уже в 1914 году сын помещицы Гусевой напомнил вновь об этом деле в газетах. По его словам, десятки

людей из экономии готовы подтвердить несомненную и очевидную невинность Глускера.

Таким образом, спор военного правосудия перед лицом общественного мнения остается открытым, а формальные основания в этой инстанции не решают вопроса.

III

ПОДСУДИМЫЙ МАНЬКОВСКИЙ И СУДЬЯ КАНАБЕЕВ

В городе Двинске, кажется, в 1905 году трое молодых людей среди белого дня напали на улице на двинского полицеймейстера Булыгина. Выпустив несколько зарядов, они легко ранили его и затем скрылись. Толпа расступилась перед ними, но сомкнулась перед преследователями, хотя в ней было немало «благонамеренных», даже с полицейской точки зрения, обывателей. В те времена «народная любовь» к установленным властям нередко выражалась в такой форме. Понятно, до какой степени полиции было необходимо найти дерзких преступников. Между тем свидетели-очевидцы не являлись на помощь. Нападающих видел сам полицеймейстер и некто З., проезжавший мимо на извозчике. Официально этот очевидец служил на железной дороге. Тайно — отдавал свои досуги охране.

Вскоре, однако, полиция напала на следы и арестовала трех человек.

Первый был семнадцатилетний мальчик, приказчик Штейнман. Арестован он потому, что среди нападавших на Булыгина тоже был юноша, почти мальчик, и что Штейнман показался кому-то похожим на этого мальчика «со спины». На другого указал какой-то таинственный незнакомец: подойдя на улице к полицейскому, он шепнул, что в таком-то магазине находится в данную минуту один из стрелявших в полицеймейстера. Приметы такие-то. Шепнул и опять потонул в неизвестности, а по приметам арестовали некоего Перельштейна.

Третьим оказался Маньковский — молодой рабочий, как и двое первых — еврей. Уже ранее он находился

у полиции «на замечании». При обыске у него найдены револьверные пули, совершенно тождественные с теми, какие были извлечены из раны у Булыгина.

Это была улика серьезная. Против Штейнмана и Перельштейна никаких улик не было, и их пришлось бы отпустить, что, конечно, было неудобно: ведь стрелявших было трое — значит, трое и должны для порядка сесть на скамью подсудимых. Но нельзя же, в самом деле, предать суду «за сходство со спины» или по указанию какого-то скрывшегося незнакомца. Выручил из этого затруднения помощник полицейского пристава г. Вильконецкий. Оказалось, что г. Вильконецкий в тот же день ехал с вокзала и на такой-то улице увидел извозчика с поднятым верхом, под которым, тщательно закрывая лица, сидели три молодых человека. Несмотря на поднятый верх, на изрядное расстояние и на «тщательно закрытые лица», г. Вильконецкий утверждал категорически, что в трех незнакомцах узнает именно Маньковского, Штейнмана и Перельштейна.

Затруднение было таким образом устранено: требовались три преступника, трое и доставлены военному суду.

Вскоре, однако, было обнаружено, что показания пристава — совершенный вздор. Перельштейна и Штейнмана он видеть на извозчике решительно не мог, да едва ли и кого бы то ни было мог разглядеть при описанных им обстоятельствах. Это характерное показание, отличавшееся большим усердием, но малой достоверностью, нимало не беспокоило защиту, и двое подсудимых с полной уверенностью ждали оправдания.

С Маньковским дело было гораздо сложнее. К сожалению, слушалось это дело при закрытых дверях, и я не имею возможности восстановить перед читателем потрясающих эпизодов этой судебной драмы. И это тем более жаль, что из этой картины было бы видно, как иной раз беспомощны военные судьи перед безобразными порядками предварительного следствия по таким делам и как порой мало их личной вины в роковых ошибочных приговорах. Против Маньковского было, во-первых, «опознание», которое в глазах военных судей является часто решающим. Правда, в данном случае Булыгин, расстреливаемый всенародно, метался по улице, больше

заботясь о спасении, чем о наблюдениях, и перед ним мелькало много лиц. Правда, что другой очевидец, г. Э., был «охранник», а людям этой почтенной профессии вообще особенно доверять не принято. Но на этот раз его показания звучали правдоподобно, и к тому же против Маньковского говорила еще подавляющая улика: пули такие же, какими нанесены раны.

Разбирательство длилось шесть дней среди атмосферы страшного нервного напряжения. Объективные факты складывались для Маньковского самым убийственным образом, а между тем трудно было отрешиться от впечатления, что этот юноша, так отчаянно защищающий свою жизнь против подавляющих улик, тоже не лжет. В нем не чувствовался убийца. Над делом витало смутное сомнение, но... факты оставались непоколебленными.

Председательствовал военный судья, генерал Д. И. Канабеев. Он сильно волновался...

Кончился пятый день заседаний. Судебное следствие пришло тоже к концу. На следующий день предстояли прения сторон и — приговор. Поздний вечер. Судьи разошлись на отдых, Маньковского увели в его одиночку в крепости, но он, конечно, не спал. Не спал и генерал Канабеев. Маньковский переживал ужас завтрашнего приговора. Канабеев — ужас предстоящего ему решения. Все эти дни он, по-видимому, колебался между трудно уловимыми субъективными сомнениями и объективной тяжестью улик. Теперь ему показалось, что убеждение его сложилось окончательно. Значит — казнь. Это генерал Канабеев считал исполнением своего долга перед правительством, которому присягал, и перед обществом, которое, как известно, нужно прежде основательно защитить от Маньковских при помощи военных судов и виселиц, чтобы потом осчастливить. Но все-таки... совесть генерала не могла, очевидно, успокоиться даже на сознании исполняемого долга. Он не находил себе места, и... его вдруг потянуло в крепость, в одиночку, где в это время метался в предсмертной тоске этот уже обреченный юноша.

Его, конечно, пропустили. Дверь каземата раскрылась, и перед изумленным Маньковским очутилась внушительная фигура генерала Канабеева.

Зачем он пришел?.. Вероятно, он не мог бы объяснить этого и сам. По крайней мере то объяснение, которое председательствующий генерал дал изумленному его визитом арестанту, отзывается кошмарной бессмыслицей и сумасшедшим бредом. Он вынул из кармана пять рублей и, подавая их Маньковскому, сказал:

— Вот, возьми. Пошли телеграмму родителям, чтобы приехали с тобой проститься, а на остальное...

Да, читатель, генерал Канабеев, председательствовавший в военно-окружном суде, так и сказал Маньковскому, которого решил приговорить к смерти:

— ...на остальное купи себе лакомств...

С этими словами генерал вышел, а в руках арестанта остался золотой — доказательство, что эта изумительная сцена происходила в действительности, а не в кошмарном сне.

На следующий день приговор состоялся. Штейнман был оправдан (Перельштейн выделен за болезнью). Маньковского приговорили к смерти...

То, что происходило в совещательной комнате, разумеется, осталось никому не известным. Но впоследствии, когда с генералом Канабеевым случилось то, что случилось и о чем я расскажу дальше, вокруг него создалась легенда, не считающаяся ни с какими тайнами и основанная, как это бывает всегда в таких случаях, не на фактической, а на психологической достоверности. Легенда эта гласит, будто голоса судей разделились поровну. Часть их склонна была истолковывать в пользу подсудимого те смутные, но неотвязные сомнения, которые витали над объективными фактами. Другая отдавала предпочтение осязательным доказательствам. Генерал Канабеев будто бы чувствовал уже заранее, что все дело решит перевес его председательского голоса, и это сознание его угнетало. Но все-таки он остался верен суровому долгу.

Приговор был прочитан среди того же кошмарного напряжения. В глазах всех это был приговор над *человеком*, в глазах многих — приговор над человеком *невинным*. Выслушав его, Маньковский поднялся и... протянул председателю вчерашний золотой.

— Ваше превосходительство,— сказал он.— Вчера вы дали мне золотой на телеграмму родителям или

на лакомства. Позвольте вернуть вам ваши деньги. Отдайте их палачу, который повесит меня по вашему приговору.

Защита потребовала, чтобы это неожиданное заявление было занесено в протокол [1]

С этого пункта дело поворачивается решительно в пользу приговоренного и против судьи, решившего приговор. Все защитники (их, кажется, было трое) были глубоко убеждены в невинности своего клиента, тем более что им была известна та бытовая сторона дела, которая все разъясняла, но не могла прорваться сквозь сеть судебных формальностей. Рассчитывать на обычную кассационную процедуру — это значило предоставить Маньковского неизбежной участи...

Ужас перед этой перспективой искал исхода и нашел его. В обычном, в правильном, в предусмотренном, в законном — его уже не было. Защитники нашли его в неожиданном, необычном и странном. Собравшись тотчас же, еще глубоко потрясенные приговором, они составили коллективное письмо на имя председателя. К сожалению, у меня нет подлинного текста этого замечательного документа, на черновике которого остались следы слез. В нем не было никаких юридических соображений, статей, сенатских решений, «новых обстоятельств». Он начинался с факта: «Вы сегодня осудили Маньковского», а кончался клятвенным заявлением: «Всем, что есть для нас святого, клянемся: он невиновен, он невиновен, он невиновен». Как видите, это был не отзыв, не жалоба, не то или другое законами предусмотренное защитительное действие. Это был потрясающий, хотя юридически нечленораздельный вопль, и он отдался по всей стране: в газетных телеграммах, по разным министерствам и департаментам, в обществе. Что случилось? Группа защитников выскочила из суда и оглашает всю страну криком: осудили человека, которого мы, защитники, считаем невинным. Зрелище единственное в своем роде, способ-

[1] Этот эпизод послужил впоследствии кассационным поводом и был оглашен в газетах. Это и дает мне возможность восстановить его здесь.

ное привести в изумление любого европейского юриста. Суд в установленном порядке выносит приговор... Суровый, но законный. О чем же кричат защитники, нарушая общественную тишину и спокойствие? Они убеждены в невиновности своего клиента! Но разве они свидетели или, тем более, присяжные? Во что обратятся суды, если признать, что такое убеждение, скрепленное клятвенным заверением, должно иметь силу юридического доказательства!

Это, конечно, справедливо, как, впрочем, справедливо и то, что нигде уже в Европе нет учреждения столь удивительного, как наша военно-судная юстиция... Своеобразный ход защиты возымел действие: военно-судный аппарат дрогнул. Первым успехом явилось то, что был дан ход кассационной жалобе, вторым,— что жалоба главным военным судом уважена. Этому, кажется, содействовал тот самый золотой, который председатель подарил подсудимому на лакомства. Назначается новое разбирательство. Маньковский из нового суда выходит оправданным.

Читатель подумает, быть может, что самое оправдание есть результат вопля защитников. Мы, русские,— народ недисциплинированный, мягкосердечный и рыхлый. Судьи — тоже русские люди. Приговорили человека к смерти, а потом рассолодели, прослезились и отпустили с миром. Нет, читатель, не таковы наши времена. Что-то немного видим мы примеров такой судебной «распущенности», а если бы случайно они где-нибудь проявились,— то судей скоро вернули бы к трезвой действительности теми мерами, какими добились, например, смертных приговоров в Новороссийске. На этот раз невинность Маньковского выступила с объективною ясностью...

Как же это могло случиться?

Дело опять разбиралось при закрытых дверях, и мы не можем изобразить здесь в подробностях, как расплеталась на втором суде сеть, сплетенная вокруг Маньковского предварительным следствием, показаниями господ Вильконецких, наконец просто несчастными обстоятельствами. Когда-нибудь (не скоро) об этом, быть может, расскажут защитники. И это будет правда, своей фантастичностью превосходящая самые невероятные вы-

думки Конан-Дойля и уголовных романистов. Но, чтобы показать, как это «бывает», я приведу бытовую подкладку одной только главной улики (кстати, она, кажется, так и не выступила на суде). Это — эпизод с пулями.

Вы помните: у Маньковского при обыске найдено несколько пуль, совершенно тождественных с теми, какими ранен помощник полицеймейстера. И даже с такими же точно нарезками. Его объяснение: нашел на улице! Ну, кто поверит такой аляповатой выдумке? Все «они» в таких случаях дают такое объяснение, если не смогут придумать лучшего.

Однако представьте себе тот же эпизод в несколько иной бытовой обстановке. Маньковский — рабочий. В день покушения он приходит на завод, и сам, по собственной инициативе, показывает пули, которые только что поднял на улице. Это слышит рабочий-сыщик. Он бежит в охрану и делится своим открытием. У Маньковского делают обыск и находят «те самые» пули. Конечно, если бы в обвинительном акте было рассказано, как нехитро полицейские Шерлоки узнали об этих пулях от *самого Маньковского*, то они потеряли бы всякое уличающее значение: не станет же убийца тотчас после выстрела показывать сторонним лицам патроны, какими он стрелял. Но — зачем же и охранникам раскрывать свои «профессиональные тайны»? Пули отправляются в суд просто в качестве найденных при обыске. Совершенно правдивое объяснение Маньковского является для самого добросовестного судьи совершенно невероятным. Маньковскому грозит смерть. Суд превращается в игрушку «охраны»...

На этот раз жертвой этого охранно-полицейского дознания стал злополучный генерал Канабеев. В том самом постановлении главного военного суда, которым отменялся первый приговор над Маньковским, был также пункт, которым председательствовавший генерал Канабеев привлекался к дисциплинарному производству. За что? Он нарушил какие-нибудь законы и именно поэтому суд чуть не казнил невинного? Ах, совсем нет! Суд действительно чуть не казнил невинного, но нарушение законов генералом Канабеевым тут совсем ни при чем... Высшая военно-судная инстанция нашла обидным для

достоинства судьи, что генерал Канабеев приходил к Маньковскому с предложением конфет.

Да, это, пожалуй, правда. Есть в этом эпизоде что-то «обидное для достоинства», потому что безгранично нелепое... Чувствуется какая-то прямо мефистофелевская гримаса, что-то вроде сантиментальной свирепости, — вообще кошмар, бред, безумие. Но — вина ли это данного лица? У генерала Канабеева просто доброе, мягкое сердце, а судьба сделала его военным судьей. Как член этого учреждения, он приговаривает (и даже невинного!) к смерти, а как добрый человек подносит приговоренному конфету. Злой, кровавый фарс? Насмешка над убиваемым? Сознательная карикатура на собственное ведомство? Ничего подобного,— просто символ, неожиданно загоревшийся над оргией казней, как библейское «Мане-текел-фарес»! И не надо быть Даниилом, чтобы понять его смысл. У нас теперь много говорят о «людях и учреждениях». Вот вам *человек* с добрым сердцем и *злое учреждение*. Злое учреждение казнит невинных, доброе сердце — подносит им перед казнью конфетку...

Постановление главного суда пока генералу Канабееву еще не объявлено. Дело в том, что, получив письмо защитников, насквозь прокипевшее негодованием и слезами, он был поражен до такой степени, что... стал проявлять явные признаки сумасшествия. Один из защитников, принимавший близкое участие во всем этом трагическом деле, уверял меня еще недавно, что злополучный председатель не оправился до сих пор и что вообще его считают безнадежным.

Да, вот что иногда значит военно-судная процедура для военного судьи. Одним концом она бьет по подсудимому и иной раз убивает невинного. Другим — по судье, если совесть у него не забронирована окончательно. Маньковский пережил ужас смертного приговора, но он все же оправдан и молод: может быть, выпрямится. А генерал с мягким сердцем сломан и раздавлен окончательно.

Есть, впрочем, и еще одна версия, едва ли, однако, изменяющая значение факта: говорят, будто генерал Канабеев уже и раньше был известен как судья, у которого «не все в порядке», и будто именно поэтому главный

военный суд легко пошел на кассацию. Дело Маньковского дало только последний толчок...

Трудно сказать, что лучше и что кошмарнее. И в том, и в другом случае — приговор над невинным и нравственное потрясение судьи, приводящее его с председательского кресла прямо в дом сумасшедших. Только в последнем случае — заведомый душевнобольной давно председательствует в судах, *казнящих смертью.* Разве это тоже не зловещий символ?.. Предоставляем выбор тем, кто дорожит «достоинством» военных судов.

IV

ЛОГИКА ВОЕННОГО ПРАВОСУДИЯ

Более полустолетия прошло с тех пор, как у нас введены гуманные судебные уставы императора Александра II. Лучшие умы того времени работали над ними. В них отразилось последнее (тоже для того времени) слово юридической науки. Если вы вор, мошенник, фальшивомонетчик... Если вы незаконно торговали вином, сводничали, брали ростовщический процент, подделали вексель, злоупотребляли доверием, взломали сундук, украли деньги... Вообще, если вам грозит штраф, арест, тюремное заключение до нескольких месяцев, ссылка на поселение,— к вам применят эти «гуманные уставы». Вам дадут гарантии защиты, и самый приговор будут взвешивать на аптекарски точных юридических весах, чтобы не отягчить вашу участь одной-двумя «степенями», месяцем-другим заключения. И после приговора вы еще получите возможность апелляции в одну инстанцию, кассации в другую, где вашу судьбу станут опять перевешивать, кидая на чашки весов лоты параграфов, золотники примечаний...

Но вот вы обвиняетесь по статье, которая грозит самым страшным из наказаний, бесповоротным, непоправимым: смертною казнью... Не тут ли именно необходимо дать все гарантии защиты: для вас — от напрасной смерти, для суда — от риска судебного убийства. Нет! Здесь вас как раз арестуют по первому указанию первого охранника, часто — заведомого преступника и негодяя, или даже по указанию лица, «оставшегося неизвест-

ным». Потом вас предъявят помощнику пристава Вильконецкому, и ему непременно «покажется», что он видел вас там, где вас не было. В подкрепление этих улик станут, пока вы сидите за семью замками, собирать новые сведения такого же рода и накопят все, что нужно, чтобы сделать вашу вину хоть сколько-нибудь правдоподобной. Тогда составят обвинительный акт, привезут в тюрьму, вызовут вас и скажут:

— Вот здесь все, что мы неделями или месяцами собирали, чтобы вас можно было повесить. В течение *суток* вы должны назвать нам свидетелей, которые могли бы все это опровергнуть... По истечении суток, хотя бы от свидетельского показания зависела ваша жизнь, мы уже вашего свидетеля не примем.

Подсудимый, часто полуграмотный или совсем неграмотный, растерявшийся, придавленный обрушившейся на него грозой,— что может сделать с этим своим «правом»? Человек, взявшийся его защищать, уехал на сутки из города, сам он не может разобраться в обвинительном акте. Может быть, в сутки он его не успеет прочесть. Большей частью — он пропускает срок. Все равно — его ведут без свидетелей и поставят беззащитным против обвинения.

Однако и этого мало. Поверите ли вы, что и эти жалкие сутки, которые практика часто (далеко не всегда) предоставляет военно-судным обвиняемым, даются не законом. Это только внезаконная уступка здравому смыслу и человеческому чувству со стороны исполнителей. Новейший, усовершенствованный уже в период обновления, закон (примененный впервые в деле Федосьева) требует, чтобы вы назвали ваших свидетелей немедленно, *в самый момент вручения обвинительного акта.* И тут человеческое сердце «смягчает» свирепую суровость закона, но... что оно может сделать ввиду его категоричности? Поднести канабеевскую конфетку: вам позволят тут же пробежать обвинительный акт глазами. Посмотрите: вот вам пять минут. Мало? Ну, четверть часа, полчаса, ну, наконец, час... «Добрый человек» уже рискует из-за вас навлечь на себя неприятности... Вы подавлены, взволнованы, буквы прыгают у вас перед глазами... Вы ничего не поняли и не можете указать людей, которые помогли бы вам опровергнуть не известные вам

улики? Тем хуже для вас: вы явитесь на суд без свидетелей.

Да! Но и тем хуже для судей: они легко могут стать убийцами невинного человека. Правда, не простыми убийцами... судебными. Но кто решит, какое из этих убийств безнравственнее, законопреступнее и хуже. Мне кажется, что хуже судебное.

И вот человек, захваченный шестернями этого ужасного аппарата, сидит на скамье подсудимых. Вопрос в этом зале идет об его жизни. По большей части (есть и тут отвратительные исключения) военные судьи будут и с ним, и с его защитником обращаться корректно:

— Что вы можете сказать в опровержение изложенного в обвинительном акте? Пожалуйста, что угодно! Вас не стесняют... А вот свидетелей?.. Это, к сожалению, нельзя. Вы пропустили сроки. Вы можете идти только по дороге фактов, которую проложило для вас обвинение.

А она прокладывалась прямо к виселице. И судьи тоже не имеют права глядеть по сторонам... Их совести тоже проложена дорожка...

Вот яркие примеры. В октябре 1906 года военно-полевой суд в Риге остановился перед ужасом смертного приговора над рабочим Карповичем по делу, обстоятельства которого судьи считали невыясненными. Суд потребовал доследования. Вскоре же газеты сообщили, что за такую любознательность офицерам, участникам этого суда, предложено подать в отставку [1]. В той же Риге, в таком же сомнительном случае, совесть судей искала убежища хотя бы в ходатайстве о «смягчении участи» приговоренного. Генерал-губернатор, знаменитый «усмиритель» генерал Меллер-Закомельский, объявил членам суда выговор [2]. За что? Военные судьи, по мнению генерала, не должны, очевидно, знать движений совести... Это относится, правда, к юстиции военно-полевой. Но вот в той же Риге, в *военно-окружном суде* мрачная вероятность судебного убийства встала в таком ужасающем правдоподобии, что военный прокурор, полковник Хабалов, счел долгом совести протестовать против

---

[1] «Бирж. вед.», цитирую из «Волыни», 24 окт. 1906 г., № 252.
[2] «Бирж. вед.», цит. из «Киевск. голоса», 29 ноября 1906 г., № 70.

смертного приговора по делу братьев Иосельзонов. По словам «Голоса Москвы», полковник Хабалов уволен от должности [1]. За что опять? Разве это не очевидно? Этот прокурор поступил согласно со своей человеческой и судейской совестью, законом, с присягой... Когда-нибудь, вероятно, историк военного правосудия выдвинет его имя наряду с зловещими именами русских Джефферсонов для смягчения в глазах потомства современной нам безотрадной картины. Но... согласный с честью и с законом поступок полковника Хабалова явно противоречит *логике военного правосудия*... Мораль ясна: судите, хотя бы на основании недостоверного материала. Подавляйте движения разума и совести, когда они вызывают колебания. Приговаривайте к смерти и ведите на виселицу, хотя бы были уверены в невинности казнимого...

Вы думаете,— это уже все, что можно сказать об этой человекоубийственной логике? Нет, не все.

Вот, например, киевские судьи казнили Глускера, и после казни явилась целая группа новых свидетелей, которые заявляют, что он казнен невинно. И рабочие, и хозяйка экономии, г-жа Гусева, утверждают, что в ночь убийства он был за сто верст от Почепа, где совершено преступление. Вероятность судебной ошибки в этом случае для всякого стороннего наблюдателя превращается в полную достоверность. Но... дело прошло уже по всем инстанциям, и... семье отказано в реабилитации хотя бы памяти невинно казненного.

Что же? Хоть тут-то кто-нибудь виноват? Нарушены какие-нибудь правила, посредством которых судьи обязаны искать свою (убивающую) «истину»?.. Нет, ничего и тут нарушено не было. Все совершилось как нельзя более «законно», если хотите,— даже «снисходительно». Прежде чем повесить Глускера, киевский суд сделал в его пользу больше, чем ему следовало по закону. Например, по его указаниям были вызваны свидетели, работавшие с ним вместе в день убийства. Им не поверили, но их вызывали. О, это большая любезность: в вызове могли просто-напросто отказать. Да! Потому что *для*

---

[1] «Гол. Москвы», цит. из «Киевских вестей», 3 дек. 1907 г., № 170.

удобства военного суда ему предоставлено право отказывать в вызове свидетелей, если они живут *за чертой того города*, где он изволил заседать! Вдумайтесь в это: убийство произошло в Почепе, Глускер был за сто верст в имении г-жи Гусевой. Но свидетелей по закону он должен искать не в Почепе, где совершено преступление, и не в имении, где они только и могли его видеть, а — в Чернигове, потому что там заседают господа судьи... И еще потому, что это не простые судьи, а судьи военные и что наказать они могут не просто тюрьмой или ссылкой, а — смертью. Нужно же предоставить им для этого все удобства!.. Вот в числе этих удобств есть и огромная вероятность «добросовестных» судебных ошибок.

Если эти строки попадут на глаза иностранного читателя, особенно юриста, мало знакомого с экстраординарными законами нашей родины, он подумает, пожалуй, что это плохая выдумка озлобленного русского журналиста. И что этот журналист рискует подвергнуться обвинению в «распространении заведомо ложных сведений», которые позорят законодателей, придумавших такие законы; ведомство, которое на их основании расследует, судит и казнит; государство, которое допускает это поругание здравого смысла и элементарной правды; всю нацию с людьми и учреждениями, которая выносит это без широкого, захватывающего, пламенного протеста!..

Нет... Об этом можно не беспокоиться. Конечно, русского журналиста всегда можно привлечь к суду по тысяче поводов, а если это неудобно для кого-нибудь, то можно распорядиться и без суда. Но в данном случае я только констатирую факт, который легко проверить. Спросите любого военного судью, следователя, прокурора:

— Есть такие законы?

И они вам ответят:

— Да, есть!

— И вы на их основании привлекаете и судите?

— Да, судим.

— И казните?

— Да, и казним.

— И ошибаетесь?..

— Да... Бывают «несчастные случайности». Впрочем, существует кассационная инстанция, которая должна исправлять ошибки, есть конфирмация с правом смягчения...

Кассационная инстанция! Мы подошли к последнему звену этой удивительной логики! Что и лучшие суды могут впадать в ошибки, это аксиома, поэтому приговоры даже правильно устроенных судов во всех культурных странах подвергаются пересмотру хотя бы только со стороны процессуальной.

Но у нас в обновленной России, после торжественных обещаний манифеста 17 октября,— и это по-иному. Апелляционные инстанции существуют. Но доступ к ним обеспечен лишь в том случае, когда вам грозит штраф, арест, тюремное заключение. Если же неправильность процедуры грозит вам напрасной смертью,— тогда, по логике военной юрисдикции, между вами и высшей инстанцией может стать генерал Скалон, генерал Каульбарс, генерал Сандецкий, которым вручено законное (о, законнейшее) право преградить вашей жалобе ход.

— Что там еще за кассация? Не желаю. Он еще жалуется? Повесить без дальних разговоров.

И иной раз в оправдание этой непреклонности приведут то соображение, что *ваша жалоба юридически правильна* и ее главному военному суду нельзя будет не уважить.

Если не ошибаемся, первый стал пользоваться этим не особенно завидным преимуществом своего высокого звания варшавский генерал-губернатор Скалон (например, в деле Каспржака, приговоренного за убийство полицейского в 1905 году) [1]. За ним, по протоптанной дорожке, беспечно последовали другие генералы, и, наконец, дело упростилось до того, что в некоторых округах право кассации на приговоры военно-окружных судов *упразднено огульно*. Вот что, например, написал в своем приказе в 1908 году временный генерал-губернатор Терской области:

«В целях охранения в пределах генерал-губернаторства порядка и общественной безопасности и *на осно-*

---

[1] «Рус. вед.», 26 авг. 1908 г., № 231.

вании 1403 ст. военно-судного устава, при конфирмации приговоров по делам, рассмотренным кавказским военно-окружным судом в порядке упомянутой статьи, *мною не будет даваться дальнейшего направления этим делам в кассационном порядке* по жалобам на приговоры военно-окружных судов в пределах Терской области».

Генералу этому показалось, очевидно, слишком затруднительным присматриваться к каждому отдельному случаю, где дело идет о человеческих жизнях, и он предпочел свое страшное право передать автоматическому аппарату, слепо, без рассуждения, без колебания, без мысли отстукивающему одно слово: «Отказать, отказать, отказать».

Мы знаем примеры, где такому же механизму передавалось другое право, еще более важное, ответственное, ужасное и, пожалуй, святое: право конфирмации, то есть утверждения казни или помилования, отмены, смягчения. И тут мольбы приговоренных, их отцов, матерей и жен, обращенные к человеческой душе, сердцу, иной раз просто к здравому смыслу и элементарной справедливости,— попадали в несложную и мертвую машину, так же автоматически ставившую штемпель: «Казнить, казнить, казнить!»

Фамилия бывшего временного генерал-губернатора Терской области — Ясенский. К сожалению, он не одинок в своем роде,— в моем распоряжении есть и еще подобные факты. Так, по делу двух журналистов, уроженцев Кутаисской области, кн. Нижарадзе и крестьянина Долидзе, судившихся в Туркестанском военно-окружном суде (и приговоренных к смертной казни), по требованию защиты оглашено предписание Туркестанского генерал-губернатора. Документ этот, присланный еще до суда, гласил, что «по кассационным жалобам и протестам на приговор военно-окружного суда не будет дано делу направления в кассационном порядке. Подлинный подписал: и. д. генерал-губернатора, генерального штаба генерал-лейтенант Мациевский». Своеобразная индульгенция, санкционирующая *вперед* возможные процессуальные нарушения! [1]

---

[1] «Соврем. обозр.», 21 янв. 1907 г.

Этот приказ имеет, по-видимому, сепаратное значение. Генерального штаба генерал-лейтенант Мациевский направил его специально по адресу данных двух лиц: Нижарадзе и Долидзе. Гораздо шире поставлено это дело его сиятельством господином кавказским наместником. В целях охранения государственного порядка и общественного спокойствия этот государственный деятель «признал необходимым не давать направления в кассационном порядке жалобам и протестам, подаваемым на приговоры военных судов в округе, по нижеследующим преступлениям: за вооруженное сопротивление караулу и полиции, убийство часового, чинов караула и полиции, а равно нападение на них, покушение на убийство и поранение должностных лиц при исполнении ими обязанностей, вооруженное нападение с целью грабежа, убийство на партийно-политической почве, а также при вымогательстве денег».

Это замечательное распоряжение вступило в силу с 25 августа 1908 года и оглашено в телеграммах официозного Спб. телеграфного агентства [1]. Как видите, оно ничем не отличается от приказа генерала Ясенского; широким размахом оно охватывает почти все виды «современных» преступлений. Но уже самая попытка этой квалификации вскрывает с замечательной выразительностью взгляды высшей администрации на самое значение военно-судной юстиции и на ее логику. По мнению кавказского наместника, возможность судебной ошибки вытекает как будто не из свойства человеческой природы, вообще склонной к ошибкам (errare humanum est *) и в частности не из поразительных недостатков нашего следствия и военного суда, а... оттого, насколько тяжко преступление, в котором вас обвиняют. Если это преступление еще не особенно сильно раздражает администрацию, то, пожалуй, у вас есть шанс спасения от пристрастного и неправосудного приговора в кассационной жалобе. Но, например, Юсупов, или Маньковский из Ревеля, или множество других, о которых ниже, ни в каком случае не могли бы рассчитывать, будь это в пределах Кавказа после 25 августа 1908 года, на спасение от неповинной

---

[1] См., напр., «Русские вед.», 27 авг. 1908, № 198.
* Человеку свойственно ошибаться (*лат.*).

смерти. Некоторые преступления внушают кавказскому наместнику столь глубокое отвращение, что... за них можно порой казнить и невинных...

Как человек я, конечно, имею совершенно определенное мнение об этих приказах. Как журналист и автор этих печальных очерков я могу быть только благодарен их авторам за то, что они предают их гласности, печатая в официальных органах. Теперь никто по крайней мере не обвинит меня в распространении «заведомо ложных слухов» о генералах, беспечно заменявших в тяжелые дни русской жизни работу своей личной совести и ума — простым механизмом, чем-то вроде штемпеля, отмечающего смертные приговоры, как железнодорожные кассиры штемпелюют билеты в кассах...[1]

Еще одна черточка. В «Русских ведомостях» уже в 1910 году было напечатано следующее коротенькое известие:

«Депутат Булат получил сообщение, что в Коканде приговорены к смертной казни несколько туземцев, *не понимавших русского языка*. Подсудимые поэтому *не отдавали себе отчста в серьезности грозившего им наказания* и не приняли никаких мер к подаче кассационной жалобы... Смертный приговор приведен в исполнение» [2].

Что это значит? Неужели им не дали даже переводчика, который на родном языке мог бы сказать им два слова: смертная казнь! В газете сказано ясно: «не понимали русского языка» и «не отдавали себе отчета». Если это так... то для этих кокандцев, среди которых тоже легко могли быть Юсуповы, вся судебная процедура упрощена до одной жестикуляции. «Суд идет. Встаньте!» Их подымают. «Зовут так-то? Обвинительные акты получены?.. Садитесь». Их усаживают. «Теперь опять встаньте. Что можете сказать в свое оправдание?.. Ничего? Вы не понимаете? Ну, садитесь...» Опять: «Суд идет. Встаньте». «По указу его императорского величества вы имеете быть повешены. Обжаловать можно в такой-то срок... Уведите их».

---

[1] Приказ вр. ген.-губ. Ясенского напечатан в «Тереке». Цитирую по газете «Слово» от 7 ноября 1908 г. Приказ кавказского наместника оглашен в телеграммах официозного СПб. телегр. агентства.

[2] «Рус. вед», 16 февр. 1910 г.

Их уводят... А затем — последний жест принадлежит уже палачу и виселице.

Неужели даже и это — правда? Впрочем... разве это не было бы только последним звеном в той цепи, которую составляет ужасная «логика военного правосудия»...

V

«ОТРАДНЫЕ ФАКТЫ».— ДЕЛО ЕРМОЛАЕВА В ПЕТЕРБУРГЕ. — ДЕЛА КУЗНЕЦОВА, НИКОЛЬСКИХ КРЕСТЬЯН И РЕШЕТИНА — В МОСКВЕ

«Отрадными» я называю их потому, что все они кончаются торжеством невинности, а иной раз даже и наказанием порока. Два таких дела (Юсупова и Маньковского), где невинных людей все-таки не вздернули на виселицу, мы уже изложили. Теперь следует *отрадный факт номер третий.*

Место действия — Петербург. Время — 1907 год. Дело идет о нападении на XI отделение петербургского городского ломбарда на Выборгской стороне. Полицией вместе с тремя виновными захвачен и совершенно неповинный юноша, крестьянин Ермолаев, по известной старинной русской формуле: «Там разберут». Ну, «там» и разобрали: петербургский военно-окружной суд приговорил Ермолаева к казни.

Кассационная жалоба оставлена без последствий. Остался последний акт трагедии. Для Ермолаева потянулось бесконечное томление «смертника».

О, если бы Ермолаев умел писать, он мог бы рассказать нам потрясающую картину того, что пережил он благодаря маленькой ошибке праведного суда, историю этих дней, пока его старая крестьянка-мать бегала «на воле» по разным учреждениям, чтобы спасти свое детище от казни, и этих ночей, когда сам он прислушивался с дрожью к каждому шороху в коридоре: не идут ли за ним?..

Наконец... вот оно: громыхают замки, слышен топот шагов, звякание шпор, стук ружейных прикладов... Трех приговоренных по тому же делу уводят, и через полчаса с ними все кончено. Ермолаева почему-то оставляют. Надолго ли? Может быть, до завтра?..

Почему? Одно известие (в газете «Речь») объясняет это простой «счастливой случайностью»: двор оказался слишком тесен для четырех, и казнь Ермолаева просто отсрочили. Между тем трое осужденных и признавших свою вину подали заявление на высочайшее имя, что осужденный с ними Ермолаев совершенно непричастен к экспроприации. Казнь задержали и в эту ночь, и в следующую. Наконец, старухе матери, просыпавшейся каждое утро с вопросом: жив ли еще ее сын? — сообщили, что дело будет пересмотрено... 25 октября 1907 года тот же военно-окружной суд (в другом составе) признал, что Ермолаев был осужден и пережил неизгладимый ужас совершенно безвинно...[1]

«Обрадованной» матери вернули «обрадованного» сына...

За следующими не менее «отрадными» фактами приходится последовать в Москву. Здесь тоже бывали и экспроприации, и грабежи, и военные суды... Ну, и, конечно, смертные приговоры над невинными.

В 1906 году произведено было среди белого дня нападение на казенную винную лавку в районе известной Прохоровской мануфактуры. Во время преследования одним из злоумышленников убит городовой. Нападающие скрылись.

Вскоре, однако, по доносу некоей Рыжовой и ее друга Запольского, арестован и предан суду рабочий Кузнецов.

Перед очами московских военных судей этот рабочий предстал при следующих обстоятельствах. Трое совершенно не заинтересованных свидетелей показали, что в день убийства Кузнецов пришел с ночной работы в восемь часов утра, спал до трех четвертей двенадцатого, потом пошел в столовую, где обедал в двенадцать, а в час дня опять стоял у рабочего станка на фабрике. Все это подтвердили рабочий Константинов, квартирная хозяйка Алексеева, табельщик Матвеев, заведующий столовой Черемухин и, наконец... контора Даниловской мануфактуры.

Между тем нападение и убийство городового произошло в одиннадцать часов утра в восьми верстах от фаб-

---

[1] «Речь», 1 июля 1907 № 153, «Русские вед.», 26 окт. 1907 г, № 245.

рики. Ясно, что Кузнецов физически не мог быть на месте преступления. Он называл еще многих свидетелей, но... в вызове их суд отказал, хотя срок для этого восстановлен.

И знаете причину отказа? Она очень любопытна. О восстановлении срока просил защитник, а свидетелей назвал суду сам Кузнецов. Московский военно-окружной суд нашел, что это непорядок: защитник ходатайствовал, значит защитнику и нужны свидетели. Лично Кузнецову они, очевидно, излишни, так как лично о восстановлении срока он не просил.

Любопытно, что даже охранное отделение аттестовало Кузнецова как человека спокойного и неподозрительного. На суде прошли все-таки девятнадцать свидетелей, подтвердивших все эти данные. Было, кроме того, выяснено, что доносчица Рыжова — брошенная после женитьбы любовница Кузнецова, а Запольский — «человек без определенных занятий», проще сказать, хулиган, которого Кузнецов избил за оскорбление сестры.

Скажите теперь: считаете ли вы вероятным, чтобы какой бы то ни было суд на этом свете решился приговорить человека к смерти при таких обстоятельствах?

Факт: 21 ноября 1906 года военно-окружной суд не в захолустном Грозном и не в Самарканде, а в столичном городе Москве вынес Кузнецову смертный приговор. Проницательные судьи не поверили девятнадцати беспристрастным свидетелям защиты и отдали предпочтение двум свидетелям, Рыжовой и Запольскому, которые лгали в пользу обвинения.

Выслушав этот приговор, Кузнецов перекрестился на икону и сказал:

— Христом клянусь, я приговорен невинно!

Много было таких случаев, и много русских людей крестились таким образом в залах военных судов на висящие там иконы. Но их все-таки казнили. То же, конечно, ждало и Кузнецова. Была подана кассационная жалоба. Главный военный суд ее не уважил. Приговор постановлен *законно*.

Между тем защитники Кузнецова, гг. Николаев и Кобяков, были глубоко убеждены, что они защищали и не сумели защитить человека невинного! Каково уходить из суда с таким убеждением людям, совесть которых не

мирится с успокоительными соображениями о формальной правильности своего поведения! Господин Николаев и его товарищи решили во что бы то ни стало спасти этого человека, погибающего на их глазах жертвой судебного убийства

Это было в Москве в приснопамятные дни «правления» генерал-губернатора Гершельмана. Нелегко было, прежде всего, добиться отсрочки казни, но они ее добились и возбудили затем уже в гражданском суде дело о лжесвидетельстве. В декабре 1908 года московский окружной суд рассмотрел это обвинение и признал, что Рыжова и Запольский оклеветали Кузнецова из мести. Рыжову сослали в каторгу, Запольского посадили в тюрьму, Кузнецова вернули с каторжных работ, куда он был сослан в ожидании исхода дела [1]. Суд и каторга продолжались для него около двух с половиной лет.

А затем, как мне сообщил г. Ордынский, отыскался и настоящий виновник убийства городового. Фамилия его Журавлев, и из дела выяснилось, что он был один. Его, конечно, казнили.

Что же? Послужило ли это по крайней мере уроком для господ московских военных судей? Внушило им бо̀льшую осторожность в обращении с человеческой жизнью?

Ответ налицо: дело Кузнецова закончилось в 1908 году. И в том же году тот же суд вновь приговаривает к смерти четырех неповинных крестьян.

В светлую лунную ночь на 1 июня 1908 года в селе Никольском (Звенигородского уезда, Московской губернии) случилась тревога. Церковные сторожа Елкин и Горин, разбудив священника, заявили, что два часа назад ограблена церковь. Грабителей было четверо. Они выбежали будто бы из кустов, один отстал, а трое с револьверами кинулись к ним, столкнули их в сторожку, находившуюся в церковном подвале, заперли их там, а затем произвели грабеж.

Если бы наше предварительное дознание было хоть сколько-нибудь проникнуто стремлением к выяснению истины, а не к обвинению во что бы то ни стало таких-

---

[1] «Нов. Русь», 6 дек. 1908 г.; «Киевские вести», 25 марта 1909 г.

то лиц, то очень скоро стало бы ясно для властей то, что было ясно населению: сторожа бессовестно лгали и сразу же стали менять версии своего рассказа. Уже судебному следователю они поднесли другой вариант.

Нападение произведено, когда они были в сторожке. Ночью залаяла собака, открылась дверь, и в караулку вошли четыре человека. Горин, спавший подальше от входа, успел якобы незаметно для разбойников забиться под койку, а Елкина один из грабителей ударил чем-то по голове. От удара он впал в беспамятство. Разбойники зачем-то все вышли, потом все вернулись и связали Елкина принесенной веревкой. Елкин притворился мертвым, но один из них сказал ему: «Лежи, пока мы не сделаем того, зачем пришли». В вошедших Елкин узнал Очагова и еще трех крестьян-односельцев. Несмотря на тесноту и темноту в сторожке, он разглядел даже, что у одного из них, Абренина, был «за спиной» револьвер, «такой же системы, как вот у вашего благородия» (следователя).

Много свидетелей показывали согласно, что всех подсудимых видели в других местах. Ложь сторожей становилась все яснее,— стало известно, что Горин даже не был в ту ночь у церкви, а ночевал в деревне у жены. Но... наши следственные порядки известны: тяп-ляп, и человек готов для тюрьмы, для Сибири, а при военных судах — и для виселицы.

Тридцатого декабря (1908) четверо никольских крестьян предстали перед московским военным судом; в это время (6 декабря) был уже произнесен вердикт присяжных, из которого господа судьи могли узнать, что в деле Кузнецова они (или их товарищи) чуть не казнили невинного благодаря двум лжесвидетелям. И вот опять перед судом два лжесвидетеля, против которых выступают десятки показаний односельцев. Все подсудимые работают на фабрике купцов Поляковых. Никто из них не судился и не подвергался никаким замечаниям. Все женаты, всего на руках у них четырнадцать детей и четверо стариков. Судьба двадцати двух человек зависит от внимательности, совести и проницательности судей. За спиной у них недавняя грубая ошибка...

Состав суда впервые (для вящего упрощения процедуры!) уменьшен до трех судей. Председательствует

генерал Дубле, присланный, как говорят, для того, чтобы еще «подтянуть московских судей». В зале темно. Окна какого-то полуподвала тусклы. Вечером керосиновые лампы слабо освещают судейский стол, еще не обтянутый сукном. Все какое-то временное, спешное, торопливое... как и эти торопливые дознания, следствия, постановления о предании военному суду...

На суде сторожа дают еще новые версии показаний, несообразности которых бьют в глаза. Свидетели защиты напрасно стараются восстановить правду. Суд глух к их показаниям.

В восемь часов вечера под новый год суд вынес всем четверым обвиняемым приговор к смертной казни. Толпа родственников окружила защитника, С. П Ордынского. Тусклая лампочка освещала эту группу людей, пораженных ужасом, негодованием, бессильным отчаянием. Как и в деле Юсупова, для всех сторонних зрителей было ясно, что суд совершает простое убийство невинных. С дежурным офицером несколько раз делалась нервная рвота. Один из свидетелей внезапно стал говорить какой-то нервный вздор, и с ним случился припадок (он так и не оправился,— косвенная жертва военного правосудия).

В ту же ночь защитник С. П. Ордынский и его молодой товарищ В. Г. Луи написали кассационную жалобу и несколько докладных записок. Надежды у них было мало: в приговоре все было «правильно»... если не считать того маловажного обстоятельства, что к казни приговорены невинные. Генерал-губернатор Гершельман? В Москве как раз говорили, что этот генерал почти разошелся со своим адъютантом, кн. Трубецким, когда тот решился замолвить слово за одного из приговоренных.

Полдень нового года застает г. Ордынского, после бессонной ночи, в приемной московского митрополита, среди праздничного настроения. Его преосвященство принимал многочисленные поздравления. Так красивы эти старинные рассказы о святителях, останавливавших руку палачей. Но это было давно... От московского митрополита защитнику пришлось выслушать суровый отзыв: в последнее время церкви грабят слишком часто. Репрессия необходима. У московского митрополита г. Ор-

дынский не нашел заступничества в пользу невинно осужденных.

Было бы слишком долго описывать все мытарства, через которые довелось пройти защитнику, глубоко почувствовавшему неправду и ужас «правильного» военно-судного приговора. Он толкался в самые неожиданные инстанции, обивал пороги, заводил собственно для этого дела «влиятельные» знакомства, наталкивался на суровое равнодушие и на доброе человеческое участие. В невинности приговоренных ему удалось убедить несколько влиятельных лиц. Один из фабрикантов Поляковых лично ездил к генералу Гершельману с секретарем Красного креста, господином Ляминым.

Удалось экстраординарными усилиями добиться сначала отсрочки казни; потом генерал Гершельман, *вне всякого установленного порядка*, «чтобы выяснить дело для себя» (счастливая любознательность!), предложил судебной палате командировать следователя для дополнительного расследования. Поляковы предоставили в распоряжение господина Ордынского всю свою фабрику, со всеми служащими, лошадьми и телефоном, и защита параллельно произвела свое следствие на месте.

Здесь благородные усилия защитников были встречены общим сочувствием населения, для которого дело было ясно как на ладони. Что делают эти господа в простых черных сюртуках? Они стараются предупредить страшное дело: убийство заведомо невинных, которое уже изготовлено в самом «законном порядке» господами судьями в военных мундирах... Помогай им господь! Мозолистые руки поднимаются для креста и молитвы. И все глаза направляются на доносчиков. Горина заставляют лезть под койку, куда он якобы «незаметно» спрятался от грабителей и откуда наблюдал за событиями. Это оказывается физически невозможным. Вся картина явно извращена и невероятна. Подавленный общим гневом и презрением, лжесвидетель через несколько дней умирает от разрыва сердца, но легенда иначе объясняет эту смерть: на месте говорят, что Горин умер тут же под койкой. Его «притянула земля» за оговор невинных [1].

---

[1] Сведения об этом деле оглашены во многих газетах (см. напр., «Вятскую речь», 30 января 1910 года, № 24). Кроме того, я пользовался указаниями лиц, близко знающих дело.

Лжесвидетельство признано присяжными, и «маленькая ошибочка» военного суда исправлена судом гражданским. «Обрадованные» крестьяне вернулись из-под виселицы к семьям.

Конечно, если бы этих крестьян сразу судил гражданский суд с присяжными, то судьи, вероятно, потрудились бы выехать на место и убедились бы, что сторожа лгут. Но, господа военные судьи! Нельзя и подумать, чтобы они стали так беспокоить себя из-за четырех жизней... Они военные! Они вот и свидетелей могут не вызвать из-за черты города! Они, если бы и пожелали, не могут проверить лживых показаний, так как должны судить безостановочно и стремительно...

Так стремительно, что... в том же 1908 году, вслед за никольскими крестьянами, вновь приговаривают к смерти невинного Решетина.

Об этом деле в свое время газеты не говорили ничего, и оно всплыло совсем недавно. Интересно, что оно составляет точную копию дела Кузнецова. Опять разбойное нападение (в 1908 году), но не на винную лавку, а на Богородицкую фабрику. Опять двое лжесвидетелей. Роль Рыжовой играет некая Шашникова, роль Запольского — подкупленный ею мальчик Савельев. Оба они «опознают» крестьянина, бывшего солдата Решетина, как участника нападения. Опять, конечно, свидетели защиты опровергают лживое показание, и опять «проницательные» судьи верят лжецам, а не честным людям. На этот раз, впрочем, московский военно-окружной суд оказался милостивее: невинного Кузнецова он приговорил к виселице, невинного Решетина — к каторге на пятнадцать лет, где Решетин и пребывал почти три года (а может быть, пребывает и поныне). Мы не знаем, как и кому он успел подать голос из глубины сибирских каторжных тюрем, и кто, добрый человек, первый протянул ему туда руку помощи. Известно только, что уже в 1910 году в московском окружном суде рассматривалось дело о лжесвидетельстве. Шашникова приговорена к году тюремного заключения (малолетний Савельев оправдан, как действовавший под ее влиянием). Присяжный поверенный Переверзев выступил в кассационной инстанции представителем интересов невинно осужденного Решетина. Главный военный суд постановил: приго-

вор отменить и московскому военно-окружному суду войти в обсуждение: нельзя ли извлечь его жертву из каторги впредь до пересмотра дела.

Это было уже в марте текущего 1911 года. Теперь Решетин, может быть, уже «обрадован», если только жив. «В жалобе невинно осужденного есть заявление о том, что, находясь уже три года под каторжным режимом, он неизлечимо заболел» [1].

VI

В ОДЕССКОМ ВОЕННО-ОКРУЖНОМ СУДЕ: ДЕЛО АЙЗЕНБЕРГА.— ДЕЛО ТОКАРЕВА И БОБОРЫКИНА ПРИ ЛЮБЕЗНОМ УЧАСТИИ ПРОВОКАТОРА ХОРОЛЬСКОГО

Молодой человек, уроженец Польши, еврей Перец Айзенберг, в 1905 году был несколько раз арестован и в один из промежутков уехал за границу. Здесь, однако, его охватила тоска по родине. Он вернулся и отдался в руки властей, предоставляя суду разобрать все свои прегрешения. Житомирский окружной суд рассмотрел все, что администрация имела против Айзенберга, и отпустил его с миром, так как никаких улик не нашлось.

Айзенберг вздохнул свободно и отправился в Одессу на зубоврачебные курсы. Бедняга не знал, что здесь над ним нависла туча, темнее прежних... Дело в том, что на белом свете существовал еще один Айзенберг, по имени Лейба, известный полиции вор, и фотографическая карточка его хранилась в охранном отделении. Пятого марта 1908 года на одной из одесских окраин произведено нападение на артельщика Сорокина, у которого отнято триста рублей. Нападавшие скрылись. Начались розыски. Стали, конечно, просматривать карточки преступников. В лице Лейбы Айзенберга (вора) кто-то опознал одного из нападавших. Нужно, значит, разыскать Айзенберга. Арестуют злополучного Переца Айзенберга, ученика зубоврачебных курсов, и Перец Айзенберг предстает перед одесским военно-окружным судом вместе с некиим Агеевым.

---

[1] «Русское слово», 3 марта 1911 г., № 51.

Дело слушается 22 апреля 1908 года. Потерпевший, Сорокин, «опознавший» грабителя по карточке (снятой с другого Айзенберга), на суде отказывается признать сходство этого Айзенберга с тем, кто на него нападал, и даже с предъявляемой фотографией. Другой обвиняемый, Агеев, сознавшийся в нападении, решительно отрицает участие Айзенберга. Но полицейский пристав Павленко и кучер Сорокина настаивают на тождестве подсудимого с лицом, снятым на карточке. Одесские военно-окружные судьи приговаривают Переца Айзенберга по карточке Лейбы Айзенберга к смертной казни через повешение. Кассационной жалобе командующий войсками (по-видимому, «знаменитый» генерал Каульбарс) не дает движения, но, к счастью, заменяет казнь бессрочной каторгой.

Приговор вступил в законную силу, когда родителям (людям тоже, к счастью, состоятельным) удается расследовать пикантную историю карточки Лейбы Айзенберга, по которой опознали их сына Переца. Оказалось, что в то время, когда происходило первоначальное опознание, карточки Переца Айзенберга в сыскном отделении вовсе и не было (вплоть до его осуждения). Защитники Андреевский и Гольдштейн развернули перед главным военным судом эту блестящую страницу из деятельности одесского военно-окружного суда, и высшая военно-судная инстанция постановила: приговор в отношении Переца Айзенберга отменить и дело передать в тот же суд в новом составе. «Это поистине воскресение из мертвых!» — восклицает один из корреспондентов, описывавших это дело [1].

Конца этой трагедии-водевиля я не знаю. Надо думать, однако, что Переца Айзенберга, вовсе неповинного в снятии с него карточки, судьи отпустили... Остался ли он и после этого в России, или одесский военно-окружной суд окончательно излечил его от тоски по родине, мне тоже, конечно, неизвестно.

Следующий «отрадный факт» переносит нас в Екатеринослав, но, так как этот город находится в одесском военном округе, то почетная роль в нижеизлагаемой тра-

---

[1] Сведения взяты мною из газет: «Волынь», 3 июня 1909 г., № 149 и «Нижегор. листка», 24 мая 1909 г., № 138.

гикомедии принадлежит опять тем же *одесским* военным судьям.

В одном чрезвычайно интересном документе, полученном мною от вполне сведущего человека, говорится, что Екатеринослав, по числу ошибочных казней, должен быть поставлен на первом месте. Не смею на этом настаивать, так как, к сожалению, некоторые другие города не без основания готовы оспаривать это печальное первенство.

Итак, в городе Екатеринославе 11 июня 1908 года в квартиру рабочего Токарева, в его отсутствие, пришел другой рабочий. Под мышкой у этого посетителя был сверток, который он положил на полку и удалился. А вслед за ним, как водится, нагрянула полиция.

Фамилия человека со свертком — *Хорольский.*

Ныне эта фамилия пользуется широкой известностью: о Хорольском был даже запрос в Государственной думе, около этого имени шли горячие прения, которые увековечены в анналах 29-го заседания IV сессии российского парламента [1]. Никто не решился выступить на защиту уличенного провокатора, и речь шла о степени «официальности» его провокаторской роли.

Но в то время, то есть 11 июня 1908 года, когда он явился со свертком в квартиру Токарева, он еще не был знаменит и только начинал карьеру. В свертке оказались две бомбы и... станок для выделки фальшивой монеты, которые полиция, разумеется, не замедлила «обнаружить». Бомбы были завернуты в бумагу и на обертке одной из них была предусмотрительно написана фамилия еще одного рабочего: «Боборыкин»... Как известно всем сообразительным людям, оно так обыкновенно и бывает: собственники бомб старательно помечают их своими фамилиями, как школьники помечают тетради: сия, дескать, бомба принадлежит Иванову, а такая-то Семенову...

Очевидно, репутация Хорольского мало заслужена: кого, казалось бы, способна ввести в заблуждение такая наивная провокаторская стряпня?

Ответ налицо: она оказалась достаточно хорошей для одесской военной прокуратуры и для членов одесского

---

[1] См. также газеты того времени, между прочим: «Речь», 2 дек. 1910 г., № 331.

военно-окружного суда. Суду этому были преданы трое: Токарев, Боборыкин и... сам Хорольский. Неискусный провокатор плохо замел следы: появление его в квартире скрыть оказалось невозможно, и он попал тоже на скамью подсудимых.

Судьбе угодно было несколько задержать стремительный ход военного правосудия: Токарев заболел (мудрено ли?) настолько серьезно, что его дело пришлось выделить. Сначала, значит, судили только двоих: Хорольского и Боборыкина...

Одного суд оправдал .. кого?

Принесшего бомбы Хорольского!

Другого обвинил... Кого?

Ну, конечно, ни в чем не повинного Боборыкина, который после соответствующей (одесской!) конфирмации и очутился в каторжных работах.

Затем наступила очередь хозяина квартиры Токарева, который к тому времени выздоровел.

Разумеется, военный суд над ним был бы простою формальностью: он был все-таки хозяином квартиры, куда Хорольскому угодно было принести бомбы, и если каторга постигла Боборыкина, человека совершенно стороннего, чего же мог ожидать «хозяин»? К счастию для обоих, в стремительном ходе военной юстиции случилась еще одна непредвиденная усложняющая задержка. Мы уже говорили, что провокатор, кроме бомбы, подкинул Токареву еще и станок для выделки фальшивой монеты.

Это была грубая ошибка: станок для выделки монеты — дело, так сказать, гражданское, усложнившее подсудность. Провокатор или те господа более высокого ранга, кто им распоряжался, не рассчитали, что за выделку фальшивой монеты Токарева будут теперь судить не проницательные одесские военные судьи, а... присяжные. Ну, а для суда присяжных такая грубая провокаторская стряпня уже не годится. И случилось еще так, что суд присяжных (за монету) состоялся ранее военного суда...

Произошла настоящая юридическая катастрофа. Хотя присяжные имели дело с теми же людьми и с теми же «свидетелями», только на столе вещественных доказательств вместо бомбы лежал станок,— но они вскрыли

всю провокаторскую махинацию. Оправдав без колебаний Токарева, присяжные ходатайствовали перед коронным судом: «довести до сведения господ членов одесского военно-окружного суда о роли Хорольского для предупреждения возможной судебной ошибки...»

С таким многозначительным предупреждением дело Токарева вновь поступило в тот же одесский военно-окружной суд, который упрятал уже одного невинного на каторгу.

Положение суда и особенно положение одесской военно-судной прокуратуры оказалось на сей раз довольно деликатным, и прежняя прямолинейная стремительность, очевидно, была уже не к месту. Боборыкина при тех же обстоятельствах суд приговорил к каторге... *Токарева он оправдал.* Я не знаю, были ли в составе суда те же судьи, которые судили Боборыкина, или они уступили эту честь другим,— во всяком случае парадоксальная связь обоих приговоров сказалась так живо, что суд почувствовал потребность мотивировать свой приговор. В постановлении суда прямо говорится, что «бомбы в квартиру Токарева были доставлены в день обыска *агентом охраны* Хорольским, *чего Токарев и не знал»*

Токарев вышел оправданным, но положение суда стало еще более деликатным: осудив невинного Боборыкина, одесская военная Фемида признала теперь виновность Хорольского. А Хорольский оправдан В этих трудных обстоятельствах судьи задались вопросом: «с какою целью» Хорольский мог разносить по чужим квартирам бомбы, а потом приводить туда полицию? Ответ одесского военно-окружного суда на этот вопрос прямо бесподобен: *«цель эту выяснить не удалось»...*

Да, есть порой юмористические обороты речи даже в стиле военно-судных резолюций. Может быть разгадка необыкновенно трудной шарады нашлась бы легче, если бы вместо психологического вопроса о субъективных целях Хорольского кто-нибудь задался вопросами чисто объективными: по чьему приказу и с чьего ведома действовал «агент екатеринославской охраны», и в каком из екатеринославских учреждений фабриковались разносимые им бомбы? К сожалению, русские суды — даже и не военные — не желают тратить время на такие слишком уж элементарные вопросы...

Возвратимся к нашему «отрадному факту». Одесской военной Фемиде грозила новая неприятность: Боборыкин в глубине своей каторги, где-то в Александровске или Акатуе, все-таки узнал о новом обороте дела, и у него явилось естественное желание тоже выйти на волю. По-видимому, он не читал тех российских философов, которые вместе с Д. И. Тихомировым и К. Н. Леонтьевым находят, что можно быть отлично свободным и на каторге и что это, пожалуй, есть наиболее подходящий для русского человека вид свободы... Он нашел адвокатов, которые взялись вести его дело, и вот весь этот клубок, завязанный провокатором, предъявлен на разрешение главному военному суду. И главный военный суд разрешил...

Я знаю: читатель, подготовленный всеми предыдущими военно-судными чудесами и эффектами, ждет от меня новой ошеломляющей неожиданности: главный военный суд в пересмотре откажет?

Нет, читатель, нет: дело пересмотрели, и Боборыкин теперь опять, вероятно, работает на фабрике, вспоминая свою экскурсию на каторгу как тяжелый сон. И, вероятно, рассказывает по вечерам своей семье и знакомым о коварстве злодея Хорольского и о необыкновенной сообразительности одесских судей... Но до этого происходили в главном военном суде интересные прения.

Представителем логики военного правосудия выступил по обязанности помощник главного военного прокурора генерал-майор Макаренко, дававший заключение на просьбу Боборыкина. В газетах это заключение было изложено так:

«Помощник главного военного прокурора генерал-майор Макаренко, указывая на отсутствие в деле новых обстоятельств, высказался за оставление ходатайства (Боборыкина) *без уважения*, настаивая на необходимости исправления главным военным судом в порядке надзора приговора одесского военно-окружного суда в смысле исключения из приговора всего того, что касается в деле агента Хорольского».

Это было напечатано и перепечатано во многих газетах [1] и никем до сих пор не опровергалось. Значит, этот

---

[1] Цитирую по «Киевским вестям», 15 февр. 1910 г., № 46.

силлогизм действительно оглашал залу заседания военно-окружного суда в «конституционной» России XX века. Если перевести его с протокольно-кассационного языка на простой разговорно-обывательский, то это будет звучать так:

Главный военный суд имеет дело не с людьми и их интересами, не с Хорольским, Боборыкиным и Токаревым, а только с кассационным производством за номером таким-то Два приговора одесского военно-окружного суда стоят, по-видимому, в существенном разногласии: при одних и тех же обстоятельствах («бомбы подкинул Хорольский») Боборыкин осужден, Токарев оправдан. Это очень неудобно для Боборыкина, но не касается нимало до главного суда. И притом разногласие легко упраздняется: в оправдательном приговоре по делу Токарева одесский суд допустил излишнее многословие, упоминая о роли Хорольского и задаваясь вопросом об его «цели». Стоит «в порядке надзора» исключить все это место,— и тогда все бумаги кассационного производства в порядке; Токарев оправдан — его счастье. Боборыкин может оставаться на каторге или... придется прибегнуть к каким-нибудь внесудебным приемам для его спасения...

Главный военный суд, однако, не пожелал стать на эту, пожалуй, вполне последовательную точку зрения. Дело постановлено пересмотреть, а о действиях военно-прокурорского надзора одесского военного округа довести до сведения главного военного прокурора.

Какие это «действия» и в какой связи стояли они с «невыясненными целями» провокатора Хорольского,— мы не знаем.

VII

О ТОМ ЖЕ — В ТЮМЕНИ.— В ВАРШАВЕ.— В КИЕВЕ.— В ВИЛЬНЕ

Тринадцатого сентября 1908 года в Тюмени был ограблен артельщик Маругин. Полиция обнаружила необыкновенную энергию и доставила суду целую группу в девять человек, которые, как оказалось впоследствии, все были к этому делу нимало не причастны. Может ли быть, чтобы «несчастные случайности» коснулись сразу девяти человек и чтобы предварительное следствие

впало в такое массовое «добросовестное заблуждение». Мало вероятно, что касается добросовестности, но фактически верно. Суд в первой же сессии по этому делу *оправдывает* пять человек. Как бы в виде удовлетворения следствию, четырех решает все-таки *казнить смертью*. Нельзя же, в самом деле, оправдать всех привлеченных Зачем-нибудь трудились господа полицейские, жандармы, охранники, свидетели (и лжесвидетели?), наконец, господа прокуроры. Однако после того, как на месте поднялось общественное мнение, а в Петербурге стали хлопотать депутаты Дзюбинский и Скалозубов,— военное правосудие призадумалось и выпустило с миром остальных четырех. Итак, *все девять* привлечены по недоразумению, и четверо невинных обывателей имели случай испытать сильное ощущение смертного приговора. И все-таки живы. Случилось это счастливое обстоятельство уже 27 июля 1909 года [1]. Сильные ощущения продолжались, значит, в течение года!

В Варшаве некоего Павла Ибковского невинно приговорили к казни по ложному доносу Идзиковского и Мартынкевича. Кто тут успел проявить «нечеловеческую энергию», чтобы сначала удержать суровую руку генерал-губернатора Скалона, потом возбудить дело о лжесвидетельстве,— мы так и не знаем. В конце концов лжесвидетельство доказано, и, надо думать, Ибковский из-под виселицы возвращен уже в лоно семьи [2].

В Варшаве в 1905 году «за покушение на убийство околодочного надзирателя Абрамовича» Домбровский, Шевченко и Зелинский приговорены военно-окружным судом к повешению. Оказалось, что покушение произведено до введения в городе усиленной охраны. Дело было кассировано и передано в гражданский суд. При этом обнаружилось, что один из осужденных (Зелинский) приговорен к смерти невинно, суд его оправдал [3].

Еще одно, совсем уже свежее известие из Киева. Двадцать пятого октября 1908 года в киевском военно-окружном суде разбиралось дело о казаке Коваленке и крестьянине Иване Безе, обвиняемых в разбойном напа-

---

[1] «Киевские вести», 3 авг. 1909, № 231.
[2] «Р. слово». Цит. из «Полт. голоса», 7 мая 1910.
[3] «Цит. из «Волыни», 20 дек. 1908 г., № 20.

дении на дом Дурицкого. Оба приговорены к *смертной казни* через повешение. Родные осужденных обратились к прокурору нежинского окружного суда с заявлением, что в данном деле произошла судебная ошибка, так как они могут доказать, что показания, данные на суде свидетелями обвинения Меланией Климковой и Григорием Каращуком, ложны. Они находились в услужении у потерпевшего Дурицкого и лжесвидетельствовали по подговору хозяина. Начатым по этому поводу следствием факт лжесвидетельства скоро обнаружился с полной ясностью. Оказалось, во-первых, что показания противоречили обстоятельствам дела, чего военный суд не изволил заметить за спешностью, а во-вторых, свидетели сами признавались сторонним лицам, что оговорили подсудимых по требованию хозяина («за подарок к празднику»). Совсем уже недавно, 11 сентября 1910 года, окружной суд в Нежине разбирал это дело. Это была очень характерная и чрезвычайно выразительная картина. В заседании были две интересные группы: на скамье подсудимых сидели Дурицкий, Каращук и Климкова. В качестве свидетелей были приведены в кандалах Безь и Коваленко, *присужденные к смерти* и ожидавшие отмены приговора или приведения его в исполнение с 25 октября 1908 года. Кроме того, тут шла тяжба между двумя судами: военный суд требует смерти невинных. От приговора суда присяжных, еще уцелевшего остатка «доконституционных» учреждений, они ждут освобождения.

Присяжные признали наличность лжесвидетельства. Климкова и Каращук осуждены (Дурицкий оправдан). Безь и Коваленко еще целых четыре месяца ждали в тюрьме, пока — уже в январе 1911 года — киевскому военно-окружному суду угодно было, наконец, оказать им милостивое внимание. Впредь до нового разбирательства их дела (которое, конечно, является уже простой формальностию) постановлено выпустить их под надзор полиции Итак — два года под угрозою смертной казни и четыре месяца тюрьмы после обнаружения невиновности. Своеобразное, истинно русское благополучие [1].

---

[1] «Огни» («Киевская копейка»), 14 сент 1910 г, № 194 «Рус. ведом.», 19 января 1911 г, № 14. Честь защиты принадлежит г-ну Шишко.

Наконец, вот еще и в Вильне в 1908 году военно-окружной суд приговаривает к смертной казни ни в чем не повинного крестьянина села Ляховки, Степана Филипцевича, якобы за убийство лесного объездчика. К великому его благополучию, суд допустил явные правонарушения, вследствие которых приговор кассирован. Вторично это дело разбиралось 24 апреля 1909 года, и на этом втором разбирательстве выяснилось, что беднягу Филипцевича собирались повесить совершенно напрасно: «после двухчасового совещания» судьи признали Филипцевича невиновным и отпустили с миром. Под страхом смерти он пробыл более четырех месяцев. Защитил его от напрасной казни присяжный поверенный Торховский [1].

VIII

«ОБРАДОВАННЫЕ» РУССКИЕ ЛЮДИ

Итак, вы видите: широкая практика военных судов со всеми их неожиданностями расширила диапазон ощущений современной русской души.

До сих пор мы знали обычные, присущие всем людям мирные радости повседневной жизни. Теперь в нас зазвучала новая струна, резкая, сильная, незнакомая прозаическому европейцу. По Руси разлился новый вид радости. Это радость людей, глядевших в глаза позорнейшей смерти, раз уже невинно приговоренных и... сорвавшихся с виселицы. Острое ощущение возвращенной жизни... Восторг отцов, матерей, сестер, братьев, женихов и невест, которым отдают любимых и близких людей прямо из петли.

Их много, очень много, теперь таких обрадованных русских граждан. Их можно порой встретить в обычной, будничной, повседневной обстановке. Они, как и прочие обыкновеннейшие люди, заняты своими делами, работают, обедают, гуляют, даже и веселятся. Вообще — люди, как все. Но над их головами как будто носится какая-то неуловимая тень, род нимба. И когда они отворачиваются или отходят, о них говорят шепотом:

— Это NN. Слыхали? Был приговорен к смертной казни. Спасла счастливая случайность...

---

[1] «Слово», 28 апр. 1909 г., № 779.

Мне тоже приходилось встречать таких людей.

Раз — это было в вагоне железной дороги около Белгорода. Обращали на себя внимание два пассажира третьего класса в одежде мещан или сельских разночинцев. У одного — обыкновенное, но какое-то тускло-серое лицо, и из-под туго сдвинутых бровей глаза смотрели тяжело, неподвижно, без мысли. Другой был похож на него, только постарше. У этого лицо было выразительное, страдающее и озабоченное. На первый взгляд, больным из этих двух людей можно было признать второго.

Мне с ними пришлось ехать недолго, и я сначала не обратил на них особого внимания. И только когда они ушли на узловой станции, я заметил, что в вагоне что-то осталось от них, какая-то робкая, осторожная тень. Никто не садился на оставленное ими место, соседи обменивались полувздохами, короткими, оборванными фразами, из которых я узнал, что это два брата и что один из них был приговорен к смертной казни, а потом оправдан и отпущен на свободу.

Ни подробностей, ни фамилий я так и не узнал. Может быть, это был один из тех, чью историю я рассказал вам на предыдущих страницах, а может, и совсем другой, безвестный, о котором никто ничего не писал Можно ли написать о всех, так или иначе задетых широким жизненным явлением? На мои дальнейшие расспросы пассажиры, ехавшие с ними раньше, отвечали неохотно и скупо. Скажет, и как-то почти враждебно отвернется... Подвели лихие люди по злобе... Мало ли их теперь. Тронулся, сердечный, шутка ли!.. Не буйствует, а только часами смотрит в одну точку и потом внезапно разрыдается. Семья не бедная. Возили к докторам,— говорят, может еще и поправится.

Вот все, что мне удалось узнать. Вагонные разговоры мгновенно угасали, как искра в золе. Есть вещи, которые стоит только назвать, и уже это значит осудить кого-то и что-то. А по нынешним временам осуждать вообще опасно. Успокоение! Однако у меня все время стояла мысль: «Уж лучше бы говорили! Пожалуй, было бы даже спокойнее».

В другой раз это был молодой человек, только что окончивший высшее учебное заведение, и его молодень-

кая жена, курсистка. Увидел я их в самой жизнерадостной обстановке, на даче, даже за игрой в лаун-теннис. И все-таки над обоими висела та же неуловимая тень, и тот же шепот несся навстречу каждому новому лицу, знакомившемуся с этой четой. «Это Я-ий... Помните: был приговорен к смертной казни».

В свое время об этом деле много писали. Высшие учебные заведения волновались, директора и профессора хлопотали у министров. После второго разбирательства Я-го оправдали. И когда приговор был объявлен,— одним из первых кинулся пожимать руки ему и присутствовавшей тут же жене молодой жандармский офицер, все время очень внимательно следивший за исходом процесса. Что же так обрадовало жандармского офицера? Очевидно, он считал этого студента невинным, но не считал, что невинность гарантирует его от казни...

И кто же может быть уверен в оправдании невинного при таких условиях? Военный суд! Это значит, что жизнь человека кинута на чашку весов неуклюжих, архаичных, неточных. На них толстым слоем налегла пыль веков, разъедающая ржа касты. Нигде уже в культурном мире не найдется такой удивительной судебной махины,— разве в музеях наряду с памятниками инквизиции. А у нас ее зловещий скрип раздается над страной, претерпевшей «обновление»! Неровно, судорожно, толчками мечутся кверху и книзу ее рычаги, швыряя судьбу людей между жизнью и смертью... Оправдание... казнь... оправдание... Где она остановится? На чем? И почему именно на этом? Оправдает ли виновного? Или скорее казнит невинного?

Даже жизнь наших детей так часто качается на этих весах, и они не избавлены от этой русской радости. В 1909 году были приговорены *к смертной казни: гимназист VI класса* Александр Петров и рабочий Крутоверцев по обвинению в нанесении огнестрельной раны священнику Яструбинскому. При вторичном разбирательстве харьковский военно-окружной суд оправдал обоих.

Итак, вот шестнадцатилетний русский мальчик, уже изведавший и ужас смертного приговора, и потрясающую радость оправдания. Впрочем, свирепая Фемида не сразу отпустила этого юношу, полуребенка: господин

прокурор счел возможным подать протест. К счастию, главный военный суд на этот раз протеста не уважил [1].

В других случаях такие протесты уважаются легко. Людей судят, оправдывают, присуждают к смерти, опять оправдывают и опять судят. Это настоящая игра с человеческой жизнью, как кот играет с мышью. В городе Луцке, например, мирно проживал старый еврей, мясник, с несколько смешной фамилией Козел. В один несчастный для него день в его лавку зашел полицейский надзиратель и взял кусок мяса. Вскоре после этого с господином надзирателем случилось острое желудочное заболевание, и об этом несчастии тотчас же ударила в набат вся монархическая печать. Истинно-русским людям доподлинно известно, что у евреев существует обычай отравлять мясо, продаваемое верным царским слугам. Существует в действительности такой обычай или не существует? Кто же может лучше и беспристрастнее разобраться в этом тонком этнографическом вопросе, как не стремительный военный суд?

И вот старый еврей, под зловеще шутовской грохот монархической прессы, садится на скамью подсудимых...

Военно-судная качель начинает свою пляску смерти.

В первый раз киевский военно-окружной суд бедного Козла оправдывает. Радость семьи, ликование луцкого еврейства: значит, суд опроверг существование гибельного для русской монархии еврейского обычая — отравлять мясом господ полицейских.

Прокурор не может, однако, согласиться с таким исходом и подает протест. Главный военный суд соглашается с прокурорскими доводами и назначает новое разбирательство. Козла опять сажают на качель. На этот раз ему не везет: чашки весов судорожно опускаются вниз. Старика приговаривают к виселице.

Теперь ликуют «монархисты». В семье Козла и в городе ужас и уныние.

Протест защиты. Новый суд. Заседание тянется два дня... Козел опять обрадован: приговор оправдательный...

Это случилось в ноябре 1909 года [2]. Был ли новый

---

[1] «Р. вед.», 24 апр. 1910 г., № 93.
[2] «Русские вед.», 26 ноября 1909 г., № 271.

протест прокурора,— мы не знаем. Будем думать, что не было или он, к счастью для злополучного старого еврея, не уважен. Иначе, кто знает, что могло бы случиться? Оправдать... Казнить... Оправдать .. Нечет... чет... нечет. На четных нумерах бедному Козлу не везло, и четвертый приговор мог оказаться для него роковым...

Таким он оказался, например, для двух мальчиков, учеников тифлисского ремесленного училища, обвинявшихся в убийстве директора Победимова. В первый раз их оправдали, во второй приговорили к казни [1] Был ли протест защиты, уважен ли? Что сказал новый суд, если он был? Или, может быть, оба ученика уже казнены,— мы не знаем.

Порой, как бы для того, чтобы дать человеку сильнее почувствовать эту своеобразную гамму ощущений, его подводят к самым ступеням эшафота. Так, 25 апреля 1908 года киевским военно-окружным судом приговорены к смертной казни крестьяне М Заец, И. Новиков и И. Джулаев за вооруженное нападение в селе Млынах, Сосницкого уезда, Черниговской губернии. С ними вместе были приговорены еще двое: Н. Свириденко и М. Головенко. Но им, как «менее виновным», казнь была заменена каторгой. Трое приговоренных напрасно заявляли о своей невинности. Приговор утвержден. 16 мая Заец и Джулаев были переведены в печерский участок, откуда на заре 17 мая их должны были доставить на мрачную Лысую гору. Там их ждала виселица. Новикову, не вполне оправившемуся от тифа, предстояло совершить то же путешествие прямо из тюрьмы, в тюремной карете. Быстро бежали страшные часы последней ночи.

Но вот... получается телеграмма из Петербурга о приостановке казни. Как оказалось, «менее виновные», по решению проницательного суда, Свириденко и Головенко сознались, что они-то и были главные виновники, а трех осужденных на смерть оговорили ложно: они в нападении не принимали никакого участия [2].

Виселица на Лысой горе эту ночь ждала напрасно.

Сколько еще было за эти годы таких же мрачно-радостных событий,— мне неизвестно. Не все они отмече-

---

[1] «Русск. сл », цит. из «Нижегор листка», 10 ноября 1907 г.
[2] «Киевские вести», 20 мая 1908 г , № 135.

ны газетами, и не все газетные отметки попадались мне на глаза. Знаю, впрочем, еще один такой же случай в Харькове. Это было в 1908 году. По делу об убийстве в селе Бабаях (Харьковской губернии) крестьянки Бондаренковой военно-окружной суд присудил к казни крестьян Филиппа Колесниченко и Мартына Ткаченко.

Все для них тоже казалось конченным. Их так же, как и Заеца и Джулаева, перевели уже в смертницкую камеру, пригласили священника... Но в это время Колесниченко потребовал к себе товарища прокурора и заявил ему, что Бондаренкову убил он один без всякого участия Ткаченка При этом он подробно выяснил обстоятельства дела, остававшиеся до сих пор не разъясненными ни на следствии, ни на суде [1].

Имеем ли мы в конце концов право причислить Заеца, Джулаева, Новикова и Ткаченка к сонму людей «обрадованных» военно-судной процедурой,— я, к сожалению. достоверно не знаю, так как результаты пересмотра их дел пока, кажется, не оглашены.

IX

ЧТО СПАСАЛО НЕВИННЫХ ОТ КАЗНИ?

Прежде чем перейти к дальнейшему изложению, я чувствую потребность остановиться на внутреннем значении этих «отрадных фактов», от которых на меня лично веет ужасом даже большим, чем от самых казней... Это лишь исключения, подтверждающие правило. Оправдания, которые говорят о возможности десятков, может быть, сотен судебных убийств...

Что, в самом деле, спасало людей во всех перечисленных эпизодах от невинной смерти?

Только чудо, то есть вмешательство влияний, выходящих за пределы нормального военно-судного порядка.

Для Юсупова это — случайное присутствие в зале заседаний партикулярного человека г. Ширинкина, который в отчаянии бежит из суда домой и торопливо набрасывает письмо к другому партикулярному человеку,

---

[1] «Киевские вести», № 251, 21 сентября 1908 г.

живущему в Петербурге. Затем корреспонденции, разговоры, забегания с заднего хода...

Маньковского вырывает у смерти такой же вопль нескольких адвокатов и еще — конфета генерала Канабеева. Черновик письма защитников сохранил на себе следы слез... Слез людей со значками, во фраках, явившихся, чтобы защищать невинного юридическими аргументами, и почувствовавших свое полное бессилие. Они прибегли к аргументам не юридическим. В связи с этим делом один из адвокатов временно лишен практики. Палата осудила этого защитника, товарищи выразили ему сочувствие, а общество в недоумении стоит перед этой путаницей. За правильные закономерные действия практики не лишают. Позор извращающим правосудие? Да, это правда. Но правильные закономерные суды с такой легкостью не приговаривают невинных к смерти! Слава спасающим невинно осужденных! Мы не юристы. История разберет, что тут и кому принадлежит по праву!

Далее,— только экстраординарная энергия защитников и частных лиц спасают Кузнецова, Краснова, четырех никольских крестьян, Безя, Коваленко, Акимова и многих других, для которых потребовалось под накинутой уже петлей собирать новые обстоятельства, возбуждать дела о лжесвидетелях, игрушкой которых так легко становятся военные суды.

В тюменском деле мы встречаем хлопоты членов Государственной думы. Государственная дума! Народное представительство в стране, где *такие* суды годами постановляют такие приговоры! Разве это не самое фантастическое из чудес? Достаточно сопоставить эти «учреждения», чтобы видеть, что или одно из них — только тяжелый кошмар, или другое — фикция, маловероятное сонное видение...[1]

Для Токарева и Боборыкина возможность спасения чудесным образом притаилась в станке для выделки фальшивой монеты... И так далее, и так далее...

Теперь подумайте только, что было бы, если бы случайно:

---

[1] В 1909 г. жители гор. Ирбита поднесли адрес члену Госуд. думы А. Ф. Бобянскому за избавление их города от «висевшего над ним призрака смертной казни», которая грозила 11-ти крестьянам. («Слово», 30 мая 1909 г., № 811.)

Партикулярный человек, г. Ширинкин, 2 апреля 1899 года уехал по своим делам из города Грозного?

Генерал Канабеев не подарил бы Маньковскому конфету, а его защитники не пришли бы в спасительное для клиента отчаяние?

Если бы г. Николаев отнесся к «случайностям» в деле Кузнецова так же философски спокойно, как г. Успенский в деле несчастного Глускера?

Если бы так же отнеслись г. Ордынский к делу никольских крестьян и защитники Акимова, и защитники Безя и Коваленко, и еще многие, многие другие?

Если бы охранник Хорольский ограничился только бомбами и не вздумал, в излишнем усердии, подкинуть еще станок?

Во всех этих случаях мы, несомненно, имели бы вместо «отрадных фактов» судебные убийства, темные, безвестные, точно в глухом лесу... Кто-то их бы оплакивал, кто-то проклинал бы и таил планы мести... Газеты отмечали бы несколько лишних цифр, совершенно таких же, какие теперь проходят перед нашими глазами, не вызывая особого внимания к именам людей, для которых не нашлось счастливых случайностей и чудес...

И каковы только порой бывают эти неожиданности!

Военный суд в Саратове. На скамье подсудимых восемь солдат Апшеронского полка; обвиняются в том, что участвовали в военной демонстрации в Тростянце. Главный свидетель обвинения — полицейский урядник. Показывает обстоятельно, уверенно, точно. Есть свидетели и в пользу подсудимых, но — одна из психологических особенностей военных судей — предпочтение свидетелям обвинения А тут еще урядник! Судьи слушают и испытывают удовлетворение прочно, солидно складывающегося убеждения. Со всей торжественностью, подобающей обстоятельствам, они удаляются для совещания. С такой же торжественностью возвращаются и «по указу его императорского величества» приговаривают к продолжительному тюремному заключению восемь человек, из которых ни один не виновен в том, в чем их так торжественно обвиняют. Приговор мрачно звучит в пустом зале. Сами подсудимые, конечно, знают, что их осудили напрасно. Знают это и товарищи их, которые с заряженными ружьями стоят за ними и слушают

всю судебную процедуру. Знает, конечно, и оболгавший их урядник. Но — судьи довольны своим приговором, публики нет, солдаты молчат... вытянувшись в позе автоматов.

И вдруг — происходит неожиданность. Протестует против приговора... Кто же? Лжесвидетель-урядник. По-видимому он смотрел на свое ложное показание, как на исполнение служебного долга. Прокурор обвиняет, защитник защищает. Полиция помогает прокурору, это уже такой «порядок вещей». Может быть, перед судом он вдобавок откуда-нибудь получил инструкции «не осрамиться». Он не осрамился и сдал свой урок «словесности» при торжественной обстановке. А уже дело суда разобраться во всем этом по совести и по правде. Судьи должны понять, что он «по должности» налгал все от слова до слова, и не верить ему, а поверить другим, которые говорили правду. А они поверили ему, лжецу. И так торжественно вышли. И так торжественно вернулись, и все в зале поднялись, когда они «по указу его императорского величества» приговорили восемь невинных.

О себе этот урядник был, должно быть, невысокого мнения: должность его маленькая и непочетная. Какой уж почет лгать на невинных... Теперь он проникся презрением к торжественной процедуре суда. Что-то в душе урядника, по-видимому, упало, и он почувствовал потребность поделиться с кем-нибудь этой своей душевной драмой. Где здесь люди, с которыми он может говорить по душе? Судьи? Они такие важные, и они собираются расходиться в приятном сознании исполненного долга. Взгляд переживающего душевную драму урядника падает на скамью подсудимых... Там восемь осужденных и, должно быть, столько же караульных. Это простые люди. Они поймут его положение. Они служат и исполняют приказания. Прикажут стрелять в родного отца,— будут стрелять. Он тоже служит по своему разумению. Прикажут налгать на родного отца,— налжет. Если бы он теперь был на месте этих солдат, то стоял бы за подсудимыми с ружьем к ноге и, зная, что они невинны, зорко смотрел бы, чтобы они не убежали. А если бы часовые были на его, урядницком, месте, то лгали бы по должности, как лгал он... Так он думает,

и подходит к этой группе «своих людей», и говорит доверчиво, простодушно, от глубины огорченного сердца:

— Какой это суд! Судят невинных. Я их оклеветал напрасно [1].

Но конвойные — товарищи подсудимым, а уряднику не товарищи, и потому о признании урядника докладывают старшому, старшой докладывает по начальству. И вот господа военные судьи узнают, что их приговор, их судейскую совесть, достоинство столь торжественно отправляемого судебного обряда и судьбу восьми человек,— все это держал в руках этот мелкий полицейский лжесвидетель. Движения человеческой совести, даже и полицейской, таинственны, неожиданны и нелегко объяснимы... Как, впрочем, нелегко объяснимы, порой, и их результаты. Защитник бедных апшеронцев, присяжный поверенный И. А. Британ, сообщил мне, что для них пока покаянное заявление урядника никаких последствий не имело: они отсиживают свои сроки совершенно так же, как бы урядник и не лгал. Вероятно, в видах поддержания дисциплины...

Еще, быть может, характеристичнее те случаи, когда, как в деле Ткаченка (и во многих других), неправосудие приговора разоблачается другими приговоренными к смерти.

Да, трудно представить себе иронию более мрачную; они убивали. Да. И они перед лицом смерти этого уже не отрицают. Но они указывают своим судьям, представителям карающей их общественной власти, что и они, судьи, готовы были совершить величайшее из преступлений, какое можно себе представить: убийство невинного по суду, по приговору, после торжественного разбирательства, якобы от лица общества и государства...

X
ПОД ВОПРОСОМ

За этой толпой обрадованных русских людей идут другие. В газетах то и дело мелькают мимолетные, беглые, неполные известия, от которых сердце невольно сжимается тяжелыми вопросами. Что сталось с этими людь-

---

[1] «Киевские вести», 5 июня 1910, № 151.

ми, имена которых появляются в газетах и тотчас тонут, как будто их и не было?

В Харькове недавно был присужден к смертной казни семнадцатилетний юноша Яровой, как участник нападения на основянское волостное правление. Через несколько дней после приговора в военно-окружной суд явилось двое лиц, заявивших, что в день ограбления основянского волостного правления они видели Ярового в Киеве и могут доказать это. Они просили подвергнуть их допросу. Военно-судное управление отказало. Единственный свидетель Новиков, утверждавший на суде причастность Ярового к грабежу, сделал заявление, что показания его были ложны [1]. И это не подействовало.

А если бы эти свидетели были допрошены?

Двадцать шестого января 1909 года временный военный суд во Владимире приговорил М. В. Фрунзе к смертной казни за покушение на убийство урядника. Свидетеля, который первоначально оговорил Фрунзе, к прокурору доставил урядник лично, на свой счет, а затем этот свидетель дважды отказался от показания, заявив, что был запуган. Целый ряд свидетелей-очевидцев удостоверил, что Фрунзе целых три дня (во время, когда произошло покушение) провел в Москве. Защитник приговоренного уверен в ошибке и обратился к депутатам с просьбой ходатайствовать о пересмотре дела [2].

Что случилось потом с Фрунзе?

В московском военно-окружном суде,— отличившимся, как мы видели, делами Кузнецова и никольских крестьян,— в 1908 году, при объявлении подсудимым приговора в окончательной форме по делу о вооруженном сопротивлении на станции Апреловка, поднялся подсудимый Кутов и заявил, что обвиненные судом Лебедев и Рявкин (последний приговорен к *смертной казни*) совершенно непричастны к этому делу, а настоящий виновник находится в Таганской тюрьме по другому обвинению. Председатель (конечно, совершенно спокойно) указал, что это заявление должно быть направлено к командующему войсками московского военного округа,

---

[1] «Киевские вести», 14 февр. 1910 г., № 45.
[2] «Слово», 2 февр. 1909 г., № 697.

генералу Гершельману. До суда оно, значит, собственно, не касается [1].

Что было дальше? Произведено ли расследование, или заявление «осужденного» оставлено без уважения и судьба Лебедева и Рявкина совершилась?

Военный суд в Новочеркасске приговорил Шилина к двенадцати годам каторжных работ по обвинению в покушении на убийство владельца магазина обуви в станице Лабинской, Маркова. Спустя два года в той же станице совершено было убийство городового Кислова. Убийца Гдовский перед смертию сознался в целом ряде совершенных им преступлений, в том числе в покушении на убийство Маркова. Мать Шилина возбудила ходатайство о пересмотре дела сына, но... «по неизвестным причинам ей в этом отказано» [2].

Действительно ли этот Шилин виновен?

В 1908 году по делу об убийстве инженера Финанского защитники приговоренных к смертной казни Кенцирского и Пецика, убежденные в полной их невиновности, телеграфировали на высочайшее имя просьбу о задержании казни и о помиловании осужденных. К просьбе присоединилась и вдова убитого Финанского [3].

Результата мы не знаем, но... в Варшаве командует войсками генерал Скалон. который торопится казнить, не дожидаясь не только решения высших инстанций, но даже ранее всякого суда!

В Елисаветграде, Херсонской губ.,— писали в «Речи» в 1909 году,— по дополнительному обвинению в убийстве помещика Келеповского, присуждены к смертной казни Добровольский и Бодрышев. Есть много данных к тому, что *первый осужден невинно.* Защита подала кассационную жалобу. Дать или не дать движение этой жалобе. зависит от командующего войсками одесского военного округа. Депутат от Одессы Никольский по телеграфу обратился к... генералу Каульбарсу с просьбой о приостановке казни, а к военному министру — о пересмотре дела [4].

---

[1] «Киевские вести», 17 авг. 1908 г.
[2] «Биржевые ведомости», 13 дек. 1909 № 11405.
[3] «Рус. вед.», 4 янв 1908 г., № 3
[4] «Речь», 5 ноября 1909 г., № 340.

Исхода мы опять не знаем. Но — всему миру известно, что генерал Каульбарс непреклонен.

Был и еще один, Добровольский Павел, обвиненный по делу об убийстве лубенского исправника. По этому поводу «Утру России» телеграфировали из Парижа: в номере «Общего дела» Бурцев приводит имена жертв ошибок военных судов. По словам журнала, осуждены невинно: в Киеве еврей Комиссаров и крестьянин Маслов, в Полтаве — Павел Добровольский [1].

В 1907 году польская социалистическая партия выпустила воззвание, в котором заявляет, что Иосиф Реде, приговоренный военным судом к смертной казни через повешение, а также Яскульский и Андреев, приговоренные тем же судом к каторге якобы за участие в убийстве уездного начальника и ограбление кассира винной монополии Иванова, — осуждены совершенно невинно. Никакого участия в этих нападениях они не принимали, так как эти акты были совершены членами польской социалистической партии [2].

Что сталось с этими Реде, Яскульским и Андреевским? Едва ли заявление «партии» могло заставить пересмотреть дело.

Двадцать первого мая 1909 года главный военный суд постановил возобновить дело Машукова, который был приговорен к каторге якобы за участие в шайке грабителей, наводившей ужас в окрестностях Туркестана. Многие из участников шайки казнены. Машуков подал просьбу о пересмотре его дела, ссылаясь на осужденных по тому же делу Хачатурова и Яковского, которые действительно утверждают, что Машуков никогда членом шайки не состоял [3].

Чем кончился пересмотр? И не было ли в числе «многих участников шайки», отправленных уже на виселицу, людей «опознанных» столь же основательно, как и Машуков, приговоренный только к каторге?..

Как видите, все это только «вопросы». Но — какие вопросы! Толпа полулюдей, полутеней, мелькнувшая на поверхности газетного моря, как мелькают лица утопаю-

---

[1] «Киевские вести», 9 августа 1910 г., № 213.
[2] «Русские вед.», 5 мая 1907 г., № 111.
[3] «Слово», 22 мая 1909 г., № 803.

щих во время крушения. Во всякой другой стране судьба каждого из этих людей стала бы общественным вопросом, встревожила бы общественную совесть, стала бы предметом исчерпывающего расследования... У нас все это так и остается вопросами... Мелькнуло и исчезло...

XI
НЕ ОБРАДОВАННЫЕ

Во многих случаях «конфирмационная» стремительность господ командующих войсками делает и вопросы и ответы совершенно излишними. Вопрос едва поставлен, тревога возбуждена — но... ни спрашивать, ни тревожиться уже не о ком.

Так, в 1909 году виленский военно-окружной суд приговорил четырех подсудимых (Селявко, Паутова, Ротенберга и Ренкацишека) к смертной казни через повешение за побег из тюрьмы, сопровождавшийся убийством двух надзирателей. Защитник Ротенберга и Ренкацишека, генерал И. М. Дроздовский, имел основание считать, что эти двое осуждены невинно. Он ходатайствовал в Петербурге по телеграфу о приостановке казни на предмет пересмотра дела или просьбы о помиловании на высочайшее имя. По-видимому, у него были веские основания, ответ последовал благоприятный. Но генерал Гершельман казнил обоих быстрее телеграфа: *распоряжение о приостановке казни запоздало... Оба были уже повешены* [1].

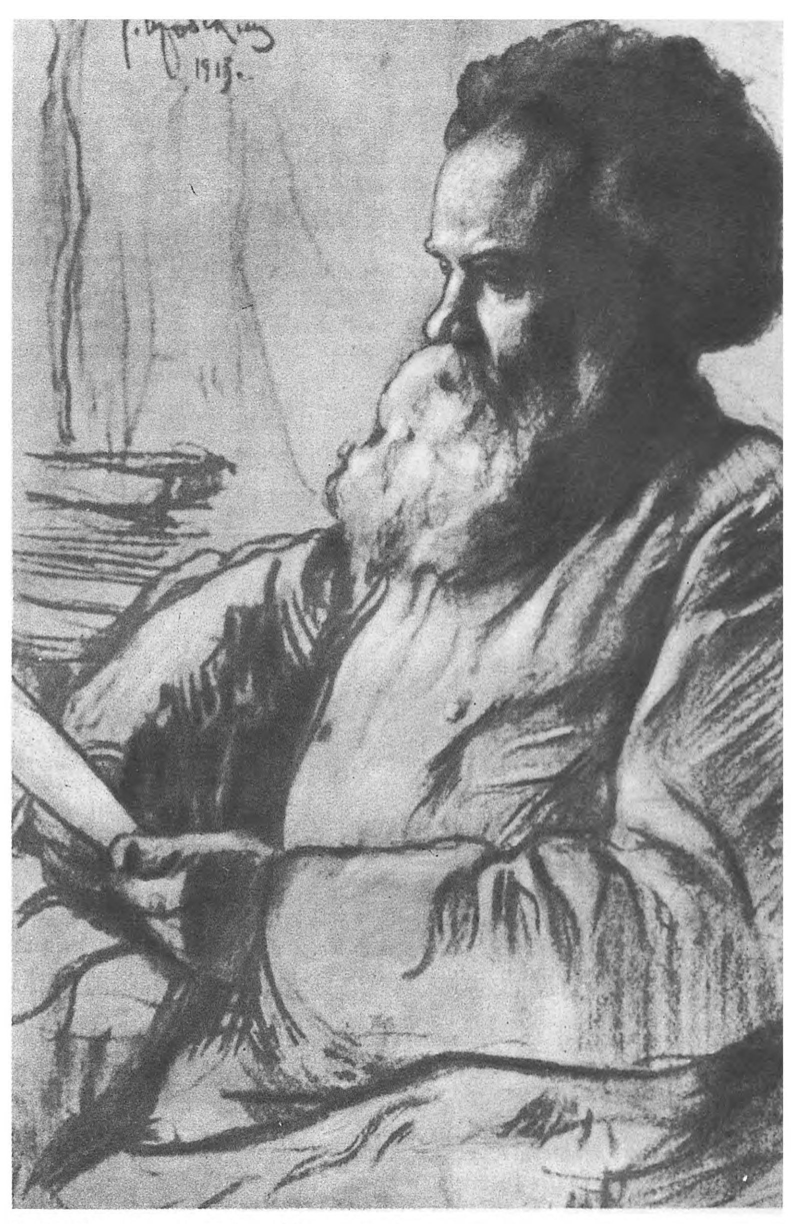
То же случилось в 1909 году в Тамбове. На этот раз приказ о приостановке казни исходил от командующего войсками, который получил какие-то сведения, побудившие его к остановке уже конфирмованного приговора. Приказ опоздал: подсудимые — Галкин, Артемов и Алпатов — были уже казнены («Киевские вести», 22 июля 1909 г.).

Повешен также и Станислав Марчук при обстоятельствах, едва ли оставляющих место для каких бы то ни было вопросов...

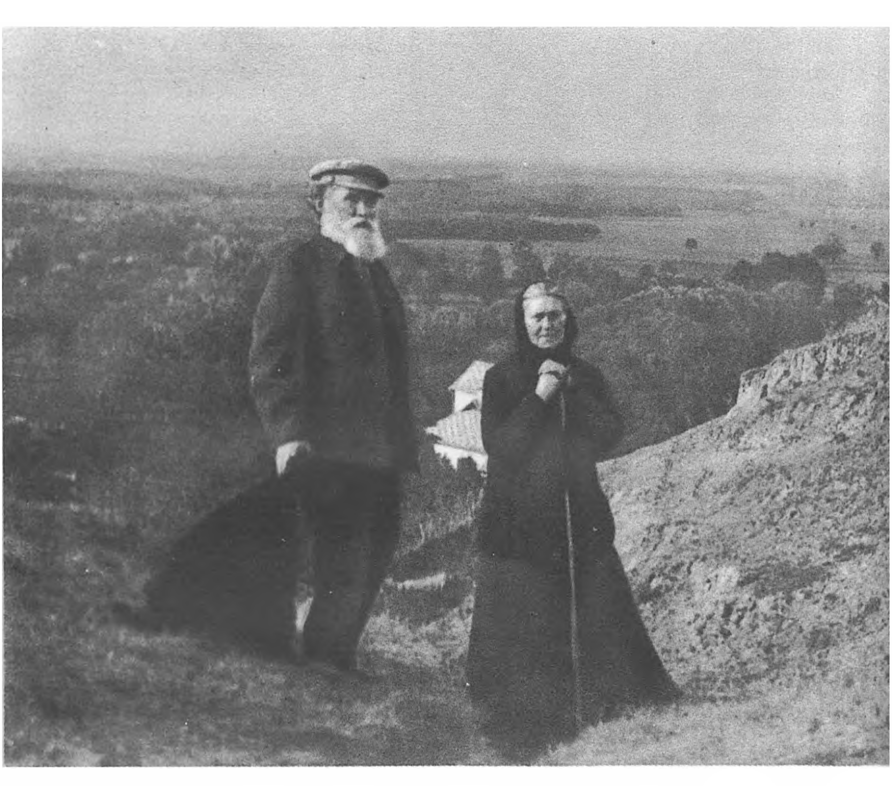
Шестнадцатого июня 1907 года в Варшаве неизвестным был произведен выстрел в агента охраны Гревцо-

---

[1] «Русские вед.», 10 сентября 1909 г., № 207.



В. Г Короленко. 1913. *Худ. И. И. Бродский.*



В. Г. Короленко с женой в деревне Хатки, под Полтавой. 1916.

ва. По подозрению был арестован Бронислав Марчук, которого по предъявлении Гревцов признал тем самым лицом, которое произвело в него выстрел. Это опознание он подтвердил потом вторично под присягой, прибавив, как занесено в протокол, *«что он не сомневается, что подсудимый Марчук есть то самое лицо, которое...»* и т. д.

Оказалось, однако, что невиновность Бронислава Марчука была доказана, и военно-окружной суд его оправдал.

Тогда, уже в 1909 году, арестовали другого человека, сходного с первым... по фамилии. Его звали Станислав Марчук. Он не был даже родственником первого. Тем не менее охранники Гревцов и Товстолужский опять с *такой же положительностью опознали и этого Марчука,* как несомненно то самое лицо, «которое...» и т. д. Защита, чтобы дать судьям понятие о правдивости этих опознавателей, ходатайствовала о вызове в качестве свидетеля прежнего Марчука и о прочтении предыдущих протоколов лживого опознания. Суд постановил: показание Бронислава Марчука признать существенным и его вызвать, но протоколов почему-то читать не пожелал. Может быть, суд считал, что достаточно будет и одних показаний раз уже *опознанного* однофамильца... Случилось, однако, так, что этот свидетель по болезни не явился. Суд, по соображениям совершенно непостижимым, все-таки счел излишним чтение протоколов... Защита ходатайствовала хотя бы о вызове секретаря, эти протоколы составлявшего. Суд отказал. На основании показаний явных лжесвидетелей Марчука приговорили и... казнили, так как генерал Скалон, по обыкновению, не дал хода кассационной жалобе. «Никто не сомневается,— прибавляет господин П. П-ий, подробно описавший этот случай в «Речи»,— что *повешен человек совершенно невинный»* [1]. Да, конечно, стоит только проследить тот путь, каким военное правосудие дошло до своего решения, чтобы всякие сомнения исчезли...

Еще такое же дело, на этот раз в Балте. В этом городе в 1905 году происходили, как и всюду, разные волнения, и в тревожное время был убит городовой. Кем — неизвестно. Говорили, впрочем, что убийство с «полити-

---

[1] «Речь», 27 ноября 1909 г., № 326.

кой» ничего общего не имело и произошло на романической подкладке...

В том же городе жил некто Акимов. Это был человек наивный и «беспокойный» в самом, кажется, безвредном смысле: он сразу поверил, что в России совершается важный переворот, «торжествует законность», а «произволу пришел конец». Когда его арестовали, как «красного», он очень неосторожно высказывал свои мнения и, не зная за собой ничего существенно преступного, на допросах держался вызывающе. Это, разумеется, раздражало местные власти больше, чем всякая «революционность». Акимова пришлось отпустить, но некто из власть имущих при этом сказал: «А все-таки я сгною тебя в тюрьме». Наивный человек, веривший в наступившее «торжество законности», не поверил. Он забыл, что при всех переворотах — военные суды действовали по всей России...

Через некоторое время Акимова арестовали. Нашелся человек, который *видел*, как Акимов убил городового. Это был Шешель, писец полицейского управления, юноша несколько слабоумный, легко поддававшийся всяким воздействиям. И вот «кто-то (как сдержанно пишет корреспондент «Подольского еженедельника») подговорил этого полицейского писца для карьеры (sic!) дать ложное показание, будто Акимов убил городового в его присутствии». Шешель послушался, состоялся военный суд. Совершенно для себя неожиданно на скамью подсудимых попал и Шешель за... недонесение. Донос его по подговору *кого-то* был сделан спустя почти два года после события!

Корреспондент «Подольского еженедельника», описавший это дело, сообщал далее, будто Акимова приговорили к смертной казни, замененной каторжными работами. И будто потом лжесвидетельство Шешеля раскрылось, а дело Акимова пересмотрено... Но один из моих корреспондентов, откликнувшийся на мои очерки в «Русском богатстве» и близко знающий все дело,— пишет мне, что это неверно. Акимова приговорили не к смертной казни, а к пятнадцати годам каторжных работ. Почему же так «мягко», если установлено, что он собственноручно убил городового? Мой корреспондент объясняет это очень своеобразно: кроме оговора слабоумно-

го Шешеля, никаких других улик не было. Если бы улики были,— тогда, конечно, его бы казнили. Но, ввиду некоторых сомнений, судьи будто бы нашли успокоение совести в том, что подсудимый отправился только на каторгу («сомнение — в пользу подсудимого!»). Так это или не так,— во всяком случае Акимов осужден, а с ним вместе осужден и Шешель.

Увидев, какую «карьеру» изготовил ему тот «некто», о коем так сдержанно выражается «Подольский еженедельник», Шешель стал горько жаловаться и, не скрывая, говорил всем, что его подговорили и кто именно подговорил дать ложное показание. А так как его все-таки держали на привилегированном положении и отпускали в город, то весть об истинной подкладке дела быстро распространилась и попала даже в газеты. Все были уверены, что вследствие этого дело невинно осужденного Акимова не могло заглохнуть... В своих очерках в журнале я, на основании газетных сведений, присоединил имя Акимова к сонму «обрадованных русских людей»... Это оказалось печальной ошибкой. Другой мой корреспондент, господин А. П-ко, волею российских судеб имевший случай познакомиться с населением знаменитой московской каторжной тюрьмы («Бутырки»), встретил там Афанасия Якимова, уроженца Юго-Западного края, который, по его словам, тоже был осужден вследствие ложного оговора. Это был человек желчный, невоздержанный на язык, склонный ко всякого рода тюремным протестам и вследствие этого часто знакомившийся с карцером и другими репрессиями знаменитых своим «режимом» Бутырок. Несмотря на железное здоровье, он не выдержал и умер от чахотки.

Дальнейшие справки убедили меня, что этот Афанасий Якимов есть тот самый Акимов, балтский протестант, так «неблагонадежно» веровавший, что без серьезной вины никто его в настоящее время сгноить в тюрьме не может...

Судьба лжесвидетеля Шешеля тоже довольно интересна: в тюрьме он занимал привилегированное положение, пользовался правом отлучек и т. д. Это ли обстоятельство создало ему репутацию тюремного доносчика, или, раз поддавшись искушению, ему действительно не оставалось ничего другого,— но только его настигла суровая

тюремная Немезида: 20 ноября 1908 года он вбежал, обливаясь кровью, со двора в тюремную больницу. Оказалось, что его порезали в мастерской ножами; от ран он вскоре умер. Так кончилась и обещанная ему кем-то карьера. Впрочем, похороны его, писал корреспондент «Подольского еженедельника», были обставлены особой торжественностью: «Для проводов гроба на кладбище была отряжена вся мастерская... Провожал гроб и начальник тюрьмы...» Ложного доносчика хоронили с почетом, как лицо до известной степени официальное...

Имя того *некто*, кто сумел доказать наивному Акимову, что времена изменились совсем не в том смысле, как он думал,— у многих на устах в городе Балте. Впрочем, имя людей, умеющих при помощи полицейских Шешелей так пользоваться военными судами в наше время— легион...

Военные суды вообще изумительно легко верят оговорам, и это часто делает суд удобным орудием для сведения всяких личных счетов с неприятными людьми.

В ночь на 28 февраля 1908 года в селе Воинке, Перекопского уезда, Таврической губернии, выстрелом из ружья с улицы в окно спальни был убит «тесть *известного* перекопского исправника Семена Андреева» (так сказано в газетах) дворянин Владимир Пафнутьев. Чем так особенно известен исправник Семен Андреев[1] в Перекопе, мы не знаем, но его тесть «дворянин Владимир Пафнутьев» был заведующим воинковской ремесленной школой.

Каков был педагогический ценз «дворянина Пафнутьева», мы тоже не знаем. Известно только, что прежде школой заведывал настоящий педагог Венедиктов. Он оказался «либеральным». Можно догадываться, что на этой почве в Перекопе шла некоторая борьба «благонадежности» с либерализмом, в результате которой гос-

[1] В «Крымском вестнике» было напечатано сообщение о том, что «бердянский полициймейстер Андреев переводится в Феодосию. Если вспомнить недавнее сообщение газет о последовавшем предании суду полиц. Андреева за изнасилование девушки в полицейском участке, то известие нельзя не признать довольно странным» (Цит. из «Черном. побер.» 18 янв. 1905 г.). Не тот ли самый «известный» Андреев, который был исправником в Перекопе?

подин Венедиктов был вынужден очистить место для тестя «известного исправника», который из патриотических соображений оказался педагогом в свою очередь. И нетрудно себе представить, что в Перекопе или по крайней мере в перекопской ремесленной школе обнаружились «партии»: все благонадежное стояло на стороне тестя исправника, все крамольное — на стороне прежнего заведующего. И вероятно, тестю исправника приходилось искоренять этот крамольный дух, то есть любовь питомцев к прежнему либеральному наставнику... Между прочим, на стороне Венедиктова был и молодой учитель какого-то ремесла Матвей Редкобородый.

Благонадежная сторона, разумеется, победила. Но вот раздается выстрел в окно,— довольно обычное, к сожалению, выражение чувств молодого поколения к новым благонадежным воспитателям. Розыски, конечно, тотчас и направляются в эту сторону.

Я стараюсь представить себе этого странного человека. Молодой крестьянин, выучившийся настолько, что стал учителем ремесла в школе, несколько наивный и очень экспансивный. Он, вероятно, был под обаянием настоящего педагога, «либерального» Венедиктова и, конечно, не мог понять, а тем более одобрить, то обстоятельство, что важное просветительное дело берется из рук талантливого специалиста и передается «тестю известного исправника». Но в то же время он не принадлежит ни к каким крайним партиям и не одобряет убийства.

В уверенности, что содействует «делу правосудия», он во время осмотра места происшествия первый обращает внимание на пыж, который хотели просто бросить. Он не рассуждает о том, что это будет правосудие военное... Жертвой его находчивости вскоре становится действительный виновник выстрела, восемнадцатилетний мальчик, ученик школы Осадчий. Осадчий в свою очередь оговаривает выдавшего его учителя и... не успев, как говорится, даже оглянуться,— учитель Редкобородый видит себя приговоренным к смертной казни вместе с учеником Осадчим.

Как это могло случиться? Очень просто,— оговор падает на готовую почву: вспоминается либерализм Венедиктова, вспоминается, что Редкобородый был сторонни-

ком «либерального педагога» и противником «мученика долга», убитого тестя исправника. Прибавьте, что судит военно-окружной суд, не привыкший разбираться ни в вопросах либерализма, ни в педагогии, ни в психологии юношей, которые вовлечены в борьбу педагогической и исправницкой партий... Оговор Осадчего находит поддержку в соответствующем освещении дела, и... результат налицо.

В газетах, из которых я заимствую фактические сведения об этом деле, рассказана потрясающая сцена после приговора в одной из комнат суда: в присутствии конвойных и защитника, присяжного поверенного А. Я. Айзенштейна, Редкобородый бил себя по голове и требовал от Осадчего, хотя бы теперь, снятия оговора, взывая к его совести. Осадчий плакал и молчал. Когда же конвойные не разрешили Редкобородому свидания с бывшими в суде родными, то он стал кричать: «Так пусть же меня сейчас повесят. Я не верю больше в правосудие...»

Были поданы кассационные жалобы. Казнь была приостановлена, началась длинная процедура жалоб, ходатайств и прошений. Если не ошибаемся, Осадчий был повешен ранее, а для его «учителя» потянулись долгие дни и страшные ночи, когда каждый шорох представляется идущею смертью... Редкобородый в это время много писал своему защитнику, и в распоряжении г. Айзенштейна теперь находится, вероятно, захватывающе интересный материал с исповедью этого молодого крестьянина.

В конце концов, после очень долгого промежутка, обстоятельства, по-видимому, стали выясняться. Кассационная жалоба Редкобородого была принята, делом заинтересовался командующий войсками... Но все эти известия пришли слишком поздно: Редкобородый не вынес душевной пытки, и его нашли повесившимся в камере, почти через год после того, как «тесть известного исправника» был убит в своей спальне, а сам он так печально для себя обнаружил «находчивость» в раскрытии преступления [1].

На той же, так сказать, «педагогической» почве разыгралось и другое печальное военно-судное дело.

---

[1] «Нижег. листок», 17 янв. 1909 г., № 16.

Это было в 1906 году. В Митаве был убит инспектор реального училища Петров. Мы не имеем о Петрове даже тех общих сведений, какими все-таки до известной степени рисуется фигура Пафнутьева. Знаем только, что он был инспектор и что обвинялись в убийстве ученики. По самым элементарным понятиям о роли правосудия— военные суды совершенно, казалось бы, неуместны в таких случаях. Преступление, совершаемое юношами, почти детьми, в отношении своих «наставников», конечно, ужасно. Но не следует ли разобраться и в тех условиях, которые способны довести юные души до такой степени ожесточения. Более, чем где бы то ни было, тут уместен суд присяжных и широкий состязательный процесс.

Но этого единственно разумного и беспристрастного расследования у нас тщательно избегают: педагог, быть может и сам повинный в смертном грехе против ожесточенного им же юношества, в видах «дисциплины» превращается в доблестную жертву долга, и его тени приносятся умилостивительные жертвы. Лишь бы скорее, лишь бы грознее и устрашительнее.

По подозрению в убийстве Петрова прежде всего арестован некто Руман, который и расстрелян по приговору военно-полевого суда. Был ли он действительно причастен к убийству, или просто в несчастную минуту попал под полевую грозу,— сказать теперь трудно.

Вслед за тем полиция арестовала еще брата казненного, Александра Румана, и учеников реального училища Исаака Фридлендера и Исидора Иосельзона. Узнав об аресте брата, из Петербурга приехал Юлиус Иосельзон. Его тоже арестовали и... предали военному суду (в Риге).

Во время разбора дела Фридлендер (мальчик четырнадцати лет) заявил на суде, что убийцей Петрова является он один, а остальные к делу непричастны. Дело было приостановлено для доследования. Вторично оно слушалось 10 ноября 1907 года. Рижский военно-окружной суд приговорил обоих братьев Иосельзонов к смертной казни через повешение (замененное им расстрелянием), а Исаака Фридлендера и Александра Румана к двенадцатилетнему тюремному заключению...

Приговор этот произвел в местном обществе самое удручающее впечатление. На суде Фридлендер со слезами на глазах, стоя на коленях, уверял судей, что он убил Петрова один, и умолял их пощадить невинных. Юлиус Иосельзон во время убийства был в Петербурге... Наконец, в суде произошел эпизод, очень редкий в практике военных судов: прокурор (зовут его — полковник Хабалов) не согласился с квалификацией преступления и подал протест против применения к Иосельзонам смертной казни... Родители разослали просьбы всюду, куда только могли, в том числе, конечно, и генерал-губернатору.

Генерал-губернатором был... *Меллер-Закомельский.* Приговор произнесен 10 ноября. Пятнадцатого числа того же месяца оба брата были расстреляны. Перед смертью они призвали раввина и заявили, что умирают невинными...[1].

А затем в декабре 1907 года октябристскому «Голосу Москвы» телеграфировали из Риги: «Прокурор военно-окружного суда полковник Хабалов, подавший протест на обвинительный приговор по делу братьев Иосельзонов, отстранен от должности» [2].

Когда-нибудь этого одного факта будет достаточно для характеристики военно-судной полосы российского правосудия: «Это было время, когда прокуроры за простое заявление, согласное с законом и совестью, о неправильности смертного приговора, отстранялись от должности. Для исполнения велений совести и долга, если эти веления шли в направлении гуманности, это время требовало сверхсметного героизма...»

XII

ВИНОВНЫЕ

Мы видели, как порой военные суды расправляются с людьми, совершенно неповинными в том, в чем их обвиняют...

---

[1] «Речь». Цитирую из «Киевских вестей», 23 ноября 1907 г., № 160.

[2] Цит. из «Киевских вестей», 3 декабря 1907 г., № 170.

Что же сказать о тех случаях, когда перед военным судом стоят люди, совершившие в наше бурное и переходное время то или другое правонарушение, когда приходится судить открытых противников существующего строя.

Во что порой превращается в таких случаях военный суд, который все же должен сохранить значение *суда*, взвешивающего меру «вины» и меру «наказания»...

Всякое переходное время когда-нибудь кончается. Нормы старого порядка уступают, наконец, место новым, и беспристрастная история взвешивает в свою очередь и добродетели, и ошибки, и самоотвержение, и преступления обеих сторон, относя все это уже не к старым или новым временным законам, а к вечным нормам справедливости, гуманности, правды... У всех культурных народов в таких случаях *суд* выполняет роль своего рода компаса и руля, регулирующего ход общественного корабля среди бурного смятения...

У нас эта функция взята у гражданского суда и отдана надолго, на целые годы судам военным...

Я не могу здесь исчерпать эту сторону вопроса: я брал только самые яркие факты военного неправосудия... Уже по ним можно судить о выполнении задач более тонких, сложных и требующих большего судейского беспристрастия... Но на одном эпизоде я все-таки должен остановиться. Это будет история поручика Пирогова.

Во всякой другой стране эта трагическая история привлекла бы общее внимание, вызвала бы тревогу, и имя человека, ее пережившего, приобрело бы широкую известность. У нас она прошла почти незамеченной.

Первоначальное и, кажется, единственное газетное известие, которое мне пришлось встретить об этом деле, когда я писал свою статью о военном правосудии, гласило просто, что главный военный суд, рассмотрев в кассационном порядке дело поручика Пирогова, трижды приговоренного к смертной казни приамурским военно-окружным судом, постановил: уничтожить не только приговор, но и все делопроизводство, начиная с предания суду...

Это ошеломляющее известие поразило меня даже после знакомства с изложенными выше фактами. Я вывел

заключение, что поручик Пирогов наиболее полно пережил своеобразную современно-русскую радость: трижды приговоренный к смерти,— он отпущен теперь на свободу, и ему предоставлено вменить все пережитое, яко не бывшее.

Некоторые частные сведения, которые мне удалось собрать, подтверждали это заключение, и в своей статье (в «Русском богатстве») я так и излагал этот случай, причислив поручика Пирогова к «обрадованным русским людям»...

Оказалось, что я грубо ошибся. Это было иначе, и... это было гораздо печальнее...

Поручик Пирогов, происходивший из крестьян, служил в составе туркестанских батальонов. До войны это был, по-видимому, просто офицер с традиционными взглядами военной среды. В конце 1904 года он *добровольно* изъявил желание перевестись на театр военных действий. Причисленный к одному из восточно-сибирских стрелковых полков, Пирогов уже в начале 1905 года был на передовых позициях. Здесь он нес службу честно и с мужеством. Если не ошибаюсь, получил знак отличия за храбрость. В феврале он участвует в трехдневных боях под Мукденом и, по заключении мира, остается на передовых позициях в качестве начальника охотничьей команды, неся ответственную службу разведчика...

Известна и история, и финал этой несчастной войны. Известно и то, какое влияние она оказала на события в России. Легко понять, как действовали все эти события там, на месте, на полях, покрытых еще свежею русскою кровью, пролитой так бесплодно и часто так легкомысленно... Это был психический взрыв, своего рода циклон, охвативший дальневосточную армию... Газеты были полны известиями о том, что делалось во Владивостоке и по всему сибирскому пути...

Все это сильно подействовало и на молодого офицера «из крестьян», с такой готовностью добровольно принесшего на эти поля свою молодую жизнь. В декабре 1905 года он попадает в Читу уже в том настроении, которое охватило тогда очень многих, как водоворот, как эпидемия, как пожар. 19 декабря он был избран в читинский комитет «военного союза», а 12 февраля

к Чите подошел карательный поезд генерала Ренненкампфа...

«Столица Забайкальской Республики» не оказала ни малейшего сопротивления. Начались казни. Пирогов вместе с другими не мог не знать, что его ожидает: он скрылся и перешел на нелегальное положение. Затем он с увлечением отдался революционной деятельности, уезжал в Японию, опять появлялся в Сибири и участвовал в «военной организации» в Никольск-Уссурийском крае. Здесь он был арестован и предан военному суду, который и приговорил его *в первый раз* к смертной казни.

Его кассационная жалоба, выставлявшая очень веские юридические основания, *не была пропущена*. Командующий войсками генерал Унтербергер, не дав хода кассационной жалобе, заменил смертную казнь бессрочной каторгой...

Вечная каторга является, конечно, «смягчением» по сравнению с смертной казнию. Однако, по очень компетентному мнению выдающегося юриста, есть большое основание думать, что кассационная жалоба должна была повести к смягчению гораздо более значительному вследствие неправильной квалификации самого преступления...

Как бы то ни было,— приговор «временного» суда, хотя и не прошедший всех инстанций, вошел в «законную» силу. Существующий порядок свел свои счеты с поручиком Пироговым, и для последнего началось течение «вечной каторги». Казалось, над его головой сомкнулось забвение...

Но вот приамурский военно-окружной суд вновь вспоминает об осужденном; возбуждается «новое» дело, поручика Пирогова судят вторично и... *вторично приговаривают к смертной казни*... К великому счастью осужденного, суд совершает процессуальную ошибку, не допустив защитника. Последовала кассация приговора и новое (уже третье) разбирательство.

И в третий раз приамурский суд приговаривает поручика Пирогова к смертной казни...

На этот раз дело суда сделано чисто: защитник был допущен, никаких, по-видимому, формальных правонарушений и кассационных поводов не было. Вторичное

«помилование» по обстоятельствам невероятно. Ведь не затем же вновь вызвали поручика Пирогова, чтобы опять только вернуть его в вечную каторгу... Приамурский военный суд, очевидно, добивается казни...

Итак, разумной надежды нет; может быть только безумная фантазия, невозможная греза больного, истомившегося воображения... Поручику Пирогову кажется, что все эти два новых акта его трагедии — простое недоразумение... Сейчас откроется дверь камеры, придут и скажут: «Все это, поручик Пирогов, была простая шутка. Не только казнить вас, но и судить вновь было не за что!»

Бедный поручик Пирогов! Ну, можно ли даже перед лицом смерти предаваться таким иллюзиям? Можно ли думать, что в нашем отечестве есть учреждение, все-таки именуемое судом, которое может придумать такую мрачную шутку с человеческой жизнью? И не только придумать, но и провести по всем инстанциям и повторить с полной серьезностью два раза?..

Оказывается, однако, что это грезит вовсе не подсудимый, у которого закружилась голова от жестокой игры на смертной качели. Все это представляется не поручику Пирогову, а его защитнику, О. О. Грузенбергу, одному из известнейших русских юристов. Неужели и на знаменитых русских адвокатов эти судебные драмы могут подействовать так сильно?

Да, очевидно, могут. Но что еще удивительнее,— это то, что чисто бредовая идея О. О. Грузенберга заражает даже членов главного военного суда, который выслушивает его соображения и постановляет, что действительно не только двойной приговор к казни, один раз им самим утвержденный, но и самое предание вновь суду уже раз осужденного поручика Пирогова есть простое и грубое недоразумение. И все новое делопроизводство приамурского военно-окружного суда подлежит уничтожению!!!

Как это могло случиться?

Порой самые фантастические явления находят простое объяснение. Отыскивая с тревожным чувством поводы для безнадежной кассационной жалобы, защитник О. О. Грузенберг, не ограничиваясь последним судопроизводством, стал изучать дело с его возникновения, то есть

с первого приговора временного военного суда в селе Раздольном. И при этом он был поражен открытием: обвинительный акт по «новому» делу составлял точную и дословную копию старого раздольнинского акта. В нем были лишь изменены даты и место действия: Никольск-Уссурийский вместо села Раздольного! Простой и трагический в своей простоте факт: поручика Пирогова вновь судили и дважды подводили к виселице за то же дело, по которому он уже отбывает наказание. Первый обвинительный акт превращен в стереотип, по которому приамурский военно-окружной суд мог добиваться смертной казни для Пирогова сколько угодно раз, не затрудняя себя даже новой формулировкой обвинения...

XIII

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вот письмо, имеющее прямое отношение к истории поручика Пирогова.

«Дорогой отец!

Вероятно вам уже известно о моей судьбе, но очень важно, за что я приговорен. Я познакомился с двумя сотрудниками газеты «Уссурийский край» и часто посещал эту редакцию. Раз я сам написал статейку, которая была потом отпечатана. Спустя немного времени, в редакции был произведен обыск, и некоторые были арестованы. Арестовали нас семьдесят человек, арестован также и один офицер, *поручик Пирогов*. Обвиняли нас в принадлежности к военно-революционной организации. Никаких фактов, доказательств, а устроили прямо...[1] Масса пострадала невинных, так как все обвинение основывалось на предположениях. Так, меня обвиняют на том основании, что я дружил с журналистом Телятниковым и имел сношение с поручиком Пироговым, а посему я, вероятно, состоял членом с. р. в. комитета. Как видите — только по одному предположению. И на этом основании я приговорен к... (многоточие в подлиннике. Сын

[1] Пропускаю резкое слово.

не решается написать в письме к отцу настоящее слово). Я прошение о смягчении подал на имя командующего войсками о замене каким-либо другим наказанием, но надежды никакой у меня нет. Не я первый, не я последний. Жертв принесено... (пропускаем—кому.—*В. К.*) довольно много, и я тоже пал жертвою этих жестоких расправ. Пощады от генерала Шинкаренка никто не ждет. Прощайте, мой дорогой отец, прощайте! Любящий вас ваш сын Исаак Итунин.

Окт. 12 дня 1907 года. Гарнизонная гауптвахта. г. Никольск-Уссурийский».

Вот каким языком говорит сама действительность. Вы видите: автор письма ни перед кем не заискивает. Он пишет слова, которые мы заменили многоточием, и в сторону генерала Шинкаренка кидает простую и мужественно холодную фразу: «от него пощады никто не ждет». Да, это голос смерти, то есть самой правды... А за ним [Итуниным] следует целая толпа пострадавших в Никольске-Уссурийском от такого суда... И всем был прекращен доступ к последней инстанции...

Так творится эта неслыханная парадоксальная «закономерность», к которой нас стараются приучить в последние годы.

О количестве тех «необрадованных», хотя и невинных русских людей, которых настигла плохо разбирающаяся военная Немезида, можно судить лишь гадательно, по грубому глазомеру. И прежде всего по исключениям, подтверждающим правило. Приведенные выше эпизоды с благополучной развязкой громко кричат о страшной легкости приговора над невинными, о необыкновенной беспечности и неряшливости предварительного следствия, о странной доверчивости военных судей к показаниям охранников, провокаторов, сыщиков всякого рода, заведомых клятвопреступников, отбросов общества, нередко с отвратительным уголовным прошлым.

В июне настоящего года в Тифлисе судили шестнадцатилетнего Кутуладзе и девятнадцатилетнего Степана Гидрова, обвинявшихся в убийстве сыщика. Грозила смертная казнь. Дознание производил начальник сыскного отделения Рокогон, являвшийся и главным свидетелем. К счастью, ко времени суда этот господин, от ко-

торого, может быть, зависела жизнь мальчиков, сам уже был под стражей за «преступления по должности», и в суд для свидетельских показаний был приведен из тюрьмы под конвоем. Мальчиков оправдали [1].

В Киеве недавно группа обывателей обратилась к прокурору с жалобой на полицейского агента Эльгарта, одолевшего их шантажом, угрозами и вымогательствами в пользу пристава. Телеграмма заканчивается красноречивой фразой: Эльгарт известен как «постоянный свидетель» по полицейским делам [2].

В июне текущего года в Петербургской судебной палате разбиралось дело северо-западного отряда партии с.-р., возникшего по оговору некоего Падсюка, тоже «состоящего при охранном отделении в качестве постоянного свидетеля» [3]. На суде один из свидетелей привел секретное отношение охранного отделения, которое ему удалось добыть из производства военного суда. В нем само охранное отделение признает, что большинство оговоров Падсюка является фантастическими измышлениями *с целью избавиться от каторги*. Судебная палата *после десятиминутного совещания* оправдала всех подсудимых. Но этих радостных десяти минут подсудимые ждали... три года!

По таким данным людей арестуют с изумительной легкостью, затем с беспечным формализмом составляют обвинительные акты и предают военному суду... А сесть в военном суде на скамью подсудимых — это значит почти верное осуждение.

Мне уже приходилось ссылаться на замечательные очерки господина С. («Смертники») в «Вестнике Европы». Прекрасный наблюдатель, поставленный превратными российскими судьбами в «отличные условия» для наблюдения, автор этот с спокойной печалью и трезвою сдержанностью присматривался к «бытовому явлению». Между прочим, он задавался также вопросом: сколько невинных отправляется по зорям тюремными коридорами на задние дворы, где их ждет виселица?

---

[1] «Р. слово», 12 июня 1910 г., № 133.
[2] «Совр. слово», 11 сент. 1910 г., № 965.
[3] «Южный край», 12 июня 1910 г., № 10012.

Ответ его ужасен. Тюремное население — арестанты, надзиратели, начальники и, наконец, конвойные—отлично знают, кто именно из судящихся привлечен напрасно. Но... им приходится молчать. Не их дело! Их дело сторожить и водить на казнь. По словам господина С., кроме обычных подразделений (политики, уголовные, политико-уголовные, террористы, вымогатели), тюрьма знает еще широкое подразделение смертников на две группы: *действительно виновные в том, за что их судят, и совершенно неповинные в деяниях, за которые придется умирать.*

По наблюдениям автора, процент невинно осуждаемых и невинно казнимых среди политико-уголовных достигает чудовищной высоты. Конвойные, сопровождающие осужденных в суд, несколько раз говорили ему, что среди осужденных на смерть *лишь половину составляют виновные*, а другую половину невинные. «Конечно,— осторожно оговаривается автор,— здесь есть преувеличение: я думаю, что число невинных, приговариваемых к казни, редко поднимается выше трети (!), а по большей части составляет не более четверти или одной пятой».

Примем наименьшую из допускаемых автором цифр. Пусть это будет одна пятая. Двести человек на тысячу.

С начала нашего обновления число казненных превысило уже три тысячи. Значит, по этому минимальному расчету за истекшее пятилетие около шестисот человек в нашем отечестве казнены невинно (если не считать, конечно, работы военно-полевых судов). Прибавьте еще сюда переживших ужас смертного приговора и потом помилованных на вечную или долгосрочную каторгу. Голова кружится при мысли об этих страшных цифрах, из которых каждая единица есть человеческая жизнь, а за ней — невыразимые страдания отцов, матерей, целых семей.

То, что у нас теперь творится, отвратительно и ужасно. Озверевшие люди врываются в квартиры, насилуют, убивают... Останавливают на дорогах, шлют угрозы, среди белого дня входят в дома и ведут переговоры о цене

вашей жизни. Сердце сжимается от ужаса при одном описании свирепого убийства семьи Быховских...

Ну, а картина судебного убийства Глускера? Что ужаснее? Страшное пробуждение, несколько минут кошмарной борьбы и смерть или недели ожидания, когда видишь, что кругом тебя смыкается сеть лжесвидетельства, недоразумений и непонимания. Потом приговор, и вам указывают вперед: вот в такой-то день и час мы придем к тебе, сведем на задний двор и задушим... И придут. И сведут. И задушат...

И вы знаете, что стоит вам добиться, чтобы пересмотрели дело, чтобы вызвали помещицу Гусеву, чтоб проверили показания лжесвидетелей Эльгартов и Падсюков, и вы будете свободны. Но у дверей вашего склепа, кроме логики военного правосудия, которая и сама по себе ужасна, стоит еще генерал Каульбарс, или генерал Ясенский, или генерал Скалон, и говорят: «Заприте дверь покрепче, чтоб его жалоб не услышал...» Кто же? Главный военный суд!

Припомните самые страшные рассказы, оставшиеся в народной памяти от древних времен, когда над бесконечными пространствами России еще шумели дремучие брынские леса, и потом сравните их с следующей бытовой картиной, которую г. С. выхватил прямо из современной действительности.

Их четверо. Один анархист и четыре деревенских мужика, осужденных невинно по обвинению в поджоге. Одного уже увели, и дело с ним кончено.

— Следующий!

Щелкнул замок секретки.

— Твое имя?

И опять беспомощный, наивный деревенский вопль.

— Не я, ваше благородие, видит бог не я! Родненькие мои, да как же так?

— Помолчи. Тебя как звать? А. Ну, хорошо... По указу его величества... через повешение. Священника примешь?

— Батюшка, перед богом, невинен я... Семья дома.

И чей-то благочестивый густой голос успокаивает.

— Ну, хорошо, хорошо... Встань на колени... Вот так... Молись... И аз недостойный иерей, властию его,

мне данною, прощаю и разрешаю... Ну. встань... Вот крест... Поцелуй. Ну, так.

— Готово?

И благочестивый голос ответил:

— Готово!

Теперь скажите: не кажется ли вам, что нет страшного рассказа, который был бы страшнее этого. И смягчается ли ужас этой смерти оттого, что эти люди встретили ее не спросонок, не неожиданно в полусознательном кошмаре и среди борьбы, а после целых недель ожидания?.. И что над ними звучит не приглушенное рычание озверевших бандитов, а холодное размеренное чтение «законного акта» и «сочный, благочестивый голос» пастыря церкви.

1910

В успокоенной деревне

Картинки подлинной действительности

I

Я уехал из столицы на рождественские праздники далеко в глушь, в саратовскую деревню. Уединенный помещичий хутор, белые поля, купы деревьев, все в белом инее. Почта — в двенадцати верстах, ближайшая железнодорожная станция — в шестнадцати. Газеты привозятся не каждый день, да ведь и читать их необязательно. Одним словом,— отдых среди природы! В одной стороне из-за снежных сугробов видны крылья мельницы. В другой, над оврагом, выстроились в ряд избы с соломенными крышами. Две деревеньки. Они теперь, как известно, уже «успокоены». Едешь по дороге,— попадется крестьянский меринок с розвальнями, сидящие в санях снимают шапки... Вспоминаются старые деревенские мотивы: «Вы — наши, мы — ваши»...

Как-то, после Крещения, в ясное морозное утро к хутору подъехала пара саней. Шесть мужиков вошли в переднюю, отряхаются, натоптали снегу. Приехали по своему делу к хозяину хутора. Посоветоваться.

— В чем дело?

Они рассказывают. И я хочу теперь в свою очередь рассказать читателям про это небольшое, довольно обычное в успокоенной деревне «дело», не новое, не оригинальное, но все-таки поразительное. Вы читали это десятки раз, и я тоже. Но мне хочется дать вам хоть раз полную и законченную картину того, о чем и вы, и я

читаем ежедневно. Я буду передавать именно так, как мне рассказано, не прибавляя ни одной черты от себя. Только, во избежание длиннот и повторений, сведу шесть рассказов в один и прибавлю к ним еще несколько, слышанных от «сторонних свидетелей» впоследствии.

II

Их шестеро: три отца да три сына. Чубаровской волости, Сердобского уезда, деревни Кромщины, крестьяне: Семен Устинов Трашенков, да Семен Миронов Коноплянкин, да Созон Макаров Еткаренков.

Это — отцы. С ними — сыновья: Трашенков Павел, почти еще юноша, с красивым правильным лицом, да Коноплянкин Абрам (скуластое лицо общедеревенского типа), да еще Еткаренков Василий (лицо умное, выразительно-печальное).

С ними произошла вот какая неприятная случайность.

В деревне Кромщине живет богатый мужик Дмитрий Евдокимов Шестеринин. Мужик — хозяйственный, крепкий, из тех «сильных», на которых теперь держится правительственная ставка. Между прочим и ростовщик. В ночь с 27 на 28 октября истекшего года у него случилась покража: взломали кладовую и вытащили два сундука. Наутро сундуки нашлись в овраге, разбитые. Большая часть содержимого оказалась налицо: воры, очевидно, искали денег и ценных вещей. Шестеринин сначала показал убытки на триста рублей (в том числе долговые расписки разных лиц), потом свел до девяноста рублей. Бабы жаловались на пропажу холстин да миткаля.

Кто украл — неизвестно. Надо узнавать.

В роду у Шестерининых есть свой мудрец, Василий Вонифатьевич Шестеринин, который гадает о покражах. Позвали его, и долго вечерами в избе Шестерининых шло колдовство. «Канифатыч» раскрывает псалтирь и читает «каку-то псалму». На левой руке у него на палец намотана нитка от клубка. На клубок надеты замок (или ключ) и ножницы. По прочтении «псалмы» Канифатыч начинает называть разные имена. На чьем имени ножницы задрожат и повернутся, тот и есть вор. Признак: с этих пор он начнет чернеть.

Колдовали несколько дней; ножницы указывали не-

сколько имен, особенно часто вздрагивали они при имени некоего Григория Чикалова, который, надо заметить, был в ссоре с Шестериниными. Но Григорий чернеть не чернеет...

В это время по деревням много свадеб. В начале ноября на одной из таких свадеб к Шестеринину подсел Никифор Кожин, мужичонко из таких, которые смотрят в глаза богатым мужикам. Знал ли он, что на Чикалова указывают ножницы с клубком, а тот упорно не чернеет, или просто ждал угощения и с этой целью хотел сказать богатею что-нибудь приятное, только подсел этот Кожин и говорит:

— Позови меня, Митрий Евдокимыч, к себе. Угостишь, я тебе весточку скажу, о пропаже об твоей.

Кожина позвали, угостили. В благодарность услужливый человек сообщил, что он живет в экономии помещика Жданова и там же есть работник Григорий Чикалов. Так вот ему, Кожину, известно, что этот Чикалов в ночь кражи куда-то отлучался. И знает об этой отлучке Абрам Коноплянкин. Все это Кожин бессовестно лгал. Впоследствии оказалось, что в ту ночь Чикалов долго играл в карты с другим работником. Это видели все рабочие и даже староста... Но «весточка» все-таки была приятная: подтверждались указания клубка и ножниц, и свидетелем назывался Абрам Коноплянкин, состоявший в отдаленном родстве с Шестерининым. Значит, подтвердит.

После этого Шестеринин обратился к уряднику, и на сцену выступают три доморощенных Шерлока Холмса. Первый из них — сам урядник, носящий странное имя Гая: Гай Владимирович, господин Иванов. С ним — два стражника, имена которых мне сообщить не могли. Впрочем, фамилия одного из них — Борисов. Человек — грубый, грузный, тяжелый. Известен уже ранее производимыми «дознаниями». Особенно говорят о дознании в селе Алемасове. Розыскные таланты его покоятся главным образом на природных дарованиях: огромный кулак и очень грузное телосложение. «Ударит — с ног долой. После этого вскочит на человека, топнет раз-другой; человек делается без памяти»...

Эта полицейская тройка приступила немедленно к «следственным действиям». Было это вечером с 13 на

14 ноября, перед самым, значит, крещенским постом; «сильная власть» любезно явилась в дом потерпевшего Шестеринина. В этом доме — три избы. Передняя, в которой производились первые допросы. Во второй (средней) стоял самовар, водка и обычные деревенские закуски: курятина и яйца. За столом происходило обильное угощение: шестерининские бабы то и дело меняли самовары и подавали новые бутылки. В комнате было людно: кроме трех полицейских и хозяев тут присутствовал староста (двоюродный братец хозяина, тоже Шестеринин) и двое десятских, которых потребовал урядник. Через некоторое время явились еще двое понятых, которых пригласили в середине вечера, и два подводчика [1]. Очевидно, господа полицейские и не думали облекать свои действия покровами какой бы то ни было тайны. Они были уверены и в себе, и в силе своей власти, и в своем «полном праве».

Была еще третья изба, задняя. Окна в ней были тщательно занавешены...

Прежде всего позвали предполагаемого свидетеля, Абрама Коноплянкина. Я сказал выше, что он — дальний родственник Шестерининых. Предполагалось, что «по-родственному» он сразу же сделает всем удовольствие и подтвердит извет Кожина (который был тут же).

Этот Абрам, рыжеватый парень с широким простодушным лицом, так передавал мне о своих «свидетельских показаниях»:

«Позвал меня десятский. Я пришел. В передней избе у Шестерининых встретил меня урядник и говорит добром: «Вот, Абрам, скажи, ты видал, что Григорий Чикалов уходил в ту ночь, как случилась кража?» — «Нет, говорю, я этого не видал». Урядник вышел в середнюю комнату. Там чай пили. Поговорили что-то между собой. Потом зовут меня. Выходят урядник и два стражника из-за стола, губы обтирают. Урядник опять спрашивает: «Говори, Абрам, ты видал, что Григорий уходил?» — «Никак нет, говорю, не видал».— «А как же вот Кожин говорит, видел ты. Говори, Кожин: он видел?» Кожин

[1] Фамилии «понятых»: Митрофан Степанович Илюшин и Василий Филиппович Танин Один из подводчиков — Григорий Варламович Хохлов.

говорит: «Видал. Он с нём спал вместе».— «Нет, я говорю. я не с нём спал. Я на нижних нарах спал с Мироновым. Спросите у людей. Все знают».

При виде такого «упорства» урядник размахнулся и ударил Абрама; потом принялись бить его втроем со стражниками. «Говори, что видал».— «Я, говорю, не видал». Урядник — опять по щеке. Я упал. Он меня давай ногами топтать. Встал с полу. Тут стражник один ткнул нагайкой в бок, черенок сломался. Потом давай раздевать меня... Я вижу, беда будет. Не дался раздевать, спугался. И говорю: «Ну, видал. Уходил Григорий. А зачем уходил, не знаю. Может, до ветру...» Меня отпустили. Сел я рядом с Кожиным. Сидим. Он ничего не говорит, и я ничего. Я весь избитый, морда в крови, болит все...»

Таким необыкновенно искусным и остроумным путем получено второе свидетельское показание против Григория Чикалова. Теперь значит, против него уже — ножницы, извет Кожина и показание Абрама. Позвали самого Григория. Его ввели прямо в среднюю избу и поставили перед всей компанией, у стола с самоваром и закусками.

— Ну, Григорий, говори: ты куда ходил в ту ночь, когда у них вот кража случилась?

— Да я никуда не ходил.

— А, ты отказываешься?

Хвать Григория по лицу кулаком, и опять принялись бить втроем. Били уже не так, как Абрама, который как-никак Шестеринину родня. Григорий «не сознавался».

— Ну, веди его в заднюю комнату!

То, что должно было происходить в задней комнате, очевидно, уже входило в область профессиональной тайны и совершалось «при закрытых дверях». Григория ввели туда, и тотчас Шестеринин-родитель и его взрослый сын навалились снаружи на двери. Оттуда послышались нечеловеческие крики. Через некоторое время дверь открылась. Вышел Григорий, шатаясь, весь избитый. Рубашка на нем была вся иссечена нагайками. Его заставили умыться. Увидя в первой избе подводчика Григория Варламова Хохлова, Григорий подошел к нему и сказал:

— Тезка, сходи к жене, принеси другую рубаху. Вишь, эту всю иссекли.

Тот пошел.

Жена рубаху принесла, просится в избу, плачет. Ее не пустили, а Григория опять повели в заднюю комнату, откуда опять понеслись удары и крики. Так его три раза выволакивали в беспамятстве, обливали водой и принимались опять. Били, душили за глотку, рвали губы (мужики говорят: «делали исчезание» до трех раз)... За третьим разом Григорий повинился:

— Уходил,— говорит,— ночью воровать.

Тогда его вывели, умыли опять, посадили на лавку, урядник поднес ему две чашки водки.

— Вот видишь, сразу бы так. Ну, теперь говори: кто с тобой был еще, кому отдали добро на хранение?

Григорий от водки немного ободрился и говорит:

— Господа, сделайте божескую милость: как же я на людей буду говорить, когда и сам я не бывал и ничего не знаю.

Тогда его повели в заднюю комнату в четвертый раз. Когда его оттуда опять выволокли и умыли, он признался окончательно и назвал еще двух: Павла Трашенкова и Еткаренкова Василия.

III

Рассказ этих двух молодых людей (и некоторых сторонних свидетелей) прибавляет новые черты к картине. Урядник и стражники устали. За столом они сидели уже потные, взопревшие, в одних рубахах. Угощались. Когда выволакивали избитого, то кричали: «Проходную, хозяин!» И им приносили водки. Павла урядник ударил сразу, не говоря еще ни слова, и свалил с ног, а затем, когда тот поднялся, размахнулся вторично. Павел отшатнулся. Движения урядника уже потеряли отчетливость, и он сшиб руку об стену. Это его обозлило. Он приказал. «Скрой глаза, опусти руки!» Это, очевидно,— во избежание «сопротивления при исполнении обязанностей»... Увели опять в третью комнату. Здесь били сначала нагайками, но черенки у всех трех нагаек изломались. Тогда стали бить кулаками, ногами и каким-то железным прутком. Урядник приставлял к груди револьвер. Павел три раза терял сознание; три раза его выволакивали и обмывали... И это видели все присутствовав-

шие у Шестерининых. Под окнами собирался народ. Стражники отгоняли... Павел все-таки не повинился. Вышел он из этой переделки без образа человеческого, весь в крови и с выбитыми зубами.

Принялись за Василия Еткаренкова.

Василий — старше двух предыдущих. У него уже четверо детей. Это — блондин с широким, умным лицом; выражение — подавленное, печальное... Во время рассказа порой смолкает, опускает голову, чтобы подавить подступающие к горлу рыдания...

Когда его привел десятник к Шестерининым, усталые стражники лежали на кровати, отдыхали от работы. Урядник его спросил, потом ударил. Но стражники, преодолев усталость, поднялись с кровати и говорят:

— Нечего с нём болтаться. Веди прямо в заднюю комнату.

Здесь сразу его повалили, раздели и начали сечь нагайками. Потом опять сказали: «Нечего его обрывками сечь. Давай так». И стали бить «так». Пинали кулаками, сапогами; урядник вскочил на него и топнул. Тогда стражник Борисов говорит:

— Эх, ты не умеешь.

Сам вскочил на лежачего и топнул два раза. Урядник — сердитый да легкий. Стражник — тяжелый, грузный.

Василий потерял сознание.

Его тоже выволакивали три раза, обливали водой и принимались опять. В четвертый раз урядник бил один. Сначала ударил железным прутком по голове, потом приставлял к груди револьвер. Наконец, выхватил шашку, размахнулся. Помещение, по-видимому, тесновато; урядник саблей расшиб икону, после чего вбежал один из стражников и отнял шашку.

Урядник после этого вышел, дыша, «как запаленная лошадь», и тоже лег на кровать, подложив под спину подушки. И здесь произошло заключительное «служебное действие». Гай Владимирович Иванов чувствовал, по-видимому, некоторую неудовлетворенность: повинился один Григорий, да и то неполно. Остальные выдержали истязание (местные жители говорят: «исчезание»), а между тем начальство уже выбилось из сил. Гай Владимирович лежал на постели «и тяжело дыхал,— уморился». Но

сердце у него все горело на упорщиков. Поэтому он приказал подвести Павла и Василия к своей постели. Когда их подводили, он, полулежа на подушках, пинал их ногой. «Шибанет ногой под грудь, потом кричит: «Подходи, подходи опять! Ведите их!» Стражники подводят, а он поднимет ногу, опять нацеливается, куда ударить, чтобы побольнее...»

IV

Ночью, под утро, истерзанных, истоптанных, избитых повезли в Чубаровку. Кто попадался навстречу этому ночному поезду, те со страхом сворачивали с дороги и крестились, оглядываясь на эти сани, в которых виднелась темная груда людей, высились полицейские папахи и неслись стоны.

«Пришлось подыматься на гору,— рассказывал мне подводчик Григорий Варламов Хохлов.— Я говорю: «Пожалуйста, ребята, сойдите маленько: не встащит ведь лошаденка моя. Устала». Стражники тотчас сошли, а ребята говорят: «Извини, дядя Григорий,— не сойти нам. Избиты очень». А Василий Еткаренков говорит: «Вот теперь уже, товарищ, я чую: не жилец я. До лета не дотяну. Бить-то били, да еще ногами встанут, да прыжком. Нутренности отбили вовсе». И заплакал».

В Чубаровке истязатели подвели итоги. Они оказались неутешительны. Ведь надо будет доставить «обвиняемых» к следователю. Кроме откровений клубка и ножниц, да оговора пьяного Кожина, у них было только вымученное сознание Григория Чикалова. Вдобавок в числе арестованных и избитых у них был Абрам Коноплянкин — *только свидетель!* Пришлось несколько оформить это дело. Принялись опять за Григория, и, конечно, он скоро показал, что Абрам воровал с ним вместе. Таким образом, уже в Чубаровке этот свидетель для «законности» стал тоже вором. Затем у Григория стали требовать, чтобы он указал, куда девалось шестерининское добро. Этого, конечно, Григорий не мог сказать даже и под кулаками, так как не обладал даром ясновидения. Чтобы иметь хотя временный отдых от истязаний, он начал путать: показал сначала, что «добро» скрыл Андрей Архипов Чикалов (зять избитого уже Павла). Андрея

арестовали и привезли в Чубаровку, но оговор оказался явно невероятным, и Григорий от него отказался. Его, конечно, стали опять бить. Тогда он повел всех в овраг, заставлял в разных местах рыть землю, но, конечно, ничего не находилось. Чтобы отучить его от такой лживости, ему стали рвать рот: «Засунет в рот два пальца и рвет на стороны». Григорий показал, что «добро» — в деревне Дубровке, у Лаврентия Хохлова. Отправились в Дубровку, к Лаврентию. «Давай сюда ворованное добро». Так как Лаврентий отказался, то его тоже принялись бить. Но тут...

В первый еще раз во всей этой истории нашелся, наконец, человек с некоторым гражданским сознанием, который решился стать против официально-полицейского разбоя. Дубровский староста надел свою цепь и решительно заявил, что он не дозволит бить своих односельцев.

— Подводу дадим. Можете арестовать. А бить не позволяю.

Истязатели отступили перед этим заявлением и увезли всех в Трескино, где живет пристав.

Зовут этого старосту Степан Николаев Кузнецов.

V

Мой невеселый рассказ и без того затянулся. Поэтому я опускаю некоторые черты, которыми, с своей стороны, сочли нужным дополнить «картину дознания» трескинский урядник и сам г. пристав (обратившие почему-то особенное внимание на Абрама Коноплянкина)... Достаточно сказать, что г. пристав нашел, по-видимому, «все в порядке» и что теперь уже можно препроводить «преступников» для формального следствия. Так, как были, избитых и изувеченных, их доставили сначала к уездному члену, а затем к судебному следователю в г. Сердобск.

Я, конечно, не знаю, насколько часто г. судебному следователю приходилось получать от приставов для дальнейшего производства полицейские дознания, подготовленные так образцово. Во всяком случае, относительно этих четырех человек было единственное, правда очень выразительное, доказательство их вины: все они были жестоко избиты. Григорий Чикалов тотчас же отка-

зался от всех вымученных оговоров. Это, конечно, опять огорчило урядника.

— Как же ты сам сознался?

Но Григорий, осмелевший в присутствии следователя, ответил:

— Дай-ка я тебя начну бить, да топтать, да отливать водой. Небось, и ты признаешься. Кулаки — не пироги. Тут не пожалеешь и родного отца.

Затем «обвиняемые» сослались на десятки свидетелей. Следователь отпустил всех четырех с миром, посоветовав на побои подать жалобу прокурору...

VI

Мой рассказ кончен. Но читатель, быть может, не посетует, если я дополню его еще некоторыми «чертами нравов».

Как отнеслась ко всему этому крестьянская среда? Дом Шестерининых находится в деревне, не в глухом лесу. Все знали, что там происходит. Наконец, у истязуемых есть родители, родственники, соседи...

Прежде всего о родных. Жена Григория Чикалова приносила рубаху, плакала, просила допустить ее к мужу. Ее прогнали... Один из отцов, человек храбрый, явился на место. Урядник прежде всего избил его, чтобы он не заступался за преступников. Но все-таки он остался сидеть в передней комнате с подводчиками. В один из перерывов, когда истязатели подкреплялись и отдыхали, а истязуемые умывались, он скромно подсел к стражнику (вероятно, Борисову), и между ними произошел следующий любопытный разговор.

О т е ц. Эх, господа. Напрасно вы это, право напрасно делаете исчезание. Не виновны эти ребята.

С т р а ж н и к. Как! Ты это можешь ручаться?

О т е ц. Могу поручиться за свово сына вполне.

С т р а ж н и к. Ну, когда так,— доставай двести рублей, клади за руки. И я тоже положу. Я тебе говорю: к утру я у твоего сына вымучу, что он признается. Тогда пропали твои деньги. А не вымучу,— твое счастье. Бери мои двести рублей.

Отец, конечно, отказался от такого поощрения стражницкого усердия. «То-то вот и есть!» — сказал

стражник и отправился в заднюю комнату продолжать свое дело.

Известия о том, что делается у Шестерининых, конечно, разнеслись по деревне. По избам не спали. Бабы плакали. Подходили к дому Шестерининых, прислушивались с ужасом к стонам, глядели на плотно занавешенные окна «задней комнаты». Но «престиж полицейской власти» поднят теперь так высоко, что население давно перестало отличать в его действиях «исполнение обязанности» от самого гнусного злодейства. Поэтому вместо «сопротивления» мужики только жались кругом дома, шарахаясь в темноту, когда открывалась наружная дверь...

Должно быть расходившиеся стражники и урядник действительно внушали ужас. Подводчик Григорий Хохлов, которого позвали, чтобы везти арестованных в Чубаровку, вошел к Шестерининым как раз в ту минуту, когда урядник кричал: «Веди сюда Григория!» Он разумел Григория Чикалова, но так как подводчик — тоже Григорий, то он подумал, что это зовут на истязание его, и в ужасе кинулся, ища какого-нибудь убежища, чтобы спрятаться. Вот — истинное торжество сильной власти, прочная основа «успокоения»!

Ночью, когда, наконец, арестованных увезли, бабы шестерининской семьи принялись за уборку избы, где полицейские пили водку и лили человеческую кровь. Крови было много на полу, на стенах задней комнаты. «Барана зарежешь — столько крови не будет»,— говорил мне один очевидец. Крестьяне упорно говорят, что в избу прежде всего пустили собак, которые вылизывали кровь. Но человеческая кровь смывается нелегко: после собак шестерининские бабы долго еще мыли и скоблили, но, говорят, не отмыли и не отскоблили и до сих пор...

Наутро страшные вести подняли всю деревню. Пятнадцатого ноября, в понедельник, когда урядник был у Шестерининых, ему сообщили, что собрались «старики» и требуют его на сход. Сход действительно гудел, обсуждая события страшной ночи. Всем уже было известно, что ни один из истязуемых не мог принимать участия в краже: в деревне не скроешь. Нашлись люди, видевшие каждого из заподозренных, а больше всех пострадавший Василий Еткаренков гулял на свадьбе в

соседней деревне Зыбине, где мужики составили об этом бумагу с двадцатью двумя подписями.

Урядник сначала на сход не пошел. Его звали два раза. На третий раз сход послал уже старосту, того самого двоюродного брата Шестеринина, который сидел за столом и пил водку, когда истязали его односельцев. Приказ «мира» был так решителен, что староста, робевший прежде перед своим богатым родственником и урядником, теперь оробел перед миром и пошел. Урядник, наконец, явился на сход.

Сначала он тоже несколько растерялся, почувствовал, что перехватил через край и что мужичий мир всколыхнулся.

Спустя месяц после происшествия Павел Яковлев Глухов, солидный и строгий мужик, «ходивший в волостных судьях» и сам не склонный, по-видимому, «давать потачку», рассказывал мне о том, что было, и в его голосе еще слышалось глубокое волнение.

— Я у себя на печи заснуть не мог. Думал, эти ребята к утру кончатся. «Исчезание» было страшное... Кажется, если бы у меня тройку лошадей свели,— я бы не согласился на этакое дело... Бог с ними. А тут над неповинными чего сделали!..

Мир приступил к уряднику:

— Вот, господин урядник, мы вас пригласили. Отвечайте миру: какое вы имеете полное право лить христианскую кровь? Ведь это страшное дело — такое «исчезание». Если их подозреваете, можете арестовать, представить по начальству, куда следует: а вы у Шестеринина допрашиваете? Это вам — канцелярия? Где такие законы?

Урядник стал отрицать истязание. Но тут, среди белого дня и на миру престиж власти упал. Один за другим выступали свидетели: десятские, подводчики, понятые, которых он пригласил вчера после первого сознания Чикалова. Все говорили открыто, с волнением и негодованием. Положение становилось неприятно.

Но... сход говорил все-таки торжественно и сравнительно спокойно, спрашивая о законах и праве, а в этой области, как известно, сильная власть чувствует себя довольно свободно. Урядник ободрился и в свою очередь перешел в нападение.

— Это дело не ваше! Какое вы имеете полное право вмешиваться в действие полиции? Указы знаете? Я вас всех сошлю, потому что я исполняю службу. Вы еще не имеете полного права требовать меня на сход... За это ответите строго...

После этого урядник ушел...

VII

Таково теперь положение в Кромщине. О потерпевших говорят, что они уже не работники. Особенно пострадал Василий Еткаренков. Настоящий богатырь по сложению, теперь он больше лежит на печи, стонет и часто плачет. На утешение моего родственника: «Ну, Василий, поправишься, вместе на охоту пойдем», он понурил голову и сказал глухо:

— Нет уж, С. А., не охотник я больше. Грудь болит, разломило всего. У сердца сосет, и вот тут будто вода колышется. Все у меня отбили. С полой водой уйду и я, верно, со свету белого.

Шестерининым, особенно бабам, нет проходу. Их стыдят, при их появлении кричат: «Кровопивное семейство!» — и спрашивают, как у них собаки человечью кровь лизали.

Урядник, говорят, удален, но, кажется, по другому делу. Вообще же деревенские Шерлоки Холмсы не унывают. Кажется, они считают истязание при всяком дознании необходимой прерогативой своей службы.

— В Алемасове из-за самовара я одному вовсе рот разорвал,— говорит будто бы в поучение мужикам один из этих стражников.— Ничего. Не виноват перед своим начальством остался. Потому — служба.

— И верно,— ничего им не будет! — говорил мне как-то местный мужик, сверкая глазами.— Мы, господин, народ темный. Закону для мужика на этом свете нету, и доступать его мы не умеем. У нас так: терпим-терпим, а то уже, когда сердце закипит,— за оглоблю!

— И опять виноваты остаемся,— вздохнул другой.

На этот раз, положим, сделана попытка «доступить своего закону»: отцы истязуемых 7 или 8 декабря пода-

ли жалобы прокурору в Саратове, но веры «в закон и для мужика» у возмущенного населения, правду сказать, как-то мало. Больше двух месяцев прошло с тех пор, как кромщинские псы лизали человечью кровь. Больше полутора месяцев, как подана жалоба. Но никто не торопится расследовать это вопиющее дело. Установившаяся практика смотрит на такие «происшествия» не как на преступление и вопиющее злодейство, а лишь как на маловажный служебный проступок... Несколько излишнее усердие, нимало не нарушающее деревенского «успокоения»... [1]

1911

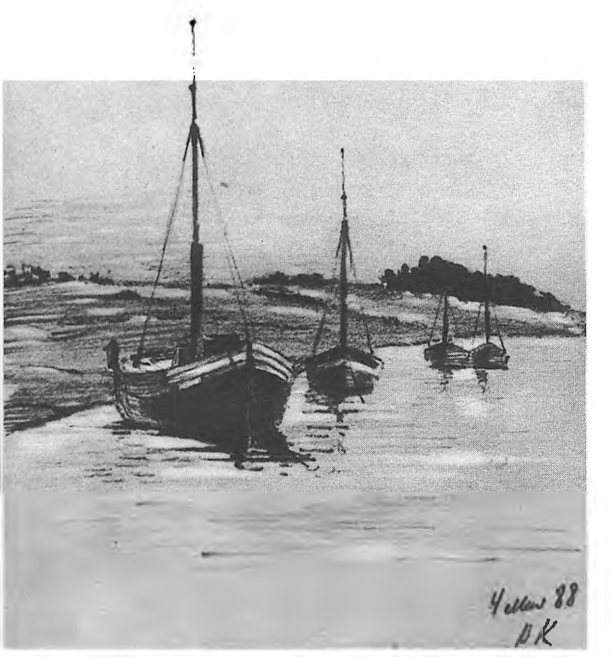
---

[1] Через некоторое время, однако, полицейские понесли нака-

Внутренность избы в Березовских починках, в которой жил В. Г. Короленко. 1880. *Рис. В. Г. Короленко.*

Разлив Оки в Нижнем-Новгороде. 1895. *Рис. В. Г. Короленко.*

Нижний Новгород. Дом, в котором жил В. Г. Короленко. <1885>. *Рис. В. Г. Короленко.*



На Волге. 1888.
Рис. В. Г. Короленко.

Дело Бейлиса

НА ЛУКЬЯНОВКЕ

Во время дела Бейлиса

I

Вагон трамвая доставил нас к церкви св. Феодора на Дорогожицкой, откуда мы пошли по узким, своеобразным улицам. Киев вообще стоит в разных плоскостях, но здесь, на окраинах, эта топографическая особенность становится необыкновенно причудлива. Я теперь понимаю частые известия, попадающиеся в газетах, о приключениях киевских бандитов, отстреливающихся так удачно в этих глинищах и оврагах от преследующей их полиции.

Мы приближаемся к Лукьяновке, к знаменитой отныне усадьбе Зайцева. Какой-то низкорослый сутулый человек медлительно подметает улицу перед домом. Фигура показалась мне характерной: «потомственный» мещанин старого города. Мы подходим к нему, отрываем его от полезного занятия, спрашиваем дорогу и кстати осведомляемся о том, какого он лично мнения об убийстве Ющинского. Он кладет метлу на левую руку, показывает, как нам выйти на Половецкую улицу, и затем, принимаясь опять за метлу, отвечает равнодушно:

— Ну-у... что тут... Никто тут на Бейлиса не думает... Были такие, что сделали и без жидов...

Я пытаюсь спросить о ритуальных убийствах вообще, но его этот вопрос, видимо, не интересует. Он бор-

мочет что-то, и вокруг него опять начинает клубиться подметаемая пыль.

Этот мало сообщительный человек сразу взял ноту, которая впоследствии являлась господствующей в отзывах других обывателей. Есть люди, которые непременно добиваются решить вопрос в корне: может это быть, чтобы евреи вытачивали кровь из христианских детей, или этого никогда не бывает? Для серого обывателя в данном случае вопрос стоит не так: он берет только данный факт и только в данных пределах. Погиб мальчик. Кто-то убил, безжалостно и жестоко. Говорят, это сделали евреи, потому что им нужна будто бы христианская кровь для мацы. Бог его знает,— нужна ли? Но в данном случае работали другие...

Я еще несколько раз останавливался, спрашивал о дороге и задавал вопросы. Чем ближе к самому месту страшной драмы, тем эта уверенность обывателя звучит определеннее.

Газеты отмечали, что во время судебного осмотра усадьбы Зайцева по адресу Бейлиса раздавались со стороны соседей голоса привета и участия... На суде иные тоже кланяются Бейлису.

II

Мы на углу Верхней Юрковской и Половецкой. Второй от угла двухэтажный деревянный домик. В нижнем этаже над дверью вывеска — «Монополия».

Здесь, в верхнем этаже, жили супруги Чеберяковы. Он — мелкий почтовый чиновник, безвольный и безличный. Она — особа с очень ярко выраженной индивидуальностью. У них было трое детей: мальчик Женя и две дочери. Одевала она их, особенно девочек, довольно чисто, «держала, как барышень». Старалась завести знакомства с соседями, приглашала их к себе, обещая интересное общество профессоров и врачей. Теперь, если есть что-нибудь в этом деле установленное вполне прочно, то это тот факт, что мнимые профессора и врачи были профессиональные воры. В квартире г-жи Чеберяковой был известный полиции воровской притон, и сама она осуждена за кражу.

Внизу живет сиделица монополии, г. Малицкая. Она утверждает, что в марте, около дня убийства Ющинского, слышала у себя над головой сначала детские шаги, как будто вбежал ребенок. Потом шаги взрослых, потом детские заглушенные стоны и возню. Что-то тащили, и одно время эта возня имела такой характер, «как будто делали мерное танцевальное па». Потом что-то пронесли, все стихло. И в квартире, по показанию других свидетелей, некоторое время царил будто бы темный ужас. Боялась чего-то Чеберякова, безотчетно пугались гостьи, приглашенные к ней ночевать.

Во время судебного осмотра здесь делали опыт: вверху стучали и воспроизводили детские крики. Внизу слушали.

— Я ничего не слышу,— сказал кто-то из обвинителей Бейлиса (и, значит, защитников Чеберяковой). Но тотчас же раздались голоса:

— Слышно, слышно... Совершенно ясно.

Итак, по одной версии, убийство произошло в этом доме. Но эта версия не признана официально. К следствию ни хозяйка квартиры, ни «врачи и профессора», посещавшие Чеберякову, не привлекались...

Против дома стоит кучка любопытных посетителей, и какой-то местный житель объясняет им значение этой двухэтажной коробки в деле, интересующем всю Россию.

III

Мы идем за угол, по Половецкой... Направо большая прореха в заборе, и невдалеке от забора хибарка. Она имеет вид какой-то опущенности и убогости. Ход из нее на Нагорную — очевидно, для удобства — в эту прореху, заменяющую калитку. Вообще здесь щели, прорехи и лазы разного рода — дело обычное.

В хибарке живут супруги Шаховские. Их профессия — зажигать фонари. Это люди бедные и опустившиеся: Шаховскую редко видели трезвой. Муж ее тоже, выражаясь по-старинному, «непрестанно обращается в пьянстве». Кроме общей с женой профессии фонарщика, он имеет еще другую: ловит щеглов и продает их; как все люди этого типа, он склонен к созерцанию. В житейских разговорах, по-видимому, довольно бестолков.

часто отлучается из дома, и зажигание фонарей достается на долю жены. Когда Шаховская выходит вечером с лестницей на плечах, то ее нетвердая походка привлекает ироническое внимание мальчишек, которые порой ходят за ней и благодушно оказывают помощь.

По странной иронии судьбы, этой паре, далеко не устойчиво держащейся на собственных ногах, довелось служить одной из важнейших опор обвинения: муж и жена первые сболтнули о Бейлисе...

Минуем усадьбу Шаховских и идем дальше. Навстречу беспечной походкой школьников, гуляющих в праздник, идут двое мальчиков-подростков. Один в гимназической шинели. Оба в таком возрасте, что легко могли быть товарищами Ющинского. Мы заговариваем, и юноши охотно останавливаются и даже поворачивают с нами.

Улица делает угол и ныряет между двух откосов. Направо к откосу, отделяющему улицу от усадьбы Зайцева, лепится очень высокий, но, очевидно, и очень непрочный забор, придающий улице мрачный и характерный вид. Он устроен странно, как бы в два яруса, и в некоторых местах в нем виднеются такие же недавние, как и забор, заплаты.

— Хотите посмотреть «мялья»? — спрашивает наш чичероне и указывает на щели в заборе. Мы охотно подходим и заглядываем в эти щели: о «мялах» много говорили в суде.

В щель виден двор кирпичного завода, навесы, клади кирпича. Невдалеке виднеется вертикальный столб, на столбе длинный горизонтальный шест. Тут разводили глину и мяли ее. Для этого к горизонтальному шесту запрягали лошадь, а внизу прикрепляли тяжелые колеса (кажется, от старых лафетов). Лошадь шла по наружному кругу, колеса под шестом бегали внутри и месили глину.

Когда не было работы,— это была отличная карусель... Ребята разгоняли горизонтальный шест и вскакивали на него. Это бывало очень весело. Порой выходил кто-нибудь из завода и прогонял веселую стаю...

— Вы тоже катались? — спросил я у гимназиста.

— Сколько раз!

— Зачем же вас гоняли оттуда? Кому это вредило?

— Понятное дело,— говорит он тоном мальчика, начинающего чувствовать себя взрослым,— кирпичи портили.

— Гонял Бейлис?

— Ничего подобного. Когда же ему было самому гонять? На это есть сторожа!

Этому вопросу — кто гонял? гонял ли Бейлис? — суд посвятил много времени и тонких обследований. Сами дети и большинство свидетелей утверждали, что Бейлис не гонял. Шаховские, наоборот, первые заявили, что гонял. Это послужило исходным пунктом обвинительного силлогизма: если Бейлис гонял, то мог и догнать... Если мог догнать, то мог и схватить. Если мог схватить, то мог и унести, а дальше, конечно, мог и выточить кровь. Ну, а мог,— значит, и сделал.

Первые указали на эти возможности супруги Шаховские. Сначала они сказали, что по делу ничего не знают. Потом припомнили, что им говорила старуха Волкивна, будто она видела, как за двумя мальчиками гнался человек с черной бородой. Потом человек с черной бородой определился: это был Бейлис...

Волкивна — женщина тоже пьяная. Выходит, таким образом, что двое хронически пьяных людей ссылаются на третьего, тоже нетрезвого... Вдобавок Шаховские часто меняли показания, а Волкивна не подтвердила ссылки. Она подходила, разговаривала, но о Бейлисе ничего не говорилось.

При разговоре присутствовало третье лицо — мальчишка, привлеченный, вероятно, обычным ироническим любопытством к особам, не вполне твердым на ногах. Его разыскали и спросили. Он, действительно, стоял около женщин и слушал. Но о Бейлисе Волкивна ничего не говорила. У следователя и на суде супруги Шаховские взяли странную ноту. На вопрос: было ли то-то, они отвечают: «Было».— А может, и не было? — «Не было». Побившись с ними некоторое время, следователь г. Фененко, в руках которого это дело имело еще вид настоящей, а не «ритуальной» следственной процедуры, махнул рукой, не считая возможным арестовать Бейлиса на таком шатком основании. Господин Машкевич, преемник г. Фененко, нашел, что «для ритуального дела» это сойдет. И когда вдобавок к Шаховским присо-

единилась еще семья Чеберяков, дело окончательно определилось в следующем виде.

Около мяла дети щебечут, как стая птиц. Бейлису как раз нужен младенец для мацы. Он выходит из конторы, оглядывается. Целая стайка детей (лет по десяти) катается на мяле... Долго ли схватить одного? Бейлис кидается как коршун, дети разлетаются подобно воробьям, но он продолжает гнаться за двумя. Один из них, Женя Чеберяк, убегает, другой, Андрюша Ющинский, попадает ему в руки. Вот и отлично. Среди белого дня, при рабочих, которые возят глину [1], Бейлис спокойно тащит мальчика к пустой печке, как хозяйка несет пойманного цыпленка: дело, очевидно, к спеху.

Возможно ли привлечение, арест и суд на основании обвинения, исходящего из таких предпосылок? Г-н Фененко от них отказывается. Г-н Машкевич их принимает. Бейлиса арестуют.

Мы живем в странные времена. Недавно, в связи с тем же делом Бейлиса, в Государственной думе депутат Марков живописал следующую яркую картину. Дети в яркий солнечный день играют в садике, не чуя беды... Но вот к ним (среди белого дня!) уже «подкрадывается еврейский резник с кривым ножом (!) и, наметив резвящегося на солнышке ребенка, тащит к себе в подвал».

Большинство депутатов хохотали. Тогда «оратор» стал прямо грозить погромом. И это, конечно, было единственное место речи, в котором звучало хотя некоторое правдоподобие.

Картина, изображенная г. Марковым, стала чем-то вроде эпиграфа к делу, торжественно разбирающемуся теперь на глазах у всей России: г. Машкевич опять вызвал Шаховских, опять получил от них (кажется, в один день) три противоречивых ответа. Показания Шаховских были подкреплены не менее достоверными показаниями, исходящими из дома Чеберяк. И это главное, что имеется о Бейлисе по этому делу! Остальное касается цадиков, хасидов, страшных резников с кривыми ножами, которые сторожат «играющих на мяле детей», и тому подобных мотивов в чисто марковском вкусе...

---

[1] Установлено документально.

Целые заседания проходят даже без упоминания имени Бейлиса...

IV

Тон был дан. Из двух мест, о которых говорили в связи с делом Бейлиса, внимание правосудия повернулось решительно в сторону усадьбы Зайцева. Двухэтажный дом на Юрковской взят под защиту и сомневаться в его благонадежности стало прямо опасно. В показаниях Шаховского один только раз на суде мелькнуло что-то новое. На вопрос, почему он не хочет сказать правды, он ответил угрюмо:

— Всякому жизнь мила... Меня уже били...

— Кто, кто вас бил? — встрепенулись гражданские истцы.— Вас били евреи?..

— Нет, не евреи...

Господа Мищук и Красовский посильнее Шаховского. И, однако, стоило им только повернуть испытующий взгляд к двухэтажному дому, на который указывала молва Лукьяновки, и они потерпели полное крушение. Опасно было сомневаться в невинности «врачей и профессоров», посещавших Чеберякову... Когда я был в суде, я видел г-на Красовского уже в штатском платье и в очень щекотливом положении: господа «обвинители» настойчиво, упорно и не особенно тонко старались внушить присяжным, что он не просто бывший полицейский, а мрачный злодей, отравивший при помощи пирожного детей Чеберяковой...

В ритуальном деле можно, очевидно, так «свободно» обращаться со свидетелями, ничем в сущности не опороченными.

Зато над домом, где жила семья Чеберяковых, на глазах у Лукьяновки как будто реет некое невидимое патриотическое знамя... В суде происходят приблизительно следующие интересные диалоги:

— Скажите, свидетель, вы, не правда ли, двенадцатого марта были заняты?

— Да, был занят,— отвечает свидетель, приведенный под конвоем.

— Вы в то время взламывали магазин Адамовича?

— Да, взламывал...

— И у вас не оставалось времени для других дел?..

— Не оставалось... был занят...

Нельзя не считать чрезвычайно своеобразным положение, при котором обвинителям приходится защищать от судебного внимания тяжко заподозренных лиц при помощи таких экстраординарных аргументов...

На Лукьяновке тоже чувствуется это заштемпелеванное отношение к посетителям и жильцам двухэтажного дома на Юрковской...

Пока мы смотрим в щели забора, к нам по Половецкой подходят один за другим новые любопытные. Сегодня воскресенье. Приезжают из города... Наша кучка становится все больше. Подходят, смотрят в щели и молчат. Что-то, очевидно, мешает общему простому и доверчивому разговору. Я нарочно не начинаю, чтобы услышать непосредственное мнение. Они молчат, потому что не знают друг друга, а предмет, очевидно, считается щекотливым.

Так шло до тех пор, пока не подошел к нашей компании человек в длинном пальто и котелке, полумещанского, получиновничьего типа. Это был, очевидно, человек экспансивный, подвижной и неробкий. В нашу молчаливую компанию он врезался, как большой шмель в стайку мух, прошел к забору, посмотрел в щель и, повернувшись, сказал:

— Ну, только я прямо говорю: тут жиды столько же работали, как и я.

V

Это сразу разрешило настроение, и дальше мы пошли вместе, громко разговаривая, делясь впечатлениями и жестикулируя.

— Вы знали Ющинского? — спросил я у гимназиста и его спутника.

— А как же! Приятели были. И Женю Чеберяк, и Валю, и Люду... Вон там, направо,— гофманская печь, куда Бейлис будто бы потащил Андрюшу!

— Да, среди белого дня...— замечает кто-то из старших...— Что ж он думал: другие дети не скажут?

— Конечно.

Вообще, мнение детей ярко и определенно. Это было заметно и на суде. Ни один из свидетелей-ребят не дал показаний против Бейлиса. Ни один не повторил, буд-

то Бейлис гонял их с «мяла» и поймал Андрюшу. На суде был такой эпизод. Какой-то бутуз говорит против г-жи Чеберяк. Г-жа Чеберяк — женщина цыганского типа, с жгучими черными глазами. На очной ставке она потребовала, чтобы мальчик смотрел ей в глаза.

— Пусть он смотрит мне в глаза... Пусть смотрит в глаза,— говорила она настойчиво и страстно. Но детские глаза свободно устремились в ее лицо, и мальчик сказал просто:

— Я вас не боюсь...

Мне рассказывали еще другой случай: вызвана девочка. Председатель спрашивает, знает ли она Бейлиса. Девочка несколько смущена и растеряна. Она ищет глазами и вдруг встречается с взглядом Бейлиса. Лица обоих освещаются улыбками добрых знакомых. Девочка кланяется «страшному» Бейлису, который гонял с «мяла» и ловил детей на мацу. Ни прокурор, ни гражданские истцы не задерживают эту явно для них безнадежную свидетельницу.

Да, дети решительно за Бейлиса...

Есть, впрочем, смутные показания,— и то запоздалые и загробные,— о Бейлисе и о том, что он гнался за Ющинским. Это сказал Женя Чеберяк, и это показание суду доставил г. Голубев, известный деятель «Двуглавого орла». То же говорила на суде Люда Чеберяк под взглядами матери. Она сама не видала. Ей говорила покойная сестра Валя...

Перед смертью сына г-жа Чеберяк наклонялась над ним, целовала его и умоляла·

— Скажи, что твоя мама тут ни при чем...

Но мальчик отвернулся к стене и сказал только:

— Ах, мама, оставь...

Я не знаю теперь в России женщины несчастнее г-жи Чеберяк. И она проявляет изумительное самообладание... Во всяком случае, это факт, из дела неустранимый: дети против нее... Дети за Бейлиса.

VI

Мы огибаем заборы зайцевской усадьбы, проходим мимо усадьбы Марра и подымаемся на пустырь, поросший лесом.

Это усадьба Бернера и «Загоровщина», куда так влекло Андрюшу вместо училища... Трудно представить себе место, более привлекательное для детей. Гора широким склоном спускается к Кирилловской улице. Внизу, за ней, точно на плане, лежит чей-то кирпичный завод; видны навесы, высокие трубы и «мяла». За заводом — широкая синяя даль, подернутая легкой дымкой, луга, излучины Почайны и далеко, на самом горизонте, прерывистая лента Днепра. Луговой и днепровский ветер налетает сюда широкими, ласковыми взмахами.

Этот уголок видел и Андрюшу Ющинского, и Женю, и девочек Чеберяк, которых уже нет на свете. Андрюша убит. Женя и Валя умерли от дизентерии...

— Сколько раз мы тут играли! — говорит гимназист под влиянием нахлынувших воспоминаний.

— Андрюша был хороший товарищ? — спрашиваю я.

— Очень хороший. Бывало, играем с ним в солдатики или во что другое,— всегда все возвратит, никогда ничего не утащит.

Меня несколько удивила мерка нравственности в этой молодой компании, и я спросил невольно:

— А Женя Чеберяк?

— Женя таскал... И потом станет спорить: «мое».

— А очень способный был!.. Пушки умел отливать! Сделает в песке форму, растопит олово и выльет пушку... Ей-богу! Все умел сделать...

— Но был вспыльчивый. Чуть что — сейчас драться.

— Бывало, пристанет: давай, поборемся. Я говорю: уходи к черту...— Нет, давай! Ну, я его раз так стиснул, что он только запищал.

Юноша расправляет плечи, как будто с удовольствием вспоминая о расправе с задорным товарищем и забывая, что этого товарища уже нет на свете.

— Ну, а дочери Чеберяковой? — спрашиваю я.

— Девочки ничего... Хорошо себя держали...

— Вы с ними тоже играли?

— А как же, очень часто...

Другой улыбается улыбкой взрослого над недавним детством и говорит:

— Даже ухаживали немного... Девочки были хорошие.

Здесь, на Загоровщине, разыгрался и эпизод с прутиками... Некоторые свидетели показывают, что Андрюша и Женя вырезали по прутику. Прутик Андрюши оказался лучше, и Женя заявил на него претензию. Андрюша не отдал. Женя погрозил.

— Я скажу твоей матери, что ты не учишься, а ходишь сюда.

И у Андрюши сорвались роковые слова:

— А я скажу, что у вас в квартире притон воров...

Сказал и, очевидно, забыл, и опять прибежал вместо школы на Лукьяновку... Но злопамятный Женя не забыл и передал матери, конечно не думая о страшных последствиях этого для товарища. Может быть, во всем ужасном объеме не думала и Чеберякова... Но в это время в «работе» компании часто стали случаться неудачи: Чеберякову раз, другой, третий арестовали, делали обыски, нашли краденые вещи, таскали по участкам... А законы этой среды в таких случаях ужасны...

И вот Малицкая утверждает, что она слышала наверху возню и топот и сдавленный детский крик...

Гипотезы в этом роде невольно возникают на лукьяновской почве между заводом Зайцева и двухэтажным домом на Юрковской улице...

— Для исследования вы изволили взять шесть образчиков глины,— спрашивает на суде один из защитников у эксперта г. Туфанова.— И все шесть с завода Бейлиса?

— Да.

— И тожества ни в одном не оказалось... А со двора Чеберяковых глину брали?

— Нет, не брали...

— А! Не брали,— подчеркивает защита.

Этого мотива невозможно устранить из этого поистине странного дела... Все оно пресыщено такими вопросами и сомнениями...

Среди разговоров мы минуем большой глинистый курган, поросший травой... В нем виднеется пещера.

— Нет,— это еще не та...

Та оказывается в нескольких шагах дальше, там, где начинается склон к Кирилловской улице и приднепровским лугам. Холмик разрыт... Видна обнаженная глина. Два дерева выросли на вершине холма, соединенные кор-

нями. Под этими корнями зияет темный ход, довольно круто, коридором уходящий вглубь. В конце этот коридор пересечен узким и коротким ходом накрест, как делают обыкновенно кладоискатели... В одном из концов этого креста и нашли прислоненным в темном углу тело несчастного Андрюши Ющинского... Первая опознала его Чеберякова...

— В пещере темно, а она опознала по шитой рубашке,— иронически замечает один из юношей...

VII

Назад мы возвращались более кратким путем, наискось с горки, на Нагорную улицу. Влево уходила Половецкая улица с ее высоким забором и глинистым откосом. Кое-где, утопая в этом мрачном и пустынном проезде, виднеются фонари, которые зажигали Шаховские. Страшно, должно быть, здесь в темные весенние ночи даже при свете этих фонариков. И воображение невольно рисует такую мрачную ночь, и ветер, свистящий на Загоровщине в голых деревьях, и темные фигуры людей, несущих таинственную ношу...

Кто же, кто сделал это ужасное дело?

На горку, точно на богомолье, идут одни за другими кучки людей. Поднимаются двумя рядами девочки-школьницы, идут горожане, чиновники, торговцы, мещане... Вот мы встречаемся с одной кучкой, громко и возбужденно обсуждающей что-то. Они спрашивают у нас дорогу к пещере.

— Ну, вот, господа,— говорю я без дальних приступов,— вы киевляне. Скажите же, что вы думаете об этом деле?

— То-то, что вот... милостивый государь,— говорит один возбужденно.— Не знаем, что и думать. Еще недавно казалось нам одно... Ну, теперь выходит совершенно наоборот...

Компания, очевидно, до известной степени черносотенная, но и для добросовестной черносотенной массы истина становится все более очевидной. На одной стороне чувствуется живая, бытовая правда. Светит солнце, играют дети, режут прутики, ссорятся, жалуются друг на друга, по-детски грозят... Двухэтажное зда-

ние на Верхней Юрковской улице кидает тоже совершенно реальную тень на мирную картину. Его посещают люди вполне определенного склада и профессии, близость с которыми для детей всегда опасна. Здесь изобретаются планы воровства, ночных набегов и разгромов...

Обвинение предпочло этой реальной картине — фантастический бульварный роман без всякой прочной связи с бытовой обстановкой и реальной жизнью.

— Как вы думаете,— спросил я у своего спутника, интеллигентного киевского жителя,— кому следовало бы судить несчастного Бейлиса?

— Я поручил бы судить его лукьяновцам,— ответил он.

Через полчаса вагон нес нас по улицам современного Киева, с красивыми домами, вывесками, газетами и электричеством. А в душе стояло ощущение XVI столетия.

1913

ГОСПОДА ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ

Каждый раз, когда начинается заседание суда, повторяется неуклонно одна и та же выразительная сцена:

— Суд идет!

Публика подымается, входят судьи с цепями и занимают места за длинным столом.

Публика опять усаживается. Но тотчас же судебный пристав провозглашает вновь:

— Прошу встать!

Зал опять на ногах. Сидят только коронные судьи. Из двери налево от председателя появляется худощавый человек в черном сюртуке и светлом жилете. Он проходит быстро, даже с некоторой торопливостью, будто опасаясь, что кто-нибудь может опередить его и этим умалить его достоинство. Дойдя до скамьи присяжных заседателей, он делает полуоборот и останавливается в одной и той же позе: левый локоть приподнят на парту, стан изогнут с некоторой грацией, нога чуть заложена за ногу. В такой позе есть статуя

какого-то великого человека. В правой руке у худощавого господина — неизменный карандаш, который в этом ансамбле напоминает жезл полководца или подзорную трубу адмирала.

На полминуты худощавый господин замирает. Если бы скульптор или хоть фотограф в это мгновение собирались его увековечить, он был бы, очевидно, к этому уже готов.

Так, в величавой неподвижности, он остается, пока мимо него, как солдаты, дефилируют остальные присяжные.

Это — старшина присяжных Мельников, мелкий писец контрольной палаты.

Когда предпоследнее место занимает человек городского вида в широком сюртуке, старшина быстрым движением почти вспрыгивает на последнее место. Выходит, как будто он не просто садится, а замыкает собою какой-то загон и остается на карауле.

Заседание начинается. Внимание переходит на коронных судей, на прокурора, на гражданских истцов, на защитников... Присяжные на одной стороне, молчаливый Бейлис — на другой, как бы выпадают из поля зрения.

Взглядываю по временам на эти скамьи, где сидят двенадцать человек, держащих в своих руках судьбу процесса. Что они делают, какие мысли выступают на их лицах, в каких жестах и движениях проскальзывают их чувства?

«Киевлянин» в одной из своих статей отмечал некоторое отсутствие достоинства, с которым старшина держится по отношению к председателю. Так как черта эта дополняется несколько комичными приемами, как бы командира над присяжными, то в общем складывается представление о мелком чиновнике, привыкшем смотреть в глаза начальству. А так как воля начальства в этом процессе если не высказана, то выказана с подобающей ясностью, то на старшину присяжных одни смотрят с опасением, другие с надеждой отмечают, что он хватается за карандаш в тех случаях, когда можно записать что-нибудь благоприятное обвинению.

Все это, конечно, шатко и неопределенно. Нужно, однако, сказать, что и Мельников делает очень много,

чтобы как будто афишировать свое отношение к делу. Подчеркнутая внимательность по адресу прокурора и гражданских истцов, величавое невнимание к свидетелям и заявлениям защиты... дают право к отзыву «Киевлянина» прибавить: старшина присяжных держится без достоинства не только по отношению к председателю.

Что касается остального состава присяжных заседателей, то общее впечатление от него именно серое. Пять деревенских кафтанов, несколько шевелюр, подстриженных на лбу, на одно лицо, точно писец с картины Репина «Запорожцы». Несколько сюртуков, порой довольно мешковатых. Лица то серьезные и внимательные, то равнодушные... двое нередко «отсутствуют»... Особенно один сладко дремлет по получасу, сложив руки на животе и склонив голову...

Состав по сословиям — семь крестьян, три мещанина, два мелких чиновника. Два интеллигентных человека попали в запасные. Старшина — писец контрольной палаты.

Состав для университетского центра, несомненно, исключительный. По этому поводу в городе много разговоров, и «Киевлянин» уже обещал в сдержанном намеке какие-то разоблачения. . Все замечают, что обычный состав присяжных изобиловал в гораздо большей степени именами интеллигентных людей.

Когда при мне в зале суда заговорили об этом деликатном предмете, один господин, по-видимому, довольно компетентный, ручаясь, что здесь нельзя видеть никакого злоупотребления, объяснил дело просто. В прежние годы действительно состав был гораздо интеллигентнее, потому что в гораздо большей степени к исполнению этой повинности привлекался город и меньше уезд. В нынешнем году нашли нужным несколько восстановить равновесие между городом и уездами. Таким образом, общий список оказался более серым. Вот и все

Когда же это сделано? С января нынешнего года то есть система изменена именно в год процесса Бейлиса. Говоривший слегка покраснел. Ему, по-видимому, это соображение не приходило в голову, и он понял, к каким неудобным заключениям может подавать повод.

Этого, однако, мало. В перерыве дела Бейлиса по коридорам и по лестницам то и дело проводили арестантов в другое отделение. Оказалось, что параллельно идут заседания еще в двух уголовных отделениях, пятом и шестом (Бейлиса судят в десятом). Меня заинтересовал состав присяжных в этих отделениях, и я был приятно (или неприятно?) удивлен. Оказалось, что для суда по мелкому уголовному делу шестое, например, отделение киевского суда имеет в своем распоряжении двух или даже трех профессоров, десять человек интеллигентных присяжных и только двух крестьян. Выходит, таким образом, что то изменение, которое произошло в списках, по удивительной случайности коснулось самым резким образом той сессии и того отделения, где должны были судить Бейлиса.

Как же это вышло? Известно, между прочим, что суд производил жеребьевку присяжных для данной сессии публично. Значит, случайность, постигшая состав присяжных, судящих Бейлиса, сложилась в какой-нибудь из предыдущих стадий. У меня есть списки по трем уголовным отделениям, и они очень красноречивы. Не имея возможности в настоящей статье приводить подробные цифры, ограничиваюсь следующим грубым сравнением. На 33 присяжных пятого отделения — крестьян и мещан приходится 10, чиновников — 14; шестого отделения — крестьян и мещан — 14, чиновников — 10; десятого, где судят Бейлиса, крестьян и мещан — 20, чиновников — 4. Детальное рассмотрение этих цифр, если принять в соображение еще дворян, лиц интеллигентных профессий, профессоров, высших чиновников и низших, приводит к выводам еще более определенным.

Откладывая подробный анализ на будущее время, заканчиваю пока следующим.

Интеллектуальный уровень присяжных, которым предстояло судить сложное дело, связанное с мировым спором о ритуале, является пониженным против среднего уровня для университетского города, и если в университетском центре не нашлось другого кандидата в старшины, кроме мелкого писца, не умеющего с достоинством представлять институт присяжных, то это является исключительным и случайным. Тоже совершен-

но понятно, что воображение местного общества встревожено и идет гораздо дальше пределов, намечаемых указанными фактами.

Как бы то ни было, близкий уже момент, когда эти присяжные удалятся в свою совещательную комнату, выйдет глубоко драматичен и вызовет чувства чрезвычайно сложные, далеко не исчерпываемые обычным отношением к суду...

1913

ГОСПОДА ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ

Статья вторая

В прошлой статье я говорил о поразительном и резком отступлении от среднего интеллектуального и образовательного уровня состава присяжных, судящих Бейлиса. Об этом много говорят, пожимают плечами, недоумевают. Воображение отказывается объяснить это простой случайностью, и в кругах, интересующихся юридической стороной дела Бейлиса, задаются вопросом, в какой именно стадии составления списков могло случиться это резкое отклонение от нормы.

Объяснений несколько. Я пока не стану вдаваться в подробное их изложение и анализ. Все они выделяют суд, производивший последний акт, жеребьевку очередных присяжных на данную сессию. Она происходила публично, на ней присутствовали лица заинтересованные, и суд щеголял особенной корректностью всей процедуры. С другой стороны, как мы видели, общие списки, составляемые на весь год, изменению не подверглись. В них естественное преобладание города Киева над уездом осталось неприкосновенным.

Отсюда следует, что данный вопрос локализируется в стадии составления и присылки суду готовых очередных списков на ту сессию, в которую попало дело Бейлиса. Говорят, что если бы просмотреть списки присяжных на всю ту серию сессии, которая совпала с разбирательством ритуального дела, то оказалось бы, что все они так же резко отличаются от среднего состава, и норма вновь восстановляется по окончании этой серии. Это, конечно, легко проверить.

В задачу настоящей статьи не входит подробный анализ этого вопроса, и я, быть может, вернусь к нему в другое время, теперь я имею в виду лишь констатировать факт, отметить толки, им порождаемые, и указать на необходимость осветить всю процедуру составления очередного списка так же всесторонне и ясно, как была освещена процедура жеребьевки; также необходимо освещение того материала, над которым она производилась.

Как бы то ни было, данный состав присяжных заседателей скоро, сегодня получит поставленные судом вопросы и удалится для своего совещания. Слово этих скромных, серых деревенских людей телеграф разнесет по всему миру.

Вопрос стоит так: признают ли они при наличии указанной «случайности» существование ритуала, или даже при таких условиях они его отвергнут?

Мне невольно вспоминается другой состав присяжных, тоже по ритуальному делу и тоже очень серых, гораздо более серых, чем теперешние киевские присяжные. Они судили мултанцев.

Два полуинтеллигентных человека и десять мужиков. Правда, там были коренные мужики с предрассудками деревни, но и с крепкой, нетронутой деревенской совестью. Здесь пригородье и деревня киевская, в которой нередки отделения союзов русского народа, разъедающая агитация и националистская демагогия. И там два первых состава присяжных вынесли обвинительные приговоры, имея дело с вопиюще искаженным следственным и судебным материалом, но они не колебались, когда завеса была приподнята.

Дело Бейлиса тоже искажено ложным направлением следствия, но и оно стало ясно после суда и речей защиты. В своей реплике сегодня прокурор уже не аргументировал. Вся его речь была страстным демагогическим воззванием к чувствам племенной ненависти и вражды.

Этим подчеркнуты ожидания, какие обвинение возлагает на этот состав присяжных.

Оправдаются ли они, трудно быть пророком при таких сложных обстоятельствах и не имея уверенности, до каких пределов могли доходить «случайности».

Я лично не теряю надежды, что луч народного здравого смысла и народной совести пробьется даже сквозь эти туманы, так густо затянувшие в данную минуту горизонт русского правосудия.

Правда, испытание, которому оно подвергнуто на глазах у всего мира, тяжелое, и если присяжные выйдут из него с честью, это будет значить, что нет уже на Руси таких условий, при которых можно вырвать у народной совести ритуальное обвинение.

1913

ПРИСЯЖНЫЕ ОТВЕТИЛИ...

Среди величайшего напряжения заканчивается дело Бейлиса. Мимо суда прекращено всякое движение. Не пропускаются даже вагоны трамвая. На улицах — наряды конной и пешей полиции. На четыре часа в Софийском соборе назначена с участием архиерея панихида по убиенном младенце Андрюше Ющинском. В перспективе улицы, на которой находится суд, густо чернеет пятно народа у стен Софийского собора. Кое-где над толпой вспыхивают факелы. Сумерки спускаются среди тягостного волнения.

Становится известно, что председательское резюме резко и определенно обвинительное. После протеста защиты председатель решает дополнить свое резюме, но Замысловский возражает, и председатель отказывается. Присяжные ушли под впечатлением односторонней речи. Настроение в суде еще более напрягается, передаваясь и городу.

Около шести часов стремительно выбегают репортеры. Разносится молнией известие, что Бейлис оправдан. Внезапно физиономия улиц меняется. Виднеются многочисленные кучки народа, поздравляющие друг друга. Русские и евреи сливаются в общей радости. Огромное пятно у собора сразу теряет свое мрачное значение. Кошмары тускнеют. Исключительность состава присяжных еще подчеркивает значение оправдания.

1913

ПОСЛЕ ПРИГОВОРА

Я опять побывал на Лукьяновке. С двух сторон, от Верхне-Юрковской и Кирилловской, входы к дому управляющего заводом Дубовика, где поселился Бейлис, охраняются пешей и конной полицией. Лукьяновцы объясняют эти предосторожности опасением каких-нибудь демонстраций со стороны пришельцев. Лукьяновка сплошь дружественна оправданному, и на просьбу указать кого-нибудь, продолжающего отстаивать виновность Бейлиса, мне ответили, что, может быть, и нашлись бы такие, но лишь единицы, и указать их затруднились. В городе внушительно высказывается подобное же настроение.

Развязка захватывающей личной драмы явно невинного человека, подвергшегося таким упорным и пристрастным преследованиям, совершенно покрывает неопределенную и сбивчивую первую часть вердикта. Шмаков и двуглавцы делают вид, что они удовлетворены, но впечатление почти катастрофического провала темной ритуальной кампании скрыть трудно. В обществе иронизируют над парадоксальным положением прокуратуры: в течение двух лет держать невинного, напрягать все усилия на обвинение мирного и честного обывателя и в то же время всеми мерами и натяжками защищать вероятных убийц. Такова странная ситуация, выступившая с оправданием Бейлиса. Резко обвинительная речь председателя присоединяет и его к участникам ритуальной кампании.

Много также острят над православно-религиозным пафосом лютеранина Виппера, подготовлявшего культ несчастного Андрюши Ющинского при благосклонном косвенном содействии католического патера Пранайтиса.

1913

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ



О Глебе Ивановиче Успенском

Черты из личных воспоминаний

> Есть люди, подобные монетам, на которых чеканится одно и то же изображение. Другие похожи на медали, выбиваемые только для данного случая.
>
> *Гофман*

I

Глеб Иванович Успенский был именно такой медалью. Он был один, сам по себе, ни на кого не был похож, и никто не был похож на него. Это был уник человеческой породы, редкой красоты и редкого нравственного достоинства.

Нужно с грустью признаться, что реальная личность писателя, художника, артиста — редко совпадает с тем представлением, какое мы составляем по их произведениям. Во время творчества идей, звуков, образов мы становимся несколько выше нашей средней личности. Мы как бы уходим в маленькую горную часовенку, отгороженную от наших будней. А затем, «когда не требует поэта к священной жертве Аполлон», мы опять спускаемся с этих вершин, которые,— велики они или малы,— все-таки составляют высшие точки нашего личного существования. Иной раз этот обычный уровень очень удален от вершин, и вот почему так часто первое впечатление при встрече с писателем — бывает легкое движение разочарования: нам трудно свя-

зать в одно целое наше идеальное представление с реальною личностью.

Но бывают дорогие и редкие исключения, когда оба эти представления совпадают вполне и нераздельно. Таким именно исключением был Глеб Иванович Успенский.

Во второй половине восьмидесятых годов я жил в Нижнем-Новгороде, и среди моих близких знакомых был провинциальный писатель, который в то время вел литературный отдел в одной из приволжских газет. Всякий, кто жил уже сознательной жизнью в то смутное и туманное время, помнит общий тон тогдашнего настроения. У так называемой интеллигенции начиналась с «меньшим братом» крупная ссора (о которой последний, впрочем, по обыкновению даже не знал). Хотя Успенский никогда не идеализировал мужика, наоборот, с большой горечью и силой говорил о «мужицком свинстве» и о распоясовской темноте даже в период наибольшего увлечения «устоями» и тайнами «народной правды»,— тем не менее в это время он всей силой своего огромного таланта продолжал призывать внимание общества ко всем вопросам народной жизни, со всеми ее болящими противоречиями и во всей ее связи с интеллигентною совестью и мыслью. Так что с реакцией против мужика начиналась реакция и против Успенского: к нему обращались запросы, упреки, письма. В одной из своих статей в «Отечественных записках» Глеб Иванович с большим остроумием отмечал и отражал это настроение при самом его возникновении. Он характеризовал его словами: «надо и нам». Что в самом деле: мужик заполонил всю литературу. Мужик да мужик, народ да народ. «*Мы* тоже хотим... Надо и нам»... Нет сомнения, что у этого настроения были свои причины, пожалуй, далеко не безосновательные. Еще недавно многие, требовавшие «и себе» красоты, мечты, ярких красок или внимания,— не только не требовали этого, но даже, забывая о себе, отдавали все личное меньшему брату. Но жизнь, обманутые ожидания завели их в тупой переулок, из которого как будто не было выхода... Началось *само*углубление, *само*усовершенствование, решение вопросов изолированной личности, вне связи с общественными вопросами, до тех пор властно занимавши-

ми умы и сердца. «Восемьдесят тысяч верст вокруг самого себя»,— с обычною меткостью характеризовал Глеб Иванович одну сторону этого настроения. Огорченный и разочарованный, русский интеллигентный человек углублялся в себя, уходил в культурные скиты или обиженно требовал «новой красоты», становясь особенно капризным относительно эстетики и формы.

Отчасти это настроение переживал и мой приятель. Кроме того он был хорошо знаком с иностранными литературами, относительно же русской в его чтении были пробелы. В том числе и Успенского в целом он не знал и разделял предубеждение против его настойчивых призывов «все-таки смотреть на мужика».

Однажды он вошел в мою гостиную, когда за чайным столом, в кружке моей семьи и знакомых, сидел Глеб Иванович, только что приехавший в Нижний-Новгород. Он говорил о чем-то своим обычным тоном, в котором проглядывала какая-то сдержанная, глубокая печаль, по временам вдруг уступавшая место вспышкам особенного, только Успенскому присущего, тихого юмора. Я представил своего приятеля. Успенский встал, пожал ему руку, невнятно пробормотал свою фамилию и опять обратился к занимавшей его теме, которая уже овладела вниманием слушателей. Взглянув случайно на своего приятеля, я заметил на его лице напряженное внимание, смешанное с чрезвычайным изумлением. Через четверть часа он поднялся с своего места и, выйдя в соседнюю комнату, поманил меня за собою.

— Кто это у вас? — спросил он с величайшим любопытством.— Я не расслышал его фамилии.

— А что? Почему вы спрашиваете таким тоном?

— Это какой-то необыкновенный человек. От него... веет гениальностью.

— Поздравляю вас,— ответил я, смеясь,— вы познакомились с Глебом Ивановичем Успенским.

После этого мой приятель несколько недель запоем изучал Успенского, все более и более увлекаясь, и в приволжских газетах появились статьи нового страстного поклонника Глеба Ивановича. Он был завоеван навсегда, и притом не писатель предрасположил его к личности, а наоборот, необыкновенное обаяние личности обратило скептика к изучению произведений писателя.

Глеб Иванович Успенский не сказался в своих произведениях со всею силой своей необыкновенной личности и своего таланта. Чистый образ, тщательно выношенный в душе и выплавленный из однородного художественного материала, вообще легче привлекает внимание и живет дольше, чем та смесь образа и публицистики, посредством которой работал Успенский. Ему нужна была не красота, не цельность впечатления, не самый образ. С лихорадочной страстностью среди обломков старого он искал материалов для созидания новой совести, правил для новой жизни или хотя бы для новых исканий этой жизни. То, что он предполагал известным, общим у себя и читателя, над тем он не останавливался для детальной отделки, то отмечал только беглым штрихом, заполнял кое-как, лишь бы не оставить пустоты. Наоборот, то, что еще только мелькало впереди смутными очертаниями будущей правды,— за тем он гнался страстно и торопливо, не выжидая, пока оно самопроизвольно сложится в душе в ясный, самодовлеющий образ. Он пытался обрисовать его поскорее для насущных надобностей данной исторической минуты теми словами, какие первые приходили на ум. От этого он часто повторялся, все усиливая находимые идеи, заставлял читателя переживать с ним вместе и его поиски, и его разочарования, и всю подготовительную работу, пускал жильцов, когда у постройки еще не были убраны леса. Все это искупалось важностью и насущностью занимавших Успенского вопросов, а общность настроений писателя и его читателей заполняла пробелы в этой торопливой работе. Теперь, когда настроение изменилось, пробелы выступают яснее, и, в целом, Успенский становится «труден». Однако всякий, кто не побоится лесов и видимого беспорядка в этой огромной работе, наткнется здесь и на замечательные образы, носящие печать более чем крупного таланта, и на глубокие, прямо «проникновенные» мысли (например, во «Власти земли», этой философии и эпопее земледельческого труда)... Но особенно интересна во всем этом — самая личность автора, с ее своеобразной глубиной, с ее необыкновенной чуткостью к вопросам совести, с ее смятением и болью...

И всякий, кто знал Успенского лично, кто помнит это обаяние и значительность основного душевного тона, который сразу чувствовался во всяком слове, движении, взгляде задумчивых глаз, в самом даже молчании Успенского,— согласится с отзывом моего приятеля: от этой своеобразной, единственной в своем роде личности «веяло гениальностью»...

II

С Глебом Ивановичем Успенским я познакомился лично в марте или апреле 1887 года.

В одну трудную эпоху моей жизни я получил от него через третьи или четвертые руки несколько слов привета и одобрения по поводу моих первых литературных опытов. Это внимание любимого писателя к неизвестному и затерянному в ссылке молодому человеку и та заботливость, с которой он старался переслать свой привет через разные посредствующие инстанции,— меня глубоко тронули и залегли в моей душе чувством особой благодарности не только к писателю, но и к человеку С этим чувством я подымался в пятый (кажется) этаж большого дома на Васильевском острове, где в те годы жил Успенский. В то время портреты писателей не были так распространены, как теперь, и я не имел ни малейшего понятия о наружности Успенского. В передней, куда я вошел, меня встретил кто-то из молодежи, наполнявшей соседние комнаты. Был, помнится, какой-то семейный праздник, в квартире было весело и шумно. Над семьей тогда не чувствовалось еще приближение грозы, которая уже готовилась в близком будущем, и молодежь беззаботно веселилась, наполняя шумом всю квартиру. Я назвал свою фамилию и через несколько минут очутился в объятиях человека, которого в первое время не успел хорошенько рассмотреть. Только когда он отодвинулся, чтобы взглянуть мне в лицо, я увидел в первый раз его удивительные глаза, широко расставленные и глубокие. В них было что-то ласковое и печальное в то же время; лицо показалось мне усталым. Помню, однако, что оно как-то сразу, без всякого промежуточного впечатления и разлада, слилось со всем лучшим, что отлагалось в душе от его произве-

дений. Мне казалось только, что лицо и взгляд автора «Будки», «Разоренья» и стольких картин, полных яркого и своеобразного юмора, должны бы быть несколько веселее. Однако я чувствовал, что от этого оно не стало бы лучше, чем с этой грустью, сосредоточенной, вдумчивой и как будто бы давно отложившейся на самом дне этой глубокой души.

Наскоро познакомив со своей семьей, Глеб Иванович увел меня в свою маленькую рабочую комнатку налево от входа. Усадив меня, он сел сам и закурил папиросу. Первую минуту оба мы молчали, но от этого молчания мне совсем не было неловко. Наоборот, с первой же минуты я почувствовал себя близким к этому человеку с печальными глазами и ласковой улыбкой, как будто мы были давно знакомы. Он курил и прислушивался к веселому шуму молодежи, доносившемуся из соседних комнат. Когда взрывы веселья становились особенно ярки, лицо Глеба Ивановича как-то внезапно светлело, и он глядел на меня смягченным взглядом, будто приглашая принять участие в этой общей радости. Потом, как бы продолжая давно начатый разговор, он рассказал мне о своих детях, об их характерах и о причине семейного праздника.

Подробностей этого первого разговора я почему-то не помню так ясно, как запомнились мне впоследствии многие другие наши беседы. Помню только, что уже в середине вечера разговор коснулся Достоевского.

— Вы его любите? — спросил Глеб Иванович.

Я ответил, что не люблю, но некоторые вещи его, например «Преступление и наказание», перечитываю с величайшим интересом.

— Перечитываете? — переспросил меня Успенский с удивлением и потом, следя за дымом папиросы своими задумчивыми глазами, сказал:

— А я не могу... Знаете ли... у меня особенное ощущение... Иногда едешь в поезде... И задремлешь... И вдруг чувствуешь, что господин, сидевший против тебя... самый обыкновенный господин... даже с добрым лицом... И вдруг тянется к тебе рукой... и прямо... пррямо за горло хочет схватить... или что-то сделать над тобой... И не можешь никак двинуться.

Он говорил это так выразительно и так глядел свои-

ми большими глазами, что я, как бы под внушением, сам почувствовал легкое веяние этого кошмара и должен был согласиться, что это описание очень близко к ощущению, которое испытываешь порой при чтении Достоевского.

— А все-таки есть много правды,— возразил я.

— Правды?..

Глеб Иванович задумался и потом, указывая двумя пальцами в тесное пространство между открытой дверью кабинета и стеной,— сказал:

— Посмотрите вот сюда... Много ли тут за дверью уставится?

— Конечно, немного,— ответил я, еще не понимая этого перехода мысли.

— Пара калош...

— Пожалуй.

— Положительно: пара калош. Ничего больше...

И вдруг, повернувшись ко мне лицом и оживляясь, он докончил:

— А он сюда столько набьет... человеческого страдания, горя.. подлости человеческой... что прямо на четыре каменных дома хватит.

Я невольно улыбнулся. Впоследствии мне пришлось не раз встречаться с этим изумительным умением Успенского — двумя-тремя словами, комбинацией первых попавшихся на глаза предметов,— объяснять и иллюстрировать сложные явления, для которых другим нужны длинные рассуждения и множество слов... Его суждения всегда бывали кратки, образны, били в самую сущность явления и часто освещали его с неожиданной стороны. И никогда в них не было того легкого остроумия, в котором чувствуется равнодушие к предмету и безразличная игра ума. До сих пор я помню выражение лица, с каким он произносил эти слова: «страдание», «горе», «подлость человеческая» — в приведенном отзыве о Достоевском. Для него это не были простые понятия: каждое из них отражалось болью на его выразительном лице...

Может быть, в этой особенной чуткости сказывалась уже близкая болезнь... Но в то время мне это не приходило в голову, тем более, что и эта печаль, и эта чуткость сливались в цельный образ, слишком

привлекательный, чтобы казаться болезненным. Во время разговора он страшно много курил, и здесь опять у него был свой особенный, оригинальный прием: докурив папиросу до половины, он вынимал из нее своими тонкими, нервными пальцами картонный мундштук и как-то особенно ловко надевал недокуренную папиросу на другую, новую. С этой последней через некоторое время он проделывал то же самое, и таким образом его папироса не уменьшалась, а наоборот, достигала иногда необычайных размеров...

Впоследствии много раз приходилось мне проводить время с Глебом Ивановичем, и почти всегда при этом я видел у него во рту эту длинную составную папиросу, которую он все дополнял с привычной ловкостью. Нередко также около него стояла бутылка вина или пива... Очень может быть, даже наверное, что и это неумеренное куренье, и вино оказали свое вредное влияние и ускорили наступление болезни. Но меня всегда коробит и оскорбляет, когда я слышу или читаю об алкоголизме или «обычном пороке талантливых людей» в применении к Глебу Ивановичу Успенскому. Я лично пьяным его никогда не видел... Мне кажется, что у него не было любви ни к вину, ни к вызываемому вином изменению личности. Да такого изменения и не было: он оставался все тем же, с тем же грустно-задумчивым взглядом и той же улыбкой... Вообще, когда теперь я вспоминаю эту папиросу, и вино, и то, что я без привычки тоже курил и пил в присутствии Глеба Ивановича, и что ни куренье, ни вино не оказывали на меня никакого действия,— то мне кажется, что это было какое-то ровное, беспрестанное и чрезвычайно интенсивное горение мозга и нервов, заразительное, вовлекавшее тотчас же и других в свою сферу. И в этом горении совершенно утопало впечатление наркотиков. Это были просто капли, шипевшие на раскаленной плите. Но плита раскалялась не ими...

Разговор Успенского тоже был совершенно особенный. Рассказывая что-нибудь, он глядел на собеседника своим глубоким, мерцающим взглядом, говорил тихо, как будто сквозь слегка сжатые зубы, и при этом жестикулировал как-то особенно, то и дело прикладывая два пальца к груди, как будто указывая на какую-то боль,

которую он чувствовал от собственных рассказов где-то в области сердца. Его речь была отрывиста, без закругленных периодов, полная причудливых изгибов и неожиданных определений, часто вспыхивала своеобразным юмором. И никогда она не производила впечатления простой болтовни на досуге, среди которой так хорошо иногда отдохнуть от работы и от мыслей. Его молчание было отмечено теми же чертами, как и его разговор. В его отрывистых замечаниях и в его молчании чувствовалась какая-то неразрывная связь. В одном из своих очерков он говорит, что иногда можно «молчать о многом». Действительно, бывают разговоры, в которых содержания меньше, чем в полном молчании, и бывает молчание, в котором ход мысли чувствуется яснее, чем в ином, даже умном разговоре. Такое именно значительное молчание чувствовалось в паузах Успенского. Его речь и его паузы продолжали друг друга. Мысль его шла, как река, которая то течет на поверхности, то исчезает под землею, чтобы через некоторое время опять сверкнуть уже в другом месте. Раз вслушавшись в основное содержание занимавшей его мысли, вы уже были во власти этого течения, во время самых пауз уже чувствовали это «молчание о многом» и невольно ждали, где эта неотдыхающая мысль опять сверкнет на поверхности каким-нибудь неожиданным поворотом, образом, картиной, иногда в одной короткой фразе или даже в одном только слове.

Я думаю, что эта манера молчать так же утомительна, как и напряженная работа. А между тем, это было нормальное состояние Успенского, по крайней мере в том периоде его жизни, когда я знал его. Для него почти не существовало тех минут полного безразличия организма, когда в нем совершаются, не задевая сознания, одни только растительные, восстановляющие процессы. Некоторые «жития» рисуют нам подвижников, никогда не расстававшихся с молитвой, которая входила даже в их забытье и сон. Совершенно так же некоторые вопросы совести и мысли никогда не засыпали в Успенском. И это-то, я думаю, придавало такую выделяющую значительность его лицу, его словам, его взгляду, самому его молчанию...

Но это же и сжигало его неустанным огнем...

Все это, разумеется, сложилось для меня в полное, сознательное впечатление только впоследствии, при ближайшем знакомстве с Успенским, и даже продолжает выясняться теперь, когда я вглядываюсь в свои воспоминания. Помню, однако, что в этот первый вечер, выйдя на пустынную линию Васильевского острова, я очень удивился, взглянув на часы,— как уже поздно и как скоро прошло время. И я долго шел пешком, останавливаясь то на набережной, то на мосту, и ловил себя на этих невольных остановках, во время которых, глядя на Неву, на дома, на ночное небо, я в сущности был занят только переполнявшим меня впечатлением от этой своеобразной личности, с ее совершенно особенным душевным складом, значительным, глубоким и обаятельным.

III

В последующие годы мы встречались много раз то в Петербурге (во время моих приездов), то в Москве, а затем несколько раз он гостил у нас в Нижнем. Одно из этих посещений осталось в моей памяти с особенной ясностью, может быть оттого, что некоторые поразившие меня черточки я тогда же, под первым впечатлением, набросал в своей записной книжке, а может быть, и потому еще, что от него осталось воспоминание, еще не омраченное тенью роковой болезни.

Это было в 1887 году, если не ошибаюсь, в конце июля или начале августа. Приехал Успенский в Нижний-Новгород среди чудесных дней ранней осени, ласковых и теплых. В первые минуты он показался мне как-то особенно веселым, радостным, оживленным. Отделавшись от срочной работы, он приехал на пароходе и на следующий день собирался ехать дальше, вниз по Волге. В план его поездки входили: Казань, Симбирск, Самара, Саратов, Царицын. Из Царицына он должен был проехать в Калач, на Дон, и затем куда-то по железным дорогам, с намеченными остановками. Он чувствовал себя отлично, и от него веяло свежестью и впечатлениями Волги.

Однако у него никогда не было такого времени, когда бы он был совершенно свободен от какой-нибудь «господствующей идеи», служившей центром его на-

строения. И действительно, после первых радостных приветствий он посмотрел на меня своими выразительными глазами, с притаившейся в них тревожной печалью, и спросил:

— Читали вы лекцию госпожи NN?

Я лекции не читал, но встречал кое-что об ней в газетах. Это было время сильного увлечения теориями Ломброзо и антропологической школы. Лекция была первоначально прочитана, кажется, в пользу высших женских курсов, женщиной-врачом и касалась среднего типа проститутки. Лекторша, на основании ряда исследований, приходила к заключению, что «тип этих женщин» — ниже среднего женского. Между прочим, Глеба Ивановича остановила одна подробность: оказалось, что нижняя челюсть проститутки выступает на какие-то полтора миллиметра больше, чем у средней добродетельной женщины.

Вся эта физиолого-анатомическая статистика, в которой утопает столько живого, личного, индивидуального горя, страдания и позора, это рассечение живого и болящего явления на предопределяющие особенности физиолого-анатомического свойства глубоко оскорбили Глеба Ивановича и приводили его в негодование. Он знал «жертвы», и притом именно жертвы общественных условий и «общественного неустройства». А здесь выдвигался «низший тип», осужденный фатально несовершенствами собственной организации. Центр тяжести всей вины, тревожившей совесть и взывавшей к справедливости, переносился из ответственной социальной среды в фатальные условия природных предопределений. То обстоятельство, что лекцию читала женщина-врач в пользу высших женских курсов, перед аудиторией, в значительной части состоявшей из курсисток, которые проводили лекторшу аплодисментами,— особенно огорчило Успенского. В его чутком воображении за этой статистикой встал коллективный образ интеллигентной женщины, пробивающей себе дорогу к знанию и свету, а за ним — тысячи помраченных существований. И ему показалось, что добродетельная женщина с холодным пренебрежением закрывает глаза на горе своей погибающей сестры, слишком легко принимая теорию «низшего типа».

Я, повторяю, не читал самой лекции (напечатанной, кажется, в каком-то журнале), но попробовал было заступиться за цифры, допуская, что в массе гибнущих есть и «жертвы органических предрасположений», ослабляющих устойчивость в жизненной борьбе. Этот контингент может влиять на средний вывод, не устраняя вопроса о влиянии социального неустройства в огромном большинстве остальных случаев. Весь вопрос — в перспективе и выделении факторов общественных от чисто антропологических.

Глеб Иванович сначала смотрел на меня с печальным недоумением и укором, а затем, дослушав, сказал:

— Ну, вот-вот! Так где же оно, самое-то главное? В челюсти-то оно разве выражено? Нет, не защищайте, Владимир Галактионович: есть оно, это бездушие особенное... женское... добродетельное!.. Челюсть, и больше ничего! Полтора миллиметра, и кончено!..

И, сразу обидевшись за «недобродетельную» сестру, он стал беспощаден к добродетельной. По обыкновению, с паузами, со своим особенным молчанием «все о том же предмете», он стал прослеживать примеры «женского бездушия», иной раз удивляя нас кажущейся неожиданностью и как бы бессвязностью своих вылазок.

— Вот теперь в (таком-то журнале) мочалка пойдет...— сказал он, вдруг улыбнувшись.— Приходит в редакцию господин... Мрачный... Грива диаконская... под мышкой рукопись... «Вот, о производстве мочалок! В N-ской волости, такой-то губернии...» — «То есть позвольте... каких мочалок?» — «А просто: мочалка! Которая в бане... или, например, рогожа...» — «Ах, вот что! Скажите, пожалуйста: ма-а-чалка! В N-ской волости... Непременно, не-пре-менно напечатаем! Мочалка!.. Ах, как интересно».

Все мы хохотали над этой маленькой жанровой картинкой, хотя не понимали еще, какая связь между мочалкой и лекцией... Но вдруг он замолк, посмотрел на нас печальными глазами и, с особенной силой прижимая два пальца правой руки к левому лацкану пиджака, закончил внезапно изменившимся тоном:

— Да, вот: мочалка! А заступиться за женщин... за несчастных... за погибающих... Этого вот нет! Помилуйте: у нее вот челюсть на полтора миллиметра... Что

тут поделаешь... Не-ет! Сделайте одолжение: вымеряйте получше. Может, у нее челюсть-то поаккуратнее вашей...

И он продолжал развивать эту тему своей обычной отрывистой речью, с паузами и неожиданными вспышками юмора. За женщиной-редактором последовали женщины-писательницы. Глеб Иванович находил, что и они повинны в пренебрежении и холодности к этому чисто женскому вопросу...

— Он и она... при луне... Любовь... На это вот мастерицы; чай влюбленная героиня разливает, так у нее любовь-то эта... даже в носке чайника... так вот и вьется... Или вот у другой: ребеночек умирает... Так она обои. на которые он смотрел, взяла и выдрала. Понимаете: *свой* ребеночек-то смотрел. Святыня!.. А вот у кого ни ребеночка, никого нет! Почему о них не напишут? Кому бы, кажется, за свою-то сестру заступиться... Написать всю правду... до конца!.. А не полтора миллиметра!..

Он опять помолчал и, грустно покачивая головой, прибавил:

— И аплодируют... Молодые, хорошие... счастливые...

Глаза его становились все глубже, печальнее, веселье начинало исчезать, папироса все вырастала и вырастала...

После обеда мы решили отправиться на так называемый в Нижнем «откос». Я надеялся, что эта прогулка, чудесный день и волжские пейзажи рассеют Глеба Ивановича и вернут ему то радостное оживление, с каким он к нам явился в первые минуты после приезда. Несколько знакомых отправились вперед, а я с Успенским — за ними на извозчике. В одной из улиц верхнего города (значительно пустеющего во время ярмарки) навстречу нам, заполняя всю улицу стуком копыт и шуршанием скачущих по мостовой резиновых шин, промчалась коляска, в которой, развалясь, сидел молодой купец. У него было круглое, как луна, красное лицо, лоснящиеся русые кудри лезли из-под блестящего узкого цилиндра...

Глеб Иванович, до сих пор молчавший, повернулся в сидении и проводил его внимательным, изучающим взглядом.

— Видели? — спросил он.— Ну, что скажете?

— Да, фигура,— ответил я, не поняв вопроса.

— Нет... Этакой вот господин захочет вдруг себе удовольствия... Как вы думаете,— скажет он: подавай мне, чтобы именно челюсть на полтора миллиметра?..

Я невольно засмеялся, а Успенский со своим печально сосредоточенным видом закончил:

— Нет... Никаких денег не пожалеет, сотню подлого народа на поиски разошлет, а уж достанет... И чтобы все как можно лучше... чтобы и челюсть в самую пропорцию...

И он опять замолчал, но теперь я уже чувствовал, что это молчание заполнено все тем же волнующим его вопросом о падших и о виновных в этом падении.

Нижегородский «откос», на высоком берегу, над Волгой воспет и прозой, и стихами в тысячах фельетонов и даже в серьезных повестях и рассказах. Действительно, вид с этого горного обреза на заволжские луга, на мреющее в золоте заката слияние двух рек, на тихо рокочущую далеко на «стрелке» ярмарку способен захватить в свои бездумные, ласкающие объятия самого угрюмого человека. Мы ходили по аллеям, садились на скамейки, любовались видами, болтали и смеялись, а через полчаса уселись на полукруглой площадке у ресторана.

Под нами расстилались, уходя вниз, зеленые вершины лип. Между зеленью ветвей, в промежутках, сверкала далеко внизу река, проходили баржи и пароходы... Целые часы можно было бы просидеть здесь, ни о чем не думая, даже ничего в особенности не выделяя в сознании, а только глядя на это небо, на эти синеющие дали, на реку, залитую косыми лучами солнца, и прислушиваясь к ласковому веянию ветра, доносившего снизу смягченный шум людской суеты...

— Ну, вот и посмотрите,— услышал я голос сидевшего рядом Глеба Ивановича,— ну, вот там, на балконе... Какие же тут полтора миллиметра?..

Я оглянулся по направлению его взгляда и увидел вверху, на балкончике ресторана, женскую фигуру. Это была красивая брюнетка кавказского типа, с широкими бровями и огромными черными глазами. Еще довольно свежее лицо выделялось своей белизной на фоне синевато-черных волос.

В этом ресторане пел хор певиц, начиная после обеда и до глубокой ночи. Это была наемная регентша хора, молодая грузинка или осетинка. Было еще рано, посетителей было мало, и девушки бродили по дорожкам, а регентша задумчиво смотрела вдаль, отдаваясь этой минуте отдыха и покоя под ласкающим ветром, шевелившим завитки ее буйных волос.

Глеб Иванович смотрел на нее, и на его лице рисовалась глубокая симпатия.

— Да, вот вам и полтора миллиметра,— говорил он с укором,— подите вот... Расспросите ее: как она сюда попала... А челюсть-то, сделайте одолжение: поаккуратнее многих...

В это время девушка с балкона кинула случайно взгляд на нашу группу и очевидно заметила что мы на нее смотрим и говорим о ней. Для нее это было сигналом «начала работы». Она еще раз, как будто с сожалением, посмотрела на далекие луга и, приняв профессионально-ласковое выражение лица, обратилась к нам с приглашением войти внутрь ресторана и послушать пение.

Живя в Нижнем, я много раз бывал и на откосе, слушал «певиц» и на ярмарке, в первоклассных гостиницах, и в самых ужасных вертепах. Компании, с которыми мне пришлось посещать эти места, тоже бывали разнообразные; но впечатления все-таки походили друг на друга: всегда оставался какой-то осадок, неприятный и тяжелый. Только этот случай, когда я слушал ресторанных «певиц» с Глебом Ивановичем, оставил во мне совершенно особенное впечатление, так как, повторяю, человек этот был тоже совершенно особенный...

Мы поднялись наверх. В небольшой комнатке ресторана, с дощатыми подмостками для хора, стоял рояль. По зову регентши девушки входили из сада и со скучающим видом подымались на эстраду... Потом спели какую-то песню... Вяло, лениво. Потом подошли со сбором «на ноты»...

Однако скоро это совершенно изменилось. Молодая осетинка, которая приняла наше приглашение присесть к столу, по-видимому инстинктивно угадала, кто служит центром нашей, не совсем, быть может, обычной в ресторане, компании... И, когда подошел следующий но-

мер,— она установила свой хор на эстраде, но сама вышла вперед и совершенно неожиданно запела одна, под аккомпанемент рояля, очень красивым задушевным контральто:

Не говори, что молодость сгубила...

Я пишу свои воспоминания, ничего в них не прибавляя, а только восстановляя то, что было, и несколько человек, бывших с нами в то время, без сомнения, помнят еще этот маленький эпизод. Я не знаю, чему приписать эту «отгадку» молодой певицы, так как до тех пор у нас шел самый обыденный разговор, полушуточный и легкий. Однако она именно угадала, что́ лучше всего спеть в данную минуту, и, стоя на эстраде, глядела на Успенского, как бы назначая именно ему свою песню. Пела она хорошо и с чувством...

Глеб Иванович был глубоко растроган, сидел, опустив голову, и по временам шептал, полуоборачиваясь к соседу:

— Д-да... да... Болен Некрасов. Умирает... Скоро... «холодный мрак могилы»... «Не говори, что молодость сгубила»... Да, да... вот именно так.

В это время, пока певица вела к концу свой романс, увлекая нас и, по-видимому, увлекаясь сама,— снизу, из люка с лесенкой, которая вела в этот зал с нижней веранды, появилась плотная пьяная фигура. Какой-то ярмарочный посетитель, закутивший «на Стрелке» и приехавший докучивать на откос, в сером пальто, с котелком на затылке, хмельной и довольно безобразный, поднялся, привлеченный пением, и стал прямо между нами и эстрадой. Широкая фигура с расставленными ногами и палкой в руках совершенно закрыла певицу. Он был, видимо, недоволен выбором песни и только что отпустил какую-то пошлость, как Успенский протянул свою палку и тронул его концом в плечо.

Это было так неожиданно, что я с удивлением посмотрел на Глеба Ивановича и не мог не улыбнуться. На его лице не было ни гнева, ни возбуждения, а только легкая досада и желание устранить препятствие, мешавшее ему спокойно слушать. Так мы устраняем с дороги не на месте усевшуюся собаку, кошку или даже просто какой-нибудь обрубок. Разумеется, пьяный господин

не мог на это смотреть так же философски. Он повернул к нам свое разъяренное лицо, и, вероятно, романс закончился бы большим шумом, если бы, к счастью, находчивый Н. Ф. Анненский не подошел к освирепевшему посетителю и, весело и добродушно говоря что-то, отвел его в сторону. Озадаченный и сбитый с толку посетитель попал затем в руки официантов, которые усадили его за стол, а Глеб Иванович дослушивал последние звуки романса, как будто даже не заметив всего этого эпизода...

Когда после этого одна из певиц опять подошла «с нотами», Глеб Иванович вынул из правого кармана своего серого пальто бумажку и положил ее, не глядя. При следующем номере повторилось то же. Деньги он вынимал, как спички для закуривания папиросы или предмет совершенно неинтересный и не стоящий внимания. Я пробовал указать ему, что, в сущности, он дает не певицам и что все это поступит не *хору*, а только хищнице-хозяйке. Молодая осетинка, сидевшая по нашему приглашению за столом, оглянулась и тихо, чуть слышно, сказала: «Да, хозяйке... мы на жалованье»... Но это на Глеба Ивановича не оказало задерживающего действия. Он так же, не глядя, механически вынимал деньги и клал их «на ноты». Когда один раз я захотел остановить его, указав, что мы уже положили и что этого достаточно,— он посмотрел на меня с выражением укора и легкой досады и опять вынул наудачу то, что первое попалось под руку.

Видно было, что, и слушая, и внимательно глядя на певиц, и вынимая бумажку,— он занят каким-то одним предметом, от которого как будто и не хочет, и не может отвлечься для таких пустяков, как деньги и их значение...

После этого я уже не останавливал его. Мы просидели до заката солнца, потом, попрощавшись с певицами, вышли в аллеи сада.

Здесь нас ждал новый маленький эпизод. В то время, когда мы сидели еще на площадке снаружи, к нам подходил маленький итальянец с каким-то инструментом вроде гармонии. На нем была остроконечная черная шляпа, из-под которой выразительно глядели большие черные глаза. Играл он недурно, просил глазами еще

лучше и, по-видимому отчасти благодаря нашей компании, сделал необычный сбор. Ввиду этого он позволил себе некоторую роскошь: подойдя к деревянному киоску на видной аллее, важно уселся на стул, положил у ног калабрийскую шляпу и гармонию и потребовал себе стакан мороженого.

Случилось, что в это время злой рок привел в сад его старшую сестру-нищенку, хромую девушку лет восемнадцати — двадцати, на костылях. У нее было такое же смуглое лицо, такие же черные волосы и такие же выразительные глаза. Только лицо было болезненное, а глаза злые. Она быстро ковыляла по аллее на своем костыле, и так как мы подымались по дорожке к этому киоску, то маленькая драма завершилась на наших глазах: разъяренная девушка схватила беспечного музыканта за ухо как раз в то время, когда он подносил ко рту ложечку с мороженым.

Вышла маленькая жанровая сценка в очень красивой обстановке и, в сущности, очень благодарная для художника. Есть такие счастливые художники-олимпийцы, которые даже в самой казни видят благодарную «натуру». Глеб Иванович по своему темпераменту находился на противоположном полюсе. В своей автобиографии он пишет, что был в Париже после Коммуны и видел, «как приговаривали к смерти сапожников и каменщиков». Но он сравнительно мало останавливался на этих картинах, и, я думаю, это не случайно: они подавляли его, он не мог овладеть ими, потому что его мозг и его нервы не вмещали всего их ужаса. Хорошо это для художника или дурно,— я здесь этого вопроса не касаюсь: по отношению к Успенскому это был факт, входивший одним из составных элементов его личности. И теперь, при виде этого небольшого конфликта между братом и сестрой, пока мы еще успели вникнуть в смысл разыгравшейся перед нами сценки,— Глеб Иванович с страдающим и искаженным лицом кинулся к девушке и схватил ее за руку.

— Что ты делаешь... За что ты его бьешь?.. Какая ты скверная,— говорил он, сжимая руку озадаченной Немезиды своей нервной рукой. Та невольно разжала пальцы, и молодой кутила, вырвавшись, стрелой сбежал с небольшого откоса на нижнюю дорожку. Там он оста-

новился без шляпы и гармонии и, чувствуя себя сравнительно в безопасности, наблюдал происходящее своими темными, как чернослив, простодушными глазами.

Девушка, сначала испуганная, скоро, однако, оправилась и, всхлипывая и грозя брату кулаком, стала рассказывать нам о его ужасном преступлении и о причинах своего гнева. И вот, благодаря вмешательству Глеба Ивановича, в этом прелестном уголке, где для нас все было отдыхом, радостью и весельем,— перед нашими глазами вдруг развернулась, вместо комического интермеццо, целая драма. Оказалось, что в Нижний, на ярмарку, приехала семья итальянцев. Отец был музыкант, мать — певица, маленький сын — гармонист, вообще, кажется, вся семья готовилась исполнять на ярмарке что-то увеселительное. Но вдруг отец заболел, и теперь лежал в каком-то вертепе Миллионной улицы, расстилавшейся внизу, под нашими ногами. Мать не могла оставить больного и маленьких детей. В качестве кормильцев оставались только — знакомый нам гармонист и она — хромая нищенка. Но ей подают мало, хоть она ходит целые дни, несмотря на больную ногу... Он должен бы играть и играть, чтобы собрать побольше денег... А он ест мороженое в то время, как у родных нет куска хлеба для маленьких детей...

И она опять заплакала и погрозила кулаком злополучному кутиле, все еще державшемуся в почтительном отдалении. Мы постарались ее успокоить, кидая в поднятую ею шляпу мальчика серебряные деньги. Глеб Иванович сунул руку в карман пальто, вынул оставшуюся там единственную пятирублевку и подал ее удивленной девушке. Потом полез в другой карман, пошарил там, но в кармане уже ничего не было. Тогда, с несколько растерянным видом, он повернулся и очутился лицом к лицу с незнакомой дамой, с пышным бюстом и в роскошной шелковой накидке. Она и еще два-три любопытных фланера были привлечены маленькой трагикомедией и неожиданным вмешательством странного господина. Успенского, по-видимому, нимало не смутило то обстоятельство, что перед ним очутились люди, совершенно ему незнакомые. Он посмотрел в лицо дамы ласковым и доверчивым взглядом и сказал просто, как сказал бы хорошему знакомому:

— Вот видите, какое тут дело. Отец болен, мать с детьми... в трущобе. У меня больше нет. Дайте вы сколько-нибудь, вот они тоже... Ведь целая семья.

Дама высокомерно взглянула на неожиданного сборщика, пожала плечами и, повернувшись, поплыла по аллее. Остальные любопытные тоже нашли, что самый интересный момент миновал и что сбора, сделанного уже в пользу итальянцев, слишком достаточно для «бедного семейства». Глеб Иванович остался на дорожке один, провожая расходившихся внимательным взглядом. Я видел его лицо в эту минуту и очень жалел, что не мог снять его с этим выражением: проникновенность художника и простодушное удивление ребенка... Это почти детское простодушие и растерянность перед самым обычным проявлением черствости, и притом со стороны художника, который так понимал и так умел рисовать эти свойства среднего человека, составляли тоже особенную черту этого своеобразного и сложного характера.

Утром, тотчас после приезда к нам, Успенский говорил, что ночью спал мало и хочет лечь пораньше, чтобы отдохнуть перед дальнейшим путешествием. Ввиду этого я настаивал, чтобы не ходить уже никуда и чтобы Глеб Иванович ложился. Он покорно соглашался, но при этом как-то лукаво улыбался. Придя домой, он пошарил в чемодане и с торжеством вынул портмоне, из которого стал перегружать бумажки опять в левый карман.

— Да вот! — сказал он, улыбаясь с веселым лукавством.— Я ведь человек предусмотрительный: сразу всего не взял. Видите: оставил про запас!

Я сильно подозреваю, что «предусмотрительность» принадлежала собственно жене Успенского, которая едва ли ожидала, что к «запасу» Глеб Иванович прибегнет уже в Нижнем.

Улеглись мы, действительно, довольно рано, в моей маленькой комнатке, в нижнем этаже дома, выходившего в густой сад. Летом окно в этот сад я оставлял открытым и на ночь, и листья деревьев почти лезли в комнату.

Среди ночи я проснулся под впечатлением совершенно фантастических видений и, раскрыв глаза, некоторое время чувствовал себя все еще как будто во власти сна: в окно тихо, с осторожностью пробирался из сада Глеб

Иванович, а за окном, освещенная прорывающимися лучами месяца, виднелась фигура одного из наших общих друзей, очевидно, участвовавшего в заговоре и указывавшего Глебу Ивановичу этот путь для незаметного выхода и возвращения. Когда путешествие это совершилось благополучно, Глеб Иванович с лукавым видом послал фигуре за окном воздушный поцелуй и тихо сказал:

— Спит!..

Фигура за окном исчезла. Я окончательно пришел в себя и сообразил, что Глеб Иванович опять совершил экскурсию на откос.

— Вот вы как, Глеб Иванович,— сказал я.— А обещали лечь пораньше.

— Д-да... вот видите... Грешный человек... в окно... Ничего! Я сейчас лягу. Спите... Хотелось поговорить еще кое о чем. Удивительная девушка.

Однако сам он лег не сразу. Он сообщил мне, что у осетинки в Сызрани ребенок, и она своим пением зарабатывает на его содержание... Говорил он тихо, как будто про себя, и я начал дремать. Сквозь дремоту долго еще я видел фигуру Глеба Ивановича, сидевшего на постели с папиросой. Папироса все удлинялась; огонек ее, вспыхивая, освещал глубокие, сосредоточенные глаза и выразительное лицо Успенского.

— Да... Вот... Ребеночек... А она тут поет, до самой зари... Человека захватит какая-нибудь этакая шестерня... И ломает, и ломает всего... Что же тут челюсть? А я вот думаю: челюсть-то... она иной раз еще спасает... Будь эта, вот, хромая, итальянка-то, поаккуратнее... Да тут, в этом аду... Господи боже!.. Давно бы ее закрутило...

Я зажег спичку и посмотрел на часы.

— Глеб Иванович, голубчик! Ведь уже три часа. А завтра на пароход в девять.

— Сейчас, сию минуту... Лягу... непременно... Я только говорю: челюсть-то эта пустяки!.. Подлость тут наша, а не челюсть... И это надо понимать, писать, говорить.. Общество... все мы... а не челюсть... не челюсть... Нет, не челюсть...

И долго еще в темной комнате виднелся вспыхивающий огонек его папиросы и слышались отрывочные горькие замечания.

IV

На следующее утро мы приехали на пристань рано. Утро опять было чудесное, свежее. Пароход стоял у пристани, но свистка еще не было. Когда пришлось брать билеты, Глеб Иванович пошарил в карманах, заглянул в кошелек и, как-то виновато улыбнувшись, сказал с легким удивлением:

— А ведь у меня денег-то... уже и нет.

Мы это предвидели, и потому, не ожидая этого признания, Н. Ф. уже стоял у кассы, чтобы взять Глебу Ивановичу пароходный билет. Такие истории должны были случаться с Успенским очень часто. В следующем году он писал мне, между прочим: «Были у меня и двести рублей, и еще двести, и еще триста, но все исчезло в тот момент как только появлялось в руках. Долгов в деревне накопилась тьма — едва выбрался оттуда... Говорят, есть какие-то новые бумажки и будто бы они были у меня в руках, но я решительно не видал их,— знаю, что мелькало что-то синее или красное...» Он сознавал в себе эту черту и иной раз отзывался о ней с легким юмором, как будто говорил о другом человеке. Но это было, так сказать,— вообще. В частности же, каждый раз, когда у него бывали деньги, он относился к ним с самым непосредственным равнодушием; и это ставило его нередко в невозможные, порой очень тяжелые положения.

— Ну, вот и отлично! — весело сказал он, получив от Н. Ф. билет.— Просто превосходно. Я вам непременно вышлю из Петербурга... А теперь мне бы еще... десять рублей.

— Мало, Глеб Иванович,— сказал я.— Ведь далеко.

— Нет! десять ровно. Я знаю... Я дам телеграмму, мне вышлют туда-то.

Мы не спорили, но вместо десяти рублей сунули Глебу Ивановичу в карман столько, сколько, по нашему мнению, должно было бы хватить на обычные путевые расходы.

На верхней палубе парохода ожидали уже две певицы из вчерашнего хора: осетинка и молодая девушка, почти ребенок, которую регентша, по-видимому, взяла под свое особое покровительство. Обе были одеты скром-

но и производили очень приятное впечатление. К Глебу Ивановичу они относились с какой-то особенной почтительностью, и радость, сверкнувшую в их глазах, когда он подходил к ним, можно понять, если представить себе обычный тон обращения публики с этими бедными созданиями... Хор был сравнительно приличный, но существование женщины даже в самом «приличном» хоре представляет только тщетные усилия удержаться на наклонной плоскости. Ежегодно ярмарочная хроника отмечает не одну трагедию из этой области, которые мелькают и исчезают на общем фоне ярмарочной жизни. И те самые люди, которые вчера еще проводили вечер с певицами, забывая всякие «условности»,— сегодня не решаются подойти к ним днем и на глазах у публики...

Глеб Иванович поздоровался с ними просто и радушно. То, что составляло их жизнь,— являлось его болью, его страданием, предметом его неугомонной мысли, и это давало какой-то особенный тон их взаимным отношениям. Обычные расспросы равнодушных людей, бередящих и без того болящие раны,— без сомнения, являются для этих бедных девушек новым источником нравственных страданий, и они защищаются от них посвоему: никогда они не говорят своих настоящих имен, друг друга называют вымышленными и каждому любопытному допросчику рассказывают новую свою биографию. Но для Глеба Ивановича это были «настоящие» люди, он уже знал их «настоящую» жизнь и теперь с серьезным сочувствием записывал адрес какой-то сызранской мещанки, у которой находился на воспитании ребенок осетинки. Для них это было как бы свидание с добрым земляком, случайно встреченным в шумном городе...

Никаких денег они, разумеется, не ждали, и никому бы не пришло в голову предложить их. Мы позвали официанта и, устроившись в уголке, велели принести чайный прибор, так как все приехали сюда без чаю.

Публика прибывала, прогудел первый свисток.

К столику, за которым сидела наша небольшая компания, подошла какая-то старушка, маленькая, худая, с колющими бегающими глазами, в черном платье и тем-

ном платке, повязанном по-скитски, в роспуск. Она поклонилась нам всем и, называя девушек красавицами-прынцессами, стала просить денег. Она едет к Иоанну Кронштадтскому и просит на дорогу. Голос у нее был ханжески-фальшивый и неприятный. В словах «красавицы» и «прынцессы», которые она адресовала певицам, слышалась скрытая двусмысленность и осуждение.

Глеб Иванович как-то особенно насторожился и торопливо сунул ей серебряную монету. Она быстро схватила ее и отошла к другой группе, но в это время младшая певица засмеялась: у старухи из-под темной короткой юбки мелькнули желтые туфельки на высоких каблуках. Эти туфли, при костюме черницы-богомолки, производили, действительно, странное впечатление. Вероятно кто-нибудь просто подарил их старухе, но молодая девушка с наивной бестактностью сказала:

— Господи! Точно у танцовщицы!

Старушка повернулась, смерила девушек пристальным, колющим взглядом и стала опять приближаться к столу, не спуская с юных грешниц своих строгих маленьких глазок. Девушки сразу притихли, а она не знала, которая из них оскорбила ее своим замечанием. Наконец, она почему-то остановилась на осетинке.

— Нет, прынцесса моя,— сказала она зловещим голосом,— я не танцо́вщица, я богомолка. А тебе, миленькая, я скажу судьбу. Денег ты наживешь, ох, много! А прожить-то вот, прожить... и не успеешь...

Осетинка сразу побледнела. Старушка хотела сказать еще что-то, но в это время Глеб Иванович, до тех пор смотревший на всю сцену со вниманием художника,— понял ее значение и поднялся с места.

— Вот ведь какая ты злая старушонка,— сказал он, заступая богомолке дорогу,— денег тебе мало дали? На вот, возьми, возьми... вот! И иди себе... куда тебе надо...

Он сунул ей бумажку с таким видом, как будто это было орудие казни. Старушонка быстро схватила деньги и скрылась...

Перед самым отходом парохода к нам подошел какой-то субъект мещанского вида, в картузе и порыжевшем старом суконном пальто. Он вчера приехал в Ниж-

ний вместе с Глебом Ивановичем, между ними завязались уже какие-то нам непонятные отношения, и, по-видимому, встреча на этой пристани была не случайна. Мещанин ехал в третьем классе и очень обрадовался, разыскав Успенского в нашем уютном уголке

— Вот и отлично,— говорил ему Успенский,— вот и превосходно. Мы с вами, значит, еще потолкуем дорогой. А теперь я вот тут... с знакомыми людьми.

Незнакомец, успокоенный, удалился.

— Превосходный человек,— объяснил мне Глеб Иванович.— Просто замечательный.... И какую над ним устроили подлость..

Последний свисток прервал рассказ об этой подлости, и через несколько минут пароход отошел от пристани, унося от нас Глеба Ивановича. Помню, я тогда заметил какое-то особенное изящество всей его фигуры. Рассеянный, не от мира сего, не думающий о себе,— он как-то всегда, инстинктивно, непроизвольно умел сохранить это прирожденное изящество во всем, что к нему относилось.

Когда пароход повернулся, я еще раз увидел Успенского, сходившего вниз по лесенке. И мне показалось, что с ним шел человек, над которым «была сделана большая подлость»... На пристани, долго глядя вслед пароходу, стояли мы все, и среди нас две певички с откоса. Знали ли они, с кем свели знакомство, имели ли представление о том, что этого человека знала и любила вся образованная Россия? Не думаю. Это были простые, необразованные девушки, которых жизненные невзгоды, собственная беззащитность и красота (челюсти у них обеих действительно были, как говорил Глеб Иванович, вполне «аккуратные») кинули на этот путь, покатый и скользкий. Обе они пытались еще удержаться и надеялись, что удержатся на наклонной плоскости. И я уверен, что как бы ни сложилась их дальнейшая судьба,— эта встреча с человеком, у которого были такие глубокие и любящие глаза, такая странная речь, к которому все относились с таким, может быть, не вполне понятным для них уважением и которого они провожали, как своего доброго знакомого в это утро,— осталась в их памяти светлым пятнышком, совершенно «особенным» в обстановке их нерадостной жизни...

V

История этого дня имела некоторое своеобразное продолжение.

Я знаю, что Глеб Иванович путешествовал много и всегда один; значит, он как-то справлялся со всеми условиями путешествия. Но меня всегда это удивляет, когда я вспоминаю его младенческую непрактичность и его отношение к деньгам, как к безразличному сору...

Во всяком случае данное путешествие закончилось не совсем обычным образом. Денег ему не хватило. Имел ли на это обстоятельство какое-нибудь влияние человек, над которым была «сделана подлость», или опять встречались другие люди, другие итальянские мальчишки и зловещие старухи, которых нужно было наказывать подачками денег, только уже в Калаче (или Царицыне— не помню) случилась катастрофа: нужно было взять билет, а денег не оказалось ни копейки... Глеб Иванович сам рассказывал мне впоследствии об этом эпизоде, причем его рассказ, юмористический и простодушный вместе, удивлял меня опять смесью детской наивности и тонкой улыбки над ней, совмещавшихся странным образом в одном и том же лице.

— Да... вот... Так как-то вышло. Смотрю: нет! Окончательно ничего! А тут один поезд уже ушел, пока я сводил свой бюджет... Другой, пожалуй, уйдет.

— И что же?

— Да вот видите: свет не без добрых людей... Сторож выручил.

Оказалось, что, когда бюджет был сведен, Глеб Иванович не нашел сделать ничего лучшего, как поставить свой чемодан к стене, усесться на него и ждать событий или вдохновения. Так он просидел отход одного поезда. Когда народ начал набираться к другому, он все сидел на чемодане, наблюдая вокзальную толпу, чем обратил внимание служащего, стоявшего у двери. Его обязанность состояла в том, чтобы открывать и закрывать двери и по пути наблюдать за публикой, чтобы не случалось каких-нибудь неблагополучий. Мало ли всякого народу в толпе! Среди этих наблюдений он не мог, разумеется, не заметить странного изящного господина, в

коричневом пальто и серой поярковой шляпе, неподвижно сидевшего на чемодане.

— Что вы, господин, сидите? Ведь поезд-то опять уйдет,— сказал он.

— Уйдет,— ответил Глеб Иванович с фаталистической уверенностью.

— Так что же вы?

— Ничего, брат, не поделаешь! Денег нет...

— Украли? Так вам бы заявить...

— Нет... не то чтобы украли. . Просто нет... нету, понимаешь... Не хватило.

— А сколько не хватает-то?

— Да рублей десять бы нужно... Да. десять рублей (почему-то эта цифра легче всего приходила в голову Глебу Ивановичу).

— А куда ехать?

— Еду я в N.

— А сколько же у вас есть?

— Да вот видишь: ничего нету... Окончательно, ни копейки, ни одной...

Сторож смерил его удивленным взглядом и сказал, переходя на ты:

— Чудак! Как же ты до N доедешь на десять рублей, когда билет стоит пятнадцать? Да, скажем, хоть три рубля на харч, да на извозчика. Прямо говори: тебе нужно восемнадцать серебра.

— Да, да... именно выходит, что восемнадцать...

— Ну, вот что я тебе скажу. .

Бывали ли уже такие случаи с этим наблюдательным человеком, много лет изучавшим людскую толпу у своей двери, или опять это нужно приписать особому впечатлению наружности Успенского, только сторож самым деятельным образом вошел в интересы странного незнакомца. Он взял ему билет и дал на руки три рубля. Справедливость требует сказать, что к сумме долга он прибавил два рубля вознаграждения за свои хлопоты и в обеспечение уплаты оставил себе чемодан. Они условились, что Глеб Иванович пошлет ему деньги, в том числе и на пересылку чемодана, а сторож пришлет чемодан багажом на нижегородский вокзал, так как Успенский опять предполагал побывать в Нижнем. Конечно,

всего проще было бы прислать чемодан на мое имя, но Глеб Иванович как-то «не догадался».

Деньги он послал вскоре же из Москвы, где мы с ним встретились, а поездку в Нижний отменил.

— Ну, Глеб Иванович,— пропал ваш чемодан,— сказал я.— Сторож, разумеется, оставит у себя и восемнадцать рублей, и чемодан.

— Нет! — с уверенностью сказал Успенский. — Не такой человек... Просто превосходный человек. Наверное уже выслал, и накладная, пожалуй, уже на почте. Получите, пожалуйста!

И действительно, вернувшись в Нижний, я справился на почте и узнал, что есть заказное письмо на имя Глеба Ивановича из Калача или Царицына, но... мне его не могли выдать без доверенности. На вокзале оказался чемодан, которого опять я не мог получить без квитанции. А Глеб Иванович и по возвращении из своего путешествия все не посылал доверенности. По моей просьбе удержали письмо, и лично, при свидании в Петербурге, я получил от Успенского обещание: «Пришлю, непременно! Вот увидите». Только в январе следующего (1888-го) года пришла, наконец, нотариальная доверенность от «домашнего учителя» Успенского. «Сегодня,— писал мне Глеб Иванович 18 января,— послал я вам доверенность на получение моего хоботья, но кажется переврал адрес... Посылаю это письмо наудачу... Хламье мое пусть лежит у вас столько, сколько оно захочет...»

Однако, когда я опять справился на почте, то оказалось, что письма уже нет, а на вокзале «неизвестно кому принадлежавший чемодан с бельем, носильным платьем и пальто» —был продан с аукциона.

На Глеба Ивановича печальная судьба чемодана не произвела ни малейшего впечатления. Несколько раз он вспоминал только, что остался должен нам за билет... «Непременно пришлю»,— прибавлял он при этом... От одного человека, говорившего о слабостях Глеба Ивановича, я слышал, между прочим, что он был не всегда аккуратен в уплате долгов... Фактически это, может быть, было верно, как и то, что Успенский пил вино... Но этот упрек показывает только, что говоривший не имел ни малейшего понятия об Успенском. Быть всегда аккуратным в уплате всех этих маленьких долгов для него было

так же трудно, как не отдать всего, что у него было, первому встречному. И это так же мало касается оценки этого человека, как и толки об алкоголизме...

Но что эта черта — пренебрежение к деньгам и нерасчетливость — страшно вредила Успенскому, вынуждая к труду для заработка,— это, к сожалению, верно.

VI

Описанный выше приезд Успенского остался в моей памяти самым светлым воспоминанием, свободным еще от жутких опасений последующих годов. Правда, в нем была уже и тогда эта тревожная печаль, эта неотвязность болящих и грустных мыслей, эта особенная чуткость, которая даже общим понятиям придавала для него силу и боль реальных ощутительных явлений. Но я не знал его иным, и все это казалось почти нормальным состоянием человека, уже в юности плакавшего без видимых причин и содрогавшегося при всяком напоминании о прежней дореформенной среде и прежней жизни... Правда, к чувству умиления, вызываемому этой удивительной человеческой особью, уже порой присоединялось смутное опасение, как бы предчувствие, что такая впечатлительность и такая жизнь не может быть прочной. Но это было именно только смутное предчувствие, делавшее симпатию к нему близко знавших его людей чуткой и опасливой. Но сам он бывал еще оживлен, остроумен, весел, много работал, и наши тревоги смолкали.

В следующий приезд в Нижний зловещие признаки выступали уже заметнее. Выражение лица было более страдальческое; он жаловался на галлюцинации обоняния и потерю вкуса.

— Ничего не ощущаю... точно шапку солдатскую жуешь,— по-своему причудливо выражал он это ощущение. Его особенный юмор, которым природа наделила его в таком изобилии и который, быть может, один долго служил противоядием печали, разъедавшей эту чуткую душу,— вспыхивал все реже, а печаль выступала все острее и ощутительнее. Впечатлительность как будто еще обострялась, или сила сопротивления слабела...

Из этого периода мне вспоминается один небольшой эпизод. Войдя в мой кабинет, он увидел над столом большой литографированный портрет Л. Н. Толстого.

— Что это значит? — спросил он, указывая глазами на портрет. Это был период, когда великий писатель находился в полемическом фазисе «непротивления», когда из-под его пера появилась сказка об Иване-дураке и другие рассказы той же серии, из-за которых еще не развернулась новая эволюция этого беспокойного и могучего духа.

Я ответил Глебу Ивановичу — перед чем именно я преклоняюсь в этом человеке. Он долго и задумчиво смотрел своими печальными глазами в суровые черты портрета и потом сказал:

— Да! Я вот давно собираюсь к нему... Поговорить... о многом...

И потом, улыбнувшись, прибавил:

— Боюсь все. Огромный он.. А все-таки соберусь, непременно... Вот укреплюсь и поеду поговорить... о многом.

Сколько мне известно, он так и не собрался. Всю свою жизнь он отдал на служение любви и правде, не теоретизируя об их конечном источнике... Однако в последний период в его речах и писаниях слова «бог», «нет бога в душе» попадались часто, и мне кажется, что в них было больше, чем простая форма выражения известной мысли. Может быть, уже тогда в взволнованной душе Успенского вставали мысли и образы, которые впоследствии отлились в определенные представления инокини Маргариты, ангелов, бога... И в содрогании чуткой души перед огромностью этих вопросов уже чувствовалась, может быть, надломленность и страдание надвигавшейся болезни...

Свои статьи этого времени он буквально писал соком уже больных нервов, а не писать не мог. Он все равно переживал их всем своим существом, страдал и мучился своими темами.

Помню, однажды, войдя к Н. К. Михайловскому, жившему тогда в Пале-Рояле, на Пушкинской,— я застал в его номере Глеба Ивановича. Он сидел на кушетке с папиросой в руках. Лицо у него было искаженное внут-

ренней болью, одна бровь поднялась значительно выше, в глазах душевная тревога. Это было время, когда он писал рассказ «Взбрело в башку». Сюжет рассказа разыгрывался у него на глазах в Чудове, и на некоторое время всех нас, своих друзей, он втянул в эту печальную историю, все фазы которой он переживал, как мы переживаем разве опасную болезнь самых близких людей. В этот раз он уговорил меня ехать с ним в Чудово, желая показать этого человека:

— Может, вы ему что-нибудь скажете... Вы не можете себе представить, что это за человек... Какая душа! Просто замечательная! И как его всего перевернуло... Вот вы увидите сами... вот увидите!

Человек этот был местный крестьянин, занимавшийся извозом, и, приехав в Чудово, Глеб Иванович тотчас же кинулся к перилам деревянного вокзального перрона, выглядывая своего Герасима (имя я, впрочем, забыл) среди ожидавших на площади извозчиков. Теперь каждый раз, когда я проезжаю мимо Чудова, мне кажется, что я вижу фигуру Глеба Ивановича, перегнувшегося через перила и всматривающегося с выражением такой тревоги и опасения, как будто он ждал вести об опасно заболевшем собственном ребенке.

Герасима не оказалось, и вместо него нас повез другой извозчик, мужичонко неприятного вида, болтливый, с фальшивыми нотами в голосе. Глеб Иванович спросил у него о Герасиме, и затем, при разглагольствованиях нашего возницы, какие-то тени внутренней боли проходили по его лицу.

— Вот... вот видите...— сказал он мне, при какой-то особенно резнувшей ухо фразе извозчика...— Никогда Герасим не скажет такого. Ник-когда! Просто удивительно деликатный человек.

Приехав к своему дому, он отдал извозчику деньги и сказал:

— Пожалуйста, теперь пришли мне Герасима. Через два часа опять на вокзал...

— Да что вам, Глеб Иванович, Герасима? — сказал извозчик.— Я сам доставлю.

— Герасима... Герасима мне... Понимаешь. Мне нужно...

— Да на что же Герасима, когда я...

Глеб Иванович, собравшийся уходить, вдруг повернулся, пристально всмотрелся в мужика и, вынув бумажку, сунул ему в руки.

— Вот .. возьми. Тебе непременно денег хочется. Вот, вот... вот тебе, вот! Теперь пришли Герасима, а сам не приходи, пожалуйста... Сделай ты мне одолжение, не приходи...

На лице его было то же выражение, как в сцене со старухой на пароходе: гнев, презрение к деньгам и к человеку, которому только они и были нужны, и страдание за него и за себя. На этот раз мне показалось еще, что он откупается от этой мучительной для него неискренности Однако Герасима все-таки не оказалось, и нас на вокзал повез другой извозчик

Это настроение непереносности обычных житейских лжи и фальши, неправды и страдания, мимо которых мы, люди с более грубыми нервами, проходим довольно равнодушно, которую прежде Успенскому помогала переносить смягчающая юмористическая складка,— теперь усиливалось быстро из года в год. Прежде он любил приезжать в Москву и иной раз, остановившись в гостинице, кончал здесь статьи для «Русских ведомостей» или «Русской мысли». Со временем, однако, ему становилась невыносима обстановка гостиниц и меблированных комнат.

— Знаете! — радостно сообщил он мне однажды, при встрече в Москве.— Нашел-таки! Просто превосходно!

— Что вы нашли, Глеб Иванович?

— Гостиницу нашел... Такую, в которой можно жить... Просто рай. Номерки новые, еще не подернулись всей этой подлостью... Прислуга веселая, приветливая... должно быть, платят хозяева по-божески. Просто превосходно. Вот приходите, увидите сами...

Не помню, в этот ли приезд, или в другой, я разыскал-таки Глеба Ивановича в этом хваленом его рае. И первое, что мне бросилось в глаза при входе на лестницу, это было лицо самого Успенского, склонившееся с верхней площадки. Бровь опять была высоко поднята, на лице опять выражение боли...

— Что с вами, Глеб Иванович?

Он еще не ответил, как в коридоре затрещал электрический звонок. Где-то хлопнула дверь. Женщина с

усталым лицом понеслась кверху по лестнице. Из какой-то каморки послышался плач ребенка. Все это я помню так ясно, как будто слышал и видел только вчера. Но все это я воспринял через Глеба Ивановича, так как и звонок, и суетливая беготня, и плач ребенка отражались на его исстрадавшемся лице.

— Вот... вот видите. Не прошло и пяти минут,— четвертый раз... Ну, вот еще...

Новый треск электрического звонка прошел по его лицу новой волной нервной боли...

— Так и знал! Четырнадцатый номер,— сказал он, указывая на электрический счетчик.— Второй раз... Это он, негодяй, сидит на своей постели... подай ему со стола стакан воды... Вот... вот опять... Господи боже!

И этот его недавний рай уже был отравлен для него навсегда. Кто из нас замечал эти стороны гостиничной жизни? Кому из нас было бы интересно узнавать, сколько раз звонил четырнадцатый номер и почему хлопает внизу дверь, заглушая крик «собственного ребеночка» гостиничной прислуги. А между тем вся эта прозаическая изнанка жизни непроизвольно раскрывалась перед Успенским, со всем, что в ней было нехорошего и тяжелого,— и мучила его чужой усталостью и чужой болью...

Помню, что после этого в некоторых из статей Глеба Ивановича фигурировали и полтора миллиметра, и звонки, и четырнадцатый номер, и статистические дроби, и «живые цифры»... И во всем этом уже чувствовалась развязка этой трагической жизни. Юмор постепенно исчезал, как меркнут краски живого пейзажа под надвигающейся грозовою тучей. Помню, что одного из этих рассказов («Квитанция») я уже не мог дочитать громко до конца: это был сплошной вопль лучшей человеческой души, вконец истерзанной чужими страданиями и неправдой жизни, в которой она-то менее всех была повинна.

VII

Кажется, в 1893 году Глеб Иванович приехал в последний раз в Нижний-Новгород. На вокзале мы встретили его той же компанией, с которой когда-то он бродил по откосу, большинство членов которой он уже знал и любил. Но сам Успенский был уже не тот. Не было то-

го оживления, той улыбки, которая так часто сверкала тогда сквозь привычную печаль его глаз. На лице его лежала беспросветная грусть.

Когда мы переехали через Оку и стали на извозчике подыматься по въезду, я в первый раз увидел, как он закрыл всей ладонью лицо, начиная от лба до подбородка; глаза тоже были закрыты, и под этим прикрытием он шептал что-то тихо и умиленно, как будто говорил с кем-то невидимым и молился...

Это уже начиналась другая, таинственная жизнь омраченного духа, другое, параллельное существование... Через минуту он очнулся, оглянулся на светлый день, на Оку, на уступы гор, и взгляд его упал на ехавшего впереди, на извозчике, сына.

— Вы...— сказал он,— и Сашечка... Хорошо...

Около двух недель прожил он тогда в Нижнем-Новгороде, то у С. Я. Елпатьевского, то у меня... Часто, среди разговора, даже в многочисленном обществе, он вдруг закрывал глаза ладонью исхудавшей тонкой руки и начинал шептать. Мне он говорил несколько раз просто и задушевно о том, что он беседует в эти минуты с «инокиней Маргаритой», чистейшим существом («женщина — чистейшее существо»), в котором странным образом сливаются несколько лиц, в том числе — боровшиеся и пострадавшие в борьбе. И она говорит ему хорошие речи, иногда горько упрекает его, а иногда ободряет. И что он делается легкий... и скоро полетит... А затем — он совершенно просто переходил к житейским темам и несколько раз, помню, повторил:

— Смотрите на мужика... Все-таки надо... надо смотреть на мужика...

После этого он уехал и уже навсегда ушел от нас — внешним образом в Колмово, внутренним — в свои видения...

Все, что могла сделать наука, согретая личной привязанностью и любовью,— все, кажется, было сделано. Но... мне иногда приходит в голову, что, живи мы в другое время, все это, может быть, и сложилось бы по-иному. Может быть, гораздо хуже и жесточе, а может быть и лучше... Несомненно, что в этом исстрадавшемся чужими страданиями подвижнике литературы в последний период жизни проснулся обычный тип подвиж-

ника, знакомый нашей русской, порою жестокой, порою умиляющей родной старине. И, может быть, в другие времена его бы оставили на свободе, и он бродил бы по деревням, или жил бы в какой-нибудь обители, и говорил бы людям о своей инокине Маргарите, которая учит побеждать в человеке зверя и помогает святому Глебу бороться с животным Иванычем, и раскрывает светлое небо... И его слушали бы темные люди и ловили бы в темных речах мерцание небесной правды...

Впрочем,— едва ли это было бы лучше. Всю жизнь — он стремился к одной только правде, хотя бы и болящей, но истинной...

1902

Воспоминания о Чернышевском

I

Я помню, еще в раннем детстве мне попался фантастический польский рассказ Герой его молодым человеком пробрался потаенным ходом в погребок, где хранилось чудесное старое вино, лежавшее в земле, в неведомом тайнике, несколько столетий. Молодой человек выпил стакан и заснул Заснул так крепко, что, пока он спал в своем убежище, на земле бежали года, события сменялись. XVIII столетие отошло в вечность. Польшу разделили между собою враги. И вот, в один прекрасный день, на улице русской уже Варшавы, с вывесками на двух языках и с городовыми на каждом углу — появляется какая-то архаическая фигура в старопольском одеянии, с «карабеллой» у пояса, с кармазиновыми отворотами рукавов и с страшной седой бородой.

Дальнейшая часть рассказа посвящена развитию этого совершенно исключительного и, по-видимому, невозможного положения.

Такое именно невозможное и фантастическое явление совершилось почти на наших глазах с Чернышевским. Правда, над его головой промчалось не столетие, а всего двадцать лет, но эти двадцать лет стоили целого века. В эти двадцать лет физиономия России изменилась, пожалуй, более, чем за целое предшествовавшее столетие. В остальном параллель тоже очень близка. Опьяненный захватывающим, одуряющим пото-

ком событий, надежд и ожиданий только что начавшейся реформы,— он попадает в далекие казематы Кадаинского и Александровского рудников, Акатуя, потом на Вилюй. Разве все, что он там видел, в этих глухих углах, отставших на целое столетие даже от дореформенной России,— не могло показаться странным сном, под далекие отголоски оставленной жизни, гул которой катился над его головой, как гул и выстрелы в осажденной Варшаве над головой спящего в подземелье поляка.

Без сомнения, когда этот поляк исчез неведомо куда,— его искали; быть может, даже догадывались, что он недалеко, может быть, рылись и стучали в нескольких саженях от погреба. А потом стали забывать, и, наконец, те, кто искал, перемерли, а в среде оставшихся потомков повторялась только легенда,— что был еще один человек, и даже хороший был человек, но исчез без следа.

Чернышевского тоже искали... Его потеря была очень чувствительна для передовой части общества, и примириться с нею было трудно. Уже в деле каракозовцев есть упоминание о намерении освободить Чернышевского. Известны затем попытки Г А. Лопатина и Ипполита Мышкина. Последний 12 июля 1875 года явился даже в Вилюйск под видом жандармского офицера Мещеринова и предъявил предписание о немедленной выдаче Чернышевского для препровождения из Вилюйска в Благовещенск. У исправника возникло подозрение — говорили, что у Мышкина аксельбант был повешен на левом плече, вместо правого, но это не верно. Важнее было то обстоятельство, что мнимый Мещеринов не представил предписания от якутского губернатора, как это требовалось по инструкции. Исправник отказался выдать Чернышевского. Мышкин пытался бежать, был арестован, судился по так называемому «большому процессу» (и впоследствии погиб в Шлиссельбурге). Чернышевский обратился с убедительной просьбой не делать более таких попыток, и письмо его в таком смысле было напечатано в семидесятых годах в заграничных изданиях. В последующие годы о Чернышевском говорили все меньше и меньше, а в печати самая его фамилия признавалась «нецензурной». Его «Что делать?»

читалось и комментировалось в кружках молодежи, но лучшие его произведения, вся его яркая, кипучая и благородная деятельность постепенно забывалась по мере того, как истрепывались и становились библиографической редкостью книжки «Современника». О самом Чернышевском доходили до нас смутные, сбивчивые слухи. Возникнув еще в семидесятых годах, когда в очень известном тогда стихотворении А. А. Ольхина («На смерть Мезенцова») говорилось:

..Угасает в далекой якутской тайге
Яркий светоч науки опальной,—

один из этих слухов проводил Чернышевского в могилу. Говорили, что умственные способности его угасли и даже — что он помешанный. Что он до конца сохранил силу своего могучего мозга — это он, впрочем, доказал в последние годы невероятно энергической работой по переводам. Но что у него не «все в порядке» — об этом я слышал еще за несколько недель до его смерти и от людей, которые имели случай видеть его и говорить с ним лично.

Самостоятельные статьи его не имели уже особенного значения и не были даже замечены. Во всяком случае, и они вызывали покачивание головами необычностью в наше время и странностью тона. Однако все эти слухи совершенно неверны и легко объясняются двумя обстоятельствами: Чернышевский всегда был немножко чудак, это во-первых. А во-вторых, все, на кого он производил такое странное впечатление, не читали, вероятно, того рассказа, о котором я упомянул вначале, и не принимали в соображение, что Чернышевский вернулся к нам из глубины пятидесятых и начала шестидесятых годов. Беда состояла не в том, что он «изменился»... Нет, дело, наоборот, в том, что он остался прежним, с прежними приемами мысли, с прежней верой в один только всеустроительный разум, с прежним «пренебрежением к авторитетам», тогда как мы пережили за это время целое столетие опыта, разочарований, разбитых утопий и пришли к излишнему неверию в тот самый разум, перед которым преклонялись вначале[1].

---

[1] Моя статья писана в начале девяностых годов.

Чернышевский явился к нам, как архаическая фигура поляка XVIII века на макадамовой мостовой русской Варшавы. Нас он не знал вовсе, а его мы успели забыть, и его облик — прежний облик — казался нам уже странным.

Впрочем, кажется, я позволил себе уже слишком длинное отступление от прямой задачи настоящего небольшого очерка. Задача эта — сообщить те (очень немногие, к сожалению) сведения о Чернышевском после его ссылки, которые мне удалось собрать во время странствий в соседних с ним местах, частью от лиц, живших вместе с ним, частью же — от самого Чернышевского, которого я видел и с которым познакомился в августе 1889 года, за два месяца до его смерти.

II

В 1881 году судьба закинула меня в далекую Сибирь, в ту самую Якутскую область, где в это время уже находился Чернышевский. Когда я был в Иркутске, меня опять встретили здесь постоянно ходившие слухи: говорили, что Чернышевский умер и что за несколько лет до смерти он уже был сумасшедшим. Объясняли даже причину: могучий ум, истомленный бездеятельностью, не находил исхода. Чернышевский будто бы постоянно писал с утра до ночи, но, боясь, что рукописи (как бывало прежде) будут отобраны, сжигал их в камине. Это будто бы и стало исходной точкой помешательства еще до перевода в Якутскую область.

По приезде на место,— в слободе Амге, в двухстах верстах от Якутска,— я узнал, что слух о смерти положительно неверен, а слух о помешательстве опровергался за все время пребывания его в Забайкалье. Оказалось, что частью в слободе, где я жил, частью не в дальних расстояниях от нее находились товарищи Чернышевского по заключению. Это были «каракозовцы» и ссыльные по делу о воскресных школах, делу еще более раннему, о котором теперь почти уже исчезли самые воспоминания, как о первых наивных еще проблесках начинавшегося движения, впоследствии, в семидесятые и восьмидесятые годы, наводнившего Сибирь целыми отрядами политических ссыльных.

От них я узнал, что все тревожные слухи о болезни Чернышевского не имели ни малейшего основания. Будучи выслан сначала в Кадаю (на монгольской границе), а потом в Нерчинские рудники, Чернышевский жил одно время вместе с партией поляков. Двор, обнесенный деревянным частоколом с заостренными концами, внутри — деревянные домики казенной, упрощенной донельзя архитектуры, кордегардия с конвойными солдатами, полосатая будка у ворот, и из-за частокола кругом вдалеке туманные высокие горы Забайкалья,—такова обычная обстановка этих казематов. Поляки были по большей части люди простого звания, которые каждый день уходили на работы в разрез. Тогда во дворе, обнесенном частоколом, и в серых домах с решетками становилось пусто и тихо, и только в одной каморке сидел над своими книгами Чернышевский. Я встретил впоследствии одного из этих поляков. Он рассказывал мне, что все они очень уважали и любили Чернышевского. Его добродушие, постоянная серьезность и умение при случае говорить просто с простыми людьми приобрели ему общую симпатию, и они привыкли обращаться к нему за разрешением своих споров и недоразумений, которые так часты в этих тесных норах, где люди от тоски готовы нередко съесть друг друга, как мыши, попавшие в стеклянную банку, откуда нет выхода. И Чернышевский всегда с необычайным терпением входил во все мелочи подобных разбирательств. До него, говорил мне этот поляк, дело доходило до того, что однажды, по общему приговору, поляки высекли одного из своих товарищей. При нем не повторялось ничего подобного.

К этому времени относится один рассказ, слышанный мною тоже от очевидца. «Вообще, говорил мне один интеллигентный поляк[1], тоже живший вместе с Чернышевским, мы никогда не видели его унывающим или печальным. О причинах своей ссылки он говорить не любил. «Вероятно они там знают, за что сослали, а я не знаю»,— и затем отделывался каким-нибудь анекдотом или шуткой. Только один раз мы видели, как он за-

[1] Станислав Рыхлинский, умерший в Иркутске в 1904 году.

плакал. Мы сидели с ним на дворе, когда принесли письма и журналы. Чернышевский надел очки, развернул книгу, перелистовал ее, потом книга выскользнула у него из рук, он встал и быстро ушел к себе. Мы заметили у него на глазах слезы». В журнале были напечатаны известные стихи Некрасова Муравьеву (те самые, по поводу которых прислано Некрасову стихотворение: «Не может быть»). Когда я передавал этот эпизод современникам и знакомым Некрасова и Чернышевского,— они выразили основательные сомнения в точности самого рассказа или моей передачи. Помнится, что действительно стихи Некрасова Муравьеву были прочитаны на торжественном обеде, но напечатаны не были, и на вопрос поэта Муравьев будто бы сам ответил: «Мой совет не печатать». Я привожу этот рассказ потому, во-первых, что все-таки далеко не уверен, что, хотя бы и по какому-нибудь другому случаю, не было подобного эпизода, а во-вторых, он до известной степени рисует настроение, которое приходилось переживать Чернышевскому в далеком Забайкалье, когда до него доходили вести о жестокостях с одной и отступничествах с другой стороны в эти первые годы, последовавшие за его ссылкой...[1]

Не знаю — в Нерчинске, или уже по переводе в Акатуй в тюрьму, где содержался Чернышевский, стали присылать русских политических ссыльных. Таким образом, составилось целое общество, в котором были также интеллигентные поляки и даже два итальянца гарибальдийца, участвовавшие в польском восстании, вскоре, впрочем, помилованные и высланные на родину.

Вся эта компания жила одним кружком, и только Чернышевский по-прежнему держался несколько в стороне. Впрочем, нельзя сказать, чтобы он удалялся сознательно от товарищей по заключению,— нет, он был знаком со всеми, а с некоторыми даже довольно дружен; но все-таки он стоял по возрасту и по интересам вне

---

[1] В. Я. Богучарский в «Мире божием» (янв. 1905) высказывает весьма вероятное предположение, что речь идет о другом стихотворении Некрасова, а именно о стихах в честь Комиссарова-Костромского, напечатанных в апрельской книжке «Современника» 1866 года.

кружка, не участвуя в его интимностях, маленьких партиях, ссорах и примирениях.

Порой в общей камере устраивались чтения или рефераты. В кружке были свои поэты, политико-экономы, критики и публицисты. Чернышевский тоже слушал эти чтения, а иногда и участвовал в них очень оригинальным образом. Он приходил с толстой тетрадью, садился, раскрывал ее и читал свои повести, длинные аллегории и т. д. Чтение это продолжалось иногда два-три вечера. Один из слушателей (г. Шаганов) записал впоследствии содержание некоторых из этих произведений.

Я не стану повторять их здесь, тем более, что большая часть деталей, полученных уже мною из вторых рук, исчезла из моей памяти. Скажу только, что один из таких рассказов представлял целую повесть, с очень сложным действием, с массой приключений, отступлений научного свойства, психологическим и даже физиологическим анализом. Читал Чернышевский неторопливо, но спокойно и плавно. Каково же было удивление слушателей, когда один из них, заглянув через плечо лектора, увидел, что он самым серьезным образом смотрит в чистую тетрадь и перевертывает незаписанные страницы.

Впоследствии и мой брат, хорошо знавший покойного, а отчасти я сам, имели случай убедиться в этой удивительной способности к импровизации, которая чрезвычайно походила на чтение хорошо написанного и в совершенстве отделанного литературного рассказа. Здесь выступает также и другая черта покойного, которую я узнал в нем при личном знакомстве: это какое-то особое добродушное лукавство, с которым он порой любил мистифицировать собеседника. Разговаривая с ним, никогда не мешало держать ухо востро, чтобы не принять всерьез какую-либо шутку. Кроме того, он часто, развивая какую-нибудь сложную мысль — отмечал ход своей аргументации, так сказать, отдельными вехами, снимая все логические мостики, облегчающие слушателю возможность легко и без труда следовать за ним, и вам приходилось делать самые неожиданные скачки, чтобы не отстать и не потерять из виду общей связи. Но зато, если вы понимали его шутку и не теряли нити, в его

добродушно-лукавых глазах вспыхивало выражение удовольствия, почти наслаждения [1].

Таким я увидел его в 1889 году, незадолго до кончины, таким же рисует его и приведенный только что рассказ. С этой оговоркой я могу, пожалуй, привести и содержание самой повести, прося помнить, что мы не имеем данных для суждения, насколько мысли, в ней высказанные, следует принимать серьезно или считать простой шуткой, упражнением могучего и несколько юмористически в то время направленного ума среди казематной скуки и казематного безделья. Замечу, что заглавие повести было «Не для всех» (или «Другим нельзя»).

Действующие лица: русская девушка и два ее поклонника. Оба умны, оба хороши собой, оба влюблены в нее. У обоих есть, конечно, свои особенности ума и характера, есть и недостатки; но все это природа распределила между ними так, что черты одного дополняют черты другого. Девушка и любит их обоих. Когда порой она решается отдать предпочтение одному из искателей, то чувствует также, что другой образ ей приходится с болью отрывать от сердца, что те свойства души, которые приходится отвергнуть, тоже привлекают ее, и ей трудно от них отказаться. Тогда два друга-соперника решаются кинуть жребий, и один уступает с пути, исчезая куда-то без вести и навсегда.

Молодая женщина сильно чувствует все-таки потерю: любовь мужа не может дать ей полного успокоения. Она чахнет, и доктора советуют путешествие. На Великом океане их застает шторм. Корабль носится по волнам, без руля, с изорванными парусами, приблизительно так, как это происходит во многих романах с «захватывающей» фабулой, которые с большим юмором пародируются в этой части рассказа. Конец бури застает молодого человека и его жену погибающими в волнах вблизи неведомого острова. В последние

[1] В письме ко мне, вызванном первым изданием этой книги, Герман Александрович Лопатин говорит, что «об этой привычке Чернышевского мистифицировать собеседника и защищать вначале совсем *не свое* мнение» ему рассказывал в Сибири А. П. Щапов.

мгновения, когда истощены все силы,— кто-то кидается к ним с острова на помощь, и они спасены.

Но тут оказывается, что, спасенные от ярости стихий,— они становятся жертвами насмешливой судьбы. Их спаситель — не кто иной, как все тот же, навсегда исчезнувший друг и соперник, и вопрос возникает вновь в форме тем более трагической, что остров совершенно необитаем и они на нем единственные жители, окруженные со всех сторон насмешливо ревущим океаном. Разыгрывается целый роман со сценами мучений, ревности и безысходного отчаяния. Наконец, когда положение обостряется до последней степени, кому-то (кажется, именно молодой женщине) приходит в голову исход из невыразимо запутанного положения и притом исход, который если и грешит чем-нибудь, то именно излишней простотой. Зачем все эти мучения, ведущие к ненависти, к возможности убийства, к очевидной гибели всех троих, когда все дело в том, чтобы жить всем троим, то есть... втроем. Дело так ясно... Пробуют,— и после легкой победы над некоторыми укоренившимися чувствами — все устраивается прекрасно. Наступает мир, согласие, и вместо ада на необитаемом острове водворяется рай.

Далее — опять, как в романах с приключениями,— тоска по родине, печальные взгляды на необозримую даль океана, парус на горизонте, смена надежды, отчаяния, опять надежды... Они на корабле, они в Европе.

И именно в Англии. Они считают ее страной свободы, а скрываться они не желают, так как не признают в своем необычном союзе ничего противообщественного. Оказывается, однако, что именно в Англии, этой стране традиций и семейного романа, где разврат терпится при условии пуританского соблюдения внешности и рутины, но величайшая добродетель не спасает от наказания за нарушение этой внешности,— их союз производит соблазн, начинаются соседские сплетни, общественное мнение вынуждает власти к вмешательству, и три наши героя оказываются на скамье подсудимых. Суд, публика, речи прокуроров, защиты, судей и подсудимых — все это описывалось чрезвычайно подробно. В последнем слове один из подсудимых (кажется,

именно женщина) произносит блестящую речь, где отстаивает право каждого устраивать свою жизнь по указаниям своей совести. Она рассказывает о своих попытках устроить ее на основании общественного кодекса, о том, к каким результатам чуть не привели они всех троих; как их выход спас от ненависти и убийства Присяжные их оправдывают, и они уезжают в Америку, где, среди брожения новых форм жизни, и их союз находит терпимость и законное место.

Повторяю,— я не могу сказать, была ли это простая шутка, или тут отразилась обычная черта времен «бури и натиска», когда подвергаются пересмотру все «общепринятые положения»... Во всяком случае некоторый элемент шутки и лукавого юмора присутствовал в этом эпизоде несомненно [1].

Кроме этой повести, в записках, о которых я говорю, приводилось еще содержание шуточно-аллегорической комедии, написанной Чернышевским и даже разыгран-

---

[1] По поводу передачи этой «повести» я должен сделать существенную оговорку. Записки Шаганова я читал еще в Якутской области в 1884 году. Кроме того, я встречался и лично с Шагановым и с другими бывшими товарищами Чернышевского по каторге (Странден, Юрасов, Загибалов, Николай Васильев, поляк Станислав Рыхлинский и др.), от которых тоже слышал рассказы о совместной с ним жизни. Настоящие мои воспоминания написаны в 1889 году, то есть спустя 4—5 лет по выезде из Якутской области. В недавнее время вышли самые записки Шаганова в издании Э. Пекарского, а также «Личные воспоминания» Николаева. В обоих изданиях излагаемое мною произведение Чернышевского называется не повестью, а драмой («Другим нельзя»), и по внешнему содержанию значительно отличается от моего варианта В том же виде, то есть в форме драмы, оно появилось в X томе собр. соч. Чернышевского. Таким образом, я должен бы изменить свое изложение соответственно с этими точными указаниями. Но меня останавливает то обстоятельство, что в моей памяти остались очень ясно не только общая идея, но и некоторые детали «повести». Особенно отчетливо я помню указание на жизнь в Англии, на суд и защитительную речь... Эти подробности не могли, очевидно, попасть в мое изложение случайно, как простые неточности памяти. Нельзя ли допустить, что было два варианта; Чернышевский мог сначала кому-нибудь *читать* ненаписанную *повесть*, которую затем написал уже в форме *драмы*. В надежде содействовать разъяснению этого вопроса и отсылая интересующегося читателя к указанным печатным источникам, я решил все-таки оставить и свой вариант, отмечая связанные с ним сомнения.

ной в каземате. Содержание этой шутки, юмор которой весь испарился уже в первой передаче, я пересказывать не берусь (теперь она уже напечатана).

III

Большая часть товарищей Чернышевского были разосланы на поселение ранее его. Он проводил их добрыми пожеланиями и напутствиями, а затем и сам был переведен на север, в Якутскую область, на Вилюй.

В город Вилюйск, расположенный в нескольких сотнях верст на запад от Якутска, на реке того же имени,— не высылали русских политических ссыльных. В шестидесятых годах там была выстроена особая тюрьма для польских «повстанцев». Сначала в ней поместили д-ра Дворжачека, потом поляка Иосафата Огрызко, знаменитого в свое время тем, что, занимая в Петербурге очень важный пост в министерстве финансов, он держал в своих руках вместе с тем многие нити восстания. В передовицах «Московских ведомостей» много раз имя Огрызко употреблялось как нарицательное для воплощения «польского коварства». Когда по манифестам, следовавшим поочередно одни за другими, очередь помилования дошла до Огрызко, который получил право свободных переездов по Сибири и занял видное место по приисковому делу,— его тюрьма осталась пустой, и туда перевели Чернышевского.

Об этом периоде его сибирской жизни известно еще менее. «Теперь встревоженная мысль летит к нему туда, на Вилюй, в холодную могилу, где он томится один, в мрачном одиночном заключении»,— приблизительно так кончались записки г. Шаганова. Те самые люди, которые опровергли привезенные мной из России слухи насчет помешательства Чернышевского в Забайкалье,— повторяли эти тревожные опасения, перенося их на Вилюй. Жизнь его там, действительно, окружена была тайной, которая так редко возможна в России.

Однажды к нам в слободу приехал новый писарь. Скромный, отягченный многочисленным семейством и потому вынужденный иногда на некоторые сделки с совестью, он все-таки производил впечатление человека

далеко не погрязшего в тине глухих сибирских углов. Он явился к нам, познакомился и попросил книжек, предлагая, в свою очередь, пользоваться своими.

В числе последних мне попалась одна с надписью: «Такому-то от Чернышевского». Теперь я не помню уже, какая это была книга. Оказалось, что писарь служил ранее в Вилюйске и был хорошо знаком с Чернышевским. Он рассказал мне, что тюрьма Чернышевского может быть названа тюрьмой только наполовину. С ним вместе жила стража: жандармы и казаки; но у него была своя отдельная комната, и он мог выходить из нее, когда угодно. Он был знаком в городе с исправником, кое с кем из чиновников и купцов. Но выходил в гости всетаки редко и не засиживался долго. Его стесняло то обстоятельство, что жандарм должен был издали следить за ним и дожидаться, пока он выйдет, что, при редкой деликатности Чернышевского, совершенно отравляло для него всякое удовольствие этих посещений. «Что его, беднягу, заставлять дожидаться... Нет, уж лучше прощайте»,— говорил он и уходил в свою комнату-тюрьму.

Раз в месяц небольшой городок, похожий скорее на среднюю нашу деревню, оглашался звоном почтового колокольчика; приходила почта, привозившая Чернышевскому письма, газеты и книги. Он тотчас же разносил книги по городу, приноровляясь ко вкусам читателей. Когда его спрашивали, отчего он так мало оставляет себе, он лукаво улыбался и говорил:

— А вы не поняли: расчет! Ведь я обжора: накинусь, сразу все и поглощу. А так, по партиям, мне и хватит на целый месяц.

Он очень любил, когда у него просили книг, и охотно занимался со своими тюремщиками. Мне пришлось встретиться на Лене с молодым жандармом, который приятно поразил меня некоторыми оборотами речи и начитанностью. Оказалось, что он в течение года был приставлен к Чернышевскому и говорил мне, что охотно принял бы еще на год эту командировку, несмотря на скуку почти тюремной жизни.

Эти сведения вновь рассеяли мои опасения. Было очевидно, что этот человек удивительно владеет собой, держит себя в руках и не дает тяжелому и безжизнен-

ному отупению далекого захолустья победить свой могучий ум и здравый смысл, который всегда отличал его и прежде, служа главным орудием его в полемике «с псевдоучеными авторитетами». Но сколько силы растрачено в этом пустом пространстве на бесплодную борьбу с мертвым болотом! Я видел людей, которые прожили в сибирской глуши гораздо меньше Чернышевского и не в таких условиях, и на них подчас не оставалось человеческого облика. Однажды, на Оби, к пароходу, который вез новую партию ссыльных и пристал к обрыву берега, чтобы набрать дров, вышли из ближайших остяцких чумов несколько остяков и остячек с детьми. Один из этих дикарей, одетых, как и другие, в звериные шкуры, с лицом, покрытым целым слоем жиру и дыма, увидев на барже «политических», заговорил с ними по-русски. Оказалось, что это тоже политический ссыльный, поселенный среди остяков. Одна из остячек, бессмысленно глядевшая на чуждых людей, была его жена, а маленькие дикари, прижимавшиеся к ней,— его дети. Со слезами на глазах он прощался с незнакомыми товарищами, когда баржа тихо отчаливала от кручи, чтобы пуститься далее по широкой и пустынной Оби, и в его речи слышалось, что он уже разучивается говорить по-русски.

Да, нужно было обладать могучим умом Чернышевского, чтобы не поддаться одиночеству долгой сибирской ссылки, без товарищей и друзей. Он не поддался и, насколько среда была к этому способна, подымал ее до себя. Но и ссылка взяла у него все, что могла. Отняв непосредственное общение с живыми фактами интеллектуальной жизни, она лишила сильный ум его естественной пищи, необходимой для того, чтобы идти наряду с этой жизнью. Могучим усилием он удержался на высоте прежних способностей, но только удержался и именно на той ступени, на какой его застигла ссылка. Он вернулся к нам тем, чем был в шестидесятых годах, а время,— к худу ли, к добру ли,— ушло далеко от этого места. Правда, столкновение опьяняющих надежд и каземата, борьбы за передовые реформы и допотопных порядков Сибири,— это столкновение не могло не отразиться на нем. И оно отразилось оттенком скептического юмора и некоторым недоверием к преж-

ним «путям прогресса». Но и только. В остальном, повторяю, он не изменился.

В 1883 году весной опять пронесся у нас, в Якутской области, слух о смерти Чернышевского, но тотчас же этот слух заменился радостным известием: Чернышевского возвращают, Чернышевский в Якутске.

Действительно, Чернышевского привезли с Вилюя. Привезли с жандармами прямо к губернатору, который его угостил завтраком, и тотчас же, не дав переночевать и отдохнуть,— повезли в Россию, тщательно скрывая имя и не прописывая фамилии на станциях. Чернышевский, сначала принявший завтрак у губернатора, как любезное гостеприимство, вскоре убедился в истинном значении этой губернаторской любезности, когда ему не позволили остаться в городе для отдыха и покупок. Провожатые заехали только на несколько минут, и то, кажется, украдкой, к одному знакомому обывателю, который впоследствии, покачивая головой, говорил мне:

— Отличный, образованный господин, а, кажется, того... не совсем в порядке.

— А что?

— Да как же, помилуйте. Ну, хотел сначала остановиться у меня отдохнуть. Жандармы говорят: «Нельзя, строго наказал губернатор, чтобы отнюдь не останавливаться». Вот стали садиться в повозку, он и говорит жандарму: «Надо бы хоть к губернатору-то вернуться. Рубль, что ли, ему за завтрак отдать». Помилуйте,— на что же это похоже! Неужто губернатору его рубль нужен!

Впоследствии, когда я ехал назад, мне рассказывали курьезный эпизод, связанный с этим «секретом полишинеля», каким окружали отъезд Чернышевского из Сибири, о чем в то время известно было всей России из газет.

За несколько часов до выезда Чернышевского, по Лене из Якутска отправилась почта. Почтальон, как и все в городе, конечно знал, что Чернышевский поедет вслед за ним, и, желая поусердствовать,— предупреждал всех смотрителей. Таким образом, подъезжая к станции в лодке, небольшой отряд с важным пересыльным заставал уже на берегу готовыми новую лодку, лошадей для лямки и ямщиков в парадных (по возможности) костюмах. Это, наконец, обратило на себя внимание жан-

дарма Машкова, расторопного служаки, с которым и мне пришлось познакомиться впоследствии, имевшего несколько преувеличенное понятие о своей миссии.

— Что за черт,— удивился он.— Откуда вы знаете, что мы будем?

— От почтальона такого-то. Проехал с почтой и говорит: готовьтесь, Чернышевского везут.

— А, вот что! Он не обязан даже и знать-то, кого мы везем.

Машков усмотрел в усердии бедняги почтальона разоблачение государственной тайны. Это, конечно, не удивительно. Гораздо удивительнее то, что усердный почтальон потерял место за сообщение того, что знал весь город, и за то, что он оказал жандармам действительную услугу, так как по всей Лене их ждали на берегу готовые лодки, лошади и ямщики.

IV

Теперь, минуя то, что известно из газет, я прямо перейду к описанию личного свидания моего с Чернышевским.

17 августа 1889 года, часов около шести вечера, я позвонил у дверей деревянного флигеля во дворе, против общественного сада, в Саратове. В этом домике жил Чернышевский.

В Саратове мне рассказывали, что он и здесь, как в Астрахани, живет отшельником, ни с кем не видится, и доступ к нему очень труден, почти невозможен. Говорили даже, будто на дверях вывешено объявление: «Никого не принимают».

Объявления, конечно, не было. Что же касается трудности доступа, то я это испытал на себе, хотя имел полное основание рассчитывать, что буду принят. С Николаем Гавриловичем заочно я давно уже был знаком через брата, в последний же год мы с ним немного переписывались. Он звал меня повидаться, и, что еще важнее в данном отношении,— такое же приглашение получил я от Ольги Сократовны, его жены. Года два перед тем я писал брату, когда он жил в Астрахани, что летом очень бы хотел приехать туда и познакомиться с Николаем Гавриловичем, но тогда последний ответил:

— Нет, уж это не надо. Мы с Владимиром Галактионовичем как два гнилых яблока. Положи вместе — хуже загниют.— Намек, очевидно, на то, что у нас обоих репутация значительно в глазах начальства попорчена.

Но в последние годы этот строгий режим сам Чернышевский значительно ослабил (я думаю,— у него и тут, как с чтением в Вилюйске, была известная система),— но Ольга Сократовна продолжала держаться его до конца. Таким образом, как я узнал впоследствии, в отсутствие Ольги Сократовны Чернышевский иногда принимал кого попало, и к нему проникали совершенно случайные посетители. В другое время не принимали никого, кроме тех, кто знал секрет, открытый при свидании и мне. Нужно было, не звоня у парадного входа, обойти кругом и войти через кухню.

Я не знал секрета, и ко мне через несколько минут вышла кухарка. Не отворяя вполне двери, она оглядела меня, как будто вспоминая, не видела ли меня прежде, потом загородила вход и, улыбаясь мне в лицо, сказала, что Николая Гавриловича нет дома.

— А барыня?

— Уехали в гости.

Мне казалось, что барин дома и что кухарка именно этому и смеется. Но делать было нечего. Я вынул визитную карточку, написал, что зайду еще завтра, и отдал кухарке, не обозначив своего адреса.

Утром, вместе с женой, мы ушли из номера «Татарской гостиницы», где остановились, в гостиный двор, за покупками. Вернувшись около половины десятого домой, мы получили от номерного записку на клочке бумаги. На ней было написано характерным крупным почерком Чернышевского: «Приходил. Буду между десятью и четвертью одиннадцатого. Н. Чернышевский».

Действительно, мы только что уселись за самовар, как в назначенный срок скрипнула дверь, и кто-то, не видный из-за перегородки, заговорил:

— А-а, дома. Ну, вот и отлично, вот и пришел. А, вот вы какой, Владимир Галактионович... Ну, каково поживаете, каково поживаете? Ну, очень рад.

К концу этой речи Чернышевский был уже около стола, протягивая мне руку, точно мы с ним старые знакомые и виделись лишь несколько дней назад.

— А это кто у вас? Жена, Авдотья Семеновна? Ну, и отлично, ну, и отлично, я очень рад, голубушка, очень рад. Ну, вот и пришел.

Я видел портреты Чернышевского. Один из них был снят в Астрахани, кажется, за год до отъезда в Саратов. На нем Чернышевский совсем не похож на того, несколько мечтательного, молодого человека с сильно выдавшимися скулами и резко суженной нижней частью лица, с почти прямым носом и очень тонкими губами, каким он изображен на портрете, который мы все знали с семидесятых годов. Но теперь я по первому взгляду тоже не узнал бы Чернышевского. Последний его портрет, находящийся в обращении, изображает мужественного человека, с крупными чертами лица, очень мало напоминающими литератора. Густые длинные волосы по-русски, как у Гоголя, обрамляют это лицо и свешиваются на лоб. Выражение серьезное, и в нем совсем не заметно оттенка добродушной улыбки и отчасти стариковского чудачества, которое оживляло лицо вошедшего к нам человека.

Голос, который мы услышали еще из-за перегородки, был старческий, слегка приглушенный, но фигура сначала показалась мне совсем молодой. Эту иллюзию производили в особенности его каштановые волосы, длинные, кудрявившиеся внизу, без малейших признаков седины.

Но, когда я взглянул ему в лицо,— у меня как-то сжалось сердце: таким это лицо показалось мне исстрадавшимся и изможденным под этой прекрасной молодой шевелюрой. В сущности, он был похож на портрет, только черты его, мужественные на карточке, были теперь мельче, миниатюрнее,— по ним прошло много морщин, и цвет этого лица был почти землистый.

Это желтая лихорадка, захваченная в Астрахани, уже делала свое быстрое, губительное дело.

Поляки, с которыми я встречался и жил в Якутской области, сделали интересное наблюдение. Один из них рассказывал мне, что почти все, возвращавшиеся по манифестам прямо на родину после того, как много лет прожили в холодном якутском климате,— умирали неожиданно быстро. Поэтому, кто мог,— старался смягчить переход, останавливаясь на год, на два или на три

в южных областях Сибири или в северо-восточных Европейской России.

Верно это наблюдение, или эти смерти — простые случайности, но только на Чернышевском оно подтвердилось. Из холодов Якутска Чернышевский приехал в знойную Астрахань здоровым. Мой брат видел его там таким, каков он на портрете. Из Астрахани он переехал в Саратов уже таким, каким мы его увидали, с землистым цветом лица, с жестоким недугом в крови, который уже вел его к могиле.

Это чувство внезапного и какого-то острого сожаления возвращалось ко мне несколько раз в течение разговора, который завязался у нас как-то сразу, точно мы были с Н. Г родные, свидевшиеся после долгой разлуки.

Он говорил оживленно и даже весело. Он всегда отлично владел собою, и если страдал,— а мог ли он не страдать очень жестоко,— то всегда страдал гордо, один, ни с кем не делясь своей горечью.

По истечении некоторого времени, среди разговоров, он взял руку А. С. и, глядя на нее, сказал:

— Ну, вот, очень рад, милая вы моя. Это отлично, право. Это очень хорошо. Я очень рад, что узнал вас.— И неожиданно поцеловал у нее руку. Она также неожиданно наклонилась и ответила поцелуем в лоб, но он отстранился, как будто испугавшись этого внезапного излияния.

— Нет, не надо. Сожаление?.. не надо этого! Я ведь, знаете, как поцеловал у вас руку — из галантности! А-а, а вы не знали: я ведь галантнейший кавалер.

И он с шутливой манерностью поднес вторично ее руку к губам.

— Да-с. И вот — он тоже галантнейший кавалер,— указал он на меня.— Утонченнейшая вежливость! Пришел вчера, не застал и оставил карточку, а адреса на карточке не написал. Понимаю, понимаю,— не объясняйте. Я отлично понимаю: значит, не трудитесь, Николай Гаврилович, отдавать визит, долгом сочту явиться вторично. Деликатность!.. А я из-за этой деликатности сегодня, высуня язык, весь город обегал, все разыскивал. На пристанях был, в полиции был, наконец догадался купить газету. Они тут отмечают всех приезжих, останавливающихся в гостиницах; вот и нашел.

Уже в это первое свидание мне вспомнился тот рассказ, который я привел в начале моего очерка,— о поляке, вышедшем из-под земли,— и впечатление определилось. «Тот самый, тот самый»,— думалось с грустью. Какая это, в сущности, страшная трагедия остаться тем же, когда жизнь так изменилась. Мы слышим часто, что тот или другой человек «остался тем же хорошим, честным и с теми же убеждениями, каким мы его знали двадцать лет назад». Но это нужно понимать условно. Это значит только, что человек остался в том же отношении к разным сторонам жизни. Если вся жизнь передвинулась куда бы то ни было, и мы с нею, и с нею же наш знакомый,— то ясно, что мы не заметили никакой перемены в положении. Но Чернышевского наша жизнь даже не задела. Она вся прошла вдали от него, промчалась мимо, не увлекая его за собой, не оставляя на его душе тех черт и рубцов, которые река оставляет хотя бы на неподвижном берегу и которые свидетельствуют о столкновениях и борьбе.

— Публицистика!..— сказал однажды Чернышевский на вопрос моего брата, отчего он опять не возьмется за нее.— Как вы хотите, чтобы я занялся публицистикой. Вот у вас теперь на очереди вопрос о нападении на земство, на новые суды... Что я напишу об них: во всю мою жизнь я не был ни разу в заседании гласного суда, ни разу в земском собрании.

Ни разу! Конечно: ведь его увезли до открытия новых учреждений, а привезли обратно, когда их собирались уничтожить. И эта судьба постигла человека, все помыслы сердца которого, все стремления, вся жизнь — были жизнью, помыслами, стремлениями русского писателя-гражданина, и ничем более. У него все эти годы не было ничего, кроме литературы: ни семья, ни профессия — ничто не смягчало для него горечи ссылки, не могло смягчить и горечи возвращения. В Сибири он стоял, как старый камень вдали от берега изменившей русло реки. Она катится где-то далеко, где-то шумят ее живые волны,— но они уже не обмывают его, одинокого, печального.

Его разговор обнаруживал прежний ум, прежнюю диалектику, прежнее остроумие; но материал, над кото-

рым он работал теперь, уже не поддавался его приемам. Он остался по-прежнему крайним рационалистом по приемам мысли, экономистом по ее основаниям.

Позволяя себе вторгнуться в чужие пределы, я попробую очертить главные основания прежнего умственного склада Чернышевского и его сподвижников. Вера в силу устроительного разума, по Конту. Вся история — есть не что иное, как смена разных силлогизмов, смена, происходящая по схеме Гегеля. «Докажите мне, что это не так, что положение, антитеза и синтез Гегеля не имеют места в истории,— и я уступлю вам по всем пунктам нашей полемики»,— писал он, помнится, Вернадскому. Далее: главный материал, над которым оперирует разум, творящий социальные формы,— эгоистические и прежде всего материальные интересы. Сделать подсчет этих интересов, поставить наибольшее благо наибольшего числа людей в качестве цели, показать эту таблицу с ее противоположными итогами громадным массам, которые теперь, по неумению рассчитать, допускают существование неправильной социальной арифметики,— остальное уже можно легко предсказать и предвидеть.

Таковы были, по-моему, взгляды, такова, по-моему, была вера.

И вот — казематы Александровска, Нерчинска, Акатуя, которые не могли, конечно, разбить основных взглядов,— очень удачно справлялись с верой, обломав ей крылья и ощипав перья. Основные философские взгляды остались, но вера в непосредственное творческое действие рациональных идей утратилась. Для нас, оставшихся среди жизни, этот процесс совершился посредством вторжения, постепенного и незаметного, новых элементов мировоззрения. Вместе с народнической литературой наше поколение изучало народ, которому приходилось показывать социальную арифметику; оно изучало его также практически, целым опытом народническо-пропагандистского движения. И мы были поражены сложностью, противоречиями, неожиданностями, которые при этом встретились. Но эти разочарования, причиняемые столкновениями с живою жизнью, имеют особое свойство: их и исцеляет сама жизнь. Противоречие, неожиданность разрушает прежний взгляд, но тотчас же

оно захватывает внимание, и незаметно зарождается в душе возможность новых воззрений. Вся литературная биография Успенского, все, за что мы его так любим, весь захватывающий интерес его деятельности, художественной и публицистической, объясняется этой историей интеллигентной чуткой души, натыкающейся в поисках правды и жизненной гармонии на противоречия и диссонансы и все-таки не теряющей веры.

Перестав быть «рационалистическими экономистами», мы тоже не остановились на месте. Вместо схем чисто экономических, литературное направление, главным представителем которого является Н. К. Михайловский, раскрыло перед нами целую перспективу законов и параллелей биологического характера, а игре экономических интересов отводилось надлежащее место. Все это лишало прежнюю постановку вопросов ее прозрачной ясности, усложняло их, запутывало, но все мы чувствовали, что нам необходимо войти в этот сложный лабиринт, и при этом мы прощали исследователям отступления, ошибки, противоречия.

Чернышевский остался при прежних взглядах: от художественного произведения, как от критической или публицистической статьи, он требовал ясного, простого, непосредственного вывода, который покрывал бы все содержание. Вот пример, иллюстрирующий его отношение к Глебу Успенскому.

— Ну, вот вам рассказ: живет мужик, в нужде да в работе, как конь ломовой. Вдруг господа помогают, или там... урожай. Разбогател на время, отдыхает. Полезли в голову мысли во время отдыха, стал пьянствовать, бить бабу, чуть не погиб. Вывод очевиден: не нужно мужику жить богаче и иметь отдых, чтобы не избаловался.

Я вспомнил действительно два рассказа Глеба Ивановича приблизительно такого содержания. Один следовал вскоре после радостной картины урожая, где Успенский описал, как понемногу «выпрямляется» мужицкая душа от благодати урожая, и в ней исчезает злоба и зверство. Но вот, через некоторое время, он видит факт, послуживший поводом к рассказу «Взбрело в башку», и, не заботясь о полной стройности всех выводов из всех своих рассказов,— взволнованный и расстроен-

ный до глубины души (я видел его, когда он собирался писать этот рассказ), кинул нам этот живой факт, так сказать, еще теплый, во всей его правде и со всеми заключенными в нем противоречиями. Мы, сами давно уже бьющиеся среди сложности и противоречий жизни, ускользающей от нашего «устроения», любим и ценим в писателе эту чуткую нервность и тонкую правдивую восприимчивость к таким фактам.

Чернышевский, у которого жизнь тоже утянула, как и у нас, много прежних надежд, не хотел все-таки, да и не мог считаться с этой сложностью и требовал попрежнему ясных, прямых, непосредственных выводов.

О всяком писателе он спрашивал прежде всего: умный он человек или нет? И далеко не за всеми известностями признавал это качество. За Михайловским, например, признавал, хотя совершенно отвергал его биолого-социологические параллели.

С особенной резкостью говорил он о Толстом, и это понятно, потому что оба они имеют общую точку соприкосновения в рационализме, хотя в выводах стоят на противоположных полюсах.

— А Толстым увлекаетесь? — спросил он, лукаво смотря на мою жену.— Превосходный писатель, не правда ли?

Жена сказала свое мнение и спросила об его собственном отношении к последним для того времени произведениям Толстого.

Чернышевский вынул платок и высморкался.

— Что, хорошо? — спросил он, к великому нашему удивлению.— Хорошо я сморкаюсь? Так себе, не правда ли? Если бы у вас кто спросил: хорошо ли Чернышевский сморкается, вы бы ответили: без всяких манер, да и где же какому-то бурсаку иметь хорошие манеры. А что, если бы я вдруг представил неопровержимые доказательства, что я не бурсак, а герцог, и получил самое настоящее герцогское воспитание. Вот тогда бы вы тотчас же подумали: а-а, нет-с, это он не плохо высморкался,— это и есть настоящая, самая редкостная герцогская манера... Правда ведь? А?

— Пожалуй.

— Ну, вот то же и с Толстым. Если бы другой написал сказку об Иване-дураке,— ни в одной редакции,

пожалуй, и не напечатали бы. А вот, подпишет граф Толстой — все и ахают. Ах, Толстой, великий романист! Не может быть, чтоб была глупость. Это только необычно и гениально! По-графски сморкается!..

V

Вообще к движению, обозначенному Толстым, но имевшему и другие родственные разветвления, он относился очень насмешливо и рассказывал некоторые, сюда относящиеся эпизоды с большим юмором. Я приведу один из подобных эпизодов, но, чтобы он мог сказать все, что с ним связано относительно характеристики Чернышевского, я должен прибавить еще несколько слов.

В квартире Чернышевского, во второе мое свидание с ним, я встретил, кроме его жены и секретаря, еще молодую девушку, племянницу Чернышевского, знакомую моему брату. Она очень сердилась на последнего за то, что он не ответил на ее письмо, и часто возвращалась к этому вопросу.

— Ах, милая вы моя,— полушутя, полусерьезно сказал ей Чернышевский.— Разве кто-нибудь из серьезных людей отвечает на письма. Никогда! Да и не нужно. Положительно не нужно! Вот я вам случай расскажу из своей практики: как-то раз Ольги Сократовны не было дома, хожу себе по комнатам, вдруг звонок. Отворяю дверь,— какой-то незнакомый господин.— Что угодно?

— Николая Гавриловича Чернышевского угодно.

— А это я самый.

— Вы — Николай Гаврилович?

— Да, я Николай Гаврилович.

Он стоит, смотрит на меня, и я на него смотрю. Потом вижу, что ведь так нельзя, позвал в гостиную. Сел, облокотился на стол, опять смотрит в лицо.

— Так вот это вы — Николай Гаврилович Чернышевский.

— Да, говорю, я Николай Гаврилович Чернышевский.

— А я, говорит, приехал на пароходе, а поезд уходит через пять часов. Я и думаю: надо зайти к Николаю Гавриловичу Чернышевскому.

— А-а, это, конечно, уважительная причина. Однако вот и моя жена пришла. Позвольте вас представить, как вас зовут?

— А это, говорит, вовсе и не нужно.

«Вот оно что,— подумал я: — какой-нибудь важный конспиратор». Увел его к себе в кабинет, посадил и говорю:

— Если при других вам нельзя высказаться, то, может, мне одному скажете?

— Ах, нет, говорит, это не то вовсе. Моя фамилия такая-то, доктор X. Еду теперь в Петербург по своим делам.

И опять сидит, смотрит.

— Так вот... Вы — Николай Гаврилович Чернышевский!

— Я Николай Гаврилович Чернышевский. Однако, знаете, до поезда все-таки еще долго. Давайте о чем-нибудь говорить.

— Ну, хорошо, давайте.

— О чем же?

— О чем хотите, Николай Гаврилович Чернышевский, о том и говорите.

Посмотрел я на него и думаю: давай попробую с ним о Толстом заговорить. Взял да и обругал Толстого.

Смотрю,— ничего, никакого впечатления.

— Послушайте, говорю,— а может быть, вам это неприятно, что я тут о таком великом человеке так отзываюсь.

— Нет, говорит, ничего. Продолжайте. Несколько месяцев назад, может быть, я и очень бы огорчился. А теперь ничего, теперь я уже свою веру выдумал, собственную.

— А, вот это интересно. Расскажите, какую вы это выдумали веру. Может, и хорошая вера.

— Конечно, хорошая.— Начал рассказывать что-то, я слушаю. Должно быть, уж очень что-то умное,— ничего нельзя понять.

— Постойте, говорит. Я вам письмо с дороги пришлю. Адрес тоже пришлю, и вы мне непременно ответь-

те. А теперь пойдем лучше пройдемся по городу, да и на пароход.

Мне тоже показалось, что это самое лучшее. Вера у него какая-то очень скучная, да и не граф он ни в каком смысле... Не интересно. Проводил я его на пароход, пароход отчаливает, а он все кричит: — Напишу, отвечайте непременно, что думаете.

Отлично. Он уехал, а я забыл. Только через некоторое время опять я один, опять звонок. Отворяю. Опять незнакомец, на этот раз молодой.

— Вы — Николай Гаврилович Чернышевский?

— Я Николай Гаврилович Чернышевский.

— Я от доктора X.— А-а, думаю себе, пророк Андрей Первозванный. Прислан меня в новую веру обращать.

— Милости просим, говорю.

— Письмо к вам, длинное. Просит ответа. Я с ним увижусь!

— А вы кто?

Оказался ветеринар и человек отличный. Проездом... Устраивал свои дела, а теперь едет в университет. Планы все простые, хорошие, как у всякого порядочного молодого человека. Учиться собирается, ну и прочее... Все хорошо.

Думаю: нет, должно быть, не этой веры. И действительно,— с доктором он встретился совсем случайно.

— Ну, отлично, говорю. Вы хотите ответа?

— Просил X. непременно привезти. Уж вы, пожалуйста, Николай Гаврилович.

— Ах ты господи! А содержание письма вам известно?

— Нет, не знаю.

Ну, думаю, так, может, еще освободит.— Давайте-ка, прочтем вместе.— Усадил его в кабинете, вскрыл письмо, читаю. Прочитал несколько,— все так же, как в изустной речи: или уже слишком умно, или просто глупо, ничего не понимаю. Посмотрел на молодого человека. У него глаза удивленные...

— Ну, что, говорю, читать далее, или о чем другом поговорим?

— О другом, говорит, лучше.

— А отвечать надо?

— Помилуйте, говорит, что тут отвечать. Невозможно и ответить ничего толком.

— Так вот, видите,— улыбаясь, закончил он рассказ, обращаясь к племяннице.— О важных делах, о новой вере и то не отвечают, а вы тут о своих пустяках пишете и требуете ответа... Предрассудок!..

Девушка, смеясь, вышла из комнаты... Тогда, оглянувшись конспиративно на дверь, Чернышевский наклонился ко мне и сказал:

— Если передадите брату ее слова, скажите, пусть не сердится. Видите, она девушка хорошая, честная, сирота. Жизнь вся прошла серо, сестер и братьев выводила в люди, сама не видела ничего, никакой радости. Ну, а в тот год, когда встретилась с вашим братом,— свалила с себя главное-то бремя, стала жить на свой счет, по Волге вот поехала... Все это — понимаете, и радостно ей, и кажется значительно очень. Свобода, встреча с хорошими интеллигентными людьми после глухого угла. Вот она и не может себе представить, что эта случайная встреча важна и значительна только для нее одной, а не для других, и вот почему ее так волнует неполучение ответа от случайно встреченного тогда человека.

Эта внимательность к окружающим, это тонкое понимание чужого настроения добавляет, по-моему, очень важную черту к нравственному облику самого Чернышевского.

Поздним вечером Чернышевский проводил меня до ворот, мы обнялись на прощание, и я не подозревал, что обнимаю его последний раз...

VI

Теперь еще несколько слов об его отношении к своему прошлому.

Мой брат передавал мне одну импровизацию Чернышевского. Эту легенду-аллегорию он слышал, к сожалению, из вторых уже рук: ему рассказывала племянница Чернышевского, под свежим впечатлением очень яркого, живого юмористического рассказа самого Нико-

лая Гавриловича. Брат передавал ее мне тогда же, но теперь мы оба восстановили в памяти лишь некоторые черты, один остов этой аллегории. Я привожу ее все-таки, так как в ней есть характерные черты и проглядывают отчасти взгляды Чернышевского в последнее время на свою прошлую деятельность.

Когда-то, во время кавказской войны, Шамиль спросил одного прорицателя об исходе своего предприятия. Прорицатель дал ответ очень неблагоприятный. Шамиль рассердился и велел посадить пророка в темницу, а затем приговорил его к казни ввиду того, что его предсказание вносило уныние в среду мюридов. Перед казнью пророк попросил выслушать его в последний раз и сказал: «В эту ночь я видел вещий сон: есть где-то на свете дом, в этом доме ученый человек сидит много лет над рукописями и книгами. Он придумает вскоре такую машину, от которой перевернется не только Кавказ и Константинополь, но и вся Европа. А будет это тогда, когда бараны станут кричать козлами».

Шамиль задумался и хотел помиловать пророка, но мюриды возмутились еще больше: не ясно ли, что пророк сеет в рядах правоверных напрасное уныние,— где же видано, чтобы бараны кричали козлами?

И пророка казнили. Но когда стали готовиться, чтобы отпраздновать тризну по казненном, то один из баранов, назначенный к закланию, вырвался из рук черкеса и, вскочив на крышу Шамилевой сакли, закричал три раза козлом.

Тогда Шамиль ужаснулся и, призвав самого верного из своих адъютантов, дал ему денег и велел ехать по свету, во что бы то ни стало разыскать неизвестного ученого и убить его прежде, чем он успеет окончить свою работу.

К сожалению, я совсем не знаю подробностей путешествия адъютанта по разным странам. Слышавшие этот рассказ говорили, что описание этих поисков представляло настоящую юмористическую поэму. Теперь приходится ограничиться тем, что адъютант действительно разыскал ученого и, кажется, именно в Петербурге. Он застал его, окруженного книгами, в кабинете, в котором топился камин. Ученый сидел против огня и размышлял. Когда адъютант Шамиля объявил ему,

что он долго его разыскивал, чтобы убить, ученый ответил, что он готов умереть, но просил дать немного времени, чтобы покончить свои дела и планы.

— Ты хочешь привести в исполнение то, что у тебя здесь написано и начерчено? — спросил его мюрид.

— Нет, я хочу все это сжечь в камине, чтобы никто не вздумал выполнить то, над чем я так долго трудился, считая, что работаю для блага людей. Теперь я пришел к заключению, что я ошибался!..

— Вы — были этот ученый? — спросила Чернышевского одна из слушательниц.

— Нет, я — тот баран, который хотел кричать козлом,— ответил он с добродушной иронией, с которой часто говорил о себе. В дальнейшие комментарии он не пускался, предоставляя, по своему обыкновению, слушателям делать самим те или другие заключения.

Конечно, очень трудно по приведенным мною обломкам судить о целом этой аллегории. Однако на основании того, что я слышал впоследствии отчасти от других, отчасти же лично от Чернышевского, я позволю себе сделать некоторые комментарии. Мне кажется, что Чернышевский имел здесь в виду себя (а может быть, также и других) как теоретика и мыслителя, который вообразил себя практическим деятелем. Вероятно, на это именно указывает сравнение себя самого с кротким по природе бараном, которому вздумалось кричать покозлиному. Мне доводилось слышать эту же мысль, выраженную ясно и без всяких аллегорий.

— Ах, Владимир Галактионович,— говорил мне покойный при личном свидании, когда мы стали перебирать прошлое и заговорили о Сибири.— Знаете ли: попал я в Акатуе в среду сосланных за революционные дела... Кого только там не было: поляки, мечтавшие о восстановлении своей Речи Посполитой, итальянцы-гарибальдийцы, приехавшие помогать полякам, наши каракозовцы!.. И всё — народ хороший, но всё — зеленая молодежь. Одному мне под пятьдесят. Оглянулся я на себя и говорю: ах, старый дурак, куда тебя занесло. Ну, и стыдно стало...

Правда, все эти нападки на прошлое, иногда высказываемые в очень резкой форме самообличения, не отзывались ни унылым разочарованием, ни слабодушным по-

каянием в прошлых «грехах». Наоборот, после таких выходок Чернышевский встряхивал своими густыми волосами, глядел исподлобья улыбающимся взглядом и прибавлял:

— А ведь все-таки, сказать правду: не все же только худое было... Было кое-что и хорошее. Пожалуй, не мало было хорошего, да, не мало.

Указанием на это обстоятельство я отклоняю вместе с тем упрек в кажущемся противоречии, которое можно бы, пожалуй, усмотреть в том, что я говорил выше о Чернышевском, оставшемся прежним Чернышевским шестидесятых годов,— с его насмешками над своим прошлым. Нет, он не смеялся над прошлым и остался в основных своих взглядах тем же революционером в области мысли, со всеми прежними приемами умственной борьбы. Он смеялся только над своими попытками практической деятельности, и, пожалуй, не верил в близость и плодотворность общественного катаклизма.

Это факт, и, как таковой, я привожу его для характеристики этого крупного человека в последний период его жизни.

VII

В заключение приведу здесь легенду, которая сложилась о Чернышевском еще при его жизни в далекой Сибири, на Лене.

Чернышевского привезли в Россию летом, а я ехал тем же путем осенью того же года.

Трудно представить себе что-либо более угрюмое, печальное и неприветное, чем приленская природа. Голые скалы, иногда каменная стена на десятки верст, и наверху, над вашей головой, только лиственничный лес, да порой кресты якутских могил. И так почти на три тысячи верст. Русское население Лены — это ямщики, поселенные здесь с давних времен правительством и живущие у государства на жаловании. Это своего рода сколок старинных «ямов», почтовая служба для государственных целей, среди дикой природы и полудикого местного населения, среди тяжкой нужды. «Мы пеструю столбу караулим,— говорил мне с горькой жало-

бой один из ямщиков своим испорченным полурусским жаргоном,— пеструю столбу, да серый камень, да темную лесу». В этой фразе излилась вся горькая жизнь русского мужика, потерявшего совершенно смысл существования. «Столбы для дому бей в камень, паши камень и камень кушай... и слеза наша на камень этот падет»,— говорил другой.

Эти люди, которые, как все люди, всё ждут чего-то и на что-то надеются, везли Чернышевского, когда его отправляли на Вилюй. Они заметили, что этого арестанта провожают с особенным вниманием, и долго в юртах этих мужиков, забывающих родной язык, но хранящих воспоминания о далекой родине, толковали о «важном генерале», попавшем в опалу. Затем его провезли обратно и опять с необычными предосторожностями.

В сентябре 1884 года, через несколько месяцев после проезда Чернышевского по Лене в Россию, мне пришлось провести несколько часов на пустынном острове Лены в ожидании, пока пронесется снеговая туча. Мы с ямщиками развели огонь, и они рассказывали о своем житьишке.

— Вот разве от Чернышевского не будет ли нам чего? — сказал один из них, задумчиво поправляя костер.

— Что такое? от какого Чернышевского? — удивился я.

— Ты разве не знаешь Чернышевского, Николай Гавриловича?

И он рассказал мне следующее:

«Чернышевский был у покойного царя (Александра II) важный генерал и самый первейший сенатóр. Вот однажды созвал государь всех сенатóров и говорит:

— Слышу я — плохо у меня в моем государстве: людишки больно жалуются. Что скажете, как сделать лучше?

Ну, сенатóры... один одно, другой другое... Известно уж, как всегда заведено. А Чернышевский молчит. Вот, когда все сказали свое, царь говорит:

— Что же ты молчишь, мой сенатóр Чернышевский? Говори и ты.

— Все хорошо твои сенатóры говорят,—отвечает Чернышевский,— и хитро, да все, вишь, не то. А дело-то,

батюшка-государь, просто... Посмотри на нас: сколько на нас золота да серебра навешано, а много ли мы работаем? Да, пожалуй, что меньше всех! А которые у тебя в государстве больше всех работают — те вовсе, почитай, без рубах. И все так идет навыворот. А надо вот как: нам бы поменьше маленько богатства, а работы бы прибавить, а прочему народу убавить тягостей.

Вот услышали это сенато́ры и осердились. Самый из них старший и говорит: — Это, знать, последние времена настают, что волк волка съесть хочет. — Да один за одним и ушли.

И сидят за столом — царь да Чернышевский — одни.

Вот царь и говорит:

— Ну, брат Чернышевский, люблю я тебя, а делать нечего, надо тебя в дальные места сослать, потому с тобой с одним мне делами не управиться.

Заплакал, да и отправил Чернышевского в самое гиблое место, на Вилюй. А в Петербурге осталось у Чернышевского семь сынов, и все выросли, обучились, и все стали генералы. И вот, пришли они к новому царю и говорят: — Вели, государь, вернуть нашего родителя, потому его и отец твой любил. Да теперь уж и не один он будет, — мы все с ним, семь генералов.

Царь и вернул его в Россию, теперь, чай, будет спрашивать, как в Сибири, в отдаленных местах народ живет... Он и расскажет...

Привез я его в лодке на станок, да как жандармы-то сошли на берег, — я поклонился в пояс и говорю:

— Николай Гаврилович! Видел наше житьишко?

— Видел, — говорит.

— Ну, видел, так и слава-те господи».

Так закончил рассказчик, в полной уверенности, что в ответе Чернышевского заключался залог лучшего будущего и для них, приставленных караулить «пеструю столбу да серый камень».

Я рассказал эту легенду Чернышевскому. Он с добродушной иронией покачал головой и сказал:

— А-а. Похоже на правду, именно похоже! Умные парни эти ямщики.

1904

ГРАЖДАНСКАЯ КАЗНЬ ЧЕРНЫШЕВСКОГО

По рассказу очевидца

В Нижнем-Новгороде в конце прошлого века умер врач А. В. Венский, «человек шестидесятых годов», школьный товарищ П. Д. Боборыкина и даже герой одного из романов этого писателя. Было известно, что он присутствовал в качестве очевидца при «гражданской казни» Чернышевского. В первую годовщину смерти Чернышевского кружок нижегородской интеллигенции решил устроить поминки и рядом сообщений восстановить в памяти младшего поколения этот яркий, значительный и страдальческий образ. Известный земский деятель А. А. Савельев предложил и Венскому сделать сообщение о событии, которого он был очевидцем. В то время собрание в память гонимого писателя не могло, разумеется, состояться вполне «легально», и Венский отказался в нем участвовать. Но он согласился дать письменные ответы на точно поставленные вопросы, которые и были прочитаны на нашем собрании. Листок этот остался у меня, и я восстановил ответы Венского в первом издании моей книжки («Отошедшие»).

Потом, в декабрьской книжке «Русского богатства» (1909 года) была напечатана заметка М. П. Сажина о том же событии. Пользуясь этой последней заметкой, как основанием, и дополняя ее некоторыми чертами из ответов А. В. Венского,— мы можем теперь восстановить с значительной полнотой этот поистине символический эпизод из истории русской оппозиционной мысли и русской интеллигенции.

Гражданская казнь Н. Г. Чернышевского происходила, как известно, 19 мая 1864 года.

О времени экзекуции,— говорит М. П. Сажин,— «было объявлено в газетах за несколько дней. Я с двумя своими товарищами студентами-технологами в назначенный день рано утром отправился на Конную площадь. Здесь, на середине площади, стоял эшафот — четырехугольный помост высотою аршина полтора-два от земли, выкрашенный черною краскою. На помосте высился черный столб, и на нем, на высоте приблизительно одной сажени, висела железная цепь. На каждом конце цепи находилось кольцо, настолько большое, что через

него свободно могла пройти рука человека, одетого в пальто. Середина этой цепи была надета на крюк, вбитый в столб. Две-три сажени отступя от помоста, стояли в две или три шеренги солдаты с ружьями, образуя сплошное каре с широким выходом против лицевой стороны эшафота. Затем, отступя еще пятнадцать — двадцать сажен от солдат, стояли конные жандармы, довольно редко, а в промежутке между ними и несколько назад — городовые. Непосредственно за городовыми расположилась публика ряда в четыре-пять, по преимуществу интеллигентная. Я с товарищами стоял на правой стороне площади, если встать лицом к ступеням эшафота. Рядом с нами стояли писатели: С. Максимов, автор известной книги «Год на Севере», Павел Иванович Якушкин, этнограф-народник, и А. Н. Моригеровский, сотрудник «Русского слова» и «Дела». Всех троих я знал лично.

Утро было хмурое, пасмурное (шел мелкий дождь). После довольно долгого ожидания появилась карета, въехавшая внутрь каре к эшафоту. В публике произошло легкое движение: думали, что это Н. Г. Чернышевский, но из кареты вышли и поднялись на эшафот два палача. Прошло еще несколько минут. Показалась другая карета, окруженная конными жандармами с офицером впереди. Карета эта также въехала в каре, и вскоре мы увидели, как на эшафот поднялся Н. Г Чернышевский в пальто с меховым воротником и в круглой шапке. Вслед за ним взошел на эшафот чиновник в треуголке и в мундире в сопровождении, сколько помнится, двух лиц в штатском платье. Чиновник встал к нам лицом, а Чернышевский повернулся спиной. Над затихшей площадью послышалось чтение приговора. До нас, впрочем, долетали лишь отдельные слова. Когда чтение кончилось, палач взял Н. Г Чернышевского за плечо, подвел к столбу и просунул его руки в кольца цепи. Так, сложивши руки на груди, Чернышевский простоял у столба около четверти часа.

В этот промежуток времени около нас разыгрался следующий эпизод: Павел Иванович Якушкин (одетый по своему обыкновению в красной кумачной рубахе, в плисовых шароварах, заправленных в простые смазные сапоги, в крестьянском армяке из грубого коричне-

вого сукна с плисовой оторочкой и в золотых очках) вдруг быстро проскочил мимо городовых и жандармов и направился к эшафоту. Городовые и конный жандарм бросились за ним и остановили его. Он стал горячо объяснять им, что Чернышевский близкий ему человек и что он желает с ним проститься. Жандарм, оставив Якушкина с городовыми, поскакал к полицейскому начальству, стоявшему у эшафота. Навстречу ему уже шел жандармский офицер, который, дойдя до Якушкина, стал убеждать его: «Павел Иванович, Павел Иванович, это невозможно». Он обещал ему дать свидание с Николаем Гавриловичем после.

На эшафоте в это время палач вынул руки Чернышевского из колец цепи, поставил его на середине помоста, быстро и грубо сорвал с него шапку, бросил ее на пол, а Чернышевского принудил встать на колени; затем взял шпагу, переломил ее над головою Н. Г. и обломки бросил в разные стороны. После этого Чернышевский встал на ноги, поднял свою шапку и надел ее на голову. Палачи подхватили его под руки и свели с эшафота.

Через несколько мгновений карета, окруженная жандармами, выехала из каре. Публика бросилась за ней, но карета умчалась. На мгновение она остановилась уже в улице и затем быстро поехала дальше.

Когда карета отъезжала от эшафота, несколько молодых девушек на извозчиках поехали вперед. В тот момент, когда карета нагнала одного из этих извозчиков, в Н. Г Чернышевского полетел букет цветов. Извозчика тотчас же остановили полицейские агенты, четырех барышень арестовали и отправили в канцелярию генерал-губернатора князя Суворова. Бросившая букет, как тогда передавали, была Михаэлис, родственница жены Н. В. Шелгунова. Рассказ о цветах я слышал от одной из четырех барышень, которая тоже была арестована и препровождена к Суворову.

Последний, впрочем, ограничился выговором. Дальнейших последствий история, кажется, не имела».

К этому описанию «ответы Венского» прибавляют характерную черту, рисующую поведение Чернышевского на эшафоте и отношение к нему разных категорий зрителей.

«Вокруг эшафота расположились кольцом конные жандармы, сзади них публика, одетая прилично (много было литературной братии и женщин,— в общем не менее четырехсот человек)[1]. Позади этой публики — простой народ, фабричные и вообще рабочие. Помню,— говорит Венский,— что рабочие расположились за забором не то фабрики, не то строящегося дома, и головы их высовывались из-за забора. Во время чтения чиновником длинного акта, листов в десять,— публика за забором выражала неодобрение виновнику и его злокозненным умыслам. Неодобрение касалось также его соумышленников и выражалось громко. Публика, стоявшая ближе к эшафоту, позади жандармов, только оборачивалась на роптавших.

Чернышевский — блондин, невысокого роста, худощавый, бледный (по природе), с небольшой клинообразной бородкой,— стоял на эшафоте без шапки, в очках, в осеннем пальто с бобровым воротником. Во время чтения акта оставался совершенно спокойным; неодобрения зазаборной публики он, вероятно, не слыхал, так же как, в свою очередь, и ближайшая к эшафоту публика не слыхала громкого чтения чиновника. У позорного столба Чернышевский смотрел все время на публику, раза два-три снимая и протирая пальцами очки, смоченные дождем».

Эпизод с цветами Венский рассказывает следующим образом:

«Когда Чернышевский был сведен с эшафота и посажен в карету, то из среды интеллигентной публики полетели букеты цветов; часть их попала в карету, а большая часть мимо. Произошло легкое движение публики вперед. Лошади тронулись. Дальнейших комментарий со стороны толпы не было слышно... Дождь пошел сильнее...»

Наконец г. Захарьин-Якунин в «Руси» говорит об одном венке, который был брошен на эшафот в то время, когда палач ломал над головой Чернышевского шпагу. Бросила этот букет девушка, которая тут же была

---

[1] Венский дает следующую приблизительную схему: расстояние публики от эшафота было сажен восемь или девять, а «толщина кольца не менее одной сажени».

арестована. Очень может быть, что тут нет противоречия, и каждый из трех рассказчиков передает лишь разные ими замеченные моменты.

Это было сорок лет назад [1]. Народ, только что освобожденный от крепостной зависимости, считал, вероятно, Чернышевского представителем «господ», недовольных освобождением. Как бы то ни было, история старушки, в святой простоте принесшей вязанку хвороста на костер Гуса, повторилась, и картина, нарисованная бесхитростными рассказами «очевидцев», вероятно, еще не раз остановит на себе внимательный взгляд художника и историка... Это пасмурное утро с мелким петербургским дождиком... черный помост с цепями на позорном столбе... фигура бледного человека, протирающего очки, чтобы взглянуть глазами философа на мир, как он представляется с эшафота... Затем узкое кольцо интеллигентных единомышленников, сжатое между цепью жандармов и полиции, с одной стороны, и враждебно настроенным народом — с другой, и... букеты, невинные символы сочувственного исповедничества... Да, это настоящий символ судеб и роли русской интеллигенции в тот период нашей общественности...

Едва ли можно сомневаться, что теперь отношение даже простой публики к гражданской казни автора «Писем без адреса» было бы много сложнее...

1904

---

[1] Писано в 1904 году.

Антон Павлович Чехов

I

С Чеховым я познакомился в 1886 или в начале 1887 года (теперь точно не помню). В то время он успел издать два сборника своих рассказов. Первый, который я видел в одно из своих посещений на столе у Чехова, назывался «Сказки Мельпомены» и, кажется, составлял издание какого-то юмористического журнала. Самая внешность его носила отпечаток, присущий нашей юмористической прессе. На обложке стояло: «А. Чехонте» и был изображен мольберт, а перед ним — карикатурная фигура длинноволосого художника. Если память мне не изменяет, виньетку эту рисовал брат Антона Павловича, художник, умерший в самом конце восьмидесятых или начале девяностых годов, человек, как говорили, очень талантливый, но неудачник... Эту первую книжку Чехова мало заметили в публике, и теперь редко кто ее, вероятно, помнит. Но некоторые (кажется, не все) рассказы из нее вошли в последующие издания.

Затем, помнится, в начале 1887 года появилась уже более объемистая книга «Пестрых рассказов», печатавшихся в «Будильнике», «Стрекозе», «Осколках» и на этот раз подписанных уже фамилией А. П. Чехова. Эта книга была замечена сразу широкой читающей публикой. О ней начали писать и говорить. Писали и говорили разно, но много, и в общем это был большой успех. В газетных некрологах и заметках упоминается о том, будто А. С. Суворин первый рассмотрел среди во-

рохов нашего тусклого российского «юмора» неподдельные жемчужины чеховского таланта. Это, кажется, неверно. Первый обратил на них внимание Д. В. Григорович. Как кажется, он оценил эти самородные блестки еще тогда, когда они были разбросаны на страницах юмористических журналов или, быть может, по первому сборнику «А. Чехонте». Кажется, Григорович же устроил издание «Пестрых рассказов», и едва ли не от него узнал о Чехове Суворин, который и пригласил его работать в «Новом времени». В первые же свидания мои с Чеховым Антон Павлович показывал мне письма Григоровича. Одно из них было написано из-за границы. Григорович писал о тоске, которую он испытывает в своем курорте, о болезни, о предчувствии близкой смерти. Чехов, пересылая мне и это письмо, прибавил:

— Да, вот вам и известность, и карьера, и большие гонорары...

Эта пессимистическая нотка показалась мне тогда случайной в устах веселого автора веселых рассказов, перед которым жизнь только еще открывала свои заманчивые дали... Но впоследствии я часто вспоминал эти слова, и они уже не казались мне случайными...

После выхода в свет «Пестрых рассказов» имя Антона Павловича Чехова сразу стало известным, хотя оценка нового дарования вызывала разноречие и споры. Вся книга, проникнутая еще какой-то юношеской беззаботностью и, пожалуй, несколько легким отношением к жизни и к литературе, сверкала юмором, весельем, часто неподдельным остроумием и необыкновенной сжатостью и силой изображения. А нотки задумчивости, лиризма и особенной, только Чехову свойственной печали, уже прокрадывавшиеся кое-где сквозь яркую смешливость,— еще более оттеняли молодое веселье этих действительно «пестрых» рассказов.

II

В то время в Петербурге издавался журнал «Северный вестник». Издательницей его была А. М. Евреинова, редакция (первоначальная) составилась из бывших сотрудников «Отечественных записок». Во главе ее стоял Ник. Конст. Михайловский, близкое участие принимали

Глеб Ив. Успенский и С. Н. Южаков, а в редактировании беллетристического и стихотворного отдела участвовал А. Н. Плещеев. Меня приглашали тоже ближе примкнуть к этому журналу, и я ехал в Петербург между прочим и по этому поводу. В то время я уже прочитал рассказы Чехова, и мне захотелось проездом через Москву познакомиться с их автором.

В те годы семья Чеховых жила на Садовой, в Кудрине, в небольшом красном уютном домике, какие, кажется, можно встретить только еще в Москве. Это был каменный особнячок, примыкавший к большому дому, но сам составлявший одну квартиру в два этажа. Внизу меня встретили сестра Чехова и младший брат, Михаил Павлович, тогда еще студент. А через несколько минут по лестнице сверху спустился и Антон Павлович.

Передо мною был молодой и еще более моложавый на вид человек, несколько выше среднего роста, с продолговатым, правильным и чистым лицом, не утратившим еще характерных юношеских очертаний. В этом лице было что-то своеобразное, что я не мог определить сразу и что впоследствии, по-моему очень метко, определила моя жена, тоже познакомившаяся с Чеховым. По ее мнению, в лице Чехова, несмотря на его несомненную интеллигентность, была какая-то складка, напоминавшая простодушного деревенского парня. И это было особенно привлекательно. Даже глаза Чехова, голубые, лучистые и глубокие, светились одновременно мыслью и какой-то, почти детской, непосредственностью. Простота всех движений, приемов и речи была господствующей чертой во всей его фигуре, как и в его писаниях. Вообще, в это первое свидание Чехов произвел на меня впечатление человека глубоко жизнерадостного. Казалось, из глаз его струится неисчерпаемый источник остроумия и непосредственного веселья, которым были переполнены его рассказы. И вместе угадывалось что-то более глубокое, чему еще предстоит развернуться и развернуться в хорошую сторону. Общее впечатление было цельное и обаятельное, несмотря на то, что я сочувствовал далеко не всему, что было написано Чеховым. Но даже и его тогдашняя «свобода от партий», казалось мне, имеет свою хорошую сторону. Русская жизнь закончила с грехом пополам один

из своих коротких циклов, по обыкновению не разрешившийся во что-нибудь реальное, и в воздухе чувствовалась необходимость некоторого «пересмотра», чтобы пуститься в путь дальнейшей борьбы и дальнейших исканий. И поэтому самая свобода Чехова от партий данной минуты, при наличности большого таланта и большой искренности,— казалась мне тогда некоторым преимуществом. Все равно, думал я,— это не надолго... Среди его рассказов был один (кажется, озаглавленный «По пути»): где-то на почтовой станции встречаются неудовлетворенная молодая женщина и скитающийся по свету тоже неудовлетворенный, сильно избитый жизнью, русский «искатель» лучшего. Тип был только намечен, но он изумительно напомнил мне одного из значительных людей, с которым сталкивала меня судьба. И я был поражен, как этот беззаботный молодой писатель сумел мимоходом, без опыта, какой-то отгадкой непосредственного таланта так верно и так метко затронуть самые интимные струны этого, все еще не умершего у нас, долговечного рудинского типа... И мне Чехов казался молодым дубком, пускающим ростки в разные стороны, еще коряво и порой как-то бесформенно, но в котором уже угадывается крепость и цельная красота будущего могучего роста.

Когда в Петербурге я рассказал в кружке «Северного вестника» о своем посещении Чехова и о впечатлении, которое он на меня произвел,— это вызвало много разговоров. Талант Чехова признавали все единогласно, но к тому, на что он направит еще не определившуюся большую силу,— относились с некоторым сомнением. Отношение к Чехову Михайловского читателям известно: он часто и с большим интересом возвращался к его работам, признавал огромные размеры его таланта, но тем суровее отмечал некоторые черты, в которых видел неправильное отношение к литературе и ее назначению. Ни о ком, однако, из сверстников Михайловский не писал так много, как о Чехове, а в последние годы, как это тоже известно, он относился к Чехову с большой симпатией... Во всяком случае, в то время, о котором я рассказываю, «Северный вестник» Михайловского хотел бы видеть Чехова в своей среде, и мне пришлось выслушать упрек, что во время своего

посещения я (тогда еще новичок в журнальном деле) не позаботился о приглашении Чехова, как сотрудника.

В следующее свое посещение я уже заговорил с Чеховым об этом «деле», но еще раньше меня говорил с ним о том же А. Н. Плещеев, заехавший к нему проездом через Москву на Кавказ. Чехов сам рассказал мне об этом свидании, подтвердил обещание, данное Плещееву, но вместе с тем выразил некоторое колебание. По его словам, он начинал литературную работу почти шутя, смотрел на нее частию как на наслаждение и забаву, частию же как на средство для окончания университетского курса и содержания семьи [1].

— Знаете, как я пишу свои маленькие рассказы?.. Вот.

Он оглянул стол, взял в руки первую попавшуюся на глаза вещь,— это оказалась пепельница,— поставил ее передо мною и сказал:

— Хотите,— завтра будет рассказ... Заглавие «Пепельница».

И глаза его засветились весельем. Казалось, над пепельницей начинают уже роиться какие-то неопределенные образы, положения, приключения, еще не нашедшие своих форм, но уже с готовым юмористическим настроением...

Теперь, когда я вспоминаю этот разговор, небольшую гостиную, где за самоваром сидела старуха мать, сочувственные улыбки сестры и брата, вообще всю атмосферу сплоченной, дружной семьи, в центре которой стоял этот молодой человек, обаятельный, талантливый, с таким, по-видимому, веселым взглядом на жизнь,— мне кажется, что это была самая счастливая, последняя счастливая полоса в жизни всей семьи,— радостная идиллия у порога готовой начаться драмы... В выражении лица и в манерах тогдашнего Чехова мне вспоминается какая-то двойственность: частию это был еще беззаботный Антоша Чехонте, веселый, удачливый, готовый посмеяться между прочим над «умным дворником», рекомендующим в кухне читать книги, и над парикмахе-

---

[1] В то время он был уже врачом, хотя и без практики, а брат его, Михаил Павлович, начинал тоже печататься в юмористических журналах (под псевдонимом).

ром, который во время стрижки узнает, что его невеста выходит за другого, и потому оставляет голову клиента недостриженной... Образы теснились к нему веселой и легкой гурьбой, забавляя, но редко волнуя... Они наполняли уютную квартирку и, казалось, приходили в гости зараз ко всей семье. Сестра Антона Павловича рассказывала мне, что брат, комната которого отделялась от ее спальной тонкой перегородкой, часто стучал к ней ночью в стенку, чтобы поделиться темой, а иной раз готовым уже рассказом, внезапно возникшим в голове. И оба удивлялись и радовались неожиданным комбинациям... Но теперь в этом беззаботном настроении происходила заметная перемена: и сам Антон Павлович, и его семья не могли не заметить, что в руках Антоши не просто забавная и отчасти полезная для семьи игрушка, а великая драгоценность, обладание которой может оказаться очень ответственным. Кажется, в то время был уже напечатан (в «Новом времени») очерк «Святою ночью», чудная картинка, проникнутая глубоко захватывающей, обаятельной грустью, еще примиряющей и здоровой, но уже, как небо от земли, удаленной от беспредметно смешливого настроения большинства «Пестрых рассказов». И в лице Чехова, недавнего беззаботного сотрудника «Осколков», проступало какое-то особенное выражение, которое в старину назвали бы «первыми отблесками славы»... Я помню, что в словах матери, видимо счастливой и гордившейся успехом сына, звучали уже грустные ноты. Мы говорили с Антоном Павловичем о поездке в Петербург и о том, где мы там встретимся, и госпожа Чехова сказала со вздохом:

— Да, мне кажется, что Антоша теперь уже не мой...

Как это часто бывает, у матери было верное предчувствие...

Мы условились встретиться в Петербурге в редакции «Осколков», где я действительно нашел Чехова в назначенный день, в кабинете редактора г. Лейкина. Здесь, между прочим, произошел небольшой инцидент: накануне г. Лейкин похвастался перед Чеховым прекрасным рассказом, присланным в «Осколки» неизвестным еще начинающим автором, помнится, из Царского Села. Редактор пришел в восторг и пригласил автора для лич-

ных переговоров, с целью привлечь его к журналу. Чехов захотел прочитать рукопись. Оказалось, однако, что это был просто-напросто один из его собственных очерков, старательно переписанный с печатного и подписанный неведомой фамилией. Лучший признак известности: плагиат уже, очевидно, оценил новое дарование и тянулся к нему, как чужеядное растение...

III

Через некоторое время первый журнальный рассказ А. П. Чехова был написан. Назывался он «Степь». Во время моего пребывания в Петербурге А. Н. Плещеев получил из Москвы письмо, в котором Чехов писал, что работа у него подвигается быстро. «Не знаю, что выйдет, но только чувствую, что вокруг меня пахнет степными цветами и травами»,— так приблизительно (цитирую на память) определял Чехов настроение этой своей работы, и это же несомненно чувствуется в чтении. На этом первом «большом» рассказе Чехова лежал еще, правда, отпечаток привычной ему формы. Некоторые критики отмечали, что «Степь» — это как бы несколько маленьких картинок, вставленных в одну большую раму. Несомненно, однако, что эта большая рама заполнена одним и очень выдержанным настроением. Читатель как будто сам ощущает веяние свободного и могучего степного ветра, насыщенного ароматом цветов, сам следит за сверканием в воздухе степной бабочки и за мечтательно-тяжелым полетом одинокой и хищной птицы, а все фигуры, нарисованные на этом фоне, тоже проникнуты оригинальным степным колоритом. Младший Чехов (Михаил Павлович) говорил мне вскоре после того, как рассказ появился в «Северном вестнике», что в нем очень много автобиографических личных воспоминаний.

Есть в нем, между прочим, одна подробность, которая казалась мне очень характерной для тогдашнего Чехова. В рассказе фигурирует Дениска, молодой крестьянский парень. Выступает он в роли кучера. Бричка с путниками останавливается в степи на привал в знойный, удушливый полдень. Горячие лучи жгут головы.

откуда-то несется песня, «тихая, тягучая и заунывная, похожая на плач и едва уловимая слухом... Точно над степью носился невидимый дух и пел», или сама она, «выжженная, полумертвая, уже погибшая, без слов, но жалобно и искренно убеждала кого-то, что она ни в чем не виновата, что солнце выжгло ее понапрасну... вины не было, но она все-таки просила у кого-то прощения и клялась, что ей невыносимо больно, грустно и жалко себя»... В это время Дениска просыпается первым из отдыхающих путников. Он подходит к ручью, пьет, аппетитно умывается, плескаясь и фыркая. Несмотря на зной, на тоскливый пейзаж, на еще более тоскливую песню, неизвестно откуда несущуюся и говорящую о неизвестной вине, Дениска переполнен ощущением бодрости и силы.

— А ну, кто скорее доскачет до осоки! — говорит он Егорушке, главному герою рассказа, и не только одерживает победу над усталым от зноя Егорушкой, но, не довольствуясь этим, предлагает тотчас же скакать обратно.

Я как-то шутя сказал Чехову, что он сам похож на своего Дениску. И действительно, в самый разгар восьмидесятых годов, когда общественная жизнь так похожа была на эту степь с ее безмолвной истомой и тоскливой песнью, он явился беззаботный, веселый, с избытком бодрости и силы. То и дело у него неизвестно откуда являлись разные проекты и притом как-то сразу, в готовом виде, с мелкими деталями... Однажды он стал развивать передо мною план журнала, в котором будут участвовать беллетристы, числом двадцать пять, «и все начинающие, вообще молодые». В другой раз, устремив на меня свои прекрасные глаза с выражением внезапно созревающей мысли, он сказал:

— Слушайте, Короленко... Я приеду к вам в Нижний.

— Буду очень рад. Смотрите же — не обманите.

— Непременно приеду... Будем вместе работать. Напишем драму. В четырех действиях. В две недели.

Я засмеялся. Это был опять Дениска.

— Нет, Антон Павлович. Мне за вами не ускакать. Драму вы пишите один, а в Нижний все-таки приезжайте.

IV

Он сдержал слово, приехал в Нижний и очаровал всех, кто его в это время видел. А в следующий свой приезд в Москву я застал его уже за писанием драмы. Он вышел из своего рабочего кабинета, но удержал меня за руку, когда я, не желая мешать, собрался уходить.

— Я действительно пишу и непременно напишу драму,— сказал он,— «Иван Иванович Иванов»... Понимаете? Ивановых тысячи... обыкновеннейший человек, совсем не герой... И это именно очень трудно... Бывает ли у вас так: во время работы, между двумя эпизодами, которые видишь ясно в воображении,— вдруг пустота...

— Через которую,— сказал я,— приходится строить мостки уже не воображением, а логикой?..

— Вот, вот...

— Да, бывает, но я тогда бросаю работу и жду.

— Да, а вот в драме без этих мостков не обойдешься...

Он казался несколько рассеянным, недовольным и как будто утомленным. Действительно, первая драма далась Чехову трудно и повлекла за собою первые же серьезные чисто литературные волнения и огорчения. Не говоря о заботах сценической постановки, о терзаниях автора, видящего, как далеко слово от образа, а театральное исполнение от слова,— в этой драме впервые сказался перелом в настроении Чехова. Я помню, как много писали и говорили о некоторых беспечных выражениях Иванова, например, о фразе: «Друг мой, послушайте моего совета: не женитесь ни на еврейках, ни на психопатках, ни на курсистках». Правда, это говорит Иванов, но русская жизнь так болезненно чутка к некоторым наболевшим вопросам, что публика не хотела отделить автора от героя; да, сказать правду, в «Иванове» не было той непосредственности и беззаботной объективности, какая сквозила в прежних произведениях Чехова. Драма русской жизни захватывала в свой широкий водоворот вышедшего на ее арену писателя: в его произведении чувствовалось невольно веяние какой-то тенденции, чувствовалось, что автор на что-то нападает и что-то защищает, и спор шел о том, что именно он защищает и на что нападает. Вообще, эта первая

драма, которую Чехов переделывал несколько раз, может дать ценный материал для вдумчивого биографа, который пожелает проследить историю душевного перелома, приведшего Чехова от «Нового времени», в котором он охотно писал вначале и куда не давал ни строчки в последние годы,— в «Русские ведомости», в «Жизнь» и в «Русскую мысль»... Беззаботная непосредственность роковым образом кончалась, начиналась тоже роковым образом рефлексия и тяжелое сознание ответственности таланта [1].

Следующий за «Степью» рассказ «Именины» был тоже напечатан в «Северном вестнике». За ним следовал третий («Огни»)... Его настроение значительно усложнялось, а пожалуй, и омрачалось несколько циничными, но еще более грустно-скептическими нотами, и Чехов в переписке несколько раз выражает недовольство этим рассказом. Остальное памятно, без сомнения, всей читающей России. За «Пестрыми рассказами» последовал сборник с характерным названием «В сумерках». Затем «Хмурые люди»; затем в «Русской мысли» появилась «Палата № 6-й»,— произведение поразительное по захватывающей силе и глубине, с каким выражено в нем новое настроение Чехова, которое я назвал бы настроением второго периода. Оно совершенно определилось, и всем стала ясна неожиданная перемена: человек, еще так недавно подходивший к жизни с радостным смехом и шуткой, беззаботно веселый и остроумный, при более пристальном взгляде в глубину жизни неожиданно почувствовал себя пессимистом. К третьему периоду я бы отнес рассказы, а пожалуй, и драмы последних годов, в которых звучит и стремление к лучшему, и вера в него, и надежда. Через дымку грусти, порой очень красивой, порой разъедающей и острой и всегда поэтической, эта надежда сквозит, как куполы церквей дальнего города, едва видные сквозь знойную пыль и удушливый туман трудного пути... И над всем царит меланхолическое сознание:

Жаль только: жить в эту пору прекрасную
Уж не придется ни мне, ни тебе...

---

[1] Драма «Иванов» была напечатана в «Северном вестнике» (март 1889 г.).

V

После этих первых встреч, довольно частых в начале нашего знакомства, мы виделись с Чеховым все реже и реже. Наши литературные связи и симпатии (я говорю о личных связях и симпатиях в литературной среде) в конце восьмидесятых и начале девяностых годов были различны, и выходило так, что они перекрещивались редко также и впоследствии, когда он сошелся с родственными и мне литературными кругами. Я тогда же (то есть в конце восьмидесятых годов) сделал было попытку свести Чехова с Михайловским и Успенским. Мы вместе с ним отправились в назначенный час в Пале-Рояль, где тогда жил Михайловский и где мы уже застали Глеба Ивановича Успенского и Александру Аркадьевну Давыдову (впоследствии издательницу журнала «Мир божий»). Но из этого как-то ничего не вышло. Глеб Иванович сдержанно молчал (тогда у него начинали уже появляться признаки сильной душевной усталости и, пожалуй, предвестники болезни). Михайловский один поддерживал разговор, и даже Александра Аркадьевна,— человек вообще необыкновенно деликатный и тактичный,— задела тогда Чехова каким-то резким замечанием относительно одного из тогдашних его литературных друзей. Когда Чехов ушел, я почувствовал, что попытка не удалась. Глеб Иванович, с которым мы вместе вышли от Михайловского, заметил, с своей обычной чуткостью, что я огорчен, и сказал:

— Вы любите Чехова?

Я попытался изобразить то чувство, которое у меня было к Чехову, и то впечатление, какое он на меня производит. Он слушал с обычным своим задумчивым вниманием и сказал:

— Это хорошо...— но сам остался сдержанным. Теперь я понимаю, что веселость тогдашнего Чехова, автора «Пестрых рассказов»,— была чужда и неприятна Успенскому. Сам он когда-то был полон глубокого и своеобразного юмора, острота которого очень рано перешла в горечь. Михайловский чрезвычайно верно и чрезвычайно метко обрисовал в статье об Успенском ту целомудренную сдержанность, с какой он сознательно обуздывал свою склонность к смешным положениям и юмо-

ристическим образам из боязни профанировать скорбные мотивы злополучной русской действительности. Хорошо это или плохо,— я здесь рассуждать не буду. Думаю, конечно, что было бы превосходно, если бы люди с такими природными залежами смеха в душе находили в себе и в окружающей атмосфере достаточно силы, чтобы победить великое уныние русской жизни своим еще более сильным смехом. Тогда мы имели бы, может быть, мировые шедевры сатирической литературы... Но... мечтать можно о чем угодно, а факт все-таки состоит в том, что современное русское уныние само побеждает русский юмор, и это с неизбежностью рокового закона отразилось — к сожалению, даже слишком скоро — на самом Чехове.

Но в то время еще было иначе, и я помню, с каким скорбным недоумением и как пытливо глубокие глаза Успенского останавливались на открытом жизнерадостном лице этого талантливого выходца из какого-то другого мира, где еще могут смеяться так беззаботно. Чехов тоже инстинктивно сторонился от назревшего уже в Успенском настроения, которое сторожило его самого,— и они разошлись несколько холодно, пожалуй, с безотчетным нерасположением друг к другу.

Теперь нет уже обоих. Успенский умер раньше, могила Чехова еще не закрылась, когда я пишу эти строки... Но оба сошли со сцены с надеждой на будущее и со жгучей скорбью о настоящем.

Вспоминается мне еще один разговор с Чеховым о Гаршине. Не помню, было ли это после смерти Гаршина, или под конец его омраченной жизни... Я недавно вернулся из Сибири, и во мне еще были живы и свежи глубокие впечатления от ее величаво-угрюмой природы и ее людей. И мне казалось, что если бы можно было отвлечь Гаршина от мучительных впечатлений нашей действительности, удалить на время от литературы и политики, а главное — снять с усталой души то сознание общей ответственности, которое так угнетает русского человека с чуткой совестью... если бы взамен этого поставить его лицом к лицу только с первобытной природой и первобытным человеком,— то, думалось мне, больная душа могла бы еще расправиться. Но Чехов возразил с категоричностью врача:

— Нет, это дело непоправимое: раздвинулись какие-то молекулярные частицы в мозгу, и уж ничем их не сдвинешь...

Впоследствии мне часто вспоминались эти слова. Через год-два «раздвинулись частицы» у Успенского и, сколько ни искал он исцеления во «врачующем просторе» родины, как ни метался по степям и ущельям Южного Урала, по горным хребтам Кавказа, по Волге и «захолустным рекам» средней России,— ему не удалось стряхнуть все глубже въедавшейся в душу тоски, как и сознания «общей ответственности» перед правдой жизни за все ее неправды. А затем «раздвинулись частицы» и у Чехова. Правда, это были частицы легких, а не мозга, ясность которого он сохранил до конца. Но кто скажет, какую роль в физической болезни играла та глубокая разъедающая грусть, на фоне которой совершались у Чехова все душевные, а значит, и физические процессы...

Мои встречи с Чеховым во второй половине девяностых годов уже были не часты и случайны. В период уже определившейся болезни мы встретились только три-четыре раза. Один раз это было в 1897 г., в редакции «Русской мысли». В то время я тоже был болен. Чехов расспрашивал меня со вниманием товарища и врача и, выйдя из редакции, на улице задушевно пожал мне руку и сказал:

— Ничего... вы поправитесь, уверяю вас,— вы поправитесь.

— И вы тоже поправитесь, Антон Павлович!..— сказал я с верой, истекавшей из сильного желания верить.

— Да, да, надеюсь... Мне и теперь лучше,— ответил он, и мы расстались.

В последний раз я видел его в 1902 г. в Ялте, куда я приехал для разговора об одном общем заявлении. Чехов написал мне, что хочет заехать в Полтаву, и я предупредил его, зная, как ему это трудно. Он жил на своей даче, которую построил (по-художнически непрактично) под Ялтой; с ним жили сестра и жена. Как и в первую нашу встречу, сестра Чехова встретила меня внизу, как и тогда, Чехов спустился по лестнице сверху. У меня сжалось сердце при этом воспоминании.

Это был тот же Чехов, но куда девалась его уверенная, спокойная жизнерадостность? Черты обострились, стали как будто жестче, и только глаза все еще порой лучились и ласкали. Но и в них чаще виднелось застывшее выражение грусти. Сестра рассказывала, что по временам он сидит целые часы, глядя в одну точку... Во время разговора он взял лежавшую на столе книгу, недавно рекомендованную русскому читателю Л Н. Толстым.

— Поленца, «Крестьянин» Читали? Хорошая книга,— сказал он — Вот если бы мне еще написать одну такую книгу я считал бы, что этого довольно. Можно умереть.

Он умер раньше...

VI

И опять невольно приходит в голову сопоставление: Гоголь, Успенский, Щедрин, теперь — Чехов. Этими именами почти исчерпывается ряд выдающихся русских писателей с сильно выраженным юмористическим темпераментом. Двое из них кончили прямо острой меланхолией, двое других беспросветной тоской Пушкин называл Гоголя «веселым меланхоликом», и это меткое определение относится одинаково ко всем перечисленным писателям... Гоголь, Успенский, Щедрин и Чехов...

Неужели в русском смехе есть в самом деле что-то роковое? Неужели реакция прирожденного юмора на русскую действительность,— употребляя терминологию химиков,— неизбежно дает ядовитый осадок, разрушающий всего сильнее тот сосуд, в котором она совершается, то есть душу писателя?..

1904

ПРИМЕЧАНИЯ

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ

МУЛТАНСКОЕ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ

Статьи и заметки, объединенные в т. IV Полного собрания сочинений Короленко (изд. А. Ф. Маркса) под общим названием «Мултанское жертвоприношение», первоначально были напечатаны в газетах «Русские ведомости» и «Новое время» и журнале «Русское богатство» в 1895, 1896 и 1898 годах. Из десяти статей и заметок в настоящем издании печатаются: «Мултанское жертвоприношение», самая значительная статья цикла, давшая ему название (впервые — «Русское богатство», 1895, № 11), «Решение сената по мултанскому делу» (там же, 1896, № 1), «Толки печати о мултанском деле» (там же, 1896, № 6).

В сентябре 1895 года к В. Г. Короленко обратились два вятских журналиста — А. Н. Баранов и О. М. Жирнов с просьбой вмешаться в дело группы крестьян удмуртов (в ту пору их называли вотяками), обвинявшихся в убийстве 5 мая 1892 года прохожего нищего (Конона Матюнина) с целью принесения человеческой жертвы языческому богу.

Судебный процесс, происходивший в декабре 1894 года в г. Малмыже, Вятской губернии, закончился обвинительным приговором (ссылка и каторжные работы) семи подсудимым из десяти.

Однако, в связи с явным нарушением норм судопроизводства, сенат отменил этот приговор. Было назначено вторичное слушание дела.

Баранов и Жирнов понимали, что к судьбе крестьян-инородцев необходимо привлечь внимание общественности. А это мог сделать в то время только Короленко, к которому они и обратились накануне вторичного слушания дела. Писатель ответил согласием. Характер этого процесса глубоко заинтересовал его. 25 сентября 1895 года по пути в Елабугу он записал в дневнике: «Каков бы ни был вторичный приговор суда — человеческое жерт-

воприношение несомненно было: если вотяки не принесли в жертву Матюнина (убитый), то вотяков принесли в жертву на алтаре полицейского и прокурорского честолюбия» (В. Г Короленко. Дневник, т. III, ГИЗ Украины, 1927, стр. 222).

Вторичное разбирательство дела началось 29 сентября 1895 года в г. Елабуге. Короленко присутствовал на суде в качестве корреспондента. В течение трех дней вместе с А. Н. Барановым и В. И. Суходоевым — корреспондентами вятских газет — он записывал все происходящее в судебных заседаниях. «Мы дали себе слово сделать все возможное для того, чтобы огласить широко это вопиющее дело. Мы трое писали три дня не переставая. У меня отекли пальцы и сделался пузырь от карандаша,— зато всякий вопрос и всякий ответ занесены»,— сообщал Короленко матери и сестре в письме от 3 октября 1895 года.

1 октября 1895 года суд вновь вынес обвинительный приговор. «Мултанцев признали виновными всех,— записывает Короленко в дневнике,— приговор глубоко несправедливый, возмутивший всю присутствующую публику до глубины души» (Дневник, т. III, стр 228).

18 октября в газете «Русские ведомости» начинается публикация составленного Короленко, Барановым и Суходоевым отчета о деле вотяков.

Публикации отчета была предпослана первая статья Короленко о мултанском деле: «К отчету о мултанском жертвоприношении», заканчивавшаяся следующими строками: «Расследование, расследование! Пусть будут проверены все материалы этого дела, все способы, какими они собирались, пусть будут выслушаны до конца эти несчастные вотяки, которые фактически лишены были до сих пор свободы защиты против самого тяжкого из обвинений, какое только человек может предъявить против своего ближнего, пусть будут проверены их ссылки на то, что главные свидетели против них купили своими показаниями безнаказанность в уголовных деяниях, с одной стороны, и вынуждались к показаниям незаконными приемами — с другой...

Света, как можно больше света на это темное дело, иначе навсегда над ним нависнет страшное сомнение в том, где искать истинных жертв человеческого жертвоприношения! Матюнин ли это, погибший таинственной и загадочной смертью, или это сами несчастные мултанцы являются жертвами следственных порядков, черты которых так ясно проступают в этом выдающемся деле...» («Русские ведомости», 1895, № 288 от 18 октября).

22 декабря 1895 года после вторичной кассации сенат вновь отменил приговор. Заключение по делу давал А. Ф. Кони, известный общественный и судебный деятель, тогда обер-прокурор уголовно-кассационного департамента сената.

27 декабря 1895 года Короленко писал М. И. Дрягину — основному защитнику подсудимых· «...Я тоже хотел просить

Вас взять и меня для защиты.. Я очень близко ознакомился с делом и, кажется, имею гипотезу этого преступления, которую мне подсказывает фантазия беллетриста и которую я проверил очень строго с обстоятельствами дела». Короленко пришел к выводу, что над трупом Матюнина была произведена грубая симуляция «ритуального убийства». «Я глубоко убежден, что это было именно так, а, главное, все ошибки и промахи следствия тоже примыкают сюда»,— пишет он 26 февраля 1896 года, призывая Дрягина сосредоточить все силы на доказательстве этих фактов.

Готовясь к новому слушанию дела, которое должно было состояться в мае 1896 года в г. Мамадыше, Короленко напряженно работает, занимается этнографией, изучает специальную научную литературу. Дело вотяков, принесенных «в жертву на алтаре полицейского и прокурорского честолюбия», становится для писателя глубоко личным делом. Все это определило характер его речи на суде. «Задушевным, проникновенным голосом, с глубокой искренностью и сердечностью заговорил он — и сразу же приковал внимание всех,— писал в своих воспоминаниях о мултанском деле А. Н. Баранов.— Такова была сила этой речи, что все мы, корреспонденты, и даже стенографистки положили свои карандаши, совершенно забыв о записи, боясь проронить хоть одно слово... Все были захвачены, потрясены» («В. Г. Короленко в воспоминаниях современников», Гослитиздат, 1962, стр. 273—274).

Процесс закончился полным оправданием удмуртов. «Черт знает, что это было, когда вотяков наконец оправдали,— писал Короленко,— и аплодисменты, и слезы, и поздравления,— и это все проделывала та самая публика, которая в течение 4—5 дней почти вся была настроена против нас» (письмо к С. А. и А. С. Малышевым от 14 июня 1896 г.).

Оценку общественного значения выступления Короленко дал А М. Горький. В статье «О литературе» он писал: «Мултанское жертвоприношение» вотяков — процесс не менее позорный, чем «дело Бейлиса»,— принял бы еще более мрачный характер, если б В. Г. Короленко не вмешался в этот процесс и не заставил прессу обратить внимание на идиотское мракобесие самодержавной власти» (А М. Г о р ь к и й. Собр. соч. в 30 томах, т. 25, стр. 21).

Стр 9. *...целое общество, хотя бы подлиповцев...*— П о д л и п о в ц ы — забитые, невежественные крестьяне, о которых говорится в романе Ф. М. Решетникова «Подлиповцы».

Стр 24. *Ессеи* — древнееврейская секта, искавшая «спасения» в бегстве от жизни, в религиозной мистике.

Адонаи — господь (древнееврейск.).

Стр. 26. *Паллас* Петер Симон (1741—1811) — ученый-натуралист и путешественник, исследователь Сибири.

Миллер Федор Иванович (1705—1783) — ученый-историк, этнограф.

Стр. 36. *...в пределах дискреционной власти* — то есть власти, зависящей от личного усмотрения председательствующего.

ЗНАМЕНИТОСТЬ КОНЦА ВЕКА

Впервые — в журнале «Русское богатство», 1898, № 11.

Статья явилась откликом на прогремевшее в те годы дело Дрейфуса, ставшее предметом ожесточенной политической борьбы во Франции в 90-х годах XIX века.

В 1894 году офицер французской армии Альфред Дрейфус был обвинен в шпионаже в пользу Германии и приговорен военным судом к пожизненной каторге. Между тем выяснилось, что виновником передачи секретных материалов Германии был другой офицер — Эстергази. Документы же, предъявленные суду, оказались подложными. Лишь после длительной борьбы передовых общественных кругов Франции против реакционной военщины, националистов и церковников Дрейфус был в 1906 году полностью оправдан. Одним из самых ярких эпизодов этой борьбы было опубликованное в январе 1898 года открытое письмо Э. Золя президенту Франции Фору, начинавшееся словами «Я обвиняю...».

Дело Дрейфуса и выступление Золя в защиту невинно осужденного вызвали самый живой отклик русской общественности. А. П. Чехов после опубликования открытого письма Золя писал: «У нас только и разговору, что о Золя... Золя вырос на целых три аршина; от его протестующих писем точно свежим ветром повеяло, и каждый француз почувствовал, что, слава богу, есть еще справедливость на свете» (А. П. Чехов. Полное собр. соч., т. 17, Гослитиздат, 1949, стр. 219).

«Первыми должны были поднять тревогу лучшие люди, идущие впереди нации,— так и случилось»,— говорит Чехов в другом своем письме (там же, стр. 229).

Об отношении Короленко к делу Дрейфуса и Эстергази свидетельствует также его письмо французскому журналисту Жюлю Легра от 24 сентября 1899 года. «Сестра передавала мне, что вы были огорчены моей статьей («Знаменитость конца века»), трактовавшей о Дрейфусе и Эстергази,— пишет Короленко. — Что делать... Так мне и, скажу смело, всему либерально настроенному русскому обществу это дело представляется. На одной стороне тут стоит человеческое право и защита правосудия — посредством свободного и смелого слова — устного и печатного. На другой — подлоги (заведомые и доказанные), тайные убийства, извращение истины, стремление зажать рот и возбуждение дурных страстей и национальной вражды... Вы скажете, что мы, иностранцы, не можем правильно судить о ваших делах. Очень может быть. Но, во-первых, Франция давно уже приучила нас многие свои дела считать общими делами, а во-вторых, есть много французов, думающих, как и мы. И мы видим «общее дело» человечества, к которому стремятся

все наши симпатии, на той стороне, где отдельные лица выступили против предрассудка и торжествующей силы — за невинно осужденного».

Стр. 49. *Барнум* Тейлор (1810—1891) — американский предприниматель-рекламист.

Джек-потрошитель — известный преступник, совершивший в девяностых годах в Англии несколько зверских убийств.

...как Тропман, казнь которого так превосходно описана Тургеневым.—См. И. С. Тургенев. «Литературные и житейские воспоминания. Казнь Тропмана» (1870).

Стр. 52. *...знаменитый некогда Веллингтон.* — Веллингтон Артур Уэлсли (1769—1852) — герцог, английский полководец, государственный деятель. В 1815 году одержал победу над Наполеоном при Ватерлоо.

Стр. 53. *...как некогда Мадзини, Виктор Гюго и другие «шаблонные герои» устаревшей европейской истории — г. Эстергази переправляется тайно через границу..* — Мадзини Джузеппе (1805—1872) — крупнейший деятель итальянского национально-освободительного движения, вождь революционно настроенной буржуазии периода борьбы за воссоединение Италии. Основал тайную организацию «Молодая Италия». В 1830 году был выслан из Италии и возвратился только в 1848 году.

Великий французский писатель В. Гюго покинул Францию после реакционного переворота, совершенного в 1851 году Луи Бонапартом (Наполеоном III).

...Может быть, даже злополучный Мадрид забудет на время несчастия своей страны и позор своих поражений...— В конце XIX века усилился кризис испанской колониальной империи. В 1895 и 1896 годах вспыхнули антииспанские восстания на Кубе и Филиппинских островах. США, стремясь использовать это в своих интересах, спровоцировали испано-американскую войну 1898 года, которая закончилась поражением Испании, потерявшей Кубу, Пуэрто-Рико, Филиппинские острова.

Стр. 55. *Вершина Чимборасо* — самая высокая вершина высокогорной полосы Эквадора — Южно-Американских Анд.

Стр. 56. *Рошфор* Анри (1831—1913)—французский публицист и политический деятель. В молодости отличался прогрессивными убеждениями. В 1868 году основал журнал «Фонарь», в котором подвергал критике Наполеона III, за что был привлечен к суду и выслан из Франции. В январе 1870 года был арестован за призыв к свержению империи, опубликованный в основанной им в 1869 году газете «Марсельеза». Позднее изменил своим убеждениям и во время «дела Дрейфуса» стал на сторону реакционеров.

...изобретение Гутенберга.— Гутенберг Иоганн (1400—1468) — изобретатель книгопечатания.

Стр. 57. *Гонз, Пати-дю-Клам...* — Гонз — офицер французского Генерального штаба во время дела Дрейфуса. Пати-дю-Клам — полковник, следователь по делу Дрейфуса.

Она явила нам пример «республиканских добродетелей» в деле Панамы. — Имеется в виду знаменитый скандал во Франции в 1892—1893 годах. В 1879 году в Париже была создана компания для строительства Панамского канала. Однако средства компании скоро оказались растрачены на подкуп газет и членов парламента; лишь треть была израсходована на производство работ. Дело было передано в суд. В процессе расследования, начатого в результате финансового краха компании, обнаружилась грандиозная система подкупа парламентариев, членов правительства и прессы. Панамский скандал явился ярким свидетельством разложения господствовавших во Франции буржуазно-республиканских кругов.

...Хочется сказать великому народу: Ты жалкий и пустой народ! — строки из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Последнее новоселье» (1841).

Стр. 58. *Дрюмон* Эдуард (1894—1917) — французский реакционный публицист, один из главарей движения против Дрейфуса.

«...Что им Гекуба, что они Гекубе?» — слова Гамлета из второго действия трагедии Шекспира «Гамлет».

У Лесажа, в истории Жиль-Блаза де-Сантильяна... — Лесаж Ален Рене (1668—1747) — романист и драматург, создатель французского реалистического романа XVIII века. Жиль Блаз — герой одноименного романа, ловкий, смелый и энергичный человек из низов.

Монтионовская премия — выдавалась французской академией за сочинения, «способствующие улучшеиию нравственности». Ее назначил Монтион Антуан-Оже (1733—1820) — французский адвокат и филантроп.

Стр. 60. *...французских Дерулэдов...* — Дерулэд Поль (1846—1914) — французский политический деятель, стоял на стороне противников пересмотра дела Дрейфуса.

ДОМ № 13

Впервые — отдельной брошюрой в 1905 году (Харьков, изд. В. И. Рапп). Написан очерк летом 1903 года для журнала «Русское богатство», но не пропущен цензурой. До опубликования в России был напечатан в 1903—1904 гг. в нескольких заграничных изданиях.

Непримиримый противник национальной розни, Короленко неустанно разоблачал попытки самодержавной власти и реакционных сил русского общества натравить одну национальность на другую. Так было, когда бесправных и темных удмуртов обвинили

в каннибализме Так было и когда политическая и общественная реакция выступила под знаменем антисемитизма.

В апреле 1903 года всю Россию облетело известие о еврейском погроме в Кишиневе.

«Давно уже я не испытывал таких тяжелых минут, как в несколько дней, проведенных в Кишиневе»,— писал Короленко Шолом-Алейхему 17 июня 1903 года, после того как побывал на месте погрома.

В архиве Короленко сохранилась запись о том, как готовился этот погром: «Возник он неожиданно, внезапно, с какой-то ошеломляющей силой и свирепостью. Местные жители писали, что до тех пор никогда и никто не ждал ничего подобного именно в Кишиневе. Правда, уже года два шла глухая агитация. Перед пасхой газета Крушевана оповестила своих читателей, что в Тирасполе евреи убили христианского мальчика для того, чтобы добыть из него кровь. В этом не было ни слова правды, но из номера в номер в газете рисовалась ужасающая картина мучительства и над всем краем ужасный призрак стоял две недели распятый и окровавленный... На второй день пасхи разразился небывалый погром. Два дня город был ареной ужасных сцен» (В. Г. Короленко. «О погромных делах». Отдел рукописей Гос. библиотеки СССР имени В. И. Ленина).

Как в настоящем очерке, так и в других выступлениях на ту же тему писатель подчеркивал, что истинные организаторы и вдохновители погромов остаются в тени, руководя преступными действиями обманутой темной массы, а так же, что «погромы настигают по общему правилу бедноту» (В. Г. Короленко. Полное собр. соч., изд. А. Ф. Маркса, т. IX, стр. 287).

Понимая невозможность разъяснить в подцензурной печати истинные социальные и политические причины погромов, Короленко тем не менее стремится собрать факты и обнародовать их. 12 июля 1903 года он писал жене в Румынию: «Не знаю, успею ли, но мне хочется написать то, что я здесь вижу и чувствую, и напечатать так в виде отдельных непосредственных набросков, без претензий дать сколько-нибудь исчерпывающую картину».

К работе над очерком Короленко возвращался и позднее. В 1914 году он включил его в девятый том Полного собрания сочинений, изд. А. Ф. Маркса.

СОРОЧИНСКАЯ ТРАГЕДИЯ

Впервые — в журнале «Русское богатство», 1907, № 4. В переработанном и дополненном виде в июне 1907 года статья вышла отдельной книгой.

Начало «сорочинской трагедии» было положено происшедшей 19 декабря 1905 года кровавой стычкой крестьян с. Сорочинцы

с отрядом казаков, во время которой был смертельно ранен помощник исправника Барабаш и убиты и ранены десятки крестьян.

О трагических событиях 19 декабря сообщалось на страницах газеты «Полтавщина» 23 декабря 1905 года в корреспонденции, подписанной «Крестьянин И. Д. Личаченко».

«В этот злополучный день,— писал автор корреспонденции,— убитых крестьян возле волостного управления оказалось 8 и на улицах около 12; на следующий день из числа раненых скончалось около 25. Всего убитых и раненых около 100 человек.

Картина в больнице была ужасная, и нет возможности описать ее.. Стоны и плач наполняют всю больницу, и ужас объемлет душу при виде жертв, павших от произвола и насилия, в злополучный день 19 декабря». (По тетради В. Г. Короленко «К делу Филонова», в которой находится вырезка из газеты «Полтавщина» за 23 декабря 1905 г. — Отдел рукописей Гос. библиотеки СССР имени В. И. Ленина.)

Через несколько дней в Сорочинцы был командирован с карательным отрядом статский советник Полтавского губернского правления Филонов, который подверг истязаниям крестьян из Сорочинец и окрестных сел — Устивица и Кривая Руда.

В архиве Короленко хранятся записи, сделанные им со слов десятков пострадавших крестьян. Таков, например, рассказ крестьянина Г. П. Молочко: «...Прежде всего каждого ударяет по лицу, а казаки кидают и бьют нагайками, пока не скажет Филонов «довольно» (пока переставал кричать). Избитых поднимали и отправляли в холодную». (Показания потерпевших и свидетелей о действиях Филонова в Сорочинцах и Устивице. Отдел рукописей Гос. библиотеки СССР имени В. И. Ленина.)

12 января 1906 года Короленко публикует в газете «Полтавщина» «Открытое письмо статскому советнику Филонову».

Филонов, на другой день после возвращения из карательной экспедиции в Полтаву, 18 января, был убит членом местной организации эсеров Дмитрием Кирилловым. Это убийство очень осложнило положение. 19 января 1906 года Короленко писал Н. Ф. Анненскому: «Вы, вероятно, знаете уже из газет, что вчера в 11 часов дня на людной улице убит наповал ст. сов. Филонов, которому я адресовал «Открытое письмо». Я этого опасался, это носилось в воздухе... Я поставил это дело гласно и широко, я хотел сделать этот случай предметом большой тяжбы между гласностью и беззаконием,— и могу сказать,— по первым шагам мне это удавалось... Я взял этот случай, как типичный, и намеревался всенародно или добиваться правосудия, или освещения нашего бесправия перед всеми».

Убийство Филонова явилось сигналом к травле писателя. Было составлено и опубликовано в черносотенной газете «Полтавский вестник» подложное «Посмертное письмо Филонова писателю Короленко». Писатель вынужден был на время уехать из города.

Позднее Короленко был привлечен вместе с редактором «Полтавщины» Д. О. Ярошевичем к судебной ответственности за оглашение в «Открытом письме» заведомо ложных сведений о действиях должностных лиц и войск. В конце концов следствие было прекращено ввиду полной невозможности опровергнуть факты «Открытого письма». Еще раз подтвердилась та особенность публицистических выступлений Короленко, о которой он сам сказал: «Я пишу уже 25 лет и горжусь тем, что ни разу не был фактически опровергнутым» (письмо к Е. Н. Гулькевич от 4 мая 1904 г.).

Стр. 80. *...Клевета проникла, наконец, на столбцы министерского органа «Россия» и была повторена господином Шульгиным с высоты депутатской трибуны.*— Публикация подложного «Посмертного письма писателю Короленко» в «Полтавском вестнике» положила начало обширной и ожесточенной газетной кампании, в которую включилась и официозная газета «Россия» — орган министерства внутренних дел, поместившая на своих страницах клеветническое заявление, будто «травля Филонова, произведенная г Короленко, имела прямой целью убийство данного лица». Шульгин Василий Витальевич — редактор черносотенной газеты «Киевлянин», член монархического «Союза русского народа», депутат II, III, IV Государственной думы. 12 марта 1907 года в своем выступлении на заседании Думы воспроизвел клеветнические измышления газет, назвав Короленко «убийцей Филонова».

Стр. 81. *Витте* Сергей Юльевич (1849—1915) — граф, в 1905—1906 гг. премьер-министр первого «конституционного» русского правительства, убежденный сторонник самодержавия, организатор подавления революции 1905 года.

БЫТОВОЕ ЯВЛЕНИЕ

Впервые — в журнале «Русское богатство», 1910, №№ 3 и 4.

Начиная с 1905 года Короленко, как об этом свидетельствует его архив, тщательно собирает фактический материал о бесчисленных смертных казнях, которыми царизм ознаменовал свою победу над революцией.

Он ставит перед собой задачу выступить со статьями о смертной казни. «Теперь я работаю как раз над статьей «Смертная казнь как бытовое явление»...—сообщает он М. А. Лузиньяну 7 марта 1910 года.—Я хотел бы сделать это началом ряда статей и заметок по этому вопросу, своих и чужих, чтобы напоминать и тревожить общественное внимание и совесть».

В архиве Короленко хранится отрывок, в котором, упоминая книгу Мишле «Птица», писатель говорит о птичьей психологии обывателя. «Это и наша нынешняя психология, русская, современная.— Мы тоже тронулись в какую-то обетованную землю, но из

холода осени попали в холод зимы... в хаос мертвых скал... И с них на фоне зари... на нас смотрят мрачные силуэты старого бесправия, насилия и произвола, но мы как будто уселись на роздых и думаем: так много нас, бесправных и беззащитных... Почему именно меня?.. Моего сына? брата? друга?.. Разве мало других сыновей, братьев, друзей?.. И мы по-птичьи закрываем глаза на то, что творится кругом, что у нас называется законом, правом, правосудием, судом» (В. Г. Короленко. Отрывок статьи о смертной казни. Отдел рукописей Гос. библиотеки СССР имени В. И. Ленина).

Первые шесть глав статьи, опубликованные в мартовской книге «Русского богатства», сразу же произвели огромное впечатление на читателей. 26 марта 1910 года Л. Н. Толстой записал в дневнике: «Вечером читал статью Короленко. Прекрасно. Я не мог не разрыдаться. Написал письмо Короленко» (Л. Н. Толстой. Полное собр. соч., юб. изд., т. 58, стр. 29). «Владимир Галактионович,— писал Л. Толстой.— Сейчас прослушал Вашу статью о смертной казни и всячески во время чтения старался, но не мог удержать не слезы, а рыдания. Не нахожу слов, чтобы выразить Вам мою благодарность и любовь за эту и по выражению, и по мысли, и главное, по чувству — превосходную статью.

Ее надо перепечатать и распространять в миллионах экземпляров. Никакие думские речи, никакие трактаты, никакие драмы, романы не произведут одной тысячной того благотворного действия, какое должна произвести эта статья.

Она должна произвести это действие потому, что вызывает такое чувство сострадания к тому, что переживали и переживают эти жертвы людского безумия, что невольно прощаешь им какие бы ни были их дела, и никак не можешь, как ни хочется этого, простить виновников этих ужасов. Рядом с этим чувством вызывает ваша статья еще и недоумение перед самоуверенной слепотой людей, совершающих эти ужасные дела, перед бесцельностью их, так как явно, что все эти глупо-жестокие дела производят, как вы прекрасно показываете это, обратное предполагаемой цели действие; кроме всех этих чувств статья ваша не может не вызывать и еще другого чувства, которое я испытываю в высшей степени — чувство жалости не к одним убитым, а еще и к тем обманутым, простым, развращаемым людям: сторожам, тюремщикам, палачам, солдатам, которые совершают эти ужасы, не понимая того, что делают.

Радует однó то, что такая статья, как Ваша, объединяет многих и многих живых не развращенных людей одним общим всем идеалом добра и правды, который, что бы ни делали враги его, разгорается все ярче и ярче» (Л. Н. Толстой. Полное собр. соч., юб. изд., т. 81, стр. 187—188).

После публикации в апрельской книге журнала последних глав «Бытового явления» Толстой посылает Короленко новое

письмо (от 26 апреля): «Прочел и вторую часть Вашей статьи, уважаемый Владимир Галактионович. Она произвела на меня такое же, если не еще большее впечатление, чем первая... Она сделает свое благое дело. Надо бы непременно напечатать и как можно больше распространить ее» (там же, стр. 251).

А. М. Горький назвал «Бытовое явление» прекрасным образцом публицистики (письмо к И. Ф. Жиге от 15 августа 1929 г. Собр. соч. в 30 томах, т. 30, стр. 147).

«Бытовое явление» не было пропущено цензурой в Полном собрании сочинений Короленко, изд. А. Ф. Маркса. Готовя в 1918 году десятый, дополнительный том этого собрания сочинений, в который должны были войти и статьи, не пропущенные цензурой в 1914 году, писатель внес поправки и дополнения в текст статьи.

В настоящем издании статья печатается по корректуре этого тома.

Стр. 130. *Кузьмин-Караваев* Владимир Дмитриевич — юрист, профессор военно-юридической академии; член I Государственной думы от Тверской губернии.

Стр. 134. *Ледницкий* Александр Робертович, *Локоть* Тимофей Васильевич — члены I Государственной думы от Минской и Черниговской губерний.

Леруа-Больє Анатоль — французский публицист, профессор, историк. Несколько раз бывал в России, написал о ней несколько книг.

Родичев Федор Измайлович — член Государственной думы всех созывов, один из лидеров партии кадетов.

Стр. 135. *...ждущих в заключении... конфирмации...*—К о н ф и р м а ц и я — утверждение высшей властью судебного приговора.

Стр. 171. *Генерал Каульбарс,* Александр Васильевич — ярый монархист, участник подавления революционного движения.

Стр. 177. *Ломтатидзе* Викентий Билимович — член социал-демократической фракции II Государственной думы от Кутаисской губернии.

ЧЕРТЫ ВОЕННОГО ПРАВОСУДИЯ

Впервые — в журнале «Русское богатство», 1910, № 10. По содержанию является продолжением статей о смертной казни, объединенных в «Бытовом явлении».

Первое упоминание о замысле статьи — в письме к Л. Н. Толстому от 9 мая 1910 года. Сообщая о том, что «Бытовое явление» скоро появится в отдельном издании, Короленко пишет· «Я хотел было издать их после того, как появится еще одна часть (о казнях без суда и по ошибке), но для этого нужен еще кое-какой

материал, а дело это не ждущее. Можно будет дополнить в следующем издании, если первое разойдется». Изложение многочисленных случаев «казней по ошибке» и составило основное содержание статьи «Черты военного правосудия».

По запрету военной цензуры в Полное собрание сочинений, изд. А Ф. Маркса, статья не вошла.

Для готовившегося в 1918 году дополнительного десятого тома Полного собрания сочинений Короленко значительно переработал статью. В частности, печатавшаяся ранее отдельно статья «Дело Глускера» включена в «Черты военного правосудия» в качестве второй главы.

В настоящем издании статья печатается по корректуре тома.

Стр. 195. *Такую же роль сыграло «особое внимание» Победоносцева в деле Скитских...* — Победоносцев Константин Петрович — реакционный государственный деятель, обер-прокурор синода. Братья Петр и Степан Скитские были осуждены по ложному обвинению в убийстве секретаря полтавской духовной консистории.

Стр. 204. *Разбои—Сцилла, судебная репрессия—Харибда.* — Сцилла и Харибда — в древнегреческой мифологии два чудовища, жившие по обеим сторонам узкого морского пролива. Находиться между Сциллой и Харибдой — значит подвергаться одновременно двум серьезным и равновеликим опасностям.

...Князь Урусов в своих известных воспоминаниях губернатора... — Урусов Сергей Дмитриевич, князь, крупный землевладелец. В 1903—1904 гг. после кишиневского погрома был бессарабским губернатором. Член I Государственной думы. В 1907 году выпустил книгу «Записки губернатора».

Стр. 205. *...В этом не сомневается даже кн. Мещерский..*— Мещерский Владимир Петрович, князь — типичный представитель реакционной прессы, издатель газеты «Гражданин». В заметке «Откровенные излияния князя Мещерского» Короленко писал: «...Мы не помним еще случая, чтобы кто-нибудь из русских писателей вышел, так сказать, на улицу и заявил всенародно, что он отдавал свое перо в полное распоряжение «начальства», без всякого соображения с своими убеждениями. Князю Мещерскому принадлежит честь первого еще, кажется, заявления в этом роде» («Русское богатство», 1905, № 2, отд. II, стр. 148—149).

Стр. 207. *...начиная с ретроградного Левиафана «Нового времени»...* — Левиафан — по библейским преданиям, огромное морское чудовище.

Стр. 214. *...судей скоро вернули бы к трезвой действительности теми мерами, какими добились, например, смертных приговоров в Новороссийске.*— В 1905 году после политической забастовки в Новороссийске, начавшейся 8 декабря, власть перешла к Совету рабочих депутатов. Революционная власть существовала около

двух недель. После подавления Московского вооруженного восстания Совет был распущен. Дело о Новороссийской республике (такое название утвердилось за Новороссийском во время существования в нем революционной власти) трижды разбиралось в военном суде. В результате исключительных мер воздействия на судей активным участникам событий были вынесены смертные приговоры.

Стр. 216. *...как библейское «Мане-текел-фарес»! И не надо быть Даниилом, чтобы понять его смысл.* — По библейскому преданию во время пиршества вавилонского царя Валтасара и поругания им священных сосудов, принесенных из Иерусалимского храма, появилась кисть человеческой руки, которая начертала эти слова, предвещавшие гибель Валтасара и его царства. Только пророк Даниил смог разгадать смысл этого пророчества.

Стр. 219. *...знаменитый «усмиритель» генерал Меллер-Закомельский...* — Меллер-Закомельский Александр Николаевич — барон, генерал, один из жесточайших царских палачей. Неоднократно участвовал в подавлении революционных движений. Будучи прибалтийским генерал-губернатором в 1906 году, особо свирепо расправлялся с участниками первой русской революции.

Стр. 220. *...русских Джефферсонов.* — Джефферсон Томас (1743—1829) — выдающийся американский просветитель, идеолог буржуазно-демократического направления во время войны за независимость в Северной Америке (1775—1783), президент США в 1801—1809 гг.

Стр. 238. *...военная Фемида.* — Фемида — в древнегреческой мифологии богиня Правосудия.

Стр. 239. *Леонтьев* Константин Николаевич (1831—1891) — реакционный писатель и публицист, сторонник неограниченной самодержавной и церковной власти.

Стр. 253. *Что случилось потом с Фрунзе?* — Главный военный суд отменил приговор и передал дело на новое рассмотрение. Вторично судили Фрунзе 22 сентября 1910 года — и снова был вынесен совершенно необоснованный смертный приговор. Только категорические протесты общественности заставили военно-полевой суд заменить смертную казнь десятилетней каторгой.

В УСПОКОЕННОЙ ДЕРЕВНЕ

Впервые — в газете «Русские ведомости», 1911, № 27 от 4 февраля.

В правительственных газетах того времени нередко можно было встретить выражения: «успокоенная деревня», «тишина в деревне». Власти заверяли, будто после революции 1905 года деревня «успокоилась» и положение крестьян улучшилось. На самом деле «успокоение» было достигнуто ценой кровавых расправ с крестьянами.

В декабре 1910 года Короленко отдыхал на хуторе Дубровка Сердобского уезда Саратовской губернии у своих родственников Малышевых. Дочь писателя Н. В. Короленко-Ляхович вспоминала: «Я помню, как мы с ним приехали на глухой и снежный хутор к родным в рождественские праздники. Он мечтал о беллетристической работе. Но приходят крестьяне и рассказывают об истязании, устроенном богачами над бедняками-крестьянами, и он собирает сведения, пишет корреспонденцию «В успокоенной деревне», в которой добивается суда над урядниками и стражниками» («В. Г. Короленко в воспоминаниях современников», Гослитиздат, 1962, стр. 232). Такой суд состоялся, однако осужденные мелкие полицейские чины вскоре были помилованы.

У Короленко завязалась переписка с крестьянами. В одном из писем он говорил: «...Человек имеет права и должен их отстаивать для себя и для других. На этот раз и закон за вас. Нужно, значит, довести дело до конца, чтобы подобные насильники узнали, что им не все дозволено проделывать над мужиками... Думаю, что за это вас поблагодарят и другие крестьяне, потому что это дело не только ваше, но и общее» (письмо от 17 июля 1911 г.).

ДЕЛО БЕЙЛИСА

Впервые статьи и заметки Короленко о «деле Бейлиса» печатались в газете «Русские ведомости» (и ряде других газет) с 19 по 31 октября 1913 года.

В 1911 году внимание Короленко было привлечено к новому судебному процессу, напоминавшему мултанское дело. На окраине Киевского предместья Лукьяновка, невдалеке от кирпичного завода Зайцева, 20 марта 1911 года был обнаружен труп 13-летнего мальчика Андрея Ющинского со следами уколов на теле.

Местные черносотенные организации при сочувствии и поощрении министра юстиции Щегловитова объявили это загадочное убийство ритуальным. Обвинение было предъявлено приказчику завода Зайцева Менделю Бейлису.

Полиции было хорошо известно, что убийство совершено на квартире Веры Чеберяк, являвшейся содержательницей притона воров. Характерно, что начальник киевской сыскной полиции Мищук и становой пристав Красовский, направившие свои розыски в сторону воровского притона Чеберяк, были устранены от расследования.

Процесс начался в сентябре 1913 года. Вначале Короленко, здоровье которого было подорвано напряженной работой, следил за ним по газетным отчетам. Однако 10 октября он пишет сестре: «...сидеть здесь и только читать газеты не могу».

12 октября Короленко приезжает в Киев и с 13 октября присутствует на заседаниях суда.

Врач и известный беллетрист С. Я. Елпатьевский, присутст-

вовавший на суде в качестве корреспондента, писал о Короленко в эти дни: «Ему нездоровилось... И все-таки он тотчас же отдался работе... Он собирал точные сведения о присяжных заседателях... Сидел целые дни на процессе, устраивал совещания с адвокатами» (С. Я. Елпатьевский. Воспоминания за 50 лет. Л., 1929, стр. 374—375).

И во время этого процесса Короленко сделал все возможное для того, чтобы суд вынес оправдательный приговор. «Оправдание произвело здесь огромное впечатление. Радость была огромная. Улицы кипели»,—сообщает Короленко сестре 31 октября. Испытывал подъем и он сам: «...Оправдание сразу сделало меня... почти совсем здоровым...— пишет он тому же адресату 5 ноября.— Да, это была минута, когда репортеры вылетели из суда с коротким словом: оправдан! Я чувствую еще до сих пор целебную силу этого слова. Чуть начинается нервность и бессонница—вспоминаю улицы Киева в эти минуты и сладко засыпаю».

Корреспонденции «Господа присяжные заседатели», «Присяжные ответили» и «После приговора», не вошедшие в состав Полного собрания сочинений, изд. А. Ф. Маркса, печатаются по «Русским ведомостям» (№№ от 27, 28, 29 и 31 октября 1913 года).

Н. Николаева

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

О ГЛЕБЕ ИВАНОВИЧЕ УСПЕНСКОМ

Впервые — в журнале «Русское богатство», 1902, № 5; в 1908 году, вместе с воспоминаниями о Чернышевском и Чехове,— в книге «Отошедшие».

Понимая, сколь значительна личность Глеба Успенского-человека, сколь много он, как писатель, сделал для русской литературы, Короленко еще в 1890 году принял предложение известного издателя Ф. Ф. Павленкова написать биографию Успенского. Он надеялся получить от самого Успенского необходимые биографические сведения. Однако этот замысел, к которому Короленко возвращался и после смерти Успенского, так и не был осуществлен. Был написан мемуарный очерк, непосредственным поводом к созданию которого явилась смерть Успенского в марте 1902 года.

В становлении Короленко-писателя Глеб Успенский сыграл особую роль и как автор выдающихся произведений из народной жизни и как человек, приветствовавший Короленко в начале его писательского поприща. «Когда-то, еще в Якутской области,—писал Короленко Успенскому 16 сентября 1888 года,— я тоже, еще не зная Вас лично, получил от Вас (хотя и не непосредственно) несколько слов, которые меня очень ободрили. Это был Ваш отзыв

о моем рассказике «Чудная», который как-то попал Вам в руки. Я тогда как раз решил, что из моих попыток ничего не выйдет, и хотя писал по временам, повинуясь внутреннему побуждению, но сам не придавал своей работе значения и смотрел на нее, как на дилетантские шалости. В это время, через третьи руки, мне пишут, что Гл. Ив. Успенский читал где-то в кружке мою «Чудную» и просит передать автору, чтобы он продолжал. Я по нескольку раз снимал с полки в своей юрте это письмо и перечитывал эти строки, и мое воображение оживлялось. Когда я задумал и писал «Сон Макара», то Ваш хороший отзыв все мелькал у меня в уме».

Лично Короленко познакомился с Успенским в феврале—начале марта 1887 года, в Петербурге, куда ездил с целью установления связей со столичными литературными кругами. «Впечатление от личности» Успенского — человека особого духовного и морального склада,— «замечательно хорошее, но сильно «усложненное» странным настроением, в котором он теперь находится,—записывает Короленко в дневнике 9 марта 1887 года.— Это вообще «человек настроения». При замечательной талантливости («гениальности» — как говорит о нем Щедрин) — ум его недостаточно дисциплинирован, а образование нешироко.. Вся система его воззрений шатка, противоречива, наконец — неуловима. Но зато отдельные части, в свое время всецело завладевавшие не только воображением писателя, но всей его душой,— согреты настоящим художественным проникновением (как «Власть земли», например). Впрочем, теперь он сильно исстрадался и устал.— «Вы счастливы,— говорил он мне,— ссылка позволила вам сохранить совесть. А мы, пережившие здесь эти подлые годы,— виновны уже тем, что пережили их, что остались живы и носим в душе подлое воспоминание. Это такое пятно, которое не вытравишь ничем». Нужно было слышать, с какой глубокой искренностью, как просто это было сказано,— чтобы глубоко полюбить этого человека» (В. Г Короленко. Дневник, т. I, ГИЗ Украины, 1925, стр. 59—60).

Замечательно, что Короленко уже тогда, по впечатлениям первой встречи, уловил признаки надвигавшейся душевной болезни и отметил связь «особого настроения» Успенского с трагедией «безвременья» после поражения революционного народничества. Впоследствии, откликаясь на смерть Успенского в своем выступлении на собрании Полтавского музыкально-драматического кружка, Короленко, по сообщению корреспондента «Русских ведомостей», увидел также «нечто провиденциальное» в том, что «начало болезни Г. И. Успенского совпало с голодными годами» (см. Г. И. Успенский в русской критике, М.-Л., 1961, стр. 499). Успенский был потрясен той драмой, смысл которой Короленко определил двумя словами: «крестьянство рушится» («В голодный год»).

По свидетельству В. В. Тимофеевой-Починковской, вдова Г. И. Успенского А. В. Успенская выделяла из всех воспоминаний о сво-

ем муже воспоминания Короленко, считая их лучшими — «больше похожими и прочувствованными» («Минувшие годы», 1908, № 2, стр. 296).

Стр. 311. ...*«когда не требует поэта к священной жертве Аполлон»* — не совсем точная цитата из стихотворения Пушкина «Поэт».

Стр. 312. ...*Успенский никогда не идеализировал мужика... даже в период наибольшего увлечения «устоями»...* — Короленко противопоставляет здесь, а также и в других случаях Гл. Успенского народническому беллетристу Н. Н. Златовратскому, автору романа «Устои», идеализировавшему быт и мораль крестьянства и призывавшему интеллигенцию к отказу от своих идеалов в пользу «народной мудрости».

В одной из своих статей в «Отечественных записках»... — в очерке «Наконец нашли виноватого!» из цикла «Волей — неволей» («Отечественные записки», 1884, № 2).

Стр. 321. *Читали вы лекцию госпожи NN?* — В 1904 году Короленко откликнулся на подобную же лекцию, прочитанную писательницей Н. А. Лухмановой, в заметке «Соня Мармеладова на лекции г-жи Лухмановой». Напомнив читателям о своих воспоминаниях о Гл. Успенском, Короленко писал: «Если верить газетным отчетам, г-жа Лухманова стала как раз на ту точку зрения, которая Успенского приводила в такое негодование. Идеализировать мир падших женщин (как это сделал, например, Гаршин в своей повести «Надежда Николаевна») нет никакой надобности. Да, это мир порока, гибели, разврата, разложения человеческой личности, быстро и страшно извращающий женскую душу. Однако — какова связь между этим разложением личности и самим явлением? Где тут причина и где следствие? Потому ли женщина попадает в эти ужасные условия, что она лично, по натуре, роковым и прирожденным образом склонна к пороку, или она становится порочна вследствие условий воспитания, нищеты, невежества, наконец, нередко, быть может, и прямо под давлением бремени, тяжкого и неудобоносимого, наложенного жизнью на слабые плечи?..»

Это было время сильного увлечения теориями Ломброзо и антропологической школы. — Ломброзо Чезаре (1836—1909) — психиатр и криминалист, основатель так называемой «антропологической школы» в уголовном праве, утверждавшей, будто преступность заложена в биологической природе человека, а не обусловлена социально.

Стр. 326. *Не говори, что молодость сгубила... холодный мрак могилы...* — из стихотворения Некрасова «Тяжелый крест достался ей на долю...», ставшего популярным романсом.

Болен Некрасов. Умирает... — Вероятно, описка Короленко, и речь идет не о Некрасове, умершем в 1877 году, а о Салтыкове-Щедрине, который был в это время тяжко и неизлечимо болен.

Стр. 327. *Анненский* Николай Федорович (1843—1912) — известный публицист, земский статистик; близкий приятель Короленко, посвятившего ему статьи «О Николае Федоровиче Анненском» и «Третий элемент».

Стр. 328. *В своей автобиографии он пишет...* — Имеется в виду «автобиография» Успенского, написанная им по просьбе издателя Ф. Ф. Павленкова. Была напечатана в 1902 году в четвертом номере «Русского богатства» в составе статьи Н. К. Михайловского «Литература и жизнь. Еще материалы для биографии Г. И. Успенского».

Стр. 334. *...едет к Иоанну Кронштадтскому...* — Речь идет об известном изувере и святоше протоиерее Андреевского собора в Кронштадте.

Стр. 340. *...сказка об Иване дураке и другие рассказы той же серии...* — то есть так называемые «народные рассказы».

...Войдя к Н. К. Михайловскому... — Михайловский Николай Константинович (1842—1904) — видный социолог, публицист, литературный критик народнического направления; Короленко был близок с ним по совместной работе в журнале «Русское богатство», написал о нем воспоминания.

Стр. 343. *«Живые цифры»* — так называется цикл очерков Успенского, опубликованный в 1888 году.

Стр. 344. *Елпатьевский* Сергей Яковлевич (1854—1933) — народнический писатель и публицист; в 1887—1896 гг. жил в Нижнем Новгороде, работал врачом.

...ушел ... в Колмово ... — Колмово — психиатрическая больница близ Новгорода.

ВОСПОМИНАНИЯ О ЧЕРНЫШЕВСКОМ

Впервые — без ведома автора, по одному из списков, в издании «Фонда вольной русской прессы», Лондон, 1894.

Впервые в России — в журнале «Русское богатство», 1904, № 11 (без последней главки).

В 1908 году «Воспоминания о Чернышевском», вместе с воспоминаниями о Г. И. Успенском и А. П. Чехове, были выпущены отдельной книгой под общим названием «Отошедшие». В этом издании к «Воспоминаниям о Чернышевском» была присоединена заметка «Гражданская казнь Чернышевского», написанная в 1904 году и первоначально напечатанная (в другой редакции) в журнале «Русское богатство», 1905, № 6.

Написаны «Воспоминания о Чернышевском» вскоре после смерти великого революционера, последовавшей 17 октября 1889 года в Саратове. В записной книжке Короленко имеется запись, датированная 8 марта 1890 года: «Закончил очерк о Чернышевском».

В начале 1894 года рукопись очерка была направлена в С.-Пе-

тербургский цензурный комитет. Отзыв цензора гласил: «В ней помещены отрывочные известия о пребывании Чернышевского на каторге в Сибири и затем рассказывается про последние годы, проведенные им в Астрахани и Саратове. В простом, изящном изложении автор передает то, что слышал от очевидцев о жизни Чернышевского в Сибири и что сам заметил, бывая у него в Саратове. Рассказы касаются таких частных предметов и отношений, которые ничего не имеют общего с преступною деятельностью этого политического преступника, так что с цензурной точки зрения рукопись не представляет ничего предосудительного, за исключением разве последних заключительных строк и того, что на каждой странице упоминается фамилия Чернышевского» («Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников», т. 2, Саратов, 1959, стр. 295).

Говоря о заключительных строках, цензор, вероятно, имел в виду окончание «Воспоминаний», следовавшее за словами: «Умные парни эти ямщики». Оно не вошло в печатный текст и сохранилось в рукописи: «Конечно, Чернышевский был не сенатор и у него нет сыновей генералов. Но он говорил обществу и правительству именно то, что приводится в сказке. Нам нужно работать больше на пользу народа, а народу нужно облегчение. Он твердой рукой разрушал шлюзы, из-за которых в русское общество хлынул поток освободительных идей. И если эта волна польется опять и дохлестнет в отдаленные места, принося и им облегчение, — то и нам и им придется еще вспомнить Чернышевского, но не сенатора, а писателя, и его сыновей — не сказочных генералов, а его сподвижников и детей того же духа, который веял на заре русского освобождения и ярче всего выразился в деятельности писателей Щедрина и Чернышевского» («В. Г. Короленко о литературе». М., 1957, стр. 625).

Однако если «предосудительное» окончание могло быть снято, то удалить крамольное имя Чернышевского из воспоминаний о нем, естественно, было невозможно. По-видимому, эта причина почти на полтора десятилетия закрыла «Воспоминаниям» Короленко доступ на страницы русской легальной прессы.

По возвращении в 1883 году из Сибири, живя в Астрахани, Чернышевский внимательно следил за современной литературой и среди других писателей, по свидетельствам современников, выделил Короленко. В 1911 году близко знавший Чернышевского в годы его жизни в Астрахани А. И. Виддинов писал Короленко: «Вскоре после выхода книжки журнала «Русская мысль» (1885, № 3.— *К. Т.)*, в которой был напечатан Ваш рассказ «Сон Макара», под свежим впечатлением прочитанного, мы оба заговорили о нем, и при этом Н. Г. высказал удивление той верности, с которой так мастерски нарисован Ваш якут <говорил>, что написать так мог только талантливый человек, хорошо изучивший быт и душу якутов. Он очень интересовался автором рассказа, но узнал о Вас

от Вашего брата только в 1886 году[1]» («Известия АН СССР». Отд. литературы и языка, 1953, т. XII, вып. 3, стр. 266).

В августе 1889 года по приглашению Чернышевского Короленко посещает его в Саратове. «Месяца два до этого (смерти Чернышевского.— *К. Т.*),— писал Короленко П. С. Ивановской 5 апреля 1890 года,— я и Дуня (Е. С. Короленко.—*К. Т.*) виделись с ним в Саратове, он принял нас очень радушно, даже сердечно. Дуня виделась с ним, впрочем, только у нас в гостинице,— я был еще два раза у него, и мы долго беседовали, перебирая старину. Не думал я, обнимая его на прощание, что вижусь с ним в последний раз».

Сохранилась запись Е. С. Короленко об этой саратовской встрече: «Когда мы виделись с Н. Г у нас в номере, то много и оживленно разговаривали о литературе. Н. Г так был прост и обращался с нами, точно знал нас хорошо, и я чувствовала себя очень непринужденно. В. Г. зачем-то вышел из номера, и я спросила Н. Г., какие ему больше нравятся произведения В. Г Мы стали вспоминать, и я сказала, что мне нравится «Сказание о Флоре». Он на это мне ответил, что у Некрасова есть одно стихотворение: сидит на улице каменщик и бьет камни, из которых, при битье, искры сверкают[2].

Так и у В. Г., что бы он ни писал, всюду искры, надо, чтобы он работал и не отходил в сторону. Это большой талант, это тургеневский талант. Я только не примирюсь с ним, пока он не напишет большое что-нибудь из общественной жизни.

Это он говорил и В. Гал., но тот по скромности своей не написал про себя» («Известия АН СССР». Отд. литературы и языка, 1953, т. XII, вып. 3, стр. 271).

Деятели русского освободительного движения, в том числе и Короленко, видели в Чернышевском своего духовного вождя, а его бескомпромиссность и стойкость в борьбе с царской властью возводили в высокий моральный пример. Двадцать лет проведший в тюрьмах и ссылках, Чернышевский стал фигурой почти легендарной. Короленко начинает и завершает свой мемуарный рассказ изложением некоторых из этих легенд, распространившихся не только среди политических ссыльных, но и в народной среде. Но изложение этих легенд — лишь рамка для воссоздания образа Чер-

---

[1] Брат В. Г. Короленко Илларион Галактионович жил в это время в Астрахани.

[2] Чернышевский вспомнил строки из стихотворения Некрасова «Поэт и гражданин».

И если ты богат дарами,
Их выставлять не хлопочи:
В твоем труде заблещут сами
Их животворные лучи.
Взгляни, в осколки твердый камень
Убогий труженик дробит,
А из-под молота летит
И брызжет сам собою пламень!

нышевского. Этот живой, человечески привлекательный образ — самое ценное в «Воспоминаниях о Чернышевском». В то же время некоторые суждения Короленко об общественной позиции Чернышевского в шестидесятых годах, о характере его философских воззрений нуждаются в уточнениях. Так, Короленко, в сущности, сближает сугубо критическое отношение Чернышевского к реформам шестидесятых годов с либеральным их безусловным приятием, материалистическую философию Чернышевского он ошибочно трактует как позитивистскую.

Стр. 346. *...с «карабеллой» у пояса...* — Карабелла — старинная кривая сабля.

Стр. 347. *в деле каракозовцев...* — Имеется в виду дело о покушении на царя Александра II, совершенном 4 апреля 1866 года Д. В. Каракозовым, участником подпольного революционного кружка.

Известны затем попытки Г А. Лопатина и Ипполита Мышкина. — Лопатин Герман Александрович (1845—1918)— активный участник русского освободительного движения, член Генсовета I Интернационала. Мышкин Ипполит Никитич (1848—1885)— одна из самых ярких, героических фигур революционного народнического движения; казнен в Шлиссельбурге.

«Большой процесс», или «процесс 193-х», по делу «о революционной пропаганде в империи» (случился в 1877—1878 годах); одним из главных обвиняемых на процессе был Ип. Мышкин.

...письмо его в таком смысле было напечатано... в заграничных изданиях. — Такое письмо неизвестно. Однако Чернышевский действительно был противником организации его побега, и об этом упоминалось в заграничной русской прессе.

Стр. 349. *Макадамова мостовая* — по имени английского инженера Мак-Адама, изобретателя особого типа дорожного покрытия.

...судьба закинула меня в далекую Сибирь... — Короленко был выслан в Сибирь, в Якутскую область, в августе 1881 года за отказ подписать присягу новому царю Александру III.

Стр. 351. *стихотворение «Не может быть»...* — Это стихотворение, подписанное «Неизвестный друг», было послано Некрасову ранее инцидента с так называемой Муравьевской одой (текст ее не публиковался и неизвестен) и вызвано другими обстоятельствами. Некрасов посвятил «Неизвестному другу» стихотворение «Умру я скоро...», написанное уже после этого инцидента.

Стр. 352. *Один из слушателей... записал впоследствии содержание некоторых из этих произведений.* — Имеются в виду воспоминания одного из каракозовцев, В. Н. Шаганова, «Николай Гаврилович Чернышевский на каторге и в ссылке». СПб., 1907.

Стр. 353. *первым изданием этой книги...* — то есть книги «Отошедшие», СПб, 1908.

Стр. 356. *...теперь она уже напечатана...* — В Александровском заводе Чернышевским была написана шуточно-аллегорическая комедия «Мастерица варить кашу», напечатанная в т. X Полного собр. соч. Н. Г. Чернышевского, СПб., 1906.

...на Вилюй. — В Вилюйске Чернышевский жил с января 1872 года по август 1883-го.

Стр. 359. *...известно было всей России из газет.* — Короленко ошибается. Хотя слухи о переводе Чернышевского в Астрахань и проникали на страницы русских зарубежных изданий, газеты в России об этом писать не могли хотя бы потому, что имя Чернышевского было запретным.

Стр. 366. *...«выпрямляется» мужицкая душа...* — По-видимому, речь идет о рассказе «Перестала».

Стр. 367. *...последним для того времени произведениям Толстого.* — Имеются в виду так называемые «народные рассказы» Л. Толстого.

Стр. 371. *...живого юмористического рассказа...* — то есть рассказа «Знамение на кровле (По рассказу очевидца)».

Стр. 374—375. *«Мы пеструю столбу караулим...»* — см. рассказ Короленко «Государевы ямщики» (т. 1 наст. изд.).

Стр. 375. *...после проезда Чернышевского по Лене в Россию...* — Чернышевский ехал по Лене, возвращаясь из сибирской ссылки в сентябре 1883 года, то есть ровно за год до подобного же «путешествия» Короленко.

Стр. 377. *Боборыкин* Петр Дмитриевич (1836—1921) — популярный в свое время писатель, автор многочисленных романов.

Сажин Михаил Петрович (1845—1934) — революционер-народник.

Стр. 379. *Шелгунов* Николай Васильевич (1824—1891) — общественный деятель, публицист, литературный критик демократического направления.

Стр. 381. *Костер Гуса...* — Гус Ян (1371—1415) — национальный герой чешского народа, идеолог чешской реформации; с его выступлений против социальной несправедливости и национального гнета началось широкое крестьянское движение — так называемые «гуситские войны». Был сожжен на костре.

...автора «Писем без адреса»... — «Письма без адреса» Н. Г. Чернышевского — замечательное произведение бесцензурной революционной публицистики.

АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ

Впервые — в журнале «Русское богатство», 1904, № 7, под названием «Памяти Антона Павловича Чехова». Вместе с воспоминаниями об Успенском и Чернышевском очерк вошел в книгу «Отошедшие».

Написан в июле 1904 года, сразу же после получения (4 июля)

известия о смерти Чехова. 12 июля очерк уже был отослан в редакцию. «Я не вполне доволен заметкой о Чехове, — писал Короленко Ф. Д. Батюшкову 2 сентября 1904 года. — Кажется, сказано правильно и, пожалуй, индивидуальность Чехова отчасти отразилась в изображении, но все это очень неполно, и я теперь вижу, как и чем нужно дополнить в отдельном издании». Однако ни в составе «Отошедших», ни в Полном собрании сочинений, изд. А. Ф. Маркса, очерк не претерпел существенных изменений, в последнем было лишь снято следующее окончание его: «Читатель простит мне эти, может быть, бессвязные и беспорядочные строки, лишенные претензии разобраться до конца в характере и размерах понесенной русскою литературою утраты. Разбираться придется еще много, и процесс этот большой и сложный. Эти строки продиктованы лишь непосредственным ощущением тяжелой потери...»

Личное знакомство Чехова и Короленко, возможно, состоялось в феврале 1887 года, во время пребывания Короленко в Москве — проездом из Нижнего Новгорода в Петербург.

Встреча их в октябре 1887 года вызвала письмо Чехова к Короленко от 17 октября 1887 года с выражением самых дружеских чувств. «Во-первых,— писал здесь Чехов,— я глубоко ценю и люблю Ваш талант; он дорог для меня по многим причинам. Во-вторых, мне кажется, что если я и Вы проживем на этом свете еще лет десять — двадцать, то нам с Вами в будущем не обойтись без точек общего схода». Чехов определил те черты таланта Короленко, которые наиболее ценил: «Вы... серьезны, крепки и верны».

И хотя Короленко и Чехов принадлежали к разным поколениям и разным литературным кругам, в их творчестве и жизни действительно оказалось много «точек общего схода». Об этом, в частности, писал Короленко в заметке, датированной 6 июля и озаглавленной «Смерть Чехова». Заметив, что встречались они мало, «ходили по разным дорогам», Короленко называет тем не менее свое чувство к Чехову любовью: «Я знал Чехова с восьмидесятых годов и чувствовал к нему искреннее расположение. Думаю, что и он тоже. Он был человек прямой и искренний, а иные его обращения ко мне дышали именно личным расположением. В писательской среде эти чувства всегда очень осложняются. Наименее, пожалуй, сложное чувство (если говорить не о самых близких лично и по направлению людях) было у меня к Чехову, и чувство, которое я к нему испытывал, без преувеличения можно назвать любовью» (цит. по кн. В. Г. Короленко. Воспоминания о писателях. М., 1934, стр. 171).

Стр. 382. *Человек .. очень талантливый, но неудачник* — Николай Павлович Чехов, умерший в 1889 году.

...печатавшихся в «Будильнике», «Стрекозе», «Осколках»... —

названия популярных юмористических журналов восьмидесятых годов.

Стр. 383. *...письма Григоровича* — Д. В. Григорович был первым крупным писателем, обратившим внимание на незаурядный талант Чехова. Сын поэта А. Н. Плещеева — А. А. Плещеев вспоминал: «Д. В. Григорович рассказывал мне, что он прочел чеховский рассказ... «Егерь»... отправился с этим рассказом к А. С. Суворину — и о Чехове заговорили» («Петербургский дневник театрала», 1904, № 28). 25 марта 1886 года Григорович начал переписку с Чеховым письмом, в котором призывал молодого писателя-юмориста уважать свой «настоящий талант», относиться к нему со всей серьезностью.

...из бывших сотрудников «Отечественных записок».— Все названные лица, во главе с известным критиком и публицистом народнического направления Н. К. Михайловским, были сотрудниками запрещенного в 1884 году властями демократического журнала «Отечественные записки».

Стр. 385. *...озаглавленный «По пути»...*— Этот рассказ Чехова называется «На пути» (1886).

Стр. 386—387. *..посмеяться... над «умным дворником». .*— рассказ «Умный дворник» (1883), *..над парикмахером...*— рассказ «В цирульне» (1883).

Стр. 387. *«Святою ночью»* — рассказ был напечатан в газете «Новое время» 13 апреля 1886 года.

Стр. 388. *...первый журнальный рассказ... «Степь»...*— Рассказ (точнее повесть) «Степь» был первым произведением Чехова, напечатанным в журнале «Северный вестник». По свидетельству самого Чехова, написать «Степь» побудил его Короленко.

Стр. 391. *Жаль только: жить в эту пору прекрасную...*—из стихотворения Некрасова «Железная дорога».

Стр. 394. *...во «врачующем просторе» родины...*— из стихотворения Некрасова «Тишина»: «Спасибо, сторона родная, за твой врачующий простор».

...для разговора об одном общем заявлении...— Короленко ездил в Ялту к Чехову в связи с так называемым «академическим инцидентом», то есть отменой по распоряжению Николая II избрания Горького в почетные академики. В знак протеста Короленко и Чехов сложили с себя звания почетных академиков.

Стр. 395. *...книгу, недавно рекомендованную русскому читателю Л. Н. Толстым.*— Роман немецкого писателя В. фон Поленца «Крестьянин» вышел в 1902 году на русском языке с предисловием Л. Н. Толстого.

К. Тюнькин.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

произведений В. Г. Короленко, включенных в 1—6 тт. Собрания сочинений

СОДЕРЖАНИЕ

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

В. Г КОРОЛЕНКО.

Собрание сочинений
в шести томах.
Том VI.

Редакторы тома
Н. В. Николаева
и
К. И Тюнькин

Оформление художника
Р. Г. Алеева.

Технический редактор
А. И. Шагарина.

Сдано в набор 31/X 1970 г.
Подписано к печати 17/VI 1971 г.
Бумага типогр. № 1. Форм. бум. 84×108 1/32.
Объем 22,68 усл. печ. л. 23,19 уч изд. л.
Тираж 375 000экз. Изд. № 1349 Зак. № 3331
Цена 90 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской
Революции типография газеты «Правда»
имени В. И. Ленина. Москва, А 47, ГСП,
улица «Правды», 24.

Индекс 70679


90 коп.